

НОВОБЫІ
МІР

НОВОБЫІ МІР

5



1950

1950

НОВАЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVI

№ 5

Май, 1950 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Дорога к миру, поэма	3
ЛЮБОВЬ КАБО — За Днестром, роман	61
С. МАРШАК — Годовщина. Надпись на скале, стихи	159
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ЕЛЕНА НАГАЕВА — У нас в школе.	161
<i>К 150-летию со дня смерти А. В. Суворова*</i>	
К. ПИГАРЕВ — Великий русский полководец	181
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Е. КОВАЛЬЧИК — Живая литература и мёртвая схема	189
Т. МОТЫЛЕВА — Черты прогрессивной зарубежной литературы	204
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Марк Твен и Америка	229
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
К. Буковский. Ясные характеры. — Кандидат исторических наук Б. Дацюк. Роман, искажающий историю. — В. Александров. Стихотворения Бо Цзюй-и. — Б. Закс. Плохие комментарии. — К. Лапин. Люди, которыми должно гордиться. — А. Лацис. Большая семья. — Н. Венгров. Увлекательная профессия.	234
<i>История. Международные отношения</i>	
В. Минаев. «Американское действие» в действии. — Доктор исторических наук К. Сивков. Вождь крестьянства — Иван Болотников. — Ю. Корольков. Признания шпиона-двойника. — Профессор К. Базилевич. Древние повести о воинской славе. — В. Кремичев. Правда о трагедии американского фермера.	254

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Геология</i>	265
Член-корреспондент Академии наук СССР Н. Шатский . Настольная книга советских геологов.	
<i>Астрономия</i>	266
Президент Академии наук Армянской ССР В. Амбарцумян . Новое в учении о Вселенной.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (март—апрель 1950 года).	269

МИХАИЛ ЛУКОНИН

★

ДОРОГА К МИРУ

Поэма

ПРЕДИСЛОВИЕ

Итак, я тетради прочёл...

Но сначала об этом...

О том,

как в отошедшем году,
расцветающим летом,

Я сидел на скамье на Гоголевском бульваре

И завидовал

то ли семье,
то ли просто любящей паре.

— Приехал! — шептала она.

— К тебе! — отвечал он.

— Скучал ты? — спросила она. —

Я дни отмечала...

Закончил! — смеялась она, —

я в газете видала:

Ты строгий стоишь там

над морем огня и металла.

Ты добрый сегодня среди этих деревьев зелёных...

(Неприлично, конечно,

подслушивать шёпот влюблённых!)

Радиорупор рассказывал о загранице.

Из-за океана

война кулаками стучится.

Голос простой обращается к людям:

— Смотрите —

Пригрета война фашистами на Уолл-стрите!

Фашизм обгоревший

из чёрного зданья рейхстага,

Как вирус, пролез

под крыло

многозвёздного флага.

— Опять это самое, слышишь, Алёша? Похоже?

— Похоже, — ответил, — так было когда-то;

ну что же —

Мы этот фашизм
 на войне изучили недаром!
 Мы знаем, что нас он боится...
 Ты помнишь, Тамара?..

Дымятся костры на Арбате,
 всё в громе и гуле,
 Лопаты песком сыроватым на площадь плеснули.
 На Гоголевском, на Никитском, и справа и слева
 Взвивается грохот и дым трудового нагрева.
 Отброшены в сторону каменные мостовые,
 Яркие желтеют раскрытые недра земные,
 Лежат у садовой ограды трамвайные рельсы,
 Шпалы вынуты. Кончились громкие рейсы!

Я задумался —
 и мечтой
 уходил постепенно
 По лестнице лет,
 по пятилетним ступеням.
 Я вижу —
 пришла к коммунизму передовая колонна,
 Уже в коммунизме идут знаменосцы,
 над ними — знамена...
 Серп и молот в колосьях —
 гербы мира —
 проносят колонны.
 Советский Союз впереди, вослед — миллионы.

В цехах и на поле работа кипит не смолкая,
 Высокою целью труда людей увлекая.
 Шумят над страной дубравы ползащиты,
 От боли защиту нашли,
 от грусти — ищи ты.

Радиорупор
 вещает
 об атомных бомбах,
 Фашисты их за океаном копят в катакомбах,
 Оружием гремят, готовя грядущие войны.
 Соседи мои на скамейке смеются, спокойны.
 — Пора на вокзал нам, Тамара.
 — Алёша, Москва-то!
 Двадцать девятое скоро! Октябрь!
 Знаменитая дата!
 — А вот посмотри-ка —
 тетради о юности дальней!..
 — Что такое?
 — Записки тех лет,
 мой дневник госпитальный..
 В руках у неё негромко раскрылась тетрадка,
 Лицо заслонила весёлая, светлая прядка.
 А радиорупор: — В Америке... Ачесон... Атом...

Шли девушки мимо --
 Новым, широким Арбатом.
 Я думал о юности,
 о войне,
 о разлуке,
 Мне виделись верные губы и милые руки,
 Прощанье мерещилось мне, и печальные дети,
 Потом — возвращение к юности, к вам,
 на победном рассвете...

Радиорупор..

Но где же влюблённая пара?
 Я ищу их глазами,
 выскиваю вдоль бульвара.
 Зачем они мне? Но я сожалею тревожно:
 — Вот, — думаю я, —
 как странно задуматься можно!
 Я поднимаюсь,
 и замечаю вот эти
 Тетради,
 его дневники,
 в пожелтевшей газете.
 Беру их, бегу, влюблённых догнать бы:
 — Забыли!..
 Ни адреса нет, ни фамилии...

Это не вы ли?
 Это не вы написали всё это, ответьте?
 Как найду? По какой я узнаю примете?
 Это вы, или я, или тот вон высокий прохожий,
 На меня и на вас и на многих прохожих похожий?
 Это кто написал?
 Не знаю я.
 В ясном порядке
 Эти записки сложились —
 тетрадка к тетрадке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Тетрадь первая

Тяжёлый рассвет

Первый раз я увидел рассвет с неохотой,
 Помедлить просил, но этого не случилось,
 Ночь отпрянула, и над краем болота
 Солнце холодное просочилось.
 Командир отделения, как стоял в плащпалатке —
 Так стоит. И дождь всё так же струится.
 Нас осталось немного
 После огненной схватки.
 Нам надо сквозь заслоны фашистов пробиться.
 Сколько нас? Пятеро. А патронов двенадцать.
 Сколько нас? Мы ещё не знаем об этом,

Ещё в живых никто не может считаться,
Пока не выстоит перед этим рассветом.
Нет, не дождь...

Теперь изменилась погода.
То, что было дождём — становится снегом.
Первый снег.

Первый снег сорок первого года!
Первый выстрел — за вспышкой следом.
— Вон идут! — говорит командир.

Стало страшно.
— Самое главное — встать нам. Оружие проверьте,
Приготовьтесь, мы пойдём в рукопашный.
Плен страшнее и мучительней смерти!
— Ну, Серёжа! — я гляжу в его глаза голубые,
Русый чуб его смят порыжелой пилоткой.
— Мы пробьёмся? — Пробьёмся!

Нас ведь Родина ждёт! Мы нужны ей!
Снег на землю идёт торопливой походкой.
Лес вдали — в снеговом пересвете.
Метров за сто — через болото — деревня.
Солому на крышах разбрасывает ветер.
Немцы там. И в лесу. Вон бегут меж деревьев.
По земле резануло. Мины чавкнули разом,
Пулемёт застучал, и траву зашатало..
— Ну, вперёд!..

Я охватываю глазом
Лес и поле, и небо, и всё что попало.
Рядом: — Ой! Ранен в сердце! Прощайте!..
Но встаёт и пошёл. Я тогда разозлился:
— Что ж ты врешь?

— Я ошибся, ребята!..
Только сказал он — и, шагнув, повалился.
Вот деревня. Вперёд! Немец — вот он!
Р-раз! — в упор! — и в коноплю, перебежкой,
Огородами, по дворам, за ометы.
Жизнь подпрыгивает — то орлом, а то решкой.
— Есть граната, Серёжа? — Нет, вышли!
Ни патрона в винтовке. Вот роща:
— Хальт! — у самого уха я слышу.
Ха!..

И сразу — огоньками наощупь —
Пулемёт полыхнул у меня под ногами.
Та-та-та.
— Что стоишь-то? Свои же!
В лес беги..
Та-та-та.
Немцы падают сами —
Что случилось?..
У пулемёта я вижу —
Парень лежит. — Вот спасибо! Ты кто же?
Ты нас выручил... — Он молчит, обессилен.
— Будешь с нами?

Он повис на Серёже.
— Как зовут?
— Тараканов, Василий

Лес темнеет. Мы идём друг за другом.
Мы молчим — лес молчит, осторожен,
Только веткой в лицо ударит упругой.
— Мы пробились! — говорит мне Серёжа.

Рассвет расставил по порядку деревья,
Ветки выделил и листвою украсил.
Вася падает.

— Эй, Серёжа, скорее!
Подымайся, ну что с тобой, Вася?
— Вы идите, — говорит он с тревогой. —
Я ранен. Всю ночь там лежал с пулемётом.
Вот — в боку.

— Что ж молчал ты дорогой?
Мы тебя понесём.

— Нет, оставьте, чего там...
Вы счастливые, вы придёте, быть может...
Харьков. Рыбная. Двадцать четыре... Тамара...

Мы несём его.

Я иду за Серёжей.

Вася бредит, разметавшись от жара.

Теградь вторая

Вася

— Ты видишь, Алёша, село на опушке.
Идём туда! — умирает наш Вася.
Молока ему, может, достанем полкружки.
Вася, ты потерпи, не сдавайся...
— Никого! — говорю я, выглядывая из-за омета.—
Ну, вперёд!
Дом стоит, входим в сенцы.
Стучимся.
— Ну ещё к нам кого там?
Что вы, что вы, тут же вот они — немцы!
— Не успеем уйти. Два дня, как не ели!
— Ну, в сарай!..
Улеглись мы на сено. — Теснее, ребята.
А лучи золотыми ножами пронизывают щели.
Бабий плач зазвенел за стеною дощатой.
«Хальт!» — кричат. Повалили скотину.
Корова ревёт и ревёт у сарая.
К нашей стене пододвигаются спины.
Щели потухли по краям, догорая.
Ступая по сену, добираюсь до стенки.
Что за немцы? Разглядеть бы получше.
Кто такие? — разгляжу хорошенько,
Пока другой не представится случай.
Ага, вот стараются над коровой,
Закатав рукава. Я сигналию Серёже:
— Иди-ка сюда, вон один там, здоровый!
Ржёт сутулый, и сиянье на роже.
Хозяйка стоит молчаливо и прямо.

Мать её падает на колени,
и сразу:
— Пан! — вскричала.
Вася в сено отпрянул,
У меня не попадает зуб на зуб.
Старуху ногой отшвырнул и рывкнул сутулый.
Как? «Навозные люди» —
перевёл я бледнея.
— Bravo, Эгонт! — немцы ответили гулом.
Я поднялся, чтобы было виднее.
— Видишь? — шепчет Серёжа.
— Молчите.
Тише, Серёжа. Хорошенько взглядишь ты.
Эгонт! — запомним, ты — наш страшный учитель!..

Да, так вот они, вот какие фашисты!..

Немцы уехали, и хозяйка
Принесла молока нам, поставила молча,
Хлеба дала.
— Слышишь, Вася, вставай-ка,
Поднимайся, будем двигаться ночью.
— Я уйду! — шепчет он. — Ты не должен
Держать меня.
— А куда ты собрался?
Он вздрогнул: — Вы тут? Уходите с Серёжей.
Вы ещё можете до наших добраться.
— Без тебя не пойдём, — говорю я, — понятно?
Простонал он: — И со мной не дойдёте.
На лице его перемежаются пятна,
Он горит весь:
— Передайте пехоте!..
Собирайтесь! Тут вот мины поставьте...
Что? Ну да... Двадцать первая осень...
Тамара... Не написал ни письма ведь...
Эгонт... Эгонт...

— Вася, ты успокойся!
— Вася, Вася! — Но Вася не слышит.
Серёжа уложил его и накрыл плащпалаткой.
Звёзды замерцали сквозь крышу.
Рядом — Вася, скрученный лихорадкой.

Рассвет протянул свои шупальцы выше,
Я раскрываю глаза. Тишина, как на даче.
— Вася, Вася!
Но Вася не дышит.
Не встаёт он. Не поднимается.
Значит...

Мир разноцветный проплывает сквозь слёзы,
Мы проходим обезлюдившим полем.
Сиротливо нам кивают берёзы.
— Вася! Вася! — отзывается с болью.

*Тетрадь третья***Учитель Остужев**

— Так учил я полвека. Возьмитесь сочтите,
Сколько я научил. Теперь они держат экзамен.
В огне ты, Отчизна! — вздыхает учитель.

От окна на полу
полоска рассвета меж нами.

Мы сидим в учительской комнате тёмной,
На каждом окне — по географической карте.

— Маскировка? — говорю я нескромно.

— Да, — смеётся он, — маскировка, представьте.

Сначала была — от бомбёжки завеса,
Теперь — от фашиста: он карты не тронет.

— Помогает?

— Да, к школе у них пока что нет интереса,
Сейчас их больше привлекает коровник.

Правда, раз навестили.

Разговорились о книге:

«Сравнительное изучение черепов
и влиянье

Их различий на ум».

Герр профессор Бильфингер

Написал её, как своё оправданье.

— Вот как? — говорю я, — спасибо,

Я не знал, что до этой науки

додумались люди.

— Вот поэтому: либо мы уничтожим их, либо...

— Нет, товарищ, другого «либо» не будет!

— Вот смотрите — собрал я. Это их заготовка, —

Шкаф учитель открыл, —

пригодится в учёбе!

Смотрите: вот плеть,

вот это клеймо,

вот верёвка.

Шкаф фашизма,

Отделение наглядных пособий.

Я смотрю на учителя, он стоит перед нами

И в глаза нам заглядывает строже.

— Вижу, — говорю я, — вижу и понимаю!

— Да, понятно, — шепчет Серёжа.

— Да, понятно, — говорю я, —

простите,

Мы пойдём.

До своих доберёмся лесами.

Мы вернёмся сюда. Мы вернёмся, учитель.

Мы вернёмся, свобода!

Мы выдержим этот экзамен!

*Тетрадь четвёртая***Эхо**

Конец Октября, а солнце, как в марте.
 Что с Москвой? Рассказывают, что немцы
 Кружком её обводят на карте.
 Что же будет? — спрашивает сердце.
 — Нет! — повторяет Серёжа упрямо.
 — А что, если правда?
 — Алёша, уйди ты!
 — А что же будет тогда, Серёженька, с нами?
 — Не знаю, — говорит он сердито.
 — Ты мог бы представить: вот Эгонт ударил
 Тебя. А ты б поклонился, Серёжа.
 А попробуй произнести это:
 «Барин».
 — Барин, — пробует он и краснеет.
 — Не можешь!
 Не можешь ты быть
 ни рабом, ни рабовладельцем.
 Наш свободный удел нам в наследство оставлен.
 Разве можешь смолчать
 и не крикнуть всем сердцем:
 «Советский Союз»,
 «Наша Родина!»,
 «Сталин!»?
 — Нет, не буду молчать я,
 ты слышишь! —
 Крикнул Серёжа, так что лес зашатало. —
 Не буду!..
 Я схватил его за руку: — Тише!
 Рядом дорога, тут же немцев немало...
 — Я — русский!
 «Русский» — повторили берёзы.
 — Советский Союз!
 Ну-ка, немец, послушай, —
 Крикнул Серёжа,
 глотая бегущие слёзы.
 — Смерть фашизму!..

 Листья наземь обрушив,
 Эхо от дерева к дереву мчится
 И слова Серёжины по простору разносит,
 Чтобы слышали небо, и поле, и птицы,
 И деревья, наряжённые в осень.
 Потом тишина неожиданно наступила.
 Пулемётное эхо заметалось по веткам.

 — Мы продвигаемся к Родине, миль!..
 Дождик прикрыл нас сиреневой сеткой.

*Тетрадь пятая***Селезниха**

— Эй, мамаша!
 — Ух, как испугали, сыночки!
 — Мы свои, не пугайся, сами пугливы.
 Посиди-ка, мамаша, вот тут на пенёчке.
 — Чьи же вы и откуда?

Далёко зашли вы!

К Брянску идёте?

Брянск-то он, вот он.

Да дебри тут, не пройти по болотам...

— Мы лесами пройдем!

— Понаставили мины!

— Ночью, городом.

— Э-э-э... стреляют в прохожих...

— Не сидеть же нам тут, там мы необходимы!

Очень вы на мою мамашу похожи.

Мы стоим на освещённой поляне.

Пни, как люди, сидят в необдуманных позах.

Лес шумящий оторочен полями,

По вискам убелён сединою берёзок.

Утро. Птицы мечутся между сосен,

Тишь, как будто войны не бывало.

В мире, кажется, только и царствует осень,

К зиме выстилая стёганое одеяло.

— Я-то — в город. Хлеб вот в кошёлке.

Дочка там голодает. Всё забрали до точки.

— Кто, мамаша, забрал?

И ответила колко:

— Уж не знаю и кто, вам виднее, сыночки...

Вы куда же? Домой направляетесь, что ли?

Ну, а ружья зачем?

— Ох хитра ты, мамаша!

— Ну вас, право. Я ведь так, не неволю...

— Понимаешь, — говорю я, — там армия наша!

— Что же, не бросили разве зойну-то?

— Как же бросить? Это только начало!

— Значит врёт этот немец, закончили будто...

А Москва как?

— Стоит, как стояла!

— Или радио есть: всё вы знаете больно?

— Ну а как же без радио? Вот вы какая!..

— Значит, вон оно как! —

сказала довольню, —

Теперь уж пойду я! — и шагнула, вздыхая.

Опять постояла. — Ну, бог вам в помощь!

Пойду. А хотите — пойдёмте со мною.

Уж я проведу вас. Я знаю дорогу.

Ходила к железке тут каждой зимою.

И пошли мы по тропе за мамашей,
 За ситцевым, в складочках, в клеточках, платьем,
 Дорогой посветлевшею нашей,

В бой торопясь, поскорее к собратьям.
 Ведёт нас за собой проводница.
 Лес шумит в осеннем уборе.
 — Стойте тут! Не спугнуть бы нам фрица.
 Я приду... — И мамаша — в дозоре.
 Насыпь уже начинает виднеться.
 Вот и мать помахала нам веткой.
 — Ну, пошли!

Вон, сыночки, и немцы
 На железке. Хорошо, что с разведкой!
 — Ой хитра ты, мамаша!

— А как же!

Часовые фашистские ходят по шпалам.
 — Ничего, мы, небось, не промажем.
 — Как, мамаша?

— Я уже загадала.

Вот, сыночки: я полезу к железке —
 Бандиты ко мне. Будут зенки тарашить.
 Вы — того — через рельсы моментом,
 Побойчее, да в сосновые чаши!
 — Ну, а вы?

— Мне-то что, не солдат я,

Чай, глаза-то имеют. Идите, идите!
 Добирайтесь и приходите, ребята.
 В Брянск вернётесь — Селезнику найдите...
 И ушла вдоль насыпи, раздвигая
 Ветки маленькою рукою.
 В клетчатом платье, сгорбленная и седая.
 Навсегда я её и запомнил такую.
 Вот она завиднелась, идёт без тревоги,
 Подобрав свои юбки, через рельсы шагнула.
 Немцы — к ней.

Мы за насыпь, к дороге,
 Задыхаясь от сердечного гула.
 Уходить не хотели, не увидев мамашу.
 Из кустов, притаившись, на дорогу взглянули.
 Трое немцев над матерью автоматами машут,
 — Хальт! — кричат, за рукав потянули.
 — Не замай! — оглянулась мамаша,

одёрнула платье,

Руку гада кошёлкой отбросила смело.
 — Что ты с бабой воюешь? Не солдат я!
 Тьфу на вашу войну, не моё это дело!
 И пошла себе дальше, по шпалам,
 И пошла тихонько, покачивая кошёлкой...
 Встал фашист.

Автомат свой прижал он,
 Чтобы в нашу Ефимовну

целиться с толком.

А мамаша идёт себе, рассуждая.

Фашист опустил автомат,

не понимая чего-то...

Наталья Ефимовна, маленькая, седая,
 В клетчатом платье, скрылась за поворотом.

*Тетрадь шестая***День рождения**

Рассвело. Мы сходим с дороги в пшеницу,
 Днём нельзя идти по орловскому полю.
 Машины немецкие тянутся вереницей,
 Мы считаем, стиснув зубы до боли.
 Солнце выкатывается, как обод из горна.
 Мы растираем в жёстких ладонях колосья,
 В рот бросаем потемневшие зёрна,
 Руки раскинули, как косари на покосе.
 Земля, где твоих косарей задержало?
 Поле, где же твоя косовица?
 Плуг лежит перевёрнутый, ржавый,
 Землёй пропахла неубранная пшеница.
 Волнение неясное сердце мне гложет:
 — Двадцать девятое октября? Что за дата?
 День рождения мой! Понимаешь, Серёжа?
 — Ну? — он сел. — А молчал, голова ты!
 — Сам забыл... Интересно уж очень.
 — Что же сидим? В магазин нам давно бы!..
 Мы хохочем до слёз.

Да, пожалуй, хохочем...

— Тише. Идут! — Насторожились мы оба.

Тихо сразу стало, и слышно —
 Шагает размеренно человек по тропинке.
 Появился —

в шапке барашковой пышной,

Одна нога — в сапоге, а другая — в ботинке.

— Вот закурим, — шепчет Серёжа. —

Товарищ!

Человек встрепенулся и присел от испуга.

— Ну чего ты — свои же. Никак не узнаешь?

Скоро ты забываешь старого друга!

— Что-то я не припомню. —

Прохожий всё мнётся.

— Всё равно. Вот закурим — и будем знакомы.

Так, давно бы присел. Самосадик найдётся?

— Вы куда же?

— К Ельцу пробираемся, к дому!

— На Елец? — удивляется парень. —

Да что вы,

Елец не взят ещё...

— Как! А нам говорили... —

Я задохнулся: — Всё рушится снова!..

— Так-то, — парень сказал, —

там ещё красные в силе.

— Кто? — поднялся Сергей. —

Что-то путаешь, парень.

Я толкнул его в бок: — Помолчи ты, садись ты!

Вот спасибо, — говорю я в ударе, —

Мы бы влопались. Красные?

Словом, там коммунисты?

- Там полно их, орудий понавозили!
 — Да, орудий? — я мигаю Серёже.
 — Там и танки.
 — И танки?
 — С платформ разгрузили.
 — Ну?
 — Вот крест. К наступленью, похоже...
 — А у тебя ведь махорка в газете?
 — Да, — говорит он, смеясь отчего-то, —
 Старшина ещё выдавал перед этим...
 — Перед чем?
 — Перед тем, как убежать мне из роты...

- Парень бросил окурок дрожащей рукою.
 — Ну, пора.
 — А куда ты?
 — Пойду до порога!
 Дом отцовский верну,
 кой-кого успокою,
 Всё напомню!..
 — Посидел бы немного!
 — Нет, пойду. Вы бы сняли шинели.
 И винтовки...
 — А что?
 — Немец может заметить.
 — Ну и что?
 — По ошибке прицелит.
 Вот учи вас. Сами будто бы дети...
 Я взглянул на Сергея. Он тоже
 На меня. И показал мне глазами.
 «Понимаю, — кивнул я, — понимаю, Серёжа. ..»

- Ну, пойду.
 — Посиди ещё с нами!
 Посиди ещё, — говорю я.
 И сразу —
 Бью его так, что шапка слетела.
 — Посиди! —
 Сергей подминает заразу
 И мы валим его безвольное тело.
 — Что вы! Братцы! — хрипит. —
 Не решайте!
 И слёзы бегут по его щекам ненавистным.
 — Мы не братья тебе!
 — Ты предатель! Предатель!
 — Братцы, жигы! —
 прошипел он со свистом.
 — Жить? — крикнул Серёжа. —
 Это слово не трогай,
 К жизни приходят не этой дорогой!

- Пшеница, шумя, поднимается снова.
 — Значит есть, значит здесь юни, наши!

Ты слышал, предатель?!
Но предатель — ни слова.

Мир осенний закатом окрашен.
Сумерки падают хлопьями на дорогу.
Мы идём к тебе, Родина,
чтобы выстоять вместе,
Чтобы в жизни — с тобой
путешествовать в ногу.
Дорога к жизни — лучшее из путешествий.

Тетрадь седьмая

Встреча

Мы проходим полем орловским.
Ночью Орёл обходили мы справа.
Над неубранным полем — рассвета полоски.
Кружатся птицы чернокрылой оравой.
Дороги, замешанные чернозёмом!
Ещё дымится догорающий элеватор.
Чёрный хлеб, дымный хлеб по дороге жуём мы,
По своей земле проходя воровато.

— Сегодня седьмое! Ноябрь!

В это утро
Мы революцию славили в наших колоннах.
И Ленин глядел спокойно и мудро
На Отчизну
с наших знамён окрылённых.
— А помнишь, — говорю я хмелея, —
С тобой мы ходили в колонне огромной,
На Красной площади
Сталин у мавзолея
Нас с тобой замечал. Может, лица запомнил.
Он на нас рассчитывал, может,
А мы с тобой идём где-то сбоку.
Голову ниже опускает Серёжа:
— Тяжело итти в направленье к востоку.

Мы проходим полем орловским.
Утро новое лужицами зазвенело.
И ноги постукивают глухо, как доски,
По дороге оледенелой.
Ветер гонит бумагу, гремит словно жостью.
— Лови, на цыгарки используем это..
— Это что, интересно?

— «Орловские вести».
На русском! За шестое! Газета!
— Ну что там? Что? —
задыхается сердце.

И как молния, упавшая рядом,
Чёрным шрифтом, как порохом:
— «Немцы
На Красной площади, седьмого, парадом...»

— Брежут, туманят мозги нашим людям..

— Пойдём, Серёжа.

— Подожди-ка, обсудим.

Мы сидим и сидим — и ни слова.

«Пойдём?! А куда?» — возникает упорно.

Но мы ногами постукиваем снова,

Чтоб тишина застоявшаяся не хватала за горло.

Ночь бесшумно захлопнула дверцы,

Звезда Полярная появляется сбоку.

Она лишь подсказывает тревожному сердцу —

Если спросишь: «Куда?» — отвечает: «К Востоку».

Девятое ноября нас в поле застало.

Мы засели в суслоне. Рана сочится.

Солнце осеннее появляется мало.

Печально прелая пахнет пшеница.

Горькая подкрадывается дремота.

Хорошо бы сейчас пробираться лесами!

Вьётся, не прерываясь, над нами

Звонкий голос одинокого самолёта.

— Если даже и так — будем двигаться вместе, —

Шепчет Серёжа, — мы пробьёмся к оружию!

Он комкает «Орловские вести»..

Самолёт всё позванивает по окружью.

И тут же застучала зенитка.

— Что такое? Самолёт средь разрывов.

— Наш! Это наш! Послушай — звенит как.

Немцы бьют, хорошо бы накрыл их!

Мы снопы раздвигаем.

— Дым пустил? Неужели..

— Нет, летит, просто в тучи закутан.

Уходит, уходит, видать еле-еле..

А туча стала раскачиваться парашютом.

— Так он к фашистам может спуститься!

Но парашют опять разрастается в тучу.

Я вижу, как разлетаются птицы.

— Это птицы, — говорю я, — вот случай!..

В небе пусто стало. Вот жалость.

Зенитки помалкивают. Ни звука, ни крика.

А птицы раскачиваются над нами, снижаясь.

— Стой, Серёжа!

Это листовки, смотри-ка!

Падают. Погляди, вон упала!

Мы выпрыгиваем из копны и — к дороге.

А сердце моё подпрыгивает как попало,

Я задыхаюсь от непонятной тревоги.

Мы бежим за крутящимися листьями,

Я листовку ловлю, как белую птицу.

И сразу в глаза мне — лицо родимое:

— Сталин!

— Сталин?

— Сталин!

Мы садимся в пшеницу.

Я медленно читаю, по слову,
 Эту весть, которая жизни дороже.
 — Москва!
 Сталин у мавзолея. Седьмого.
 — Речь на параде, — повторяет Серёжа.
 — «Товарищи красноармейцы...»
 — Пстой-ка,
 Сталин к нам обращается! —
 дрогнул голос Серёжин.
 — «...враг жестоко просчитался». — Жестоко!..
 — «...мы можем и должны победить...»
 — Слышишь, можем!
 — Садись, садись, Серёжа, — велю я, —
 Слушай, это жизнь к нам стучится!
 «Не так страшен чорт, как его малюют». —
 Мы столкнули свои горячие лица.
 — Значит, Алёша, наша армия близко!
 Товарищ Сталин нас ждёт. Торопиться нам надо!
 — Это верно, — вот прочти, здесь приписка:
 «Елец. Издательство «Орловская правда».
 «Орловская правда»!
 Значит — правда, Серёга!
 Кричу я и рву «Орловские вести».
 Нас ждут! Прямее веди нас, дорога!
 Дорога к правде — лучшее из путешествий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Тетрадь восьмая

Перелом

Год прошёл.
 К Сталинграду иду я, встревожен:
 — Мать и сестрёнка на Тракторном были.
 Что теперь?
 — Не волнуйся, — утешает Серёжа.
 — Знать бы — переправились, или...
 День и ночь
 к Сталинграду мы идём по Заволжью.
 К нам доносится грохот сквозь облако пыли.

 Ночью тучи закрыло,
 пламя по горизонту.
 — Сталинград! —
 Мы глядим, примостившись на крыше.
 В эту ночь мы пришли к сталинградскому фронту.
 Первый взвод батальона прямо к берегу вышел.

 Час на отдых нам.
 — Спать! — приказанье комбата.
 В дом стучимся. Темно в переполненном доме.
 — Сталинградские дети тут, тише, ребята.

— Дети?
 — Вот они, на полу, на соломе...
 Душным заревом взрывов полнеба объято,
 Гул разрывов доносится слева и справа.
 — Поднимайся!..
 — Нам нету дороги обратно!
 Сталинград! Сталинград!.. Город мой!..

Переправа...

.....

...Лет восьми

я узнал, что родился в России.
 Пастухом
 провожал я коров на рассвете,
 Мимо мира, где травы парные косили.
 Мне об этом шепнул набегающий ветер.
 И звёзды тогда рассыпались тут же,
 Под крышами нахохлились птицы,
 И я боялся бегать по лужам,
 Чтоб в небо

нечаянно

не провалиться.

А мне говорили, что неба немало!
 Что мир на России не сходится клином,
 И заграница предо мною витала
 Французскою булкою,

немецкой машиной...

Я не спал иногда, распалённый, в обиде,
 Тихонько сжимал я усталые веки,
 Чтобы только хоть не надолго увидеть
 Чужеземные страны, чужеводные реки...
 Но вражья каска в огороде ржавела,
 И сшили узду из трофейного ранца,
 И мне не нравилось рыжее тело,
 Гнилые зубы пленного иностранца.
 Ночи неясными снами грозили.

Думал я:

но родись на земле иностранной,
 Я б тогда ни за что не увидел России,
 Был бы я у чужих,

не увиделся б с мамой.

Я бы не бегал за телегой вдогонку,
 Не побывал бы на заревом сенокосе,
 Никогда не увидел бы нашу доёнку
 И свинцовые волны на Волге под осень.
 Я забывал в ту минуту охотно,
 Что сёстры мои — задиры и злючки,
 Что доёнка не слушается —

бегает к копнам,

А поле, если бежать, подставляет колючки.
 Я прощал это всё!

Забирался на крышу
 Смотреть, как закат опускается, розов:

Там мне ветер, тот что пшеницу колышет,
 Погладит голову, тихо высушит слёзы.
 Ветер тянет дымок,
 мне лицо утирает,
 Этот ветер степной. Он ответит, только спроси я:
 — А где я родился?—
 И ветер от края до края,
 От колоса к колосу шепчет:
 «Россия... Россия...»

В семнадцать, слепое волнение осилив,
 Шептал я косичке, закрученной туго:
 — Хорошо, что мы оба родились в России!
 Ведь мы же
 могли
 не увидеть друг друга!..

И я полюбил Россию, как маму.
 Полюбил,
 как любимую любят однажды,
 Полюбил,
 как парус, набитый ветрами,
 Как любят воду,
 умирая от жажды...

.
 Я глаза открываю, вижу чёрное небо.
 Голову кружит огненная дремота.
 Я проваливаюсь в тяжёлую небыль.
 Шум в ушах.
 — Не вставай!— мне командует кто-то.
 И тут же — разрыв бьёт песчаной волною.
 Хлещет вода, топит в тягостном громе...
 Снова тихо. Кто-то рядом со мною.
 — Что случилось?

 — Бомбой нас, на пароме...
 Я — Руденко Семён, из вашего взвода.
 Ты ранен. Тонул. Прямо там, у парома.
 Я доску поймал, помогал вот — Нехода.
 На доске мы приплыли. Вот мы и дома...
 Мы лежим на песке.
 Волны падают в ноги.
 — Подожди-ка, сейчас приведут санитаря.
 — Где Серёжа?— закричал я в трезоге.
 В рот мне хлынула гарь бомбового удара.

Я трюгаю лоб:— Да, заметная ранка!..
 — Фронт второй открываю,—
 сообщает Нехода.
 У него на коленях консервная банка.
 — Ишь, рисунок! Смотрите — подходящая морда!
 — Это автопортрет,— произносит Серёжа.
 — Что ж, воюет союзник, торгует тихонько.
 Где свининой, где свинством...
 — Да, личность похожа,
 Тут и надпись, смотри-ка: «Свиная душонка»...

Серёжа нашёл нас тогда, в том ненастье.
Через неделю я отлежался в санчасти.

.

Я за домом слежу, за обломками лёжа.
Двадцать девятое октября.— Что за дата?
Не знаешь ты, случайно, Серёжа?

— День рождения твой! Вот забыл, голова-то!

— Двадцать четыре, молодость человека!

Двадцать четыре.

Мы становимся старше.

Середина двадцатого века.

Продолжается путешествие наше.

День рождения первый —

попыаают зарницы,

Двадцать четвёртый —

продолжается канонада.

Первый день —

побеждает Царицын,

Двадцать четвёртый —

битва у Сталинграда.

— Вот судьба!— Ребята вздохнули:

Двадцать четыре огненных года!

Двадцать четыре — ударяются пули.

Двадцать четыре...

— Посмотри-ка, Нехода!

— Идут, — говорит он, — поднимайтесь, ребята!

Мы через улицу перебегаем рывками.

Двадцать четыре — выхлопывают гранаты.

И пули то же высвистывают о камень.

— Там вон клён у обрыва водою подмыло,

Я когда-то ходил тут в любви признаваться.

Серёжа спросил:— А давно это было?

— Двадцать четыре минус восемь —

шестнадцать!

— Как же ты день рожденья забыл, голова ты!

Что ж, пожелаю многие лета...

Двадцать четыре!— обрывают гранаты,

Двадцать четыре!—

выплёскивает ракета.

Взвод наш испытанный рассыпан не густо.

— Ну, вперед! Ну, ещё! Поднимайся, Алёша,

Шепчет Серёжа мне.

Я разделся, но груз-то —

Станок пулемётный — не лёгкая ноша.

Слева Нехода бежит с автоматом,

— Ура-а-а!

И зигзагами

приближается к дому.

Взводный крикнул:— Вперёд!

И рванулись ребята,

И бежим мы по кирпичному лому.

Дом гудит.

Мы — по лестницам, пробивая дорогу.
Наш пулемёт в оконном проёме.
К фашистам не пускает подмогу.
Вот опять.— Начинай!— Я командую Семё...
Площадь Девятого января — на ладони.
Фашисты перебегают, припадают — и снова
Встали.

Сёма открывает огонь — и
Площадь пенится от огня навесного.
— Вот так-так! День рожденья!—
Сверху прыгнул Нехода,—
Из-за этого стоило, пожалуй, родиться!
Ключевую позицию заняли с ходу,
Слышали? Благодарит нас Родимцев...

Танки!— крикнул Нехода — и вниз куда-то.
Да, два танка выходят на нас от вокзала.
Сердце дрогнуло.

— Не отступим, ребята!—
Голос Серёжи гулом пушек связало.
Кирпичные брызги прынули в спину,
Пыль окутала всё. Сквозь просветы —
Танки вижу. Вижу немцев лавину.
— Бей, Руденко, пора!

Он молчит.

— Сёма, где ты!..

Он свалился к стене. Я ложусь к пулемёту,
Вижу —

минный разрыв распластал гусеницу.
Мой огонь уложил на булыжник пехоту.
Танк горящий на месте продолжает кружиться.
А от дома — на площадь «ура» полетело.
Танк второй повернул — и назад.

— Сёма, Сёма!

Я к стене привалил онемевшее тело.

— Стой, я сам. Отошли?!

— Нет, на месте мы, дома...

Ночь неожиданно на землю упала.

Собрались мы, Семёму перевязали.

— Ну, что же,

Сколько нас?

— Десять с Семёю.

— Мало.

Взводный умер. Нас мало. Командуй, Серёжа.

— Что же делать? Нас мало. Начнётся с рассвета.

— Что ты? — вспыхнул Сергей. —

Нас почти что полвзвода...

Я чувствую сердцем тепло партбилета.

— Здесь есть коммунисты!— поднялся Нехода.

День за днём.

День за днём

мы живём в этом доме.

Мы живём!
 И фашисты не вырвутся к Волге!
 День за днём
 мы живём в этом яростном громе,
 И не могут нас выбить фашистские волки!

Ночью седьмого — ноябрьская стужа.
 Я вышел на смену продрогшему Сёме.
 Улёгся у пулемёта, снаружи.
 Ветер холодный насвистывает в проёме...

...Я люблю тебя,— говорил я, краснея,
 Прямо в ухо, маленький локон отбросив.
 И луна поднимается над водою,
 Чтоб увидеть,
 как начинается осень.
 Клён повис над потемневшим обрывом.
 Листья падают, не могу их собрать я.
 А ветер, набегая порывом,
 Трогает шелестящее платье.
 — Нет, ты взгляни, как красиво!—
 А ветер всё набегает с размаха, —
 Мы могли не увидаться, скажи-ка на милость!—
 Гсзрю я и замираю от страха.

Выстрелы вспыхнули.
 Вижу, что-то маячит...
 — Стой!
 — Свои мы!
 — Проходите по следу...
 Сколько вас? Отделение? Пополнение, значит!
 — Мы приказ принесли,
 есть приказ на победу!..
 Мы укрылись плащпалаткой крылатой,
 Зажигалку я чиркнул движением верным.
 — Седьмое Приказ вот. Трёхсот сорок пятый...
 Мы друг к другу прижались,
 как тогда, в сорок первом.
 — «Товарищи...»
 К нам обращается Сталин!
 Поздравляет с двадцатипятилетием Отчизны!
 «Враг остановлен...»
 В этом доме мы стали!
 Врага сокрушить — это главное в жизни.
 Понимаете, Сталин сказал! Значит будет!
 Значит план уже есть, слово Сталина свято.
 Сталинград — мир для мира добудет!
 Разбудите парторга Неходу, ребята...

В ноябре — ветер вьётся неистов,
 В декабре —
 пальцы греет ствол автомата.

В январе...

— Мы тебя отстоим от фашистов,
Сталинград наш!..

— Наступление, ребята!

Вода снеговая в неостывших воронках.
Фашистские трупы падают на мостовые,
А лёд на Волге потрескивает звонко,
Чтобы волжскую воду не увидели живые.
— Ого! Январь! Весёлая вьюга!
Мы вглядываемся в похудевшие лица —
И смеёмся, узнавая друг друга,
Как будто бы выписались из больницы..

К станции Котлубань выезжает машина.
— Четыре ноль-ноль. Что-то нет их, ребята.
— Значит ждёт их другая кончина,
Раз не явились принимать ультиматум...
Артиллерия грянула сразу, —
Не попадает камень на камень,
Не попадает зуб на зуб,
И в рукава не попадают руками.
И пошли мы обжигающим валом,
Волной израненной, но живою,
Пока не выполз из штабного подвала
Фон Паулюс —

и руки над головою,
Пока, прихрамывая, нарушители мира
Не потекли по городу вереницей,
Без строя, не соблюдая ранжира,
Опуская почерневшие лица.

Мы с Серёжей у Тракторного завода.
Где Мечётка пробирается в иле,
Для того, чтобы перед новым походом
Маленькой поклониться могиле.

— Мама моя. Я с тобой не увижусь,
Я не предвидел опасением детским,
Что иная земля пододвинется ближе,
Чтоб разлучить нас

фугаской

немецкой.

Я становлюсь перед могилою на колени.
— Мама, мне рассказать тебе надо —
Выходит с оружием моё поколение
В наступление от стен Сталинграда.
Мама моя, — говорю я, склоняясь, —
Мы не уроним нашей воинской чести!

Прощай, моя мама!

Мы уходим, равняясь.
Дорога к миру — лучшее из путешествий!

*Тетрадь девятая***Прощание с Серёжей**

— Ну, Алёша!

— До свиданья, мой милый..

Серёжа, не расставались ни разу.
Что же делать. Время нас научило
Подчиняться боевому приказу.

— До свиданья!— повторяет Серёжа.
А сами не верим ещё в расставанье
И отвернуться друг от друга не можем,
Для того чтоб меж нами легли расстоянья.

— Ты помнишь Селезнёву мамашу?

— А учитель Остужев, следит он за нами?

— Они ведь победу отпразднуют нашу.

Мы выдержали сталинградский экзамен!

Из штаба мы выходим ватагой
И говорим притихшими голосами,
А ветер перебирает наши бумаги,
Чтобы развеять разноголосицу предписаний.

— Ты теперь не забудь без меня этой даты.

— Даты какой?

— Не запомнишь, едва ли:

Двадцать девятое октября! Голова ты...

— День рождения! Так и не пировали...

Ветер щёки надувает всё туже,
Старается так, что птицы смеются,
А он всё дует на прозрачные лужи,
Как будто чай попивает из блюда.

— Будьте дружнее, — наставляет Серёжа.

— Учиться не время...

— Объясни им, Нехода,

Сталин шлёт, значит танки нужны! Я бы тоже
С вами поехал...

— Не отпустят из взвода.

— Алёша, ты пиши, между прочим,
С Неходой и Семой веселее вам вместе.

— Но Сёма беспокоится очень

О своей кировоградской невесте,—

Пошутил я неуместно и грубо.

— Ну, не сердись. Ты ведь любишь? Чего же!

— В Кировограде будет встречать тебя Люба,

Вот увидишь,— обнял Сему Серёжа.

— Ну, Алёша, я тебя не забуду.

Много пройдено вместе!

Он подал мне руку.

— Но ничего, враг один у нас всюду.

Это тоже нам облегчит разлуку.

Как говорится:

друг мне мой дорог,

Но и к врагу я прислушаюсь тоже:
 Дружески скажет мне друг, что могу я;
 Враг же научит тому, что я должен.
 Да, враг научил нас!

Ну, до свиданья!
 До встречи в отвоеванном мире,
 До радости, обновлённой страданьем,
 До пира на московской квартире.
 — Дай руку. Прощаемся. Что же,
 В день мира сойдутся пути наши вместе.

— Давай поцелуемся.
 — До свиданья, Серёжа.

Дорога к миру —
 лучшее из путешествий.

Тетрадь десятая

Прохоровка

В Курской области за Обоянью
 Есть станция Прохоровка у мелового завода.
 Мы запомнили это название
 Летом сорок третьего года.
 Лето развернулось на диво
 В зелени пашен и перелесков,
 И стрижи трепещут пугливо
 Над мотоциклом, пролетающим с треском
 Дорога боевая пылится
 Под гусеницами машин многотонных.
 Заглядывая в почерневшие лица,
 Солнце поворачивается, как подсолнух.

Соль на гимнастёрках в июле,
 Травы, обожжённые летом,
 Птица, подражавшая пуле,
 Бабочка над лужком многоцветным.
 Яблоки, поджидавшие сбора,
 Картошка с нового огорода,
 На кухне—торжество помидора
 Розового, как лицо у начпрода.

А танки всё продвигаются наши,
 Механики неподступны и строги,
 И командиры, примостившись у башен,
 Помогают им разобраться в дороге.
 Легковые идут вереницей,
 Грузовики разгуделись, как пчёлы,
 Везут автоматчиков и пехотинцев,
 В пыли похожих на мукомолов.
 «Мессера» пролетают над нами
 Так, что трава становится на колени.
 Мы теперь видим своими глазами,
 Что фашисты повели наступленье.

Солнце боевое восходит,
 Земля за клубилась в громе и гуле.
 Вместе с нами в великом походе
 Россия дорогая, в июле.
 Да здравствует бой за правое дело!
 Дым от брони поднимается горький,
 Солнце запалённое село
 На белые гусеницы «тридцатьчетвёрки».

— Где-то теперь наш Серёжа? —
 Вздыхая, говорю я негромко.
 — Может, в засаде где-нибудь тоже,
 Как мы с тобой, — улыбается Сёмка.

Я к пушке подвигаюсь поближе
 И к люку пропускаю башнёра.
 Сёма выглядывает.
 — Я вижу!..
 — Видишь?
 — Вижу!
 — Почему же так скоро?
 Я в прицеле их бока различаю.
 Вот они. Вот у нашей засады
 Двигутся грохоча... и —
 Выстрел опрокинулся рядом.
 И снова, распарывая воздух,
 Броненосец наш пламенем облизнулся.
 И ещё раз зажигательный, как ракета,
 К «тигру» оранжевому прикоснулся.

— Посмотрите, ребята, дымится!
 — Ого! И этот загорелся, ребята!

И застыли тяжёлые гусеницы
 Двух «тигров», раскрашенных в цвет заката.

Третий раз поднимается солнце над полем,
 Враг бросается с отчаянным рёвом,
 А мы всей силой, напряжением воли
 Ударом отзываемся новым.

Вчера сгорела наша машина.
 Не стало радиста—бойца Сталинграда.
 Сегодня — на новой — вот у этой лоцины,
 Мы ответили, расколов «фердинанда».
 Мы сидим у машины. На шею, за ворот
 Муравьи наползают. Затихло...

— Идём-ка
 «Фердинанда» посмотрим, удобно распорот...
 Вот убитый фашист.

— Это ты его, Сёмка!
 — Нет, это ты. Это тот, что из люка
 Обливал нас свинцом, сам огнём ошарашен.
 Возьмём документы, пожалуй. А ну-ка.
 Нужны они, может, разведчикам нашим...

— А вот фотокарточка!
Девушка в грусти..
Стой-ка: «Кировоград»..
Надпись русская с краю..
— Дай-ка мне, — просит Сёма, —
мы её не упустим!
Я найду её. Дай-ка, может узнаю!
— Кто? — спросил я и заглох на вопросе.
С трудом разводя побелевшие губы,
Сёма имя, знакомое мне, произносит.
— Люба?.. Это она!..
Фотокарточка Любы..

Он уходит, шатаясь, к убитому в поле.
— Сёма! — кричу я, — не ходи туда, Сёмка!
Я его догоняю. Он стонет от боли.
— Вот измена её, — говорит он негромко.
Он смотрит на фото:
— Лицо мне знакомо..
Что же это, Алёша! — шепчет он, замирая.
— Ты порви это, ты забудь это, Сёма!..

В дыме,
в грохоте поле —
от края до края.
День четвёртый мы начинаем атакой.
Жара поднимается. Расстегнув гимнастёрки,
Мы срослись с нашим мчащимся танком,
С грохотом нашей «тридцатьчетвёрки».

И вот,
пятнадцатого июля,
Уползая на передавленных лапах,
Враг разбитый покатился, ссутулясь,
От Прохоровки, направляясь на запад.
О, солнце после душного дыма,
Шаг по направленью к победе!
Фашист, убитый на поле любимом!
«Тридцатьчетвёрка», на которой мы едем!

Нехода кричит:
— Ничего, будет время —
Вернёмся мы к миру, опалённые дымом,
И процесс показательный устроим над теми,
Над теми, кто изменяет любимым.
Нас полюбят! Мы красивые, Сёмка! —
Говорит он. —
Научились мы драться!
Ведь это наша с тобой работёнка!..
И Сёма пробует улыбаться.

Командующий, наблюдая за нами,
Очки снимает, чтоб глаза отдохнули.
Усталыми улыбаясь глазами,
Выпрямляется на брезентовом стуле.

Когда же
 запад затушёвывается закатом,
 И восток поворачивается к восходу,
 Он, смиренно став перед аппаратом,
 Докладывает о сраженьи народу.
 А мы —
 по машинам!..
 Нам лучшей не надо
 Команды! Развернулись мы круто.
 — Вперёд! — Это лучшая боевая команда,
 Когда мы знаем, что Отчизна — в салютах.

Тетрадь одиннадцатая

Дорога

Июль неистовствует на исходе,
 Солнце готово вскипятить водоёмы.
 Воротники расстёгивая в походе,
 По Украине раскалённой идём мы.
 Пшеница кивает нам колосками,
 Усики по ветру растопырив,
 И шепчёт: «Посмотрите-ка сами,
 Как я изранена остриями разрывов».
 Птицы кричат нам:
 «Проходите скорее —
 Видите, некуда нам опуститься».
 И мы спешим. Запылились и загорели
 Наши похудевшие лица.
 А ветер, срываясь с прикола,
 Толкает нас с небывалою силой.
 Дом помахивает вывеской:
 «Тише! Школа!»
 И мы уходим, чтоб тишина наступила.
 — Спешите! — нам кричат перелески.
 — К миру! — зовёт нас пожарища запах.
 И Лопань в серебряном переплеске
 Повторяет нам: «На запад, на запад!».

Белгород уже дышит свободно,
 Но бой к нему ещё доносится глухо,
 А мы теперь прорываемся с ходу,
 Сразу — в Золочев и Богодухов.
 В августе, сманевривав ночью,
 В тылу врага появляясь неожиданно,
 Занял станцию Золочев
 Танковый батальон Гарибьяна.
 Выстрел наш поднял по тревоге
 Фашистов полусонное стадо.
 «Тигры», зажжённые вдоль дороги
 Огнём подкалиберного снаряда!
 Самолётами перечёркнуто солнце,
 В траву бы запрятать обожжённые лица,

Воды холодной зачерпнуть из колодца,
И вперёд,
 чтобы не дать закрепиться.
Пленные потрескавшимися губами
«Капут» выговаривают пугливо,
Но мёртвые, распластавшись рядами,
Высказываются более красноречиво.

Истомлённые травы,
 замирая от света,
Встают, выпрямляя онемевшие ножки,
Узнать,
 как проходим мы среди горячего лета,
И аплодируют в крохотные ладошки..
Вот и сосны закачались от ветра.
В зелени совхозов и парков,
От нас на двенадцатом километре
Завиднелся ожидающий Харьков.

Тетрадь двенадцатая

Тамара

— Я ничего не подозревала, ни капли.
Потом прибежали подруги. И тут-то
О войне я узнала. О том, что напали.
Мы все собрались во дворе института.
Потом проводили ребят. На вокзале
Стеснялись других.

 Не простились мы толком,
Друг другу чего-то недосказали.
Не верили, что расstaёмся надолго.
— Рассказывайте, Тамара...

— А вскоре

На окопы уехали всем факультетом.
Роем землю и чувствуем — надвигается горе...
Гул боёв нарастает под небом нагретым.
Сначала бомбёжки пошли — было жутко!
И не успели мы оглядеться,
Как танки полезли, и в промежутках —
Мотоциклы.

 Мы увидели:

 немцы!

Мы в окопы попрыгали тут же.
Кто — в лес. Попрягались за деревья.
Кто за то, чтоб дорогой, — а то будет хуже.
Мы с Зиной и Тосей — скорее в деревню..
— А когда, — говорю я, — это было, Тамара?
— В октябре.
Передо мною поплыли
Первый бой, Вася, скрученный жаром..
— Вы о чём?

 — Я припомнил, где мы тогда были.

— Расскажите!

— Потом, — говорю я несмело.
И чувствую, как на щеках загораются пятна.
— А мы, понимаете, прошлое дело,
Идём и ругаемся: «Где же наши ребята?»...
Однажды идём мимо дома —
Открывается дверь. И мы видим, что вышел...
«Хальт!» — Мы встали. Подошёл, как к знакомым,
Поклонился. Мы стоим и не дышим.
«Гутен таг!.. Вы куда?..»

Мы в ответ — по-немецки.

Он тоже на Харьков, с машиной, поверьте.
Он в кабину. Мы в кузов. Летят перелески.
Зинка шепчет дорогой:

«Культурные, черти»...

— А что с ней теперь?

— Это с кем?

— С этой Зиной?

— Потом расскажу я...

На этой трёхтонке

Приехали в Харьков. И прямо с машиной —
Во двор незнакомый.

Слезают девчонки.

Смотрим — тут немцев целое стадо.
Один мне в плечо ухитрился вцепиться,
Я вывернулась —

и в ворота от гада.

Тоська — тоже...

— А та не бежала от фрица? —

Сёма спрашивает бледнея,
И за руку берёт её грубо...

— Понимаешь, Тамара, дело не в ней, а...
В Кировограде была у него такая же...

Люба...

— Какая — такая же? — спрашивает Тома.

— Ну, я потом! — говорю, — продолжайте...

— Зину сцапал один, привязался до дома,
Там на суд комсомольский
попал провожатый.

...Здесь, на Рыбной у нас,

за высоким забором

Недалёко тут, дома через четыре,
Немцы гараж устроили скоро.
Шофёр в ноябре у нас стал на квартире.
Глаза сначала всё прятал под брови,
Не разговаривал.

Но однажды, представьте,

Открыл, что зовут его Павел Петрович,
В плен попал...

Сёма крикнул: — Предатель!

Я опять усаживаю Сёмку.

— Да, — продолжает Тамара, —
но всё это после,
А сначала ухаживал потихоньку,
Говорил, что не пропаду, что легко с ним.
А я всё молчала. Я боялась вначале.
Убежать? Но куда? По дороге бы сцапал.
А он всё нахальней, словно немец, начальник!
Он работал на машине гестапо —
Вешалка наша в вещах потонула.
Откуда он брал их? Грабежом или обманом?
Пальто привёз однажды. Толкнуло
Меня как будто: «Посмотри по карманам».
И вот что нашла я — храню. Это память.
Читайте!

Я взял у Тамары листочек.
«Товарищи! Что же делают с нами?
Прощайте, на расстрел повезут этой ночью.
Скажите маме — Полевая, одиннадцать —
Что сил больше нет. Я уже не живая.
Прощайте, друзья!

Ларионова Зина».

Зина! — мы задохнулись, вставая...

— Убить бы его, но свои не велели:
У меня собиралось бюро комитета.
Свюдки наши на заборах белели,
Мы расклеивали их до рассвета.
Воззвание подготовили к маю...
Деньги, гад, приносил: — Не надумала? Мало?
Или ждёшь комсомольца? Не придёт, я же знаю.
«Трусит» — видела я и молчала.
В мае пошла я для связи в Полтаву,
Сделала вид, что на менку, за хлебом.
Но дорогой мы попали в облаву —
И закрыли от нас родимое небо.
Теплушки потащили нас к аду,
В Нюрнберг. Там нас тысяча с лишком.
Нас продавали, выписывали по наряду.
Словом — рабы, как читали мы в книжках.
Я и рассказывать не буду про это,
Просто жить не хотелось на свете...

Харьков спит ещё. Пролетела комета.
«Умер кто-то», — вспомнил я о примете.

— Ты устала, — говорю я, — Тамара?
— Я нет. Вы с дороги, ребята,
Давайте чаёвничать у самовара.
Сколько времени? Спать хотите, а я-то...
— Нет, — говорю я, — Тамара, чайку бы!
Сёма тоже: — Конечно, Тамара.
Сами смотрим на Тамарины губы,
Отражённые в боку самовара.
«Если б мог я оградить тебя от удара!» —
Думаю я, —
если б Вася был с нами!

Не рассказал я.. Узнаешь — горю не поддавайся!
 Если бы перемениться могли мы местами —
 Я остался бы там, а вернулся бы Вася!..»

— А помните, как мы жили, бывало?
 Даже сердиться не умели — не так ли?
 В нас любовь к человечеству бушевала,
 Воевать мы не хотели ни капли.
 Суд судил за оскорбление словом.
 Только затронь нас! — образумишься мигом.
 Мы верили людям, к нападенью готовым,
 Пактам дружбы, даже жалобным книгам!
 Когда напали вероломно и низко,
 Я увидела, как бьют человека.
 По щекам меня отхлестала фашистка,
 Сделав рабой в середине двадцатого века.
 Ценою жизни

до оружия добраться
 Решила я. День наметила.

Вскоре

Хозяйка моя шумно встретила братца —
 Фронтовик на побывке, Эгонт Кнорре.
 — Эгонт? Постой, ты не ослышалась, Тома?
 — Нет.
 — А какой он?
 — Ну, высокого роста..
 Почему вы спросили?
 — Имя что-то знакомо.
 Продолжайте. Совпадение просто...

«Эгонт! — думал я, и застучало сердце,
 Я вспоминаю сутуловатую тушу,
 Когда нам к фашистам удалось приглядеться,
 Впервые проникнуть в их преступную душу.
 Это не он ли был в октябре у сарая?
 «Эгонт!» —

Вася кричал, в лихорадке сгорая..

— ...Гости от радости били посуду.
 Эгонт расписывал Брянщину. Гости просили:
 — Нам — местечко!
 — Я своих не забуду!
 Только рабов для себя оставим в России...

Три месяца шла,

и хотела одно я —

Слиться с Отчизной. Неведомой силой
 Влекло сквозь кордоны на поле родное,
 Слёзы хоть выплакать родине милой.
 Не помню, как вышла из огненной пасти,
 Вы — с востока. Я — с запада, вот мы и вместе.

Любимая Родина — благослови нас на счастье!
 Путешествие к Родине — лучшее из путешествий!

Тетрадь тринадцатая

Осень

Ещё два месяца пролетело.
 После Харькова, уже свободна Полтава.
 Земля оделась листвою, пожелтела.
 Днепр осенний, паромная переправа.
 Висит над водой дымовая завеса.
 Танки движутся пловучей дорогой,
 Сваливаются с берегового отвеса —
 В бой внезапный за Мишуриным Рогом.
 Солнце появляется реже,
 Тучи провисли от тяжёлого груза,
 Осыпается дождик над правобережьем,
 Коченеет необранная кукуруза.
 Встают по утрам холодные зори.
 Иней покрывает замороженные травы.
 И туман раскинулся морем,
 Покачиваясь над берегом правым.

За головы крыш ухватились хаты
 И причитают над кромешной воронкой.
 Камышевые вьюсы пожаром объаты.
 О, горе матери в голосе звонком!
 К смятым заборам прижимаются дети,
 Красноногие, как утята.
 Немецкие пятитонки — в кювете
 Перевернуты и не выйдут обратно.
 В грязь окунув посиневшие уши,
 Фашисты лежат, застилая пригорок,
 Как будто расположились подслушать
 Походку наших «тридцатьчетвёрок».
 «Тигр» молчит, краснея от злобы,
 Уже ржавеет, дождями освистан.
 Как руку, завернул он свой хобот,
 Как будто решил

покончить самоубийством.

А мы, измазанные как черти,
 Прорываемся невероятным порывом
 И вопрос о жизни и смерти
 Откладываем на послевоенный период.
 Торопимся уйти от морозов,
 Закуриваем от схватки до схватки.
 Зато уже голосами паровозов
 Разбужена станция Пятихатки.
 Высокие стрелы вышек стреножив,
 Ожидая трудовое гуденье,
 Встречают нас рудники Криворожья,
 Мирных строек месторождение.

Заря поднимается узенькой кромкой.
 Октябрь на исходе. Просыпается роща.
 Мы на танке устроились с Сёмкой,
 И морозец нас изучает наощупь.

Листья слетают. Скажи-ка на милость!
 — Это осень, — говорю я ребятам.
 Вдохну — как запахла!
 Взгляну — как она засветилась!
 Как сосновая щепка, пронизанная закатом.
 Вот и осень, — говорю я себе, — не вечен
 Тот закат.

Даже листья прокружатся мимо.
 Осень, осень, тобою отмечен
 Каждый шаг расстоянья между мной и любимой!
 Вот и осень, оказывается, наступила!
 Значит, пора. Чему пора? — непонятно.
 Я иду и иду на свиданье с милой.
 Это в Харькове я возвращаюсь обратно.
 Здравствуй, Тамара!
 Мне не расстаться с такою. —
 Нам по жизни пойти не вдвоём бы, а вместе!
 Ты — моё притяжение, умноженное тоскою.
 И дорога к тебе — лучшее из путешествий!
 Сосны шумят, раскачиваясь от усилий
 Развеять моё одиночество из состраданья,
 И гуси расправили жёсткие крылья
 Для того, чтобы сократить расстоянья.
 Я палкой стучу по деревьям:

— Откройте!

Видите — я очарован осенью ранней.
 Но падают листья — сталкиваются, знакомясь
 И дальше кружатся стайей воспоминаний.
 Да это не листья — ладони твои, конечно!
 Это руки твои, Тамара, зовут издалёка.
 Где закат? Это ты загорелась навечно!
 Журавли полетели?

Нет, это я улетаю, до срока.

Листья летят.
 Всё вокруг закружилось,
 Осень шествует по травам примятым.
 Вдохну — как запахла!
 Взгляну — как она засветилась!
 Как сосновая щепка, пронизанная закатом..

— Ты чего зажурился? — спрашивает Сёмка, —
 Завтра праздник знаменательный встретим!
 — Праздник? Какой?

— Ты забыл, значит. Вот как?
 Двадцать девятое октября. Двадцатипятилетье!
 День рождения! Вот забыл, голова-то!
 — Двадцать пять! — говорю я. — Хорошая школа.
 Как же тебе запомнилась дата?
 — Ну, ещё бы не помнить юбилей комсомола!
 — Вот так-так! Совпаденье!

Даже возрастом схожи!
 Двадцать пять комсомолу —
 и мне, между прочим.
 Как жалко — нету с нами Серёжи.

Он не знает об этом.

Интересно уж очень!..

— А мне двадцать два будет скоро.

Поговорить мне хотелось с тобою...

— Что случилось? Время для разговора...

— Я хочу коммунистом стать
к новому бою.

Я прошу, чтобы ты поручился, дал руку,

Чтобы всё рассказал мне, как надо,

Ведь тебе же известна, как другу,

Моя биография от Сталинграда.

«Знаю твою биографию, Сёма, —

Думаю я, — биографию века.

Биография эта Отчизне знакома,

Всему поколению, до одного человека.

О, поколение наше с оружием!

Комсомольцы, проверенные в атаках!»

Мы за башню завернули от стужи,

Согреваемся дыханием танка.

Комсорг подходит с тетрадкой синей.

— Привет! Принимаю комсомольские взносы.

— За октябрь? Хорошо! А скоро мы двинем?

— А готовы? — он отвечает вопросом.

Сёма взял свой билет голубой

с силуэтом Ленина.

— Товарищ комсорг, взгляните, —

и показывает страницу,

Где Сёмина карточка кем-то приклеена, —

Похож я? Странно! Не успел измениться!

А это, товарищ комсорг, —

говорит он степенней, —

Моя биография здесь описана чисто:

От сентября к сентябрю —

вписаны числа стипендий,

От сорок второго — содержание танкиста!

— Это так, биография, — говорит Одинокоев, —

Посмотри — вот билет, разверните страницы.

Это пуля прошла.

Вот — от крови намокло.

Вот биография, которой можно гордиться!

Тогда я с танка спрыгиваю, как с откоса,

Иней стираю с брони — он искрится,

И надпись читаю:

«Комсомолец Матросов».

Вот биография, которой можно гордиться!

Сёма, ты слышишь, я был с тобою вместе.

Нам с тобою в боях довелось породниться.

За тебя перед партией отвечаю по чести.

Твоя биография — ею можно гордиться!

Вот-вот тишина от удивления ахнет.

Дождь линует в косую линейку и мочит.

Танк наш теплом и спокойствием дышит.
— Двадцать пять комсомолу!

И мне, между прочим.
Двадцать пять! — восклицаю я громче. —
Ты слышишь, выхожу я из школы.
Мой комсомольский возраст окончен.
— Знаешь, хорошо бы быть комсомолом!
— Почему это, Сёма?

— А просто:
Мы — всё старше становимся, строже.
А сколько ни живи он — хоть до ста,
Всё равно он — Союз молодёжи!
И юностью всё равно он украшен,
Как флагами, на первомайском параде.
И песни также будут на марше,
И молодость в физкультурном наряде.
И праздновать будут столетье
Юности белозубой и крепконогой.
Никогда не доведётся стареть ей
И вздыхать перед далёкой дорогой.
Юность, ещё неокрепшие руки!
Путешествие дорогою ранней.
Веснушки на щеке у подруги,
Вдохновенье комсомольских собраний.
Юность — знаменосцем у первая!
Сила в неостывающем теле!
Первое «люблю», задыхаясь,
Первый раз — в красноармейской шинели!

Ахнула тишина, раскололась,
Наш танк сияет бронированным лоскутом.
Над рекой Ингулец его орудия голос
Раскатывается на тысячи подголосков.
— Сёма! — кричу я. —

Я подумал о многом,
За тебя я ручаюсь на огненном поле...

Мужеству нашему —
двигаться с партией в ногу!
Юности нашей — вечно жить в комсомоле!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Тетрадь четырнадцатая

Враги

— Да читай ты погромче —
не слышу ни слова! —

Сержусь я, —
дальше, на обороте...

Нехода старается, но ребята все снова
Загораются гневом.

— Ребята, стойте!
— Нет, ты послушай этого вора!

Чёрным по белому написано на бумаге,
Так и ответил на вопрос прокурора:
«Да, я делал посадку в «газлаген».
— А этот, что работал у Гесса!
— Тише, читаю!
Мне становится жарко.
«Продолжение Харьковского процесса.
ТАСС. Утреннее заседание. Харьков».

Декабрь осыпается снегом.
И ветер в снежки разыгрался с берёзой.
Как он замахнулся,
 как закрутился с разбега,
Остановился, предупреждённый угрозой.
Потом он принимается снова
За беготню. Он играет в пятнашки,
Снегом бросил по пути в часового
И мне заглянул за ворот рубашки.
Ему не терпится сделаться бурей,
Чтобы устроить карусель снеговую,
Но слаб ветерок, немного набедокурив,
Свой хвост начинает ловить вкруговую.

После Знаменки наша бригада
Продолжает всё вперёд продвигаться.
Наши танки у самого Кировограда,
Бригада скоро будет кировоградской.
Сёма дошёл до родимого места.
Волнуется. И меня беспокоит всё это.
Мне кажется — его онемеченная невеста
Будет снова расцелована и согрета.
— Как же это, — говорит он мне часто. —
К ней — моё путешествие начиналось.
С ней — моё представленье о счастье,
С нею связана каждая милая малость.

Декабрь сильнее пробирает морозом,
Синеют снеговые просторы.
Сумерки ткнут покрывала берёзам,
Водители прогревают моторы...

Прокурор: «С чем из школьного класса
Вышли вы в жизнь? Расскажите-ка вратце».
Ганс Риц: «Нас учили: как низшая раса,
Русские нами могут уничтожаться...»
— Вот как! Слышите! —

 останавливается водитель.

Возмущенье наше закипает по кругу:
Вот вам наука фашизма, глядите...
— Нам бы прислали для допроса, зверюгу!..
— Чтение продолжаю! Молчите!

Фашист, познавший ученье о расе,
Почему же твой школьный учитель
Не сказал тебе, что я не согласен?!

Меня учили быть достойною сменой
 Труда и свободы. Культурой гордиться.
 Тебя учили: ты — владыка вселенной,
 Чтоб взламывал ты чужие границы.
 Мать тебя проводила не близко,
 Только чтобы мою ты сделал рабыней.
 И любимая твоя погнала тебя с визгом,
 Чтобы я не увиделся со своею любимой.
 Ганс Риц,
 Ведь они же плакали, дети.
 «Мы к дяде поедем!» — Ты придумал им сказку,
 А сам расстреливал их на рассвете.
 Они умирали, запечатлев тебя в глазках.
 Ганс Риц, ты забыл в ту минуту,
 Что и я взял оружие опытными руками.
 И мы сбились, поворачиваясь круто —
 Ты и я,
 Вы и мы.
 Так мы стали врагами.

А ветер опять за своё —
 не сидится!
 Снег из-под танка выметает он с гулом,
 В щель смотровую с налёта стремится,
 Дует в орудийное дуло.

Нехода читает показанья арийца.
 Ребята молчат, слились воедино,
 Решимостью дышат их суровые лица:
 Быть фашизму на скамье подсудимых!
 За все преступления перед миром ответит,
 От возмездия не уйдёт поджигатель!
 Сёма опять приникает к газете:
 «Допрашивается шофёр душегубки...»

— Предатель?!
 В сердце какой-то догадкой кольнуло.
 Память мучительно перечисляет страницы.
 И сердце, поворачиваясь, отзывается гулом:
 Знакомое имя!

Что могло бы случиться?..
 (Харьков.
 Да, это верно, но что же?
 Предатель, шофёр?)

Нет, не помню такого!
 А память тасует: похоже, похоже!..
 Харьков. Тамара. Знакомо. Знакомо...

Прокурор: «Расскажите, подсудимый, о цели
 Ваших частых поездок за город».

Подсудимый: «Мне в гестапо велели
 На расстрелы возить. Я работал шофёром».

Прокурор: «Вам платили за это?»

Подсудимый: «Платили мне семьдесят марок».

(А память моя озаряется светом:
 Ночью в Харькове. Мы с Семёном. Тамара.
 «Сначала глаза он прятал под брови,
 Не разговаривал. Но однажды, представьте,
 Открыл, что зовут его Павел Петрович,
 В плен попал...»
 Сёма крикнул: — Предатель!..)

— Ага! —

Я придвигаюсь поближе, —
 Сёма, я что-то припоминаю, читай-ка!

— Постой, — шепчет Сёма, —
 тут где-нибудь ниже.

Ага, вот. Свидетели. Выступает хозяйка,
 «Здесь на Рыбной у нас, за высоким забором,
 Недалёко тут, дома через четыре,
 Немцы гараж устроили вскоре.
 Шофёр с ноября стал у нас на квартире».
 — Вот как!

Значит поймали иуду!

— Настигла и этого справедливая кара!
 Возмездие наступает повсюду.

— Суд верши беспощадный, Тамара!

— Сёма, вот Тамаре награда:

Рабовладельцы — на скамье подсудимых.

— Предательство умирает под взглядом
 Верности и надежды любимых!..

Зимний вечер на исходные вышел,
 Северный ветер поднимается, хлёсткий.
 Мы у танка собираемся, пишем
 Путь дальнейший на квадратах трёхвёрстки.
 (На рассвете выйти на местность,
 Выбрать дорогу по камням и карягам,
 Тихо выдвинуться на север,
 там лес есть.

Прикрыться неглубоким оврагом...)

А ветер забирает всё круче,

И снег перегоняет с места на место,

Потом устаёт и, снежинки измучив,

Садится, за звёздами наблюдая с нашеста.

Тетрадь пятнадцатая

Кировоград

Рассвет сигналом махнул долгожданным,
 Лелюковку стали жевать гусеницы.
 Фашисты, стальным охваченные арканом,
 Из города не могли просочиться.
 Четвёртого землю, покрытую мраком,
 Небо снегом осыпало чёрным и крупным,
 Немцы разлеглись по глубоким оврагам,
 Половодье перепрыгивало по трупам.

Пятого января на рассвете
Город, глаза нам пожарами выев,
Наши машины разгорячённые встретил,
Подбрасывая под них мостовые,
Протягивая нам мосты и заборы,
Улицы-руки простирая к нам с гулом.
Пошли перед нами следопыты-сапёры,
Пехота — сразу к центру шагнула.
Горла улиц пересекают траншеи.
Радисты разглядывают их пулемётом,
Фاشисты присели там, вытянув шею,
Как будто их одолевает дремота.
Улицы отзываются громом и хрустом,
Потом всё обрушилось,

закружилось,
сломалось.

В эту минуту стало тихо и пусто.
Так тихо и пусто,
что воробьи испугались.

«Город свободен —
оставаться на месте!»

Радист передал приказанье комбата.
Сёма горько сказал:
— Вот, приехал к невесте...

— Выходите, выходите, ребята!
Мы оказались в бушующем круге.
Зная, что их ни за что не осудят,
Девушки, вскинув лёгкие руки,
Встают на носки, зажмуриваются и целуют.

Сосульки, жёлтые от дыма времянок:
Свесили хрупкие ноги с карнизов.
На шпиль над каланчою румяной
Клок облака утреннего нанизан.
Девушки смеются от счастья:
— Как мы ждали вас! Как мы ждали, родные!..
А Сёма закуривает хмуро и часто.
— Хорошо, если так, а бывают иные..
— Не смеее так, вам просто налгали.
За наших девчат поручиться мы можем.
Все, кто тут оставались, — мы вам помогали:
Сёма сердится:
— Ну, не все, предположим!..
— Мы не знаем такой. Призывайте к ответу!
Подождите, узнаете, как мы боролись!
— Вы всё же напрасно ручаетесь. Эту
Я-то знаю, — надрывается голос.
— От рабства сумели отбиться,
На ходу из вагонов попрыгали в двери, —
Горькие слёзы дрожат на ресницах, —
Так и знали, нам теперь не поверят..
— Не плачьте, — говорю я, — ну что вы!
Значит хорошо. Этим можно гордиться.

А Сёма подсказывает снова:
 — Но не все так. Есть отдельные лица!
 — Есть, — говорю я, — не спорьте, девчата.
 Вот одна, так совсем встрече с нами не рада.
 Скоро она будет к стенке прижата.
 — Кто такая?
 Сёмка шепчет: — Не надо!
 Я замечаю сигналы радиста
 И к машине иду. Не досказано, жалко.
 — Что случилось?
 — Приказ: Сосредоточиться быстро,
 В восемь тридцать. Около парка.

 — Прощайте! — говорю я, — пора нам, девчата.
 — Жалко. Так скоро. Заедете, может?
 — Может, заедем по дороге обратно, —
 Говорю я,
 а что-то сердце тревожит.
 Сёма вдруг:
 — До свиданья, Раиса!
 И легонько в плечо ударяет ладонью.
 — До свиданья, Свиридова. Мышей всё боишься?
 Руку, Горкина, имя ваше не помню...
 И сразу стало тихо в округе
 И слышно — капли постукивают о камень.
 Девушки, прислонившись друг к другу,
 Изумлёнными поблёскивают зрачками.
 Словно молния тишину осветила,
 На Сёму обрушились и руки и губы:
 — Сёма, Руденко, что же ты, милый!
 — Что же ты! — Опоздал ты! — Вот если бы Люба...
 — Что с Любой? — спрашиваю, замирая, —
 Не плачьте! — приказал я им строго.
 Лицом к броне прислоняется Рая.
 — Не успел ты. Ты бы раньше немного.
 — Не удалось ей спастись...
 как ждала тебя, Сёма...
 — После побега мы летели, как птицы...
 — Где она?
 — Стали у них эсэсовцы дома.
 Когда вернулась... —
 гад решил объясниться.
 В морду кружкой вlepила — согнулась жестянка.
 Ты помнишь, ведь умела подраться!
 Он донёс на неё, этот немец из танка,
 И угнали её в Германию. В рабство...

 Танк грохочет вдоль переломанных улиц,
 И тишина отпрыгивает к заборам.
 — Сёма, мы ещё не вернулись!
 — Не вернулись, и вернёмся не скоро.
 — Прости! — кричу я, — не прошу себе сроду.
 За всё, что о Любе. Называл тебя тряпкой.
 Она научила нас верить народу...
 Сёма склоняется над боеукладкой.

В парке закипает работа,
 Пока ещё слышны выстрелы где-то,
 В бригаду вызывают кого-то,
 Кто-то песню запеваёт про Лизавету.
 Сёма отправился к Любиной маме,
 Мы «тридцатьчетвёрку» заправили нашу.
 Мы обедаем — я, радист и механик.
 Дождик накрапывает нам в кашу.
 Девушки, улыбаясь несмело,
 Итти стесняются в изношенных платьях.
 Друг друга подбадривают:

— Подумаешь, дело!

Не засмеют нас, понимают же. Братья!
 Потом они подходят поближе,
 Умытые дорогими слезами.
 Я гляжу в котелок — и ничего я не вижу.
 Дождь ли это застилает глаза мне?
 К губе подбегает горячая россыпь,
 Языком её — солоноватая жидкость.

Читают девушки:

«Комсомолец Матросов».

Просят нас: — Кто это — расскажите!

«ПО-2» пролетают над нами.

— Русские! — крикнули девушки

и запрокинули лица.

Радист спросил: — Вы не русские сами?

Стало слышно, как весна шевелится.

— Наши! Выражайтесь яснее.

«Русские» — это не по-настоящему как-то...

«Наши!» — девушки шепчут, краснея.

«Наши» — повторяют девчата!..

Город обдут январём необычным,
 Окна сияют теплынью досрочной
 И смех мешается с говором птичьим,
 С грохотом трубы водосточной.

Коля, радист наш, отбросил окурочек.

— За Уралом нам придётся жениться!

— Почему так?

— А что же, — отвечает он хмуро. —

Тут каждая нагладеласть на фрица.

— Брось наговаривать на девушек, Коля, —

Обрезал механик.

— Что, неверно, Нехода?

— Что же они, не советские, что ли?

— Дело не в этом, а привыкли. Три года!

— Привыкли? А тогда почему же

Они из Германии под пулями убегают?

Ничего не страшило их: ни голод, ни стужа!

Кто листовки тут издавал к первомаю?

Не их ли фашисты водили под стражей?

Хлеб несли они партизанским отрядам,

В старьё наряжались и мазались сажей

И горбились, чтоб не понравиться гадам?

Мы перед ними должны извиниться.
 Они страдали не меньше любого солдата
 А то, что они оказались в лапах у фрица,
 В этом, друг мой, мы с тобой виноваты.
 «Так, так,—думаю я, — вот так лупит!
 Бьёт по радисту, а по мне попадает.
 Это я ведь тогда разуверился в Любе —
 И не Сёмку,

а народ свой обидел тогда я».

И опять прислушиваюсь к Неходе.

— Не смеем

людей мы по предателям мерить.

Не смеем плохо думать о нашем народе,
 Нашим девушкам мы не смеем не верить!

Оправдывается радист:

— Я ведь тоже,

Сам знаешь, не последний в сраженье.

— Ну, это каждый обязательно должен.

Это ведь долг твой, а не одолжение.

Нет, не прав ты, Коля, не так ли?

Наши девушки! Ими надо гордиться,

Это тебя они в страдании ожидали,

Ты обязан в ноги им поклониться!

«Так, так, — думаю я, — это дело!

Верно, парторг, это верно, Нехода».

А радист оправдывается несмело:

— Я ведь так,

есть такая разговорная мода...

— Это верно, — говорю я, — так что же,

Понятно, радист? Где же будешь жениться?

Он смеётся: — Где найду помоложе!

— А Нехода? — Дай домой возвратиться!

«А ты?» —

мне сердце второпях зашептало —

И высказывает от удара к удару,

То, что мечтой моей и волнением стало.

А память мне рисует Тамару.

— А я, — говорю, — я ещё выбираю...

— Рассказывай, командир, ну чего там!..

«Приказано выйти

К переднему краю.

Вот дорога. Тут стрелковая рота.

Пулемёты не дадут продвигаться.

Протюжить — и вернуться к больнице,

А мне доложите в десять пятнадцать.

— Есть!

— Идите!..»

— Собирайтесь жениться!..

Сёма вернулся.

— В дорогу, Нехода!

— Не горюй, я уверен — вы будете вместе.

Ведь следом за нами наступает свобода!

Путь к любимой —

лучшее из путешествий!

*Тетрадь шестнадцатая***Новый Сталинград**

Раньше я не был на Украине,
 В снах она возникала туманно.
 Я знал, что там небо особенно синес,
 Что любимую называют коханой.
 Но, впрочем, «люблю» — я в пример и не ставлю.
 Я знал это слово на многих языках и наречьях:
 «Люблю»,

«Кохаяю»,

«Аш милю»,

«Ай лав ю» —

Может, думал я, пригодится при встречах!
 Я не знал, что дела не вершатся речами,
 Что любовь можно без слов обнаружить,
 О нелюбви разговаривают молчаньем,
 А ненависть выражают оружием.

Украина, — я думал, — это белые хаты,
 Где поют «Ой ты, Галю» и идут «до криницы»,
 Где слово «много» — заменяет «богато»,
 Где черешни пламенные, как зарницы.
 Я знал, что стихи называются «вирши»,
 Что там от порога начинается травка.
 И солома, скрученная на крышах,
 Как в опере «Наталка-Полтавка»...
 Украина,

я полюбил тебя сразу,

Твоих весёлых, неунывающих хлопцев,
 Целящих прищуренным глазом.

И блеск заката в маленьких оконцах.

Я полюбил твои песни и поле,

Подсолнухи с пламенными головами.

Боль твоих сёл обожжённых —

была нащей болью,

А солнце твоё — всё на Запад, за нами!

Земля партизан, ты в огне полыхала,

Войну изгоняя ради мира народу.

Много сынов твоих в этой битве упало,

Но мы от фашизма оградили свободу!

Моими домами стали белые хаты,

Твои просторы стали нашей дорогой.

Мамой я называл

украинскую маты.

И победу

назову —

перемогой!..

Спешили мы к победе и к миру,
 К людям, истомлённым насильем.
 Фашисты, привыкшие к бандитскому пиру —
 Войну растягивали звериным усильем.

— Сёма, отстаём от соседа!
 Трое суток битва не утихала
 С вечера к вечеру. С рассвета и до рассвета.
 Корсунь-Шевченковская земля полыхала
 У могилы дорогого поэта.
 Но пояс наш не может порваться.
 — Броневой! — кричу я башнёру...
 Но вдруг загорелся

танк «двести двенадцать»,

Мы увидели пушку у косогора.
 «Пантера» ещё стояла на месте,
 Ещё дым весь не вышел из дула,
 Я поместил её в центр перекрестья,
 И «пантеру» огнём шумящим обдуло.
 Двое из экипажа «двести двенадцать»
 В сугробы выбросились, как спички,
 Танк, разбрасывая пламя и сажу,
 Взорвался и выбыл из боевой переключки

Перебираясь через сугробы в потёмках,
 В почерневшей от разрыва воронке
 Двух танкистов обугленных отыскали мы с Сёмкой,
 Взяли на руки, отнесли их в сторонку.
 Один уже умер. Не ответит, не скажет.
 Другой — студит снег в ладонях багряных.
 — Ты кто? — я спросил.
 — Командир экипажа...
 Бинт мокреет на затянутых ранах...
 — Это ты командовал «двести двенадцать»?
 Твой сосед — это я. Нет, ты лучше немножко.
 Два «тигра»? Твои это, должен признаться.
 Мы встретились, как пряжка с застёжкой!..
 — Слушай, — шепнул он, — как же так, неудача.
 Танка нет моего, а ещё не готово...
 Один устоишь? Не сорвётся задача?
 Слово дай!..

Я поднялся.

— Честное слово!

Волнение меня охватило от этой
 Клятвы простой. А он трепещет от жара.
 Нехода из танка нас вызвал ракетой,
 Командир умирал уже на руках санитаря.

И двинулись мы на поле уютить,
 Войну задышающуюся связали.
 Гусеницы побелели от стужи,
 Каски со свастикой к земле примерзали.
 — К миру! Солнце обожжённое, следуй!
 Мир и свобода продвигаются рядом.
 Мы битву завершили победой,
 Названной Вторым Сталинградом.

*Тетрадь семнадцатая***Весна**

— Машин-то перевёрнутых — уйма!
Наши танки идут, месят грязь гусеницы.
Весна промывает освобождённую Умань.
Армии вражеские покатались к границе.
Вчера ещё эти дома и заборы
Издали возникали неясно,
Вчера наши пушки смотрели на город,
И каждый шаг наш подстерегала опасность.
Сегодня мы едем, и люки открыты.
Регулировщик у каждого поворота.
Крылья «оппелей» хозяйкам пошли на корыта.
А дверцы изображают ворота.
Рядом — два остановленных «тигра».
Вчера они смерть возили за бензобаком,
Сегодня ребяташки на них затеяли игры,
Не церемонятся, как с домашней собакой.
Поросёнок уткнулся в немецкую каску,
Интересуется: это что за посуда?
Воробьи, поворачивая круглые глазки,
Над каской повели пересуды.

А время продвигается странно,
Как волжские берега с парохода.
Из завтра в сегодня,
 претворяясь неожиданно,
Из настоящего в прошлое переходит.
Жадность моя во времени — непобедима!
Вместе бы — день ушедший и приходящий!
Чтоб время сплывилось при мне воедино,
Прошедшее с будущим — в настоящем.
Но время передвигается с нами,
Оно не испытывает отступлений.
В кроватках,
 размахивая розовыми кулачками,
Кричит, просыпаясь, новое поколение.
Уже стучатся в землю новые травы.
В отростках новые закипают деревья.
На остановки не имеем мы права
И продвигаемся по закону движенья.
Идём по закону нашего гнева,
По закону любви к Отечеству дорогомю
Всей силой наступательного нагрева,
Движемся по приказу Наркома.
Жидкая грязь заливаает по башню,
У пехотинцев разрисованы лица,
Глядеть на дорогу становится страшно,
Чтобы в небо нечаянно не провалиться.
Время движется.
Вот мы в апреле.
Солнце на гусеницах ёжится колко
И, сразу врываясь в тонкие щели,
На приборах устраивает кривотолки.

На запад! на запад! От боя до боя.
 — Смотри, как бегут! — Крутим мы головѣми.
 Гибнут замыслы мирового разбоя,
 Светлый мир наш оживает за нами.
 Люба! Мы найдѣм тебя у Берлина!
 Мы расправимся с бегущей оравой.
 Проходят, покачиваясь, машины
 Зыбкою речной переправой.

Я на небо и землю
 гляжу с удивленьем:
 — Сѣма, подумай, сколько прошли мы
 Речушек и рек, и полей и селений,
 И всё это земли

 Отчизны любимой!..
 Мы изучали географию в классе,
 Полезные ископаемые — угли и руды,
 И место, окрашенное краскою красной,
 Обводили указкой за полсекунды.
 Урал — был рудой. Украина — пшеницей.
 Курск — с магнитной аномалией сросся.
 Столбик раскрашенный — это граница.
 Море Чѣрное — это песня матроса.

В это же время,
 На уроке в «ди шуле»,
 Место, окрашенное красною краской,
 Фашист подрастающий, поднявшись на стуле,
 Перечеркнул на карте указкой.
 Им преподали идею блицкрига,
 И полезли в сумасшедшем азарте
 Фашисты подростки, с громом и гулом,
 Родину нашу переокрасить на карте.

Но то, что на карте было просто землёю,
 Оказалось нашей Родиной милой,
 Полею боя — лужок оказался зелёный,
 Точка — крепостью. Холм — фашистской могилой.

Урок географии справедливый —
 Для школьников от Адольфа до Фрица,
 И ранцы их, брошенные сиротливо,
 И каски, попавшие под гусеницы.

Сколько неба над нами проплыло!
 Сколько девушек улыбнулось с приветом.
 Ведь это же девушки Родины милой!
 Наши сѣстры — ты подумай об этом.
 Не знал я, что здесь вот домик построен,
 А тут — журавель наклоняется над колодцем,
 И гуси, переваливаясь, движутся строем.
 У калитки девушка засмеётся.
 Не знал, что через тысячи километров
 Такая же степь развернула просторы,
 И люди, заслоняясь от ветра,

Чтоб увидеть нас, выйдут на косогоры,
 О, как это здорово, Сёма!
 И я не могу волнения пересилить,
 Когда молдаване на языке незнакомом:
 Спрашивают об урожаях России.

О Родина! В охотничьем чуме,
 В солёном мареве Кара-Бугаза,
 В тесной заснеженной чаще угрюмой,
 На вершинах снеговых Кавказа!
 Родина — по цветам — Украиной!
 Отечество — Белорусским селеньем,
 Родинкой маленькой на щеке у любимой,
 Неразрывна ты с моим поколеньем.
 Родина! Ты учитель Остужев,
 Вдова Селезниха на железной дороге,
 Жена, проводившая мужа,
 Мать, поцеловавшая на пороге.
 Отечество! Ты — наш Вася бессмертный!
 Ты — Сёма у орудия в шлеме,
 Ты — Серёжа, товарищ наш верный,
 Ты — Тамара, чистая перед всеми.
 Ты — Люба! Мы дойдём до победы!
 Всё наше счастье к тебе возвратится.
 Свобода

за нами

продвигается следом.

— Сёма, слышишь, мы дошли до границы!

Тетрадь восемнадцатая

На границе

Ветер метельный ползёт за рубашку.
 Танк ревьёт, землю забрызганный ржавой.
 Я, из люка поднимаясь над башней,
 Вижу землю иностранной державы.
 Здесь затихло,

уже не слышно ни пули.

Бездесущая постаралась пехота.
 Без остановки мы к реке повернули,
 Чтобы у переправ поработать.
 Танки плывут по земле непролазной.
 Мимо фашистов, от дороги отжав их,
 Они, заляпанные снегом и грязью,
 Устремились к иностранной державе.
 Река заблестела впереди полукругом,
 На мосту копошится кипящая масса.
 Ломятся, оттесняя друг друга,
 Как мальчишки после уроков из класса.
 — Осколочный! —

я застыл над прицелом.

— Не стреляй, — останавливает Сёмка, —

Не уйдут они. И мост будет целым.
 Пригодится! — говорит он негромко.
 На той стороне поднимаются в гору
 Фашисты торопливою вереницей.
 — Вот жалко, уйдут они, — говорю я башнёру.
 — Не уйдут, мы догоним фашизм за границей!
 — Мы дальше пойдём, — заявляет Нехода.
 Коля, радист, подтверждает:
 — Не скоро до дома!
 — Фашизм уничтожить везде —
 нам диктует свобода.
 Народы томятся там, ждут нас...
 — И наши там, Сёма!

— Эх! А мы не курили с рассвета!
 И не ели два дня, сказать бы начпроду! —
 Смеются танкисты, вдруг вспомнив об этом,
 И вдыхают весеннюю непогоду.
 ГСМ¹ подвезли:
 — Заправляйтесь, ребята.
 (Значит верно, в дорогу! — подмигиваю я Сёме.)
 И слышу взволнованный голос комбата:
 — Один — по фашистам! По уходящей колонне!
 — Есть! — говорю я и приникаю к прицелу.
 Всё наше счастье должно возвратиться!

Выстрел вырвался облаком белым.
 Взрыв за клубился,
 но уже за границей...

.

— Где взяли? —
 с танка спрашивает их Сёма.
 — На берегу, там вон — за деревнею были.
 Присели и раскуривают, как дома.
 Плот связали. Ночью бы переплыли!..
 — Правильно действуете, пехота, —
 Говорю я, высовываясь из люка.
 — Вот этот сутулый —
 и вестй неохота —

Сержанта он поранил, гадюка.
 Автоматчики остановились у танка.
 — Курить у вас не найдётся, танкисты?
 И сутулый гянется к Сёмкиной банке.
 — Тоже хочешь? К Адольфу катись ты.
 Фашист руки за спину спрятал.
 Сёма банку открыл, загремев нарочито.
 — Вы вот этого нам удружите, ребята.
 Я хочу говорить с ним. Мне его поручите.
 — Нам некуда, брось ты, не пушу на машину...
 — Е музей бы,
 чтоб знали,

 что были когда-то!

Автоматчики выдвигают причину:

¹ Горюче-смазочные материалы.

— Мы не можем без разрешенья комбата.
 — Ну что же, ведите. Вот дорога короче.
 Этот — самый зловредный? —
 толкнул он коробкой. —
 Фамилия? — спрашивает он, между прочим.
 Немец — мимо. Я подумал: «Не робкий!»
 — Постой-ка, постой, —
 Сёма взял его крепко.
 — Да брось, — говорю я, — зачем тебе надо.
 — А может мне надо для истории века
 Знать фамилию последнего гада!
 — Последний на нашей земле,
 я не спорю...
 Семён документы у него берёт из кармана.
 — Вот письмо из Германии,
 Эгонт Кнорре...
 — Эгонт Кнорре! Неужели? Вот странно!
 Я с машины летаю, торопясь от волненья,
 И — глазами в глаза ему,
 и гляжу я, сверяя

С ним

того, кто в тревожные дни отступленья
 Нас ненависти научил у сарая.
 — Что случилось? — спрашивает меня автоматчик.
 — Этот Эгонт — мой знакомый, ребята.
 Оставьте, — прошу я.
 — Выполняем задачу,
 Мы не можем без разрешенья комбата.
 — Ну что ж, — говорю я, — посмотрю хорошенько.
 Эгонт, Эгонт! Вот свела нас граница!
 Ты помнишь у Брянска была деревенька?
 Эгонт, ишь ты, как успел измениться!
 Вот бы увидели Серёжа и Вася.
 Эгонт, видишь, наступила расплата!..
 — Мы доложим о выполнении задачи,
 И допрóсите с разрешенья комбата.
 — Далеко батальон?
 — Да вот, двести метров.

Мы идём, прямо ветру навстречу.
 Эгонт, качаясь от резкого ветра,
 Пригибает сутуловатые плечи.
 — «Навозные люди» — это сказано вами?
 В сорок третьем были в отпуске дома?
 Вы хотели нас сделать рабами?
 Вас будет судить ваша пленница Тома!
 По-немецки я, правда, говорю плоховато,
 Понимаешь меня?
 Он дрожит весь, зелёный!..
 — Ну, пришли мы. Вот хатёнка комбата.
 Доложим ему...

Остаёмся мы с Сёмой.
 Враг сидит перед нами. Вечереет. Сидим мы.
 — Кури. — Эгонт руку протянул оробело.
 — Не стесняйся, закури, подсудимый!..

— Танкисты, зайдите!
Мы заходим.
— В чём дело?
— Товарищ комбат! Вот фашист...
— Ну и что же?
Я комбата не вижу, в избе темновато.
— Товарищ комбат!
Он поднялся.
— Алёша?!
— Сергей! — Я обнял дорогого комбата...

Тетрадь девятнадцатая

Второй фронт

Урок географии на поле сраженья!
Мы изучали Отечество не по карте.
Родина моего поколения —
В стуже — зимняя,
 полноводная — в марте.
Мы изучали Родину с оружием вместе.
Окопы, как парты, поставленные умело.
Враг,
 увиденный через центр перекрестья,
Фашизм,
 изученный через прорезь прицела!
Вчера этот город мы заняли с марша
И услышали новость,
 ту, что ждали три года:
Союзники — на побережье Ла-Манша!
— Фронт второй открывается!
 Поздравляю, Нехода!
— Спасибо, — Сёме поклонился водитель, —
Торговцы спасают фашистские банки.
Капитализм попросил их: «Спасите,
А то попаду под советские танки!..»
Мы мир открываем. Теперь им креовожно,
Черчилль, наверно от страха холодный,
Армии гонит: «Спасите, что можно,
От свободы и от власти народной!»
Мы идём по улице иностранной.
Апрель раскрывает листья у клёнов.
Берёзы, весной обновлённые ранней,
Застывают вдоль домов изумлённых.
Прохожие окружают нас тесно.
Устремляясь за Неходой плечистым,
Парень, мой иностранный ровесник,
Руку поднял и сказал:
 — Смерть фашистам!
— Да здравствует Сталин! —
 полетело вдоль улиц.
— Да здравствует Сталин! Свобода! Свобода!
К нам руки и цветы потянулись...
— Ты видишь, — говорит мне Нехода.

Люди — всё ближе, и слева и справа.
 Слезы радости собираются комом.
 — Слышишь, Алёша, нашей Родине — слава!
 Сталину — слава, на языке незнакомом...

Родина молодой нашей жизни!
 Крепки наши светлые узы.
 Счастье,
 что мы вернёмся к Отчизне,
 Здравствовать в Советском Союзе!
 Возьми обыщи всю планету —
 Не найдёшь столько солнца и света.
 Красивее наших девушек нету,
 Пусть каждая будет солнцем одета!
 Да здравствуют дома наши ребята,
 У станков, на стадионах зелёных!
 Да здравствует, юным солнцем объято,
 Отечество в свободу влюблённых!..

— Смерть фашизму! —
 слышится по окружью.
 Флаги мира полыхают из окон.
 Люди в штатском, прижимаясь к оружию,
 Идут за нами в ликование глубоко.
 — Вот он, смотрите, — говорю я, — ребята,
 Не тот, что спланирован по заданью банкира
 Для новых войн, шантажа и захвата,
 Вот он —
 фронт второй —
 ради мира!
 Вот он — фронт второй. Вы смотрите —
 Открыт он силой плана иного,
 Помимо замыслов Уолл-стрита и Сити.
 Открыт он
 и не закроется снова!
 Он проходит
 между светом и тьмою,
 Между свободой
 и фашистской неволей.
 Между миром он пролёт
 и войною,
 Между счастьем и позорною долей.
 Фронт трудящихся — против стен капитала,
 Он идёт
 между двух противоположных Америк.
 Он Англию расколос небывало.
 Он уже высадился на вражеский берег!..

Мы идём по улице иностранной.
 Апрель раскрывает листья у клёнов.
 Берёзы, весной обновлённые ранней,
 Застывают вдоль домов изумлённых.

Мы идём
 среди весёлого водоворота.
 Сквозь толпу пробирается парень:
 — Ребята! —

Подталкивает к нам в жилетке кого-то, —
 Вот этот торговец эсэсовца прятал..
 — Разберитесь вы сами...

Паренёк озадачен.

А торговец мне на ухо шепчет угрюмо:
 — Золото есть! Жить начнёте богаче,
 Справите сразу по десятку костюмов..
 Сёма вдруг срывается с места:
 — Костюмы? А вот он, хотя он измятый,
 Смотри-ка, — он гимнастёрку трясёт, —
 всем известно,
 Что я самый, самый в мире богатый!
 Цвет какой!

Это цвет России в июле,
 Цвет наших морей, цвет весенней пшеницы.
 От него отскакивают ваши пули,
 Только на мне он такой — во всей загранице!
 А шляпа!

Вы, господин, только гляньте, —
 Сёма танковый шлем поднимает над нами, —
 Фашисты, меня увидав в этой шляпе,
 Приветствуют поднятыми руками.
 А ботинки! —

Сёма выставил ногу, —
 Посмотрите — разве есть такие в продаже?
 Сколько прошли они и готовы в дорогу,
 И пойдут ещё, если Сталин прикажет!
 А это что, по-вашему, за тесёмка?
 Обратите внимание, — он похлопал обмотки, —
 Фашизм начнёт притворяться ребёнком,
 Когда эта лента обернётся у глотки.
 Мой костюм знаменит!

О нём история скажет.
 Счастье народов за ним начинается следом.
 Значит дорог он, мой костюм, если даже
 Такой же самый,
 как мой,

надевает Победа!

Понимаешь, торговец? —

спрашивает Сёмка.

— Да он не смыслит в этом, где ему разобраться!

— Ну, богачи, — говорю я, — идём-ка.

Товарищи,

помогите ему

разобраться в богатстве!..

Нехода сказал: — Мы идём не за этим.

Свободой

Золото народов зовётся.

Ценности большей не существует на свете,

Свобода
 не покупается
 и не продаётся!
 Их не подкупишь! —
 на людей показал он. —
 Золотом вашим овладеют и сами,
 Землёй и заводами, всей едой и металлом.
 Эти люди уже не будут рабами!
 Ты для новой войны фашиста припрятал,
 Чтобы перед тобой снова люди согнулись?!
 Ведите его на суд народный, ребята!..
 — Смерть фашизму! —
 загремело вдоль улиц.

Мы идём по улице...
 С перезвоном.
 Котелков об сружие, с нарастающим шумом,
 Идут и идут непрерывной колонной
 Советские люди в светлозелёных костюмах.

Тетрадь двадцатая

Год спустя

Мы в гости к Серёже идём, ведёт нас Нехода.
 — Это ты?
 — Это ты разве? — разговариваем глазами.
 Тысяча девятьсот сорок пятый. Окончание года.
 — Вот как съехались! — Вот как! —
 удивляемся сами.
 Мы с Тамарой идём, Люба с Сёмой — за нами.
 Он карточку показал мне: — Похожа? —
 И снова спрятал в кармашек под орденами.
 — А Тамара? — кивнул я..
 — Вот Кремль! — остановился Серёжа.
 — Вот звёзды! Смотри сюда, Сёма.
 Кремлёвские звёзды! Не верится даже.
 Давайте посмотрим..
 — Мы вернёмся из дома, —
 Вот он, Серёжин переулок Лебяжий.
 — Хорошо. — Мы вернёмся, — а сами ни с места.
 Ворота Кремля освещены, стоят часовые.
 Ёлочки маленькие вдоль высокого въезда.
 Из-за зубчатой стены светят звёзды живые.
 «Сталин, — думаю я, — мы пришли к тебе,
 твои знаменосцы,
 Под Москвой закалённые,
 воспитанные у Сталинграда.
 Мы выполняли приказы твои.
 Ты учил нас бороться.
 Да, это мы, солдаты стального отряда.
 Если надо, зови —
 в любую дорогу готовы.

Если кто-то мир опять подожжёт,
если это случится,—
Помни нас, полководец,
мы станем по первому слову!
Сёма наш остаётся у нашей границы.
Родина! — думаю я, — сердцем дрогнув, —
Мы пришли на свиданье к тебе, дорогая Отчизна.
Слышишь нас: все тебе посвящаем дороги.
Наша клятва в любви к тебе —
путешествие в жизни!..»

— Какое сегодня? — Тамара спросила.

— Какое?

Двадцать девятое, Тома. А что?

И Люба про то же.

— Да что вы взялись, число не даёт вам покоя..

— В самом деле, какое? — смеётся Серёжа.

— Постой, ты не знаешь, — улыбается Сёма, —

Двадцать девятое октября — что за дата?

— Не знаю, не знаю... а впрочем, знакомо...

— День...

— Я вспомнил, понимаю, ребята!

— Двадцать семь, — говорю я, — не мало!

Жалко, молодость уходит, ребята.

О годы, начинайтесь сначала,

Возвращайтесь, возвращайтесь обратно!..

— Постой, — Нехода встаёт предо мною, —

Наша юность послужила Отчизне!

Подумай, мы сделали самое основное,

Мы совершили самое главное в жизни!

Мы вынесли тяжесть утрат и ранений.

Тяжёлой дорога была и кровавой,

Но мир,

светлый мир наш,

судьбу поколений

От войны отстояли мы

битвою правой.

— Да, друзья дорогие, смотрите,

Потомки нас запомнят по чести.

Наша свобода — величайшее из открытий!

Дорога к миру — лучшее из путешествий!

— Ну, давай поцелую, на мир и дорогу! —

Серёжа улыбнулся искристо.

— А всё же, двадцать семь — это много, —

Говорю я. — И откуда взялись-то?!

— Я предлагаю, — руку вымахнул Сёма, —

Уж раз эти годы не заметила юность,

Поскольку нам некогда было, нас не было дома —

Предлагаю, чтобы годы вернулись!

Эти годы не в счёт, это Гитлер украл их.

Четыре года — в огненной крутоверти.

Мы отстояли на юность вечное право,

Продолжение лет —

с мая сорок пятого мерьте!..

— Правильно, Сёма! — Мы начинаем смеяться.
— Сколько Серёже с Неходой?
— Идёт двадцать пятый.
— А Сёме? — Сёме как раз девятнадцать!
— Сколько Васе было бы?
— Двадцать первый считайте.
— Тамаре — двадцать два минус четыре.
— А Любе? — Любе тогда восемнадцать...
— Юность наша продолжается в мире!
Эти годы нам в труде пригодятся!
Да здравствует наша мирная юность,
Счастье и молодость в семье миллионной.
Мир и свобода к нашим людям вернулись!
Признаёмся в любви — жизнью всей окрылённой —
Признаёмся в любви и клянёмся перед дорогой
Мы тебе — Сталин наш,
наш Советский Союз,
дорогая Отчизна!
Продолжается путешествие наше —
с партией в ногу,
Нам итти и итти —
к счастью,
к маяку коммунизма!..

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прочёл я, одну за другой,
все двадцать тетрадей.
Где Алёшу с Тамарой найду я?
В Москве? В Сталинграде?
Почему я не пригляделся тогда к этой паре?
Почему их не расспросил я на Гоголевском
бульваре:
О них, о Серёже с Неходой,
о Любе и Сёме —
Где город,
где улица их пролегает?
В каком они доме?
Может быть, Сёму и Любу искать на границе?
Может, Неходу искать у Харькова на косовице?
А может, вам встретится в жизни
водитель Нехода
Секретарём партбюро тракторного завода?
Может быть, льды вековые и дебри тревожа,
По новым дорогам
с трехвёрсткой
проходит Серёжа?
Впрочем,
прохожие,
мне кажется временами,
Что вы — в дневниках этих,
под вымышленными именами.

Зачем мне искать вас?
Я знаю, вы всюду, вы рядом.
Алёша,
нашёл я дорогу заветным тетрадам!
Тетрадами мира
пусть будет дневник этот признан,
О бое за мир он,
против войны и фашизма.

Да, к миру мы шли,
оружьем его добывая.
Учитель Остужев учил нас.
Старушка седая —
Вдова Селезниха — вела нас к железной дороге,
Наш Вася упал. Мы стали суровы и строги.
Враг мира, предатель, потомок рабовладельца
Был нами убит. Мы сталью завесили сердце.
Сталин
приказом своим
вдохновлял нас для жизни!

И шли мы —
для Мира!
За Мир!
Ради Мира Отчизны!
Мы мир отстаивали на Волге, у стен Сталинграда.
Мир в Ленинграде —
военная гнула блокада.

Мир победил!
И шли мы с заветной мечтою.
Войну отразили и смяли за Курской дугою.
От Харькова, Кировограда, за нашу границу
Война отступала, сдыхая, во вражью столицу.
Мы мир принесли свободолюбивым народам,
Людам простым он на вечное счастье отдан
Мир засиял на земле
от победного флага
Над чёрной могилой войны — на руинах рейхстага.

Записки военные эти, дневник командира,
По полному праву
зову я —
тетрадами Мира!

Пошлю их народам,
правительствам разным,
по странам,
Друзьям и врагам,
трудящимся людям,
тиранам.

Пусть эти тетради
над мирной землёю взовьются,
К священной свободе и к миру в любви признаюся.

Сначала
 пошлю я их тем,
 кто холодной войною
 Хочет поджечь светлый мир,
 завоёванный мною.
 Фашисту,
 который сумел увернуться от петли,
 Друзьям его нынешним —
 Черчиллю, Бевину, Эттли.
 Пусть знают: лопнет блок,
 что против мира задуман,
 Про Эгонта пусть почитает забывчивый Трумэн.

Пошлю их к начальникам американского штаба,
 Войну ведь они не видали, обучены слабо,
 Северо-Атлантический блок собирая, пусть знают,
 Что война — не прогулка,
 и что на войне убивают.
 Пусть знают, что люди советские,
 если признаться,
 За мир голосуют не потому, что боятся!
 Ясно об этом в восьмой говорится тетради,
 Фон Паулюса пусть распрелят,
 он был в Сталинграде.

Пошлю я тетради —
 полезно прочесть для бандита —
 Нацисту, предателю Югославии — Тито.
 В тетради шестой говорится об участии гада,
 Пускай почитает, ему подготовиться надо!

Дельцам Уолл-стрита тетради
 послать мне придётся.
 Тетрадь девятнадцатая им покажет торговца.
 Пусть Маршалл, продажных правителей оптом
 скупая,
 Знает, что у простого народа есть ценность другая,
 Что золото мирных народов свободой зовётся,
 И что свобода
 не покупается и не продаётся!

Довольно!
 Тетради я людям простым адресую,
 Каждой тетрадью за мирную жизнь голосую.

Пошлю их рабочим Парижа, чтоб взяли на площадь
 Вместе с тетрадами мира тетради Алёши.
 С митинга Мира в Свердловске летят они прямо
 К мирным рабочим Ковентри и Бирмингама.
 За мир голосуя, летите, тетради, скорее
 К воинам Греции и к патриотам Кореи!

Пока на земле ещё тюрем фашистских немало,
 Пошлю я тетради узникам капитала.
 Антифашисты, Мир победит непременно,

Воины мира выходят за сменю смена.

Для этих тетрадей нет лучшей дороги,
чем эта —

Ведущая к странам мирной свободы и света.

Летите, тетради, сопки перелетая,

К народу великому на просторы Китая.

К воинам Мао Цзе-дуна летите, и в каждом отряде
Славьте мир и свободу! Летите, тетради!

Германской республике шлю их, рабочим Берлина.

Дружней, демократы, Германия будет едина!

Летите в колхозы Румынии — в Клуже, Араде.

Их мир начинался

в сорок втором, в Сталинграде.

Чехословакии новой привет передайте.

Там окончательно стёрлась фамилия Бати.

Фабрика стала народной и названа «Светом».

Мы этот свет принесли —

тетради расскажут об этом.

Тетради в Болгарию шлю я с цветами живыми,

У гроба Димитрова вечными стать часовыми.

В Польшу — к строителям и горнякам,

в поля и забои.

Ордена трудовые там получают герои.

К народу венгерскому шлю, к урожайному пиру,

Он помнит, как долго война не сдавалась

свободе и миру.

Мир, взятый в жестоком бою, он жизни дороже.

Да здравствует молодость мира —

конгресс молодёжи!

Защитники мира на конгресс соберутся,

Те, кто против войны за мирное счастье дерутся,

Выразят волю единую масс миллионных,

Против фашизма,

от имени непокорённых.

О том, как страна моя против фашизма боролась,

Расскажут тетради — свободы решающий голос.

Тетради Алёши —

военный дневник командира —

Клятва в любви

к народам —

поборникам Мира.

Клятва в любви

к мирной Советской Отчизне,

К светлой мечте человечества о коммунизме!

Ради любви этой, жизни и счастья ради,

Как голуби мира — летите,

летите, тетради!

1950 г.



ЛЮБОВЬ КАБО
★
ЗА ДНЕСТРОМ

Роман

Часть первая

*Утро! Утро запылало
Над Молдовою зелёной...*
Ем. Букоз.

1. Пересечение дорог

По этой дороге, возможно, проезжал к Кишинёву Пушкин; забывая об оскорбительной ссылке, жадно вглядывался в холмистые степи только что отвоёванного у турок края. Столетием позже, шумя, как первый весенний ливень, пронеслась по этой дороге конница Котовского, и легендарный комдив мчался впереди, припадая к взлетающей конской гриве круглыми, сильными плечами. По этой самой дороге месяц тому назад шли на восток толпы празднично одетых бессарабских крестьян, со слезами волнения и радости простирали руки навстречу советским танкам. Август сорокового года. Освобождённая от двадцатидвухлетней румынской оккупации, так много повидавшая на своём веку, страдавшая земля...

Дорога круто обрывается вниз, гремят мосты через мелководные каменистые речки; в стороне остаются золотистые рощицы, белые, под черепичной крышей домики, плячущиеся в густой тени громадных акаций. Точно волны, набегаая один на другой, катятся к горизонту холмы.

Всё теряется в этих бесконечных холмах, в этом вздрагивающем, плавающемся просторе — застенчиво выглядывающие из зелени, осевшие в лощинах молдавские сёла, крошечные вешки отдалённых придорожных колодцев, склонённые фигуры работающих в поле людей. Узенькие полосы крестьянских полей, точно полотенца, переброшены через гребни холмов — зелёные, жёлтые, иногда простроченные посредине мерёжкой ещё не свезённых снопов. Лениво переплеснётся через холм шуршащая волна подсолнечника, прошелестят тяжёлые, запылённые листья кукурузы, на миг заслонит горизонт чудовищный бурьян у дороги, седой от мягкой и плотной пыли. Мелькнёт при дороге деревянное, чуть покосившееся от времени распятие с грубо раскрашенным петухом на коньке двускатного навеса.

— Петух? — удивляемся мы. — Послушайте, почему здесь петух?

Кучер равнодушно оглядывается.

— Я знаю? — отвечает он классическим пожиманием плеч. — Вам бы и знать, вы учёные...

Мы — учёные... Притихшие, взволнованные, мы трясёмся в его каруце¹ — две недавние студентки, только что выпущенные из стен инсти-

¹ Каруца — телега (молдавск.).

тута, две советские девушки, вызвавшиеся работать в этом только что освобождённом крае.

Кучер скользит по нашим лицам беглым, слегка удивлённым взглядом, отворачивается.

— Ну-ну! — вдруг крутит он головой. — В левкауцкую школу едут! Вот нашли доброе место, вот нашли — кирпичи одни...

— Одни кирпичи? — негромко переспрашивает Клава. — Почему же?

— Так сами ж повидите, кирпичи там чи шо... Стоит дом серед степу, один, как тот бобыль. Зимой аж волки по двору блукают. Вот забрались, я кажу, счастья шукать, не нашли кращего места!..

Я украдкой взглядываю на Клаву. Простое скуластое лицо её освещено изнутри каким-то тихим, неярким светом, большие руки, женственные и сильные, чуть вздрагивают от тряски на обтянутых жёсткой юбкой коленях. Слова левкауцкого кучера вызывают у неё чуть заметную улыбку. О чём он говорит? О трудностях? Мы и не гнались за лёгкою жизнью...

Всего лишь несколько часов назад мы сидели в кабинете секретаря райкома партии Колесниченко, и он, держа в руке партбилет Клавы, глядя жёстко и испытующе, предостерегал:

— Вы там поосторожней держитесь, девушки, уши особенно не развешивайте — обстановка сложная. Техникум весь только что из румынских рук. Молодёжь они здорово попортили. Учителя в основном остались старые. Кое-кого оттуда, может быть, уберём со временем, а пока ждать не приходится, надо учебный год начинать. Вы только трудностей не пугайтесь.

— Мы не пугаемся, — сдержанно отвечала Клава. — Коммунисты там есть?

— Будут. — Колесниченко говорил медленно, взвешивая каждое слово. — Да, конечно, будут. Директора вам коммуниста пришлём. А вообще — людей у нас пока маловато, лишних не ждите. Людей надо создавать.

— Понятно.

— «...как садовник выращивает облюбванное плодовое дерево...» помните, что Сталин сказал...

— Всё понятно.

— Будьте осторожны, неторопливы. Но и смелы. В конце концов, друзей у вас там больше, нежели врагов, — как и повсюду, как и во всей Бессарабии. Беднейшие ученики, школьные рабочие — рабочих там человек тридцать. Друзей будет всё больше, вы понимаете?

— Понимаем.

Он, видно, почувствовал нашу взволнованную готовность, неожиданно улыбнулся:

— Счастливы? Правильно. Честное слово, правильно, девчата. А ну, смотрите сюда...

Он вытащил из стола, разгладил тяжёлыми ладонями план района, пригласил нас придвинуться ближе.

— Вот он, ваш техникум, видите? Стоит среди степи, на самом возвышенном месте, на пересечении дорог. Это вот — школьная усадьба, школьные поля, громадный фруктовый сад, крупнейший сад в районе, фермы. Называется техникум «Левкауцкий», а Левкауцы, самое ближайшее село, от него за четыре километра. За десять километров на север — Лукаши, за двенадцать на запад — Плачшты. Сюда, в Липницу, в районный центр, ведёт восточная дорога. Видите, она пересекается железнодорожной линией. Железнодорожная станция — Падчрике Маре — восемь километров на юго-восток. Что вы скажете?

— А что?

— Глухо ведь! Подумать только: самое ближнее село — за четыре километра... Вы ещё здешних дорог не знаете. Через каких-нибудь полтора месяца разверзнутся хляби небесные — и отрежут вас от всего света...

— Ну?

— Не страшно? Я ведь знаю, что вы сейчас думаете. Думаете: а нам весь свет и не нужен. У нас и в техникуме дела много. Будем сидеть на своём пяточке, выращивать советских зоотехников и ветеринаров, задачи коммунистического воспитания решать. Так, что ли? Думаете: так даже лучше, не будут хлопцы в Левкауцы на гулянки бегать, будут сидеть пайнками, уроки зубрить.

— Но это же вы не серьёзно... — не выдержала я. Колесниченко засмеялся.

— Хорошо, будем говорить серьёзно, — охотно согласился он. — Я, девушки, конечно, не педагог и в педагогике вашей, возможно, ничего не смыслю, но думается мне, что если вы с самого начала будете рассматривать техникум, как изолированную единицу, у вас не получится решительно ничего. Вы смотрите — положение-то у вас какое! — он опять указал на точку пересечения дорог. — Господствующая высота на местности, то, что называется командная высота. Да находясь в этой точке, всей округе надо тон задавать. Вот и задавайте тон. Будьте проводниками нашей партийной, государственной линии. У вас соберётся грамотная молодёжь со всей Бессарабии, цвет молдавской молодёжи. Вы же с ней можете горы своротить! И только так, по-моему, только участвуя в жизни окружающих сёл, только вмешиваясь в эту жизнь и направляя её, вы решите ваши непосредственные задачи: задачи коммунистического воспитания...

— Человек тем красивее и выше, — вспоминая, медленно сказала Клава, — чем шире тот коллектив, интересы которого являются для человека личными...

— Знаю, знаю, чигал, как же. Вот светлая голова был этот Макаренко! — восхитился Колесниченко и, почувствовав, как наивно прозвучало его восхищение, засмеялся первый. — Что ж, задачу он нам поставил правильно, будем её на месте решать. Доброго пути вам, девчата! Здесь, в Молдавии, говорят: друм бун!

Первые слова, услышанные по-молдавски — «друм бун!»

Как, в сущности, замечательно жить на свете — быть готовым ко всему, принимать перемены в своей судьбе, как неожиданный подарок, как счастье, и куда бы ни пошёл, что бы ни делал, чувствовать заботливую, направляющую руку Родины на своём плече, её спокойное доверие. И всё легко. Нет, конечно, не всё легко, но всё преодолимо. Друм бун!

...Вот он сидит перед нами, левкауцкий кучер, свесив ноги с края каруцы, бросив на колени тяжёлые, с набрякшими жилами руки, — один из тех, чья судьба отныне неразрывно переплетается с нашей, один из тех, ради кого пришла на правый берег Днестра советская власть. Лицо у него красное, залубеневшее от дождя и ветра, один глаз вытек и плотно закрыт веком, а другой умно и насмешливо смотрит из-под чёрной, надвинутой на лоб грубой фетровой паларии.

— Как вас зовут, послушайте?..

— Зовут-то? — заинтересованно поворачивается кучер. — Мишкой зовут, а что?

— Миханлом. А по батюшке как?

— По батюшке? — Брови кучера от удивления высоко поднимают-

ся. — Вот как удумали — по батюшке!.. Мишка — и всё. Меня больше, вы извиняйте конечно, по матушке звали..

Обрадовавшись собственной шутке, он негромко смеётся, отмахиваясь и весело крутя головой.

— По батюшке, ну... Вы, случайно, не из Москвы?

— Из Москвы, дядя Миша.

— От и я тож бачу! — радостно восклицает дядя Миша. — Московские! Вы ж не пугайтесь, барышни, не слушайте меня, брехуна. То ще не шкода — волки, шкода — колы грошив нема... Н-но, милые!..

Глухо простонал мосток, на крутом подъёме, припадая на зады, напяржённо вытягиваются лошади — и стена поднимающихся в гору подсолнухов расступается, открывая золотистый, залитый солнцем лес. Меж редкими стволами стелятся тёплые, пушистые поляны, то приподнятые, то скользящие вниз. Клонясь к земле, раскинулись над полянами тяжёлые, ржавые ветви дубов, неподвижные, точно заворожённые. У самых колёс вздрагивают лёгкие снопы гвоздики, кашки, диких аютиных глазок.

Тишина. Только где-то вьётся тонкой, прерывистой струйкой протяжная молдавская песня, да тихо, почти беззвучно прогремит, примолкнет и вновь прогремит колоколчик — то плутает по лесу пастух со своим стадом, медлительный, мечтательный и ленивый, как вся эта дремлющая в солнечных лучах природа.

— А что, — неожиданно спрашивает дядя Миша, — вы там в Москве Андрюшку Пахолко не встречали, сродника моего?

— Пахолко?

— Ну да, Андрея Ивановича... Постарше меня чуть, чернявый такой...

— Где же он работает?

— От-то не знаю, — вздыхает дядя Миша. — Кабы я знал! Я бы ему сейчас письмо — низкий, мол, поклон тебе, Андрей Иванович, из освобождённой Бессарабии. А что? Я сам, может, с Могилёвского уезда. В осьмнадцатом году пошёл до крёстного сюда, в Атаки, только Днестр перейти — да так и остался тут, готово! Вот, скажи, мудрует судьба над человеком. Андрюшка там советский, а я тут — як быдто румынский — смех! Росли вместе, а судьба вышла разная...

Дядя Миша не надолго задумывается.

— Так не знаете, значит, Андрюшку нашего? — опять спрашивает он. — Он парень был с головой, он теперь не иначе в Москве...

— Москва-то большая...

— Большая, а как же? — покорно соглашается дядя Миша. — Тысяч, говорят, пятьдесят народу будет...

Минuem лес — и коренастые, стройные дубы вырываются вслед за нами из леса, сбегая к Левкауцкой дороге — да так и остаются стоять здесь, заглядевшись в распахнувшуюся даль. Стиснутые холмами, завалились в лощинку где-то в стороне Левкауцы, а за Левкауцами, далеко, на самой линии горизонта, высится одинокое дерево, как бы указывая направление дороги, ведущей на Лукаши, Корестауцы, Черновицы — дальше и дальше, точно увлекает в неведомый путь. Непрерывно это ритмическое движение катящихся к горизонту холмов...

А техникум уже совсем рядом, на том берегу сверкающего внизу пруда. Высятся среди густой листвы стены красного и белого кирпича, поблёскивает серебристая крыша.

Разогнавшись под гору, нагоняем устало плетущегося парня с деревянным сундучком за спиной, в приплюснутой форменной ученической фуражке.

— Эге-ге, Сашко! — негромко окликает его дядя Миша.

Промелькнуло сильное, смуглое лицо, запомнилось мгновенное выражение готовности и любопытства.

— Советских везёшь, мэй?..

Поднимаемся от пруда вдоль длинного забора, подъезжаем к высоким воротам с узорчатой надписью наверху «Școala de agricultură Leucauți»—«Левкауцкая сельскохозяйственная школа». Несколько смуглых, темноглазых юношей у ворот торопливо расступаются, вытягиваются, ломают шапки.

— Здравствуйте, товарищи!

Молчат, удивлённо переглядываются. Долго, с любопытством смотря вслед. Вот кому отныне принадлежат все наши силы, все помыслы...

2. Оккупанты уходят.

Месяц тому назад румынская часть, откатываясь от Днестра, сделала здесь недолгий привал.

Директор «Шкоале де агрикултуре», шагая взад и вперёд по каменным дорожкам, полукружьем спускающимся от главного входа, брезгливо косясь на шарахающихся в стороны солдат, нетерпеливо отдавал приказания. Преподаватель Стучевский, следуя за ним по пятам, шёпотом передавал эти приказания дальше, сохраняя озабоченное, соблезнувшее выражение безукоризненно воспитанного человека, случайно попавшего на похороны. Директор передавал дела Стучевскому. Он уезжал сейчас за Прут вместе с последними румынскими частями.

У высокой террасы просторного директорского дома грузились подводы, плотно ложились одна к другой пудовые скатки ковров, поблёскивали из-под рогожи зеркала. Ученики, покряхтывая и тяжело оседая в дверях, сносили вниз ящики с хрусталём и великолепные чемоданы. Знали всегда, что очень богат «домн директор»¹, владелец и этих строевых казённых типа, и громадного фруктового сада, и огромных школьных полей, — но вынесенное теперь из таинственных директорских комнат, вывернутое, обнажённое богатство его ошеломляло. И хоть на лице директора проступала сейчас почти нескрываемая растерянность, — ученики сторонились перед директором так же поспешно и ломали шапки с тем же привычным подобострастием. Они прибежали сейчас прямо с поля, перепачканные в земле, — директорские поля обрабатывались руками выпускников под предлогом «агрономической практики», — на ходу заправляя выбившиеся рубашки. Насторожённо поглядывали вокруг, с отчуждением наблюдая поднимающуюся суету. На задних дворах ревели, захлёбываясь кровью, коровы, валились на землю с перерезанным горлом. Топтались, теснили друг друга сгоняемые в одно место кони, оглушительно верещали, бились в судорогах недоколотые свиньи.

Около кухонной постройки повар Бабинский, человек добродушный и кроткий, гневно выговаривал молодому солдату, заворачивающему кусок тёплой, кровогочащей свинины в занавеску, сорванную с окна:

— Или вы не люди, гляжу я на вас... Халяву маете заместо лица, стыда у вас нет, бисовы вы дети, собачье семья..

Солдат не отвечал, весело подмигивая вороватыми глазами. Уже засунув мясо в ранец, склонился к самому лицу Бабинского:

— Уходить, отец, надо, всё равно. Придёт русский Иван — много чего увидите. Ты что здесь стоишь? Уходить, уходить надо...

Бабинский отвернулся, сердито сопя.

¹ Домн — господин (румынск.).

— Зачем я поеду? — сказал он наконец. — Я, думаешь, кто? Я сам украинец...

Ответ прозвучал значительно, вызываяще. Солдат не понял. Надул щёки, свирепо выкатил глаза, шевельнул усами:

— Большевик всех будет р-резать! — И, подхватив ранец, побежал к главному зданию.

В главном здании школы — в классах и расположенных над ними ученических дормиторах¹ творилось нечто, не предусмотренное никакими воинскими уставами: солдаты долбили штыками печи, отрывали, прятали по карманам бронзовые дверные ручки, били прикладами стёкла. С внезапной злостью замахивались штыками, отгоняя растерявшихся ребят, вспарывали матрацы, уносили простыни и одеяла, тяжёлыми коваными сапогами разбивали, точно орехи, простенькие крестьянские сундуки.

— Как же мы учиться будем, вы же смотрите! — испуганно шептал худенький, девически нежный Костик Прозоровский, лучший ученик школы, — оф, что они делают, мальчики дорогие...

Он стоял в молчаливой толпе учеников у застеклённой стены так называемого «музея». За круглыми столами закусывали солдаты, прогуливались между шкафов, небрежно поддевая штыками груды сброшенных, потоптанных книг. Выплёскивали спирт из препаратов, разбивали прикладами муляжи, кидали в пылающую печку гербарии и альбомы.

Высокий, узкоплечий Скутарь, стоявший рядом с Прозоровским, чуть покосившись на него, холодно, сквозь зубы процедил:

— А что ж, по-твоему, русским всё это оставить?

Прозоровский робко взглянул в замкнутое лицо Скутаря, в его отсутствующие глаза, ничего не ответил. Кто-то негромко спросил сзади:

— А разве мы воюем с русскими, мэй?..

Этот вопрос звучал сегодня всё с большим недоумением: «разве мы воюем с русскими?» Ультиматум, посланный советским правительством румынскому, скрывался румынской печатью, и тем не менее все знали твёрдо: советские не ищут войны. Их требования справедливы. Передовицы румынских газет лицемерно зывали: «Братья-бессарабцы! Избегай кровопролития, мы оставляем вас. Мы твёрдо верим, что душою вы с нами»...

Душою с ними!.. Румынская королевская армия делала всё, чтоб отравить и без того горькие воспоминания. Откатываясь за Прут, она озлобленно и трусливо уносила с собой всё, что было возможно, разрушая то, что невозможно было унести. Молдаване, украинцы, русские — все те, кого в румынских газетах называли двусмысленным наименованием «бессарабцы», невольно сжимая кулаки, гневными, презрительными взглядами провожали эту армию мародёров, смешавшуюся с обозами награбленного добра, — рядом с экипажами, увозившими отъездивших румынских чиновников, по дорогам на Яссы брели беспорядочные толпы королевских солдат. Те, кого называли «бессарабцами», в эти дни безбоязненно толпились на берегу Днестра, глядя на висящие через реку мосты: не пропустить бы тот момент, когда двинутся по этим мостам советские части! Услышать бы первыми русскую речь, увидеть бы родные лица советских людей! В толпе назывались имена родственников, друзей — тех, с кем разлука затянулась на долгих двадцать два года. Старики по сёлам, со слезами волнения, впервые без опасливой оглядки, рассказывали правду о восемнадцатом годе. Моло-

¹ Дормиторы — спальни (румынск.).

дѣжь нетерпеливо прислушивалась, не всё понимала, страшилась неизвестного, нового, и с радостным волнением ждала его.

На школьном дворе румынскому офицеру решительно преградила дорогу чья-то высокая, худая фигура.

— Это надо немедленно прекратить, послушайте, домну!

Лицо незнакомца было взволнованно; открытый лоб, длинные, зачёсанные назад волосы, тонкие нервные пальцы, сжимавшие шляпу и трость, — всё в нём выдавало человека интеллигентного. Офицер учтиво козырнул:

— Пожалуйста?

— Я — Морей, учитель сельской школы в Левкауцах. Немедленно отдайте распоряжение прекратить бесчинства. Ваши солдаты жгут книги — это единственная библиотека на много вёрст кругом, разрушают музей... Мы же цивилизованные люди...

— Ах, это... — равнодушно протянул офицер, сделав нетерпеливое движение.

— Я требую, — голос Морей задрожал. Он постучал тростью по каменным плитам. — Я требую от лица крестьян, дети которых здесь учатся! Вы слышите: вам за всё придётся ответить, господин офицер...

Высокомерный взгляд офицера скользнул по этой худой, подавшейся к нему фигуре. От учителя пахло дешёвым табаком, под распахнувшейся курткой виднелся скромный, заношенный свитер. Офицер успел заметить, как дрогнула трость в побелевших от напряжения пальцах Морей.

«Ого!» — мысленно воскликнул он и невольно оглянулся.

От интерната приближались директор и Стучевский. Стучевский издали приветливо заулыбался:

— Виталий Львович!

Не останавливаясь, он кивнул головой и скрылся вместе с директором в дверях конторы. Офицер нагло ухмыльнулся в лицо Морю и поспешил за ними. Морей крикнул вслед, стуча тростью, в бессильной ярости:

— Так ко всем же вас чертям, ублюдки!..

С крыльца интерната, не слыша слов, да и не вслушиваясь, безучастно и рассеянно следили за этой сценой ученики. Глухо, насторожённо переговаривались:

— Вот великая Румыния, видали, ребята? Бежит Румыния маре, точно ей пятки кто прижигает.

— Бежит — ладно, русские придут — ладно. Хуже не будет, мэй, боець!¹

— Э, братцы, хуже не будет. Нам что терять, подумайте...

Ваня Ведеш, радостно возбуждённый, лихо заломив на одно ухо шапку, озираясь, шепнул:

— Мне домну Чебан, — помните его? — книжку давал. Там сказано: пролетариям нечего терять, кроме своих цепей...

— Как, как?

— А приобретут весь мир...

— Говорят, — недоверчиво посмеивается кто-то, — всё у них общее, у советских — хаты, скотина... Жёны даже...

— Э, брехня!

Ваня Ведеш сдвинул шапку ещё больше на ухо, весело оглядел товарищей:

— А что, ребята? Посмотрим, какое такое общее. А?

¹ Боець — ребята (молдавск.)

Кругом тревожно, невесело засмеялись. Семён Котогой неизвестно на кого рассердился:

— Говорим, говорим... Никто ничего не знает. Вот арестовали румыны домну Чебана. Был бы он здесь, он бы нам рассказал про русских...

— Он бы рассказал... Человек был простой, хороший. И за что можно арестовать такого человека?

Ведеш сказал коротко, с подчёркнутым безразличием:

— Московское радио слушал.

Кто-то присвистнул, недоверчиво протянул:

— А ты-то откуда знаешь?

Ребята замолчали. Рядом зазвенело, рассыпаясь, сброшенное на камни оконное стекло, сверху отчётливо прозвучала безобразная солдатская ругань. Тихо вздохнули.

— Вот как! Слыхали?..

— Бесятся от злости...

В воротах показалась тонкая фигура Гриши Гончарюка. Миловидное его лицо лоснилось от пота, глаза возбуждённо, недобро блстели. Он хрипло кричал:

— Мэй, ребята, на помощь!

Бросили, примяли каблуками цыгарки, кинулись за ворота, туда, где по склону холма, вплоть до самого пруда, разбросаны службы, склады, амбары, низенькие домики рабочих.

— Зерно забирают, — торопливо говорил на ходу Гриша. — Не отдадим, верно? Их там немного, не отдадим... А то трусимся перед ними, как теи бараны — противно...

Кто-то удивился:

— Что тебе то зерно?.. Вот..

Гриша на миг приостановился, глянул бешено:

— А что будешь есть? Паразитом хочешь жить за советскими? Скорее, ребята!

Они быстро шли по склону холма наискосок. Гриша вёл их к огромному, стоящему в стороне амбару, весь устремившись вперёд. Тонкие брови его были упрямо сдвинуты. Обычно сдержанный, застенчивый, он был неузнаваем сейчас. Он будто крылья расправил, будто выше ростом стал за сегодняшний день. Он шёл, не оглядываясь, ни на миг не сомневаясь, что ребята идут за ним все, — и они шли, увлечённые тем недобрым вдохновением, которым сияло лицо Гончарюка. Они шли, на ходу расстёгивая форменные куртки, засучивая рукава, и не замечали, как с каждым шагом, точно короста, отлетает от них истомившая за сутки неуверенность, рабья, постылая боязнь.

У тяжёлых дверей амбара уже кипела драка. Трое-четверо ребят яростью налетали на солдатские приклады. В приоткрытых дверях амбара, упираясь широко расставленными руками, по-бычьи нагнув крепкую, покрасневшую шею, стоял невысокий, плечистый Илья Сашко, неузнаваемый, страшный. Рубашка его была порвана до пояса, из распухшей разбитой губы сочилась кровь.

Подкрепление подоспело кстати. С отчаянным, счастливым возгласом кинулся Ваня Ведеш на рослого солдата, стоявшего к нему спиной. Маленький и несильный, он с любым мог поспорить в ловкости. С трудом сдерживая руки обороняющегося солдата, он весело кричал, покрывая все голоса:

— Эй вы, ворیشки карманные, бросай ружья, посмотрим — кто кого!

Его били, а он кусался, отбивался, попадая кулаком в животы, в лица солдат, обдирая кожу о солдатскую амуницию.

— Гони королевскую сволочь! — самозабвенно кричал Гончарюк, защищая рядом с Сашко захлопнутую дверь сарая. — Стоим, Сашко!

Далеко внизу, у пруда, тревожно пропел горнист. Солдаты кинулись туда, отмахиваясь и отругиваясь, на бегу подхватывая брошенные в драке котомки, ранцы, битых гусей. Вслед им несся свист, летели камни. Гриша Гончарюк, ликующе оглядываясь на товарищей, во весь голос запевал неизвестно кем занесённую в Левкауцы песенку:

На Украине дождь идэ,
В Бессарабы хлытко...
Ну-ж, тикайте, постолы,
Бо чоботы близко!

3. Илья Сашко

Вслед за схлынувшими румынскими войсками по волнистым дорогам Бессарабии прошли советские части. Через Лукаши, село, где жил со своей матерью и братом выпускник левкауцкой школы Илья Сашко, они проходили в знойный июльский полдень. В запылённых, прилипающих к спинам гимнастёрках, с тяжёлыми скатками через плечо, советские солдаты шли строем по узким изрытым улицам села, поглядывая с доброжелательным любопытством на геснящихся вдоль высоких плетней и у калиток взволнованных, плачущих от радости, простирающих к ним руки людей. Солдатам кидали цветы, пригоршни черешен, что-то приветственно кричали, и они, не всегда понимая обращённые к ним слова, улыбались в ответ растроганно и смущённо. Жадно разглядывая лица солдат, крестьянин Василий Сашко взволнованно шептал брату:

— Илья, ты ж гляди, какие они! Свои, ну совсем свои! Тот вон крайний, к примеру... Будто я его уже где-то видел, будто он мне родной, знакомый, ты ж гляди...

Молодой солдат, почувствовав на себе пристальный взгляд Василия, весело подмигнул ему, махнул рукою. Василий ответил на приветствие серьёзно, без улыбки, только крепче стиснул брату плечо.

Мать Сашко стояла тут же в толпе и, подаваясь ближе к проходившим, протягивая вперёд запотевшую, прохладную крынку с молоком, негромко взволнованно говорила:

— Да кушайте ж, кушайте, с лёду прямо, доброе такое молочко, кушайте! Утомились же, господи, жара такая...

Её морщинистое лицо, воспалённые, всегда слезящиеся глаза будто светились.

От колонны отделился лейтенант, нерешительно направился к ней. Она пошла навстречу ему, радостно, торопливо кивая:

— Пожалуйста, пожалуйста, кушайте...

Лейтенант пил молоко жадно, большими глотками. Старая украинка, притихнув, с молитвенным выражением смотрела на его запрокинутое юношеское лицо, на сильную загорелую шею. Лейтенант, возвращая ей крынку, поймал этот взгляд, застенчиво улыбнулся, вытирая рукавом губы:

— Хорошее какое молоко! Спасибо, мамаша...

— Спасибо? — Старуха от волнения задохнулась. — Да это ж вам спасибо, родные вы наши, сынки вы мои дорогие!..

Лицо её мелко задрожало. Она прильнула к грубой, тяжёлой скатке, перехватывающей грудь лейтенанта, плечи её забились под его рукой от внезапного, короткого рыдания. Рядом раздался укоризненный возглас Василия:

— Мама! Какая вы...

— Сынки ж вы мои, желанные вы мои... — не слушая, повторяла мать.

Лейтенант бережно отвёл от себя её руки, поцеловал мокрую, солоноватую от слёз старушечью щёку, кинулся догонять товарищей. Армия продолжала двигаться вперёд торжественно, медленно, точно обременённая той величайшей ответственностью, которую накладывает любовь, доверие и рвущаяся навстречу надежда. И вместе с ней величавой поступью двигалась на запад, к кудрявым, обрывистым берегам Прута, граница Советского Союза.

Семья Сашко жила все эти дни, словно подхваченная стремительным вихрем. Сельсовет в Лукашах временно обосновался в хате Сашко, а самому Василию, человеку простому, общительному, всех и всё в деревне знавшему, поручено было составить имущественные списки. Василий взялся за это дело кряхтя и почёсываясь, потом увлёкся, как всегда увлекался любым делом, которое начинал. Целыми днями был среди людей, объяснял, убеждал, разрешал споры.

— Что ж ты мне, Елена, за того Прокопия кажешь? — горячо толковал он какой-то бойкой на язык бабёнкс. — Прокопий, Прокопий... Тот Прокопий от с какого времени с вами не живёт, а мы на него землю наредай? Ага! Это что ж, государственный обман выходит?

— А ну, чекай, — дружелюбно, но твёрдо отводил он кого-то локтем. — Шесть гектаров! У государства, по-твоему, земля немереная — или как? . Хватит и четырёх заглаза...

— Василь Денисович, Василь Денисович, — протискивается к его столу истощённая женщина в платье из грубой мешковины, — Василь Денисович, ты ж помни — одна я, не работница, детей-то пятеро, дорогой мой, да малыньки...

— Ага, Андреуца, — Василий бегло просматривает бумаги. — Андреуца, вдова, пятеро детей... Коня тебе дают, вот! Ступай выбирай, мужика какого попроси, чтоб выбрал...

Женщина с коротким всхлипом падает на земляной пол, припадает к руке Василия. Василий смущённо вырывает руку:

— Лишй, а ну лишй... От нашла попа! Гай, пойдем, я тебе сам коня выберу...

Мать Сашко ворчала на то, что семья теснилась пока в одной только чистой горнице, что не стихает многолюдный шум под окнами, — но втайне радовалась и этому шуму, и поднявшемуся вихрю захлестнувшей её новой жизни. Она чувствовала себя среди народа, как рыба в воде. Маленькая, не по возрасту живая, она не ходила, а бегала по хате, поднимая ветерок длинным оборчатым подолом, делая незаметно самую трудёмкую работу, и ни на минуту не умолкала: вмешивалась в споры сына с односельчанами, охотно радовалась чужой удаче, соблезновала кому-то, слезливо моргая воспалёнными веками.

— За румынами ведь как было, — прямо с ходу врывалась она в разговор, подбирая юбку и присаживаясь к группе женщин на траву под окном, — с Ломачинец мы сюда переезжали, дом продали, землю, — не земля, пепел, от неё и бежали, — тысяч двадцать всё-таки получили... А сюда приехали — и куда что девалось! Строиться начали... За разрешение плати тысячу, за место тысячу, за документы опять тысячу, примарю за здорово живёшь опять же тысячу плати — всё тысячи, не сотни... Скопали свою недолю, я ведь вот что говорю...

Беременная невестка её, проходя мимо, недовольно говорила:

— Вы бы, мамо, легли отдохнуть. Всё на ногах, на ногах, ровно молоденькая...

— Чего я пойду — сейчас скотину погонят...

Невестка сердилась:

— Илье и прикажите. Распустили парня: от когда пришёл, и всё на улице...

Мать нетерпеливо отмахивалась:

— Та я ж загоню, вот...

Илье в эти дни не сиделось дома. Приходя с поля, он сразу же, не успев перекрестить лоб, садился к столу, ел много, жадно, давясь непрожёванным куском. Поев, сразу же бежал на улицу.

Узкие, поросшие травой переулки села, затенённые нависающими с обеих сторон буками, белые слепые стены хат за высокими плетнями, развешанный для просушки табак, забытая на плетне макитра, скрипящие журавли колодцев, щёлканье пастушьего бича, нетерпеливое мычание непоенной скотины... Всё обычно.

Но Илье уметь видеть необычное. После рабочего дня группками собьются крестьяне, присядут где-нибудь на низенькой каменной ограде, опустят на колени отяжелевшие за день руки. Сначала будут говорить неторопливо, мирно, потом поспорят. Разве когда-нибудь спорили жарче? Разве когда-нибудь были интереснее разговоры? В быстро наступающей темноте плеснётся нетерпеливый женский возглас:

— Гай, Степану, снідати!

Какой-нибудь так и не дошедший от поля до дома Степан досадливо отмахнётся, продолжая своё:

— От то ж я и кажу...

О чём спорят? О хлебопоставках, о разделе кулацкой земли, о рабочих договорах, о возможной войне, о колхозах. Радостно приняв советскую власть, многого ещё боятся, многого насторожённо ждут... Наступит темнота — с околицы зазвучат новые, советские песни: их разучивают с молодёжью приехавшие из-за Днестра комсомольцы. И везде, там, где вспыхивает дружная песня, где разгорается жаркий спор, мелькает сосредоточенное, хмурое лицо Ильи с туго сдвинутыми рыжеватыми бровями.

За несколько дней до прихода советской власти Илья Сашко окончил знаменитую на всю Бессарабию левкауцкую сельскохозяйственную школу. Готовился уже навсегда расстаться с её кирпичными стенами, с казённой формой — не вышло.

Приехало в левкауцкую школу новое, советское начальство из Кишинёва и распорядилось открыть здесь сельскохозяйственный техникум. Выпускникам «Шкоале де агрикултуре» предложили вернуться — не всему, дескать, выучились, поучитесь ещё немножко на советский диплом.

Вечером, когда семья Сашко собиралась вокруг обеденного стола, мать, прижимая хлеб к груди и нарезая его скибами, заводила один и тот же всем надоевший разговор:

— Только, слава богу, зажили, только бы хозяйевать — а ты опять до той школы. И так уж последнее с себя тянули столько лет, тебя учить. Как Василию теперь одному управиться, сам думай. Полина вон опять тяжёлая, я — стара, меня пожалеть пора уж...

Полина кормила мамалыгой маленького. Вытирая ладонью его сопливый носишко, ворчливо откликнулась:

— Вас пожалеешь, как же.

Илья прятал глаза, тянул неопределённо и глухо:

— Я что, я понимаю; как вы, мама, скажете...

Что она могла сказать! Она извела бы упреками каждого, кто помешал бы Илье учиться. Разговор этот потому и надоел всем, что не вёл и не мог привести ни к чему. Василий подвинул к себе миску, весело подмигнул Илье:

— Что, мама, всё об одном толковать... Пусть идёт, уж столько учили...

Он тут же становился озабоченным, деловитым: привык заменять Илье отца:

— Телок исхудал очень, вот škода, слепни его заели... Жара спадёт, продадим его, справим тебе сапоги,— что срамиться перед людьми-то...

Илья взглядывал благодарно:

— Я и в бокáнчах...¹

Он с нетерпением ждал сентября. Чему, как будут учить советские? Какую правду откроют они испытующему взору Сашко? Чего в конце концов хотят эти советские, в чём их загадочная неодолимая сила?

Крестьяне толкуют разное — что они понимают, крестьяне! Привыкли глядеть себе под ноги, в землю, не видят дальше своей ограды. Не от них хочет узнать Илья единственную правду на свете. Конечно, если есть она, правда... Не надо ему ничего говорить. Сашко сам пойдёт глядеть на советскую власть.

В девятнадцать лет судьбу выбирают однажды — и на всю жизнь.

Старый Бахчеван, человек крутой и неразговорчивый, говорил своей дочери:

— С этим ты, что ли, гуляешь, с парнем Сашковым? Оф, смотри, Марица... Человек он недобрый, не наш, я по глазам вижу. Спутается дура какая-нибудь с таким на вечную мороку. Какой он хозяин, э?.. Всё на людях, на людях, нет чтобы руки приложить возле дома...

Марица отмалчивалась. С отцом ей не хотелось говорить откровенно. Отец становился всё раздражительнее, всё придирчивее с каждым днём. И раньше не бог знает как был приветлив, а теперь и вовсе замкнулся — на улицу почти не выходит, к себе никого не зовёт; подружек Марицы — и тех распугал недоверчивым нетерпеливым взглядом. Марице опостытели и топчущиеся его шаги, и одинокие хлопоты по хозяйству; всё чаще томилась мысль об уходе из дома, о замужестве, о полной счастливой любви — о нём, о Сашко! Давно ли Илья умолял, плакал, грозился жизни себя лишиться, часами простаивал подкаменной оградой Бахчеванов? А теперь? Будто подменили, будто отравили парня. На коротких свиданиях с Марицей стал всё чаще задумываться, всё чаще отвечать невпопад. Иногда рассеянно размыкал обнимавшие его руки. Марица гордо отстранялась — ладно, не надо. Может, он, Илья, такой подлый, может, это из-за отца? Раньше каждому было лестно породниться со стариком Бахчеваном, а теперь, говорят, не в большом почёте богатые люди. Может, Илья вот какой оказался — расчётливый! Марица с негодованием гнала эту мысль — уже терзала другая. Может, какая-нибудь новая девушка у Сашко на примете?

В ясный сентябрьский день Марица провожала Илью из родного села. На прощанье говорила, отводя в сторону сухие, немигающие глаза, стараясь скрыть в равнодушном голосе разочарование и обиду:

— Учиться, учиться... Я уж не знаю, сколько учиться можно? Слава богу, учёный...

Илья отвечал задумчиво и строго, глядя туда, где в синей дымке, замыкавшей горизонт, угадывались очертания дальних холмов:

¹ Бокáнчи — башмаки (молдавск.).

— Это ты не знаешь. Учиться можно долго, всю жизнь...

Марица подавленно вздыхала. Она не верила ни одному его слову. Правильно говорит о Сашко отец — голан, побродяга... Лишь бы уйти от дома, от крестьянской работы, беспокойный какой человек, о господи!..

Прильнув к плечу Сашко, пытаюсь глянуть в его чужие отсутствующие глаза, шепнула с тревожным, ревнивым упрёком:

— Не любишь, Илие?

Сашко удивился:

— Люблю, конечно...

Опустив сундук на землю, привлёк к себе тонкий девичий стан. Озираясь на тихие сады за невысокими каменными оградами, стал целовать красивое, сердитое, упорно отворачивающееся лицо, тёмные, упавшие на грудь косы, плечи, невольно отдающиеся ласке.

Вот и осталось всё позади — и дружеское пожатие Василия, и последние материнские хлопоты, и долгий, со стоном, прощальный поцелуй Марицы. Илья не требовал клятв и сам не давал их — к чему? Жизнь идёт, идёт — и будущее всегда значительней и интересней того, что осталось позади. Холмы расступаются, открывая дорогу, клонятся навстречу пожелтевшие былочки в опустевших полях, в белесом от жары небе над самою головой неотступно парит стрепет и Сашко запекает песню. Никто не записывал ещё подобной песни. Не человек слагает её — ветер, свободный, ликующий ветер, обжигающий сильное, разрумяненное ходьбою лицо.

4. За кружевными занавесками

Когда румынская солдатня, грабившая техникум, направилась к дому Стучевских, Евгений Николаевич достал из сундука старый слежавшийся мундир офицера королевской гвардии, надел его, расправил перед зеркалом галуны и нашивки и, повернувшись по-военному на каблучках, вышел на крыльцо.

— Назад, — повелительно крикнул он солдатам. — Сейчас же назад! Солдаты попятились, поспешно отковыряли, ушли.

Сейчас квартира Стучевских напоминает оазис в иссушённой зноем пустыне. На школьном дворе — битый кирпич, облака известковой пыли, поперёк выложенных камнем дорожек вывороченные балки. Здесь — на распахнутых, выходящих в парк окнах чуть шевелятся кружевные занавески, пальма под потолком простирает лапчатые ветви, точно куполом прикрывая гостиную, ковры перекинута через спинки низких, покойных кресел. Жена Стучевского, Юлия Михайловна, напоминающая своими нежными, покрытыми пушком щеками румяный персик, занимает разговором нас, двух советских учительниц. Уют чужой, рядной квартиры стесняет, мы конфузливо улыбаемся и нетерпеливо ждём Стучевского. До приезда советского директора, которого ждут со дня на день, он исполняет его обязанности.

— Как же вы будете преподавать? — удивляется Юлия Михайловна. — С переводчиком? Ведь мальчики почти ни слова не понимают по-русски.

Что можно ответить на это? Мы озадачены и сами.

— Язык будем молдавский учить, ничего... — не очень уверенно отвечает Клава.

Вспоминается наказ Колесниченко. Вот и ещё одна трудность — о ней он нам не сказал ни слова.

— Язык лёгкий, да, — поспешно соглашается Юлия Михайловна.

Мы рассматриваем бархатный семейный альбом с застёжками — он

заполнен снимками пышноволосях, затянутых в корсеты дам и черноусых, бравого вида мужчин. Вглядываемся в портрет худенького нервного мальчика — сына Стучевских. Свежее лицо Юлии Михайловны хорошеет ещё больше, когда она рассказывает нам о своём Витике: он изумительно музыкален, изумительно. Витик пронгрывает за отцом со слуха сложнейшие вещи, пишет и сам, очень неплохо пишет. Юлия Михайловна играет какой-то «Весенний дождик» и «Детский марш». Смущённо улыбаемся и неловко хвалим — мы не бог весть какие ценительницы музыки.

Перед нами раскладывают папку с акварелями — розовые восходы, голубые лунные ночи, парковые аллеи, занесённые снегом мельницы...

— Это Евгений Николаевич... Знаете, когда в деревне живёшь... — со счастливым лицом поясняет Юлия Михайловна.

От полок с книгами, от изящного рукоделия Юлии Михайловны, от висящих над пианино скрипок, от тонких акварелей, разложенных на столе и украшающих стены, — от всего этого исходит аромат устойчивейшей, доброжелательной и мирной жизни.

Мелкой, птичьей походкой входит Мария Михайловна Смеречинская, сестра хозяйки, сухонькая, с ранними морщинами на узком лбу. Она говорит, слегка шепелявя и зябко потирая руки:

— Вот, наконец, и советские люди приехали!.. Господи, мы думали, когда же?.. Юлинька, ты уже говорила о Саше?

Юлия Михайловна всплёскивает руками:

— Да, да, Саша! У нас ведь брат в Киеве... Мы его не видели с того самого года...

— Знаете, это так волнует, — перебивает Мария Михайловна, — столько семей было разрушено оккупацией... И вот — списываются, находят друг друга... Смешно, — в восемнадцатом году в Киев уезжал маленький восьмилетний мальчик, а теперь...

Сёстры радостно смеются. Мы с Клавой переглядываемся. Здесь так мирно, беззлобно...

Входит, наконец, Евгений Николаевич Стучевский. Румяное лицо его приветливо. Когда он учтиво склоняется в дверях — между тёмными, редкими, от уха к уху заглаженными волосами просвечивает смуглая кожа.

— Вот видите, Константин Филиппович, — обращается он через плечо к вошедшему вместе с ним пожилому мужчине, тяжёлому и грузному, но ещё статному и красивому какой-то сильной, неблёкнувшей красотой, — видите, Константин Филиппович, к нам первые советские люди приехали!..

— Первые советские люди! — с готовностью подхватывает Константин Филиппович. — Первые советские люди, и к тому же женщины. И к тому же женщины, хе-хе...

Посмеиваясь над собой, он прижимает руки к сердцу, а затем протирает их перед собой открытым, законченным жестом.

— Константин Филиппович Цивенко, здешний бухгалтер, — представляется он, непринуждённо направляясь к нам.

— Но вы же не во-время приехали... — извиняющимся голосом говорит Стучевский. — У нас тут такой беспорядок ещё, ужасно...

— Помилуйте, Евгений Николаевич! — сухо перебивает Клава, так сухо, что я испуганно на неё оглядываюсь. — Мы сюда не на праздник приехали...

— Да, да, — торопливо кивает головой Стучевский. — Я понимаю, да, но мы и сами тут с ног сбились, вот с Константином Филипповичем. Кисонька, одну минутку...

Хозяева оставляют нас. Константин Филиппович всё с той же неприуждённостью завсегда опускается в кресло.

— Вас не пугает простая чёрная работа — штукатуров, например? Нет? Хе-хе... я шучу, конечно. Конечно, шучу. Сейчас-то самое страшное уже позади. А вот посмотрели бы, что у нас творилось недели две назад! Ведь ремонт кто производил? Мы с Евгением Николаевичем, собственноручно! Мы с ним тут и штукатурками были, и каменщиками, и ветеринарами, и землемерами, пчеловодами даже! С тех самых пор, как ушли румыны, бьёмся тут, как рыбы об лёд...

Жестом, подчёркивающим его отчаяние, но сдержанным и осторожным, он отодвигает забытые на столе акварели. Каждый жест Цивенко — это образец артистической завершенности.

— Эти варвары всё разрушали, тащили без разбору... Ах, каких коней угнали, каких коней! — Цивенко горестно качает головой, касаясь висков кончиками пальцев.

— Неужели нельзя было отстоять школьное добро? — всё так же колюче спрашивает Клава. — Совсем нельзя было?

— Что вы, Клавдия Алексеевна, — развеселившись, откидывается в кресле Цивенко, — женщины, милые вы мои, как вы ещё наивны. Вы знаете, что такое сила оружия, Клавдия Алексеевна?

Мария Михайловна сидит несколько поодаль, доброжелательно поглядывая на нас. Нет, она не была здесь во время отхода румын — она приехала в Левкауцы позднее, она лишь в июне окончила физический факультет в Бухаресте.

— Знаете, я так волнуюсь, — Мария Михайловна нервно передёргивает плечиками, — первый год преподавания, и потом я не коммунистка, я так безграмотна в этом отношении. Впрочем, физика, кажется, далека от политики?

Она смотрит на нас вопросительно, с надеждой. Константин Филиппович всплёскивает руками:

— Далека от политики! Да я не знаю, какую науку можно оторвать от политики. Может быть, алгебру? Не знаю... Кстати, — грузно поворачивается он к нам, — здесь была довольно крепкая организация «Страже Церулуй»¹, вам будет не просто работать...

— Опять... — весело начинаю я и, осёкшись под Клавиным взглядом, густо краснею. «Опять предостережение, — проносится у меня в голове, — этому-то какое дело до наших трудностей?»

Юлия Михайловна приглашает обедать. За столом нас знакомят с Петром Николаевичем Гроссу. Человек лет сорока пяти, с обильной щетиной на мясистых лоснящихся щеках, Пётр Николаевич всё время улыбается. Любезные, заинтересованные, предупредительные, добродушные улыбки Петра Николаевича придают его лицу сладкое, умиленное выражение. Он охотно рассказывает о себе.

Только три дня тому назад он при каких-то странных обстоятельствах перебрался через Прут, успел побывать в Кишинёве, получить назначение в наш техникум, прибыть сюда — часов четырнадцать по дрянной узкоколейной дороге! — и при всём этом сохранить немеркнувший энтузиазм и оживлённую готовность к любой работе, какую бы ему ни предложили.

— Математика? — живо поворачивается он к Евгению Николаевичу. — С удовольствием возьму. География? Могу. Немецкий язык? Могу и это. Основы дарвинизма? Позвольте, и такой предмет есть? С удовольствием, с удовольствием...

¹ «Охрана королевства» — монархическая организация молодёжи в Румынии.

Евгений Николаевич при каждом подобном взрыве обращает к нему любезный смеющийся взгляд, и трудно понять, — радуется ли он такому мощному подкреплению, прибывшему из-за Прута, или молча, со вкусом иронизирует. Евгений Николаевич весел, оживлён. Для него, профессионального педагога, начало учебного года — праздник. Он говорит об этом, потирая руки, оглядывая всех нас победно, торжественно.

Между тем Пётр Николаевич продолжает рассказывать о себе. О да, он всегда интересовался Советским Союзом, всю жизнь. Ведь он, молдаванин, довольно чисто говорит по-русски, не правда ли? Это потому, что много читал русских книг. Совсем недавно прочёл... как это... Материализм и империализм, Ленина — очень поучительная книга! Сюда бросился, оставив в Бухаресте жену, квартиру, солидную библиотеку, — жизнь начинается снова, всё наживётся, всё!

— О, видите, нищ, как Диоген, — конфузливо улыбнулся Пётр Николаевич, стягивая сердечком губы, сунул руки в глубокие накладные карманы пиджака, развёл их — в карманах весело отозвалась загремевшая мелочь.

Константин Филиппович поднялся, широко повёл над столом рюмкой:

— Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Bravo! Bravo, Пётр Николаевич, люблю таких. Выпьем!

В наружную дверь постучали. Юлия Михайловна радостно закричала из сеней:

— О, пришли наконец, ужасный вы человек! Женя, слышишь, Виталий Львович пришёл!

Вошедший конфузливо, дольше, чем это необходимо, приглаживает чуть тронутые сединой волосы:

— Тут такое общество...

Его представляют:

— Виталий Львович Морей, учитель из села Левкауцы, старый наш друг, очень давно запропавший, очень.

— Где вы пропадали? — удивляется Юлия Михайловна. — Мы Манюсе твердим с тех самых пор, как она приехала: вот подожди, мы тебя познакоим с настоящим чудовищем... А чудовища нет и нет. Неужели вы в тот раз всерьёз рассердились? Виталий Львович, полно...

И вдруг наступает неловкое молчание. Лицо Морей замыкается, на худых щеках проступают пятнами румянец. Стучевский и Цивенко быстро переглядываются; Цивенко поднимается, поднося Морейю рюмку густой, рубинового цвета настойки:

— Выпьем за первых советских людей, приехавших в наш угол! За вас, Клавдия Алексеевна! Вера Михайловна, за вас!

— Все выпьем, все! — подхватывает Юлия Михайловна. — Женя, что с тобой, налей своей даме вина! Виталий Львович...

— Прошу вас, условимся, Юлия Михайловна, — тихо, не поднимая глаз, говорит Морей. — Вы мне тот день лучше не напоминайте. Такой позор! У простых крестьянских мальчиков хватило мужества постоять за себя — а мы? Струсил... И Константин Филиппович струсил, да, да, и ваш супруг тоже струсил. Я тебе тот мундирчик, Евгений Николаевич, не скоро забуду...

— Виталий Львович!

Лицо Морей опять вспыхнуло, он резко поставил рюмку на стол, заливая вином скатерть.

— Интеллигентный человек, учитель! Ходит на задних лапках за

своим хозяином — хоть бы учеников постыдился! Вокруг него чѣрт знает что творится, книги жгут... Юлия Михайловна, простите!

Юлия Михайловна искренно, весело засмеялась, примирительно протянула руку:

— Ну как же не чудище! Ты только послушай, Манюся...

Виталий Львович неловко поцеловал её руку, насупился.

— Так...— медленно заговорил Цивенко, двигаясь в кресле.— Все, значит, трусили, один Виталий Львович не трусил...— Он спохватился, улыбнулся великодушно, щедро.— Осталось у вас что-нибудь в рюмке, левкауцкий мизантроп? Чокнемся, да я и пойду. Пойду, пойду, спасибо, Юлия Михайловна, меня в конторе ждут...

Виталий Львович угрюмо посмотрел ему вслед, неожиданно улыбнулся:

-- Одного выжил, а?

Пётр Николаевич неуверенно засмеялся:

— Но у вас, действительно, темперамент...

Все облегчённо задвигались, заговорили. Виталий Львович придвинулся к нам, оживился.

— Бежал к вам, как мальчишка, поверите? Дочурка кучерская, ученица моя, прибежала: «тата, говорит, сегодня учитель привёз московских». Я — сюда. Подумать только — первые советские учителя! Но я вас не такими представлял себе, нет...

— Какими же? — спрашивает Клава.

Виталий Львович подумал, отрывисто сказал:

— Солиднее.

Он заговорил горячо, нетерпеливо свёртывая папиросу, рассыпая по скатерти табак:

— Теперь я вас изведу, уважаемые коллеги. Буду просить методической литературы, у вас есть что-нибудь? Должна быть, я знаю. Опыт, опыт... Ты что улыбаешься, Евгений Николаевич? Хорошо вам — у вас тут в техникуме целый педагогический синклит, а я сижу, старый волкодав, один в своих Левкауцах. Видели вы наших деревенских застенчивых ребятишек? Знаете, это какое-то особое чувство, когда они смотрят на тебя такими чистыми-чистыми, доверчивыми глазами. Я их не грамоте, я их жить должен учить, да, да, а я, может, сам не умею... Тут не посмеёшься...

Он сильно затянулся папиросой.

Мы следили за ним, притихнув. Лицо Клавы, выражение её непримиримых глаз потеплело. От этого немолодого, скромного провинциального учителя, с быстрым, требовательным взглядом из-под клочковатых бровей, веяло подкупающей внутренней силой.

Не замечая производимого впечатления, он продолжал, положив руку на спинку Клавиного стула. Чуть подавшись вперёд, Клава увлечённо, доброжелательно глядела в его загоревшееся лицо.

— ...Начните работать — вы уже не уйдёте отсюда. Знаете, какой у нас народ? Несчастный народ — и прекрасный, прекрасный! Народ, который веками поработали турки, тевтоны, русское самодержавие, румынские бояре... Кто у нас только не перебивал! Грабили, выжигали целые сёла, уничтожали молдавскую культуру — а народ оставался, народ выносливый, терпеливый, простосердечный... И заметьте — сколько среди крестьян умнейших, талантливых людей, ещё не поднявшихся, ещё не нашедших себя. Людей, которые даже и не подозревают о своих талантах. Вы присмотритесь к вашим ученикам. Их вы не слушайте, — досадливо махнул он рукой в сторону Стучевского, — они сами своих учеников не знают. Присмотритесь к своим ученикам. Сашко,

например — это же талантливый человек, энергичный, умница. Теперь-то она себя покажет, наша молодёжь, теперь покажет себя! А какая судьба была бы у неё раньше — навоз выгребать из-под помещичьих лошадей?

Он вдруг потянулся к стоящей перед ним рюмке, поднял её резким, угловатым жестом:

— Выпьем за ваших будущих учеников, коллеги, за их новую счастливую судьбу!

Коллеги закивали головами, весело чокнулись. Кружевные занавески на окнах надувались, взлетали под напором рвущегося в комнату, тёплого степного ветра.

5. Первые советские

Константин Филиппович сидит в кресле, откинувшись в покойном кресле, поигрывая кистями витого пояса. Михаил Пахолко стоит против стола без шапки, широко расставив короткие, чуть кривые ноги.

— Ты, Мишка, не дури,— медленно говорит Константин Филиппович,— фасоли я тебе выписал, муки выписал, какого тебе чёрта нужно?

— А боров? — натужно хрипит Пахолко.— Борова порезали на днях, где он? Почему мы сала не бачили? Сам жрёшь?

— Ну-ну,— пренебрежительно тянет Цивенко.— Не забывайся ты, дерьмо!

— Масло где? — мотнув головой, продолжает Пахолко.— Мёд где? У меня диты малые исты хотят. Где это всё? Кому выписываешь? Сорюк колод мёду было, куда подевал?

Цивенко озирается; подавшись вперёд, яростно шепчет:

— Ты что сюда, шуметь пришёл? К чёрту иди отсюда, понял? Забылся? По-миру пушу...

— Гробишь? — подаётся вперёд и Пахолко, вперяет в дрожащее лицо Цивенко единственный, налившийся кровью глаз.— Ударить хочешь? Ну попробуй, ударь, ударь... А я вот до товаришки Долиникой пойду, она законы знает, она человек партийный... Врёшь, сволочь, не ударишь, прошли времена...

Два искажённых смертельной ненавистью лица приближаются одно к другому. Цивенко вдруг откидывается назад; ненужно стуча по столу ладонью, нащупывает закатившуюся между бумагами ручку.

— Пойдёшь к эконому,— не глядя, говорит он.— Получишь брынзы и сала...

— И мёду,— прибавляет Пахолко отворачиваясь. Лицо его уже спокойно и важно. Только под коленками вдруг начинается мелкая дрожь. Вот не ожидал, что так всё обойдётся, ко всему приготовился. Оказывается, наша сила! Бережно принимает протянутую записку.

— Смотри, Мишка...— медленно и значительно говорит Константин Филиппович,— поплачешь ты ещё у меня, будет время...

— Ладно,— широко улыбается Пахолко, пряча записку за пазуху.— Может будет, а может и не будет. Слепой сказал — побачимо...

Дядя Миша потерял глаз давно, ещё когда Бессарабия была за царской Россией. Разъярённый помещик вытянул замешкавшегося мальчишку кнутом по лицу. Шрам зарос, стал незаметен с годами на красном, обветренном лице, а глаз вытек. Что ж, на солдатчину не взяли — и то добре! Женился по любви на доброй, безответной женщине (нищему-то на нищей почему и по любви не жениться?), стала она ему рожать девчонок одну за другой. Прижмёт он, бывало, Настю к себе, потрясёт легонько за плечи:

— Ничего, ничего, жинка, ходи веселей! Може, колы и повидимо правду...

Приход советской власти дядя Миша принял как нечто естественное и неизбежное и озаменовал его самовольным переселением в бывшую директорскую кухню — просторную, тёплую, с громадной печью посередине. Хватит уж детишкам егозить животами по чужим полам! А когда тут же, в директорском доме, поселились две молоденькие советские учительницы, стали захаживать к нему по-соседски, величать Михаилом Евстафичем, — совсем осмелел. Он чутьём разгадал в нас прежде всего простых и немножко растерявшихся девчонок. Принимал наше внимание с достоинством, благодушно, даже немного подшучивая над нами, но другим при случае любил заметить вскользь:

— А вот придут до меня учительки советские — я их спрошу. Они люди образованные — они скажут, что и к чему...

Однажды зайдя к дяде Мише, я застаю там парня лет восемнадцати, чем-то напоминающего невозмутимого и симпатичного дворового пса — то ли добродушной неподвижностью своей, то ли снисходительно-терпеливым выражением плоского веснушчатого лица. Парень то-ропливо встаёт, роняя с колен шапку, и, уставясь в пол, почтительно замирает.

— Гай, поспідайте с нами, — приветливо говорит дядя Миша, обмахивая рукавом табуретку. — Вот, подывитесь, крестник мой, Димитрий Гуцуляк, учиться у вас будет.

Голос Мити Гуцуляка неестественно высок, тонок и робко, заискивающе оседает к концу каждой фразы. Из уважения ко мне он почти не прикасается к дымящейся на столе картошке.

— Вот только и дошёл до учёбы, спасибо советской власти. Стипендию, говорят, дадут незаможным. А то ведь за румынами как? Жить надо, кушать надо, то, другое... Батрачил. Я за эти сапоги в прошлое лето — и косил, и молотил, и бороновал. Плотничал, поверите? Крёстный вот знает... Какая там учёба! Дома-то мать, сестрёнки. Я самый старший. Теперь говорят — иди. Иди, Думитру, может, человеком станешь, сейчас время такое. Да коли меня примут учиться — я не знаю, я советской власти на всю жизнь благодарен буду...

Митя постепенно смелеет.

— Я ещё в Москве бы вот побывал... Учеников с собой на экскурсию в Москву не возьмёте? Побывал бы я там, крёстный, побачив, а что? — Он осторожно шутит, улыбаясь одними глазами: — Им ведь в Москве тоже интересно, наверное, какие мы из себя, левкауцкие. Они, может, слова такого не слышали — Левкауцы. А я что ж, я бы показывался — я не гордый...

— Ого, вот это так! — восхищается дядя Миша. — Правильно, Димитрий, не забудь только задницу латаную прикрыть!..

Наш техникум — это малая Бессарабия, хоть клади под микроскоп и разглядывай. Бессарабия, взметённая вихрем событий, взволнованная приходом советской власти, расслоившаяся на наших друзей и врагов. Друзья живут в хатёнках, разбросанных по склону холма. Друзья говорят между собою: «вот наслушались за румынами брехни о Советском Союзе; никому, братцы, не верьте, надо самим глядеть». Они глядят. Они приходят к нам, наскоро придумав предлог или совсем без предлога, шумно сморкаются за дверями, медлят у порога, смущённо мнут потрёпанные паларии.

Повар Бабинский рассказывал дома:

— Ходил я до учительек советских. Так и так, кажу, дивчинка у меня подросла, можно ли будет её на доктора-ветеринара или там на

зоотехника учить? Девиц принимать не будете ли? Они кажут — подавайте бумаги, будем учить на зоотехника... Простые! К столу зовут, чай, сахар... Та, кажу, який я гость? Я кажу, в этот вог дом меня и на порог же не пускали... Смеются. Весёлые, между прочим. Вот, Ниночка, счастливая ты у меня. Отец до каких лет крест под бумагами ставил, а тебя, шутка ли, на специалиста будут учить...

Пришёл к нам истопник и швейцар, Иван Иванович Шевчук, «дядька Иван», как его и сейчас называют старые работники техникума, семидесятилетний украинец с обвислыми, зеленоватыми усами, с подгибающимися от старости ногами. Его маленькие хитроватые глазки полны неудержимого молчаливого смеха.

— Вот,— сказал он, с забавной стариковской торжественностью шагая к столу и вынимая из-за пазухи завернутый в старую газету свёрток,— вот, барышни, смотрите, от когда вас дожидаетсяя...

В свёртке оказались чуть пожелтевшие от времени брошюры, такие знакомые нам по московским книжным прилавкам — доклады Сталина, Конституция, речь Молотова на VIII съезде Советов, «Вопросы ленинизма», «Коммунистический манифест». Книжки испещрены пометками, подчёркнуты во многих местах, над ними кто-то упорно работал. Мы недоумевающе смотрим в лицо Шевчуку.

— Откуда это у вас?

Брошюры в прошлом году дал ему домну Чебан — эту фамилию мы слышим уже не в первый раз — прежний школьный эконом, человек простой и уважительный. Дал и велел спрятать до времени — у неграмотного Шевчука всё равно никто их искать не будет. Бедняга Чебан будто предчувствовал — недели не прошло, как его арестовали. Искали по болоту с собаками — это живого-то человека! — избитого увезли в Кишинёв. Шевчук не удивлялся — хорошим людям на свете повсегда трудно.

— Нам домну Чебан говорил по разу: ждите, советские, мол, всё равно придут. Вы их ждите, а румынской брехне не верьте. Я тогда и говорю ему: что ж... Что ж, говорю, может, и правда придут, я знаю? Я всех видал — и при русском царе служил тут, и при румынском короле,— доживу, может, и до советской власти...— Смеющиеся глазки Шевчука застилаются старческой слезой, он переминается с ноги на ногу и вздыхает.— А Чебана жалко,— добавляет он, наконец,— помер небось от таких-то побоев, а человек был хороший...

Мы предлагаем Шевчуку стул, он сердито отмахивается и понуро уходит. Прошлое и настоящее уже путается у него в голове, ему не до нас.

— Книжки вот берёг...— задерживается он у порога.— Придут, думаю, советские. Я, думаю, неграмотный, а советским это нужное, советские почитают...

— Спасибо, Иван Иванович, спасибо!

В какой уже раз за эти дни мы вспоминаем Колесниченко. Он прав! Мы приехали в свою, советскую республику, к благодарному, много ожидающему от нас народу. Скорее бы работать!

6. Сергей Седов

Левкауцкий крестьянин Герман Думитру, возвращаясь порожняком со станции, нагнал невысокого человека в мешковатом пиджачке, склонного к полноте, но по-мальчишески лёгкого в походке. Услышав за спиной тарактеные каруцы, незнакомец отошёл к обочине дороги, спустил с плеча чемодан.

— Может, подвезёте, хозяин?

Герман Думитру стеснялся своего «выезда» — лошадёнка была низкорослая, неказистая, дышло торчало у неё скособоченное, грубо сколоченную каруцу — и та не своя, соседская! — заносило в сторону.

«Тоже, нашёл фаетон!» — подумал Думитру, но подвести приезжего согласился.

Незнакомец с усилием оторвал от земли чемодан, поднял его в каруцу, бросил туда же пальто, вскочил сам. Вблизи он ещё больше походил на мальчика: на лбу вздрагивала пушистая прядочка, очень светлые глаза глядели открыто, с весёлым вызовом. Герман Думитру повозился, покашлял, заговорил первый:

— Советский будете?

Впрочем, Думитру и не сомневался, что приезжий — из-за Днестра; людей из-за Днестра можно было сразу отличить. Незнакомец ответил, с доверием глядя прямо в лицо Думитру:

— Так же, как и вы, конечно?

Думитру сначала не понял, потом отвёл глаза, конфузливо усмехнулся:

— Ну, так уж у нас говорится; мы к этому званию ещё не привычные...

— Привыкать пора.

Думитру помолчал, посмеиваясь своим мыслям. Медленно ответил:

— Привыкаем...

Человек пытливый и разговорчивый, он тут же опять беспокойно задвигался, искоса поглядывая на приезжего:

— Вы не в Левкауцы едете ли, позвольте спросить?

— Я не в Левкауцы, я в сторону возьму. Километра четыре, говорят? В техникум сельскохозяйственный...

— Ага, — солидно кивнул головой Думитру.

Про себя он быстро соображал: «Новый директор? Не похож, прост очень. Правда, у этих советских и начальство на начальство не похоже...».

В это время дорога пошла на подъём. Приезжий легко соскочил с каруцы, пошёл рядом. «Нет, не директор, какое! — продолжал соображать Думитру. — Так, конторский какой-нибудь»...

Потом ему стало совестно сидеть в каруце. Подъём-то хотя не очень крутой, коняга бы вытянула. Думитру тоже соскочил, пошёл с незнакомцем рядом.

— Я слышал, директора там очень ждут, в техникуме... — осторожно начал он.

Незнакомец спокойно ответил:

— Я и есть директор. Седов.

Не обращая внимания на радостно оторопелое лицо крестьянина, Седов сказал озабоченно, глядя на волнистые, бегущие к горизонту поля.

— Озимые, я смотрю, и сеять ещё не начали? Долгонько раскочиваетесь, а?

— Сушь, товарищ директор, — охотно подхватил Думитру. — В такую сушь разве можно сеяться? Погибнет зерно.

Седов с сомнением поглядел на Думитру, неожиданно присел, поковырял палочкой землю.

— Почему нельзя? — выпрямился он. — Можно сеять. Борозду нужно глубже класть — сантиметров пятнадцать...

— Вот то-то и оно... — многозначительно протянул Думитру. — Я вам, товарищ директор, про себя скажу. Был у меня, к примеру, гектар земли, да советская власть, спасибо ей, нарезала два гектара. Семья дали, говорят: сей, Думитру, бери с участка своего по два урожая,

есть теперь, где развернуться. Да я бы и сам рад — человек свою выгоду понимает. Засеял бы гектар пшенички озимой — чего лучше...

— Ну?

— Вот он, живот мой, видали? — Думитру кивнул на лошадь, вяло бредущую в гору. — Только что хлебá убрали, сейчас подсолнух, кукуруза пойдёт, и поставку в наряд везти, и сеять — коняга-то всё одна, едва дышит. Подумаешь, подумаешь — чего убиваться даром! Вон у кулака, у Вайнеску, двадцать семь гектаров да четыре лошади, а он и не чешется...

— Не сеет?

— Не сеет, — развёл руками Думитру. — Так я думаю — кулаку не надо, а мне что? Да кто сеет-то? У вас в школе и не начинали, а ведь агрономическая школа, там всё знают, специалисты!..

— Специалисты? — каким-то своим мыслям обрадовался Седов. — А ведь это здорово, а?

— Ещё бы не здорово! — готовно согласился Думитру, но беспокойные, глубоко запавшие глаза глядели недоуменно. Седов пристально взглянул в бледное лицо крестьянина, в его мигающие глаза, помолчал.

— Может, не на тех вы людей равняетесь, а хозяин? — заговорил он, наконец. — У Вайнеску вашего, может, года на три запасено хлеба, он и лежит сейчас на печи, балует свою душу, советскую власть саботирует...

— Это да, — согласился Думитру.

— А вы мамалыжкой будете перебиваться, ведь так? Детей голодом морить?

Думитру помолчал, неохотно пробормотал:

— У нас дети привычные...

— У вас привычные, у соседа привычные... Послушайте, а вы бы сложились с соседом своим, что я вам посоветую...

— Не понимаю я что-то...

— Что тут понимать? Соседу вашему помощь нужна, нет?

— Пушкашу-то? У него конь здоровый, земли ему тоже прибавили... Нужна помощь, а как же! Сам-то он едва перемогается, не работник...

— Вот и сложились бы вы с ним: сегодня ему кукурузу повозите — завтра вам, сегодня ему вспашете — завтра вам. Так и посеете быстро, споро! Жёны ещё на подмогу...

— О, у него жена боевая, — задумчиво ответил Думитру и вдруг оживился. — А что, это бы здорово, товарищ директор! Как взяли бы работать — четыре человека, два коня...

— А что ж вам мешает? Это супряга называется.

— А у сродича моего у Лаю Ефтимия, у него даже сеялка есть, правда... Ничего, а, товарищ директор, если и Лаю ещё пригласить, третьего?

— А что ж! — согласился Седов, с сочувственной улыбкой наблюдая за оживившимся крестьянином.

— Оф! Три коня, шесть работников, сеялка — да это ж на один вздох вся работа. Вот спасибо вам, вот спасибо! У нас, знаете, братья или сын с отцом супрягались, а чтоб чужие — этого и в голову не приходило. А просто-то как, господи!

Он вдруг остановился, поражённый внезапной мыслью:

— Мэй, а откуда ж вы про моего соседа узнали?

Седов засмеялся, развёл руками:

— Ну, у каждого человека соседи есть...

Думитру восхищённо мотнул головой:

— Здо-орово!..

Стелятся справа и слева от дороги бесконечные поля. Характерный пейзаж Молдавии: мягкость, округлость в движении плавно выгибающейся земли, в разбросанных между холмами кудрявых древесных кучах, в волнистом движении дороги. Ласкающий глаз пейзаж, мягкий, благодатный климат. Тихое, дремотное скольжение облаков в ласковом небе — и этот вот задёрганный судьбою крестьянин, с голодным беспокойным взглядом, в заплатанном зипуне. Крестьянские наделы вокруг — точно заплаты. Скупотом отмеренные полоски чернозёма — на одном конце каждой из них не могла бы вольготно развернуться обыкновенная пароконная упряжка. Жалкое, нищее существование на богатейшей, плодоносной земле — на три захвата серпом в ширину, на два хороших взмаха косы!

Седов трясётся в крестьянской каруце, ветер молдавских степей несёт ему в лицо горьковатый, едва уловимый запах полыни, тонкий аромат далёких доцветающих лугов, и у Седова кружится голова — то ли от этих запахов, от этой безбрежности и чистоты, от воздуха, пьянящего с непривычки, от этих неоглядных просторов, — то ли оттого, что жизнь его в последнее время стала развиваться настолько быстро, что даже трудно осознать происшедшие за несколько дней перемены.

Ещё совсем недавно, неделю назад, не больше, он сидел в наркомате, и секретарша, отстукивая на машинке его бумаги, оживлённо щебетала:

— Там, говорят, винограду, винограду... Вернётесь загорелый, толстый, на молдаванке женитесь.

Озабоченный Седов и не пытался отшучиваться.

— Будет вам, я женат...

В том-то и дело, что он был женат. Наташа оканчивала химический институт, готовилась к защите диплома. Она ждала ребёнка. Именно сейчас оставлять жену было особенно трудно. И самое главное — что будет после защиты диплома? Как им устроиться вместе?

Когда они поженились — им казалось, что они необыкновенно смелы.

— Глупейший брак, — смеялась Наташа, глядя в лицо ему беззаветно счастливыми глазами, — просто глупейший. Ты зоотехник — тебе нужна деревня, а я инженер, буду работать на крупном заводе, на гиганте. Мы будем вместе проводить отпуск...

— Ага, двухнедельный! — весело соглашался Седов, целуя мягкие ладони жены.

Они утешали себя тем, что есть же расположенные в пригородах совхозы. Сергей может работать в научно-исследовательском институте, в лаборатории, наконец. И вдруг — Молдавия! Где в Молдавии химические заводы, где совхозы-гиганты, где научно-исследовательские институты? Нищая, ограбленная страна, в которой мужу-зоотехнику и инженеру-жене невозможно работать рядом.

Проще всего было бы, конечно, отказаться от поездки, но эта мысль даже не приходила Седову в голову. Это значило бы изменить чему-то самому важному в себе, самому основному.

Четырнадцатилетним мальчиком он жаловался друзьям на неудачно сложившуюся жизнь. «Растём баловнями, — негодовал Серёжа Седов. — Чего у нас нет? Всё есть: всеобуч, катки, детские театры, дворцы пионеров. В лагеря ездим. Родились на готовенькое»... Он остро завидовал старшему поколению — оно создало боевую партию, завоевало власть. Товарищи вояжили Серёже: что оставалось на их долю? Героизм отцов в гражданской войне вызывал в них жажду подвига. Четыр-

надцатилетние мальчики готовили себя к мировой революции, но она пока ещё была такой далёкой!

И вот каких-нибудь десять лет спустя в семью социалистических республик входили Западная Белоруссия, Западная Украина. Бывшие школьные товарищи, встречаясь, взволнованно пожимали друг другу руки. В освободительном движении советских войск слышалась твёрдая поступь надвигающихся грандиозных событий... В эти дни лекции в институте начинались торжественным возгласом профессора: «Товарищи, поздравляю вас...» Трудно было сдерживать радостное возбуждение, склониться над микроскопами, конспектировать первоисточники, корпеть над переводами, думать о предстоящих зачётах.

И вот, наконец, выпуск. Седов радостно принял путёвку из рук наркома. Молдавия! Отказаться от поездки в республику, где только ещё создавалась советская власть, где было всего труднее? Такая мысль не приходила в голову. Седов был типичным представителем своего поколения. Благородное юношеское стремление — взвалить на себя возможно больше — в нём не проходило с годами.

Наташа провожала его спокойно, даже весело. Она защитит диплом и сразу же переедет к нему. Кто сказал, что в Молдавии не будет своей промышленности? Непременно будет! Молодая республика, ей ещё расти и расти. Седов почти вслух смеётся, вспоминая Наташины радостные, доверчивые глаза. Наверно это и есть основное в любви — способность понимать с полуслова...

Думитру смотрит на посветлевшее лицо Седова с сочувствием и удивлением.

«Тёплый человек, — думает Думитру. — Вся душа открыта; жизнь, видно, не обижала...»

— А что, — осторожно спрашивает он, — вас, может, до самого техникума довести? Как прикажете, товарищ директор? Мне ведь в охотку...

Те, кого долго ожидают, чаще всего появляются неожиданно. На крыльцо конторы уверенной походкой взошёл невысокий, никому не известный мужчина, оставил запылённый чемодан на верхней ступеньке, повернул ручку двери — и по техникуму молниеносно разнёсся слух: директор приехал! Не приехал — пришёл, один, никем не встреченный! Весть эта дошла до Стучевского — он побледнел, поправил галстук, одёрнул пиджак, торопливо направился к конторе. Незнакомый человек в пустой конторе рассматривал висящий на стене план школьного участка. Стучевский выжидательно склонился в дверях:

— Домну директор?

Пожатие директора было энергичное, короткое. В суровом, сдержанном человеке, стоящем перед Стучевским, не было и следа той мальчишеской окрылённости, лёгкости, которая так поразила Думитру. Светлые глаза смотрели спокойно, твёрдо.

— Мы ждали вашей телеграммы, — проводя Седова в его кабинет, говорил расстроенный Стучевский. — Мы нарочно для вас держим пару лошадей, не пускаем их в поле...

Седов остановился, удивлённый тем, что услышал.

— Не пускаете в поле? — переспросил он. — В то время, как каждая лошадь в Бессарабии — на вес золота! Сеять, немедленно сеять! — это самая неотложная для нас задача. И для нас, Евгений Николаевич, и для окрестных крестьян — мы и за них отвечаем!..

Стучевский вежливо улыбнулся:

— При чём здесь окрестные крестьяне?

Седов коротко глянул на него, промолчал.

— Вам ещё трудно найти общий язык с нами, я понимаю, — сказал он, наконец. — Что ж, передавайте дела, будем искать общий язык в процессе работы. Но предупреждаю: от вас потребуются значительные усилия...

— В чём, догнать? — не понял Стучевский.

— В том, чтоб найти этот язык как можно скорее.

Стучевский склонил голову. Советские должны ему верить — он от всей души хотел наилучших отношений с новым начальством. Он сам русский, женат на русской. Демократ по убеждениям, он всю жизнь сочувствовал Советской России. Впрочем, разговор о его лояльности сейчас был бы не совсем уместен, Стучевский понимал это. Директор отказался посмотреть приготовленную ему комнату, отказался от еды: ему нетерпелось приняться за дело.

— Так, так, — говорил Седов уже в кабинете, просматривая списки студентов, принятых на оба курса, — сдавало приёмные испытания 380 человек, принято 140. Адреса приложены. Евгений Николаевич, распорядитесь, пожалуйста, выслать извещения о приёме ещё 140 человек.

— Но это невозможно! — воскликнул поражённый Стучевский. — Где мы их разместим?

— Этим вопросом мы с вами сейчас я займёмся. Только согласитесь со мной: извещения должны быть разосланы срочно, через три дня начало учебного года...

— Но это грубейшая ошибка! Наш интернат...

— Интернат вмещает только 140 человек, так ведь? Значит, надо будет изыскать дополнительную площадь под интернат... — Седов взглянул в расстроенное лицо Стучевского, продолжал мягче: — Евгений Николаевич, я же вам говорю — учитесь понимать язык нашего государства. Этот зооветеринарный техникум — почти единственный на всю Бессарабию. А вы знаете, сколько специалистов потребует от нас социалистическая Бессарабия через три—четыре года? Мы должны пойти на любые жертвы, но число студентов удвоить уже сейчас. Это единственное решение вопроса, чего бы оно нам ни стоило!..

Стучевский пожал плечами, вышел, унося с собой списки. «Авантюризм!» — раздражённо думал он. Седов был, пожалуй, прав: выработка общего языка требовала от него, от Стучевского, уже сейчас немалых усилий.

Будущее Молдавии! Седов не сказал всего. Он сдержал себя. Стучевский мог не думать о будущем Молдавии — Седов не имел права забыть о нём ни на одну минуту. Стучевский, очевидно, пригляделся к голодным, несчастным лицам крестьян — Седова они поразили. Эту землю Седов мечтал видеть другою, и видеть как можно скорее — страну с неоглядными массивами колхозных полей, с могучими табунами, ныряющими в холмистых просторах, с немолчным погромыхиванием трактора; страну здоровых, счастливых, смеющихся людей.

Стучевский вернулся, воодушевлённый мыслью драться до последнего, решительно пригладил волосы, зачёсанные от уха к уху.

— Я вынужден всё-таки возражать, Сергей Викторович. Им придётся спать по-двое на одной койке.

— Даже если им придётся пока спать по-двое на койке. Послушайте, Евгений Николаевич, вас это действительно беспокоит?

— Я не понимаю... Конечно!

— Я серьёзно спрашиваю: вас это в самом деле беспокоит? В скольких комнатах живёт ваша семья? В четырёх? Потеснитесь — одну

комнату можно будет взять под общежитие. Вы предлагаете другой выход?

— Итак, 280 человек? — растерялся Стучевский.

— 280 человек,—вставая, повторил Седов.—Вы ко мне? Прошу вас...

Вопрос относился к вошедшему — немолодому грузному мужчине с тяжёлыми, крупными чертами безукоризненно выбритого лица. В самой манере, с которой он вошёл и остановился в дверях, чувствовалась уверенность и непринуждённость человека, знающего себе цену.

— Простите, — сказал он, направляясь к Седову и протягивая ему руку,—я, собственно, разыскивал Евгения Николаевича. О приезде истинного директора не имел чести знать...

— Преподаватель молдавского языка, Авдий Георгиевич Чеботарь,—поспешил представить его Стучевский.—Авдий Георгиевич, встаньте хоть вы на мою сторону. Сергей Викторович считает возможным удвоить число принятых нами студентов...

Страдальчески морщась, Чеботарь с усилием опустил в предложенное Седовым кресло.

— Почему вы так волнуетесь, Евгений Николаевич,—медленно сказал он, и в голосе его проскользнула с трудом скрываемая жёлчность.—Директор берёт это, насколько я понимаю, на свою ответственность. Очевидно, он знает что-то такое, чего нам с вами, простым смертным, не дано знать...

В глазах Седова мелькнул быстрый, лукавый огонёк.

— Очевидно,—охотно согласился он.—Я рад познакомиться с вами, Авдий Георгиевич. Вы преподаёте молдавский язык?

Чеботарь, склонив красивую тяжёлую голову, неохотно ответил:

— До последнего времени преподавал.

В самом тоне его было что-то, что выдавало его: Чеботарь пришёл на разведку.

— Знаете,—с видимым безразличием сказал Седов,—я был поражён, прислушавшись к говору местных жителей: в молдавском языке, оказывается, масса русских слов...

— Что вы хотите, — опять склонил голову Чеботарь.—Очень сильное славянское влияние...

— Влияние? А какова основа языка? — быстро спросил Седов.

Чеботарь помедлил.

— Современные лингвисты расходятся во мнениях,—видно было, что Чеботарь осторожно подбирает слова.—Есть основания вести его от ветви романской...

— И считать одним из диалектов румынского языка?

— Да, если хотите, так. Но есть сторонники и другой теории, так называемой славянской...

— Вы, конечно...

— Я не придерживаюсь ни той, ни другой теории,—быстро и твёрдо ответил Чеботарь и впервые взглянул прямо в лицо Седову.—Я считаю, что молдавский язык—это молдавский язык. Моё дело: констатировать влияние как румынского, так и славянских языков...

— Находя объяснение этому влиянию в истории молдавского народа?

— Находя объяснение этому в истории молдавского народа.—Чеботарь начинал раздражаться и не желал этого скрывать.

Седов оставался спокоен.

— Простите, ещё один вопрос: а что, толкование истории молдавского народа так же противоречиво?

Чеботарь едва уловимо пожал плечами:

— Знаете, этот вопрос так сложен, что...

— Что вам нужно дать время его обдумать, я понимаю,— тут же согласился Седов. — Хорошо, если бы мы с вами сошлись на том мнении, что история молдавского народа — это история молдавского народа, — Седов сделал ударение на слове «молдавского», — а не...

— А не румынского? — принял удар Чеботарь и опять взглянул в спокойное, твёрдое лицо Седова. В глазах Седова сейчас не было уже ни весёлого вызова, ни насмешки.

— Вы очень прямолинейны, догматичны, — вместо ответа, помедлив, сказал Чеботарь и поднялся. — Не смею вас задерживать дольше, — он кивнул на разложенные перед Седовым бумаги.

Седов тоже поднялся.

— Да, мы продолжим наш разговор в другое время, — согласился он и вдруг улыбнулся. — Очень интересный разговор, честное слово. Авдий Георгиевич, я попрошу вас завтра, нет, лучше послезавтра представить мне конспект вашей вступительной лекции...

Чеботарь чуть побледнел, опустив веки, глухо сказал:

— Вы мне не доверяете?..

— Элементарная директорская обязанность. Никому не верить на слово, во всём убеждаться самому. Всего доброго. Евгений Николаевич, пройдёте по интернату, подумаем о размещении ещё ста сорока человек — это сейчас для нас самое главное...

7. Встреча

Проходит три дня — и вот, наконец, все мы собираемся на торжественное собрание.

Евгений Николаевич оглашает список президиума: Седов, Долинина, Смерчинская, Николай Скутарь, Аня Кошер, Пахолко... Заслышав свою фамилию, дядя Миша недоуменно озирается; кто-то подталкивает его в спину:

— От рабочих — Пахолко. Гай, Мишка!

Дядя Миша идёт между рядов, криво ставя слабеющие от волнения ноги. Ему кажется, что все смотрят только на него, что сомкнувшаяся вокруг тишина сейчас взорвётся хохотом, свистками, издевательским криком. Но тишина нерушима. Только Чеботарь бросает ему в спину негромко, презрительно:

— Демократия!

К словам Авдия Георгиевича Чеботаря здесь привыкли прислушиваться: по лицам преподавателей скользят улыбки. Кассир Саккара, любезный, предупредительный старичок со злым, неуловимым взглядом, — Чеботарь, видимо, дружен с ним, они вместе часто прогуливаются в отдалённых аллеях парка, — осторожно хихикает в ответ на негромкое замечание Чеботаря.

— Что вы хотите, Авдий Георгиевич! Что вы хотите!

Президиум выбран, но собрание долго не начинается — ждём Колесниченко, он обещал приехать на открытие техникума. И хоть так называемая суфражерия, огромная комната, служащая одновременно и столовой и залом, со сценой в одном конце и с окошком на кухню в другом, набита людьми до отказа, хоть самая обстановка первого дня волнует и располагает к непринуждённости, — в рядах учеников царит странная тишина. Ученики сидят плотно, плечо к плечу, лица их, неподвижные, глядящие прямо перед собой, странно похожи одно на другое своей замкнутостью. Мария Михайловна в президиуме взволнованно шепчет Седову.

— Какая дисциплина, Сергей Викторович, вы только посмотрите! Сергей Викторович морщится:

— Это не дисциплина, это чёрт знает что! Безликие какие-то. Что вы с ними тут делали, послушайте?..

Не подавая вида, он нервничает. Советская молодёжь сейчас шумела бы, спорила, со смехом запевала бы песни, пробовала бы жидкими хлопками поторопить президиум. А эти сидят невозмутимо, покорно. Молча, привычно ждут. Им улыбнёшься — а они не дрогнут ни единым мускулом лица, им глядишь в глаза — а они не моргнут, не отведут взгляда.

— Начинаем собрание! — решительно поднимается Сергей Викторович. — Евгений Николаевич, ваше слово!

Евгений Николаевич Стучевский, ставший теперь заведующим учебной частью, шурша списками, сообщает, что в техникуме будет два отделения — зоотехников и ветеринаров, два курса — для вновь поступивших первый, и для учеников, окончивших «Шкоале де агрикултуре», второй. Каждый курс, в свою очередь, разбит на группы. Склонив тёмную, залезанную голову, Стучевский поздравляет присутствующих с началом учебного года. Ученики смотрят так же невозмутимо, отчуждённо, на их неподвижных лицах невозможно различить решительно ничего.

Отчуждённость, ставшая традиционной, — что делать с этим проклятым наследством? Как пробить стену, издавна разделявшую здесь преподавателей и учеников? В президиуме поднимается Клава. Привыкшая за восемь лет партийной работы к многолюдным митингам, здесь она волнуется, на её скуластом лице появляются пятна. Мария Михайловна, шепелявя, охотно переводит за нею. И хоть речь идёт сейчас о вещах значительных и близких: о будущем, ожидающем каждого из них, — ребята всё так же непроницаемы и глухи, так же отгораживаются невидимой стеной. Предложение задавать вопросы их озадачивает, впрочем они даже позволяют себе быстро переглянуться. Больше того — в самом дальнем углу раздаётся приглушённый шум. Подталкиваемый товарищами, несмело поднимается Ваня Ведещ. Чинный, благовоспитанный юноша в наглухо застёгнутой курточке, он даже отдалённо не напоминает сейчас того отчаянного мальчишку, который со счастливым, разбойничьим гиком кидался на румынского солдата.

— Мы имеем спросить вас за стипендию, — деликатно поджимая губы, говорит он, а глаза его так и зывают: «Ну, поглядите же! Разве вы не видите, какой я примерный, достойный глубочайшего доверия ученик»...

— Стипендию будут получать все, — отвечает Седов, — кроме тех, чьи стцы не работают, кроме детей кулаков, торговцев...

— Кулаки... — сдержанно шелестит в рядах. Лёгкий вздох облегчения, и мягкая тишина вновь, как занавес, опускается между президиумом и учениками.

Собственно, происходят вещи знаменательные. Два мира продолжают выжидательно глядеть друг на друга. Один — замкнутый, неподвижный, скованный невидимым влиянием старого, другой — щедро открытый навстречу, обещающий неведомое, новое. Тишина.

И в эту самую минуту, когда председатель уже готов закрыть собрание, в насторожённой тишине, когда Сергей Викторович, поднявшись, уже обводит взглядом зал, дверь с шумом распахивается и на пороге появляется Колесниченко.

— Опоздал? — коротко спрашивает он и пробирается по проходу, невысокий, плотный, раскрасневшийся от долгой езды.

Кто-то ахает:

— Сам секретарь райкома!

На лицах преподавателей замешательство. Они, как застигнутые врасплох дети, — не знают, встать ли им или сидеть на месте, и на всякий случай спешат улыбнуться. Евгений Николаевич застывает на сцене с пригоровленным стулом в руках.

Весело, хитровато Колесниченко поглядывает на всех и улыбается.

Зал следит неподвижно, насторожённо.

— Ну, что ж, — громко говорит Колесниченко и выходит к рампе. — Что ж, здравствуйте, товарищи!

Зал молчит.

— Будущая молдавская интеллигенция! — говорит Колесниченко, как бы взвешивая каждое слово, и вновь оглядывает зал.

Будущая молдавская интеллигенция молча, выжидательно караулит каждое его движение. В глазах — острое, нескрываемое любопытство.

— Опоздал я, как видите! Извините. Пришёл там ко мне чудак один, я уж совсем в Левкауцы собрался. Деньги достаёт — сотни три, четыре, я не пересчитывал. «Примите, говорит, меня в партию, я до неё всегда расположенный». Спрячь, говорю, отец, деньги. В нашем Союзе деньги бессильные — ни счастья они тебе не прибавят, ни почёта. Не поверил. «Деньги, говорит, сила. За деньги в Румынии люди в любую партию вступали». Врёшь, говорю, отец, не в любую. На старости лет врёшь. В коммунистическую партию и в Румынии люди не могли за деньги вступить...

Лёгкий ветерок проходит по залу. Слова Колесниченко, самая простота его, этот знающий, взвешивающий взгляд — всё необычно. Словно не замечая произведённого впечатления, Колесниченко продолжает:

— Я вот расскажу вам, как мы учились, коммунисты. Вы учиться сюда пришли, вам это, наверное, интересно. Парнем я был, — взгляд Колесниченко неторопливо ищет кого-то в рядах, — вот вроде этого... Встань-ка, хлопец!

Димитрий Гуцуляк неуверенно поднимается, поёживаясь под устремлёнными на него взглядами всего зала.

— Вот вроде этого, поглядите. Вся его жизнь у него на лице написана. Что, погнул небось спину на чужих людей?

Митя Гуцуляк густо покраснел, пригнул голову, тихо прошептал:

— Было...

— Было, конечно! — засмеялся Колесниченко, и Митя робко, удивлённо взглянул на него. — Конечно, было! Я ж своего человека из тысячи узнаю. Небось и за скотиною ты, и на поле ты, и дома ты? Да всё со всех ног, а то небось хозяин накинется, выбросит без расчёта — рабочих рук за оградю пруд пруди. Так ведь?

Ученики переводят удивлённые, загоревшиеся живым интересом глаза с Колесниченко на Гуцуляка. Судорожно глотнув воздух, Митя коротко кивает головой.

— Видишь. А теперь небось учиться пришёл, так себе самому не веришь? Учиться, дружок, здорово придётся. А то, знаешь, стипендии не дадут. Чем жить будешь?

Митя вскинулся.

— Господи, да я...

— А ты не волнуйся, я всё знаю. Скажешь, стараться будешь? Знаю. Ты хорошо будешь учиться, ты к работе привычный, нужду видал. Ты в книжку вопьёшься теперь, как тот репей, — так ведь? Всё знаю,

садись... Так я говорю, товарищи, парнем я был — вот вроде этого... Как твоя фамилия? Сиди, сиди... Вот, вроде Гуцуляка. За двадцать лет мне было, как пришла советская власть. Ну, думаю, пойду учиться. Твёрдо решил, вот как Гуцуляк сейчас. Только тогда это не так просто было. Хочешь учиться — нужно сначала советскую власть защитить. Враги на неё тогда со всех сторон шли. Пошёл защищать. Это ведь легко сказать, ребята: года три мы тогда с коней не слезали. В лазарете отвалиешься, заштопают тебя — и опять на коня. Ладно, отбили врага. Ну, думаю, теперь учиться. Нет, опять нельзя, что ты будешь делать! Врага отбили, а всё поломано, разрушено. Хозяйство всё расгроено. Советская власть без своего хозяйства не проживёт — не к капитализму же на поклон итти. Пошёл на производство. А учиться-то, ребята, хочется или нет? Хочется!

Ребята подались вперёд, нетерпеливо вслушиваются. Мы ликующе переглядываемся — нет стены! Она сломлена этой неотразимой доходчивостью, этой искренней простотой.

— И пошёл я, ребята, учиться. Днём работаешь, вечером учишься. Нелегко было, признаюсь. Учишься, а сам мечтаешь: хорошо, вырастут другие люди, вырастут целые поколения, наши дети, дети трудящихся — они в науку войдут легко и просто. И ради этого стоит потрудиться, стоит! О вашем счастье мечтали мы, коммунисты, понимаете — о вашем!

Он замолчал, оглядел потянувшиеся к нему лица, продолжал негромко в туго натянутой, звенящей тишине.

— Что вы так сидите? Вы думаете, приехали новые хозяева над вами? Неверно! Вы сами над собой хозяева. Люди из-за Днестра приезжают помочь вам, научить. Пройдёт несколько лет — и все руководящие посты в Молдавии будут заняты вами, нынешней молодёжью. Кто будет в Молдавии учителями, врачами, зоотехниками, директорами, председателями советов, секретарями райкомов? Вы! Вы, понимаете, ребята? Советская власть — это не новый хозяин над вами, это вы — сами хозяева! Я вам говорю — «будущая молдавская интеллигенция», с уважением, как друзьям говорю, как будущим товарищам по общему делу, а вы чужаками сидите. Не по-хозяйски сидите, точно чужие здесь, точно подневольные... Что, ребята, признайтесь — ведь верно, не по-хозяйски?

Колесниченко не успел получить ответа. На сцену вышел повар Бабинский, от кого-то отмахиваясь и расталкивая кого-то. В зале нарастал взволнованный, приглушённый говор.

— Я скажу, — непререкаемо заявил Бабинский и сложил на животе руки.

В зале зашумели громче.

— Ну, потише, между прочим, — сердито сказал Бабинский. — Товарищ секретарь райкома речь тут держал, метал бисер, как говоритесь, перед свиньями, пусть он меня извинит. Дочка вон моя сидит, посмотрите, товарищ секретарь райкома, вон, в рядах. Чистенькая, прибранная. Учиться будет. Стипендию ей определили, как дочери рабочего человека. Так она ещё носом крутила: я, тата, не хочу быть зоотехником, зоотехники что, от зоотехников, я извиняюсь, пахнет... Не хочу и не хочу. Эх, говорю, доня моя, молчала бы уж. Мать твоя всю жизнь только у корыта, да около печи, да около вас, детей; отец слова уважительного не слышал всю свою жизнь, а тебе советские, такой, прости господи, стрекозе, ни за что, ни про что специальность дают... Я что хочу сказать? Я хочу сказать вам, товарищ секретарь райкома, и вам, дорогие товарищи советские учителя, вы от них благодарности не

ждите. Не ждите! Они ведь за румынами так считали: раз их учат, образование дают, так они уже нам, простым крестьянам, не чета. Мальчишки, сопляки, они на нас сверху вниз смотрели. Разве они думали, чего нам стоит образование ихнее? Родителей стыдились... Знаю я, всё знаю, — махнул он рукой на протестующий шум в зале, вдруг разволновался, забывшись, топнул ногой, — ничего они не ценят, вот как теи свиньи, ничего! Я не знаю, я взрослый человек, я плакал, когда товарищи советские тут говорили... а эти... а они...

Расстроенный, негодующий, сердито отмахивающийся от Клавы, которая пыталась его успокоить, он был сейчас и трогателен, и забавен. В зале смеялись. В зале смеялись радостно, облегчённо, добрым молодым смехом. Ниночка Бабинская, в группе других девочек, пригибаясь от смеха до колен, кричала со слезами на глазах:

— Оф, я больше не буду, тата!

Взволнованные юношеские голоса наперебой спешили теперь ответить секретарю райкома:

— Будем учиться, товарищ Колесниченко, вы не думайте...

— Будем учиться!

— Будем!

— Что ж, шумят вполне удовлетворительно, — весело сказал Колесниченко. — Закрывай, Седов, собрание, идём твою господарю смотреть!..

Собрание закрылось.

8. Перемены

Среди учащихся второго ветеринарного курса выделяется Николай Скутарь. Со старшими Скутарь почителен и независим, с товарищами — барственно небрежен. Чувство собственного превосходства, сквозящее в каждом его взгляде, в каждом движении, совершенно подавляет окружающих, и это превосходство признают даже те ребята, которые столкнулись со Скутарём впервые. Нечего и говорить о тех, кто издавна знает Скутаря, как командира «Страже Церулуй». Они замолкают, едва только Скутарь обведёт класс неодобрительным, замораживающим взглядом.

Быть командиром «Страже Церулуй» — это много. Недаром дружбы его — нет, не дружбы, хотя бы его внимания, благосклонности добиваются почти без исключения все. Скутарь не щедр на благосклонность: только два человека смеют называть себя его друзьями — они сидят в первом ряду: Костик Прозоровский — по правую, Ваня Ведеш — по левую его руку. Прозоровский, скромный, застенчивый, легко краснеющий юноша, — староста второго курса. Товарищи уважают его за ясный ум, за ровный, незлобивый характер, с готовностью прислушиваются к его тихой, спокойной речи, — всё это даёт ему право на небрежную покровительственную дружбу Скутаря. К тому же Прозоровский — сын богатейшего в своей округе, влиятельнейшего человека. Тёмные нависшие брови на нежном девичьем лбу и чистые синие глаза, глядящие на мир серьёзно, — может быть, даже слишком серьёзно, немного печально, — весь облик Прозоровского вызывает симпатию.

Второй — это Ваня Ведеш. Маленький и несильный, он ни в чём не желает уступать первенства, — ни в этой вот дружбе со Скутарём и Прозоровским, ни в учении, ни в спорте, ни в успехе у девушек, что вовсе неожиданно для такого непредставительного паренька. Правда, авторитет его в этой области держится больше на хвастовстве, но это само собой, прихвастнуть не забывает каждый из ребят. Однако не каждый может похвастаться тем, что на него с интересом погля-

дывают самые разборчивые левкауцкие девчата. Что-то есть в Ведеше, какой-то весёлый, безудержный огонёк. Что-то очень привлекательное есть в этом мальчишке, в его открытом, вызывающем лице, в лихо сдвинутой на одно ухо шапке, что-то отчаянное и беспутное. И в то же время — никто не умеет так чинно и скромненько поджать временами губы, как он, ни у кого на уроке не бывает таких пустых и холодных, таких подчёркнуто внимательных глаз. Никто не умеет говорить, когда это требуется, так убедительно, так мягко и вкрадчиво. Может быть, в этом тайна его успеха?..

В ребятах часто говорит зависть, и они не всегда справедливы. Ваня Ведеш, а ещё больше Костик Прозоровский всегда помогали классу охотно и бескорыстно. Но их первый друг Скутарь, а он всех виднее. «Какие они нам товарищи, — глухо поговаривали ребята, — белоручки, выскочки. Командовать над нашим братом кто откажется?» Ученики видели одно: как бы ни надрывался какой-нибудь Плечинта, как бы безукоризненно ни отвечал — никогда не быть ему первым учеником. Слишком уж много заплат на разваливающемся панталонах Плечинты! Первыми учениками всё равно останутся Скутарь, Прозоровский, Ведеш. Им это не будет стоить особых усилий.

И на первом уроке в этом году, когда каждый занял своё место в новом классе, ребята невольно подумали одно и то же: «Опять эта троица вместе, опять в первом ряду. Будет, видно, опять как и за румынами...» Никто и не подозревал, какие разрушительные ветры обрушились на этот спаянный в течение нескольких лет и, казалось бы, устойчивый союз. Никто и не подозревал, какое смятение владеет Ваней Ведешем, внешне попрежнему спокойным. Как и все, смотрел он в лицо советскому преподавателю такими же, как у всех, пустыми замороженными глазами.

— Д-да, — барственно откидываясь на спинку парты, многозначительно тянет Скутарь, едва только захлопывается за преподавателем дверь. — Вот вам и советские профессоры...

Ребята, закостеневшие в течение урока, вскакивают с мест, с удовольствием разминаются. Некоторые собираются вокруг Скутаря.

— А что, не нравится? — подмигивает Скутарю Георгий Рошка, вызывающе красивый парень с сильной, точно отлитой из бронзы шеей и наглыми глазами — первый танцор и ухажор в селе Левкауцы, никогда и ничего не принимающий слишком всерьёз.

— Не нравится? Как сказать... — уклончиво отвечает Скутарь. — Дальше виднее будет...

— Разве так можно учиться? — волнуется кое-кто из ребят. — Каждое слово переводить...

— Мэй, боець, не плачьте. Нашлют советских специалистов, — покрывает все голоса смеющийся, беззаботный голос Георгия Рошки, — будут из нас ветеринары, как из дядьки Ивана дипломат. Верно, Николай?

Скутарь молчит. Скутарь умеет ценить каждое своё слово. В ответ он только лениво поднимает бровь: «Может, и так, я знаю?»... Ваня Ведеш, скользнув взглядом по его холодному, высокомерному лицу, враждебно прищуривается. Он, Ведеш, глаз не мог оторвать от преподавателя в течение урока. Ему льстила эта волнующая, странно сказать — почти товарищеская простота в обращении советской учительницы, открытая, доверчивая, легко набегающая на лицо улыбка. «Вот, наверное, человек хороший», — думал он, старательно выписывая буквы русского алфавита. Он годнимался с места переводить — в очередь с Гришей Гончарюком — охотно, гордясь собой. Ваня Ведеш русский

язык знает, он тут десять очков вперёд даст и Скутарю, и любому другому, Прозоровскому даже. Чего они там раскудахтались, ребята?

— Каких же вы специалистов хотите? — зло говорит он. — Румынских? Кончились румынские, будет!.. Ступайте в Румынию их шукать..

Ребята удивлённо переглядываются:

— Вот это так заговорил! Ну, Ванюша..

— Зачем же румынских, своих..

— Нет у нас своих,— не замечая их удивления, запальчиво продолжает Ведеш, подхваченный знакомой волной нарастающего возбуждения, в которое его приводит любое противоречие, любой спор.— Нет у нас своих, что вы, не знаете?

— Есть!

— Нет! Повсегда румынские были! Что вы говорите, когда в Кишинёве, и то..

— Знать мы всё равно ничего не будем, ладно,— миролюбиво отмахивается Рошка.— И пусть, а ну пусть, что ты мне на душу наступишь?..

— А ты что стараешься, скажи? Ну, что ты из кожи лезешь?—вдруг через головы товарищей обращается к Ведешу Тимофей Тетеля, унылый и неповоротливый верзила. Медленный, скрипучий круговорот его мыслей замыкается как и всегда в самой неожиданной для всех окружающих точке.—Ишь, в один момент перекрасился! Знаем вас! При румынах впереди был и сейчас вперёд лезешь?

— Кто, я перекрасился? Я перекрасился?—глаза Ведеша округляются от бешенства.— Нет, ты понимаешь, что ты сказал? Я перекрасился.. А ну, повтори, повтори.. — угрожающе подступает он к Тетеле, которому и на цыпочках едва достаёт до плеча.— Я перекрасился! А пасха завтра.. — и безобразное, замысловатое румынское ругательство звенит в воздухе, как пощёчина. Ребята опасливо оглядываются на дверь.

— Перекрасился, знаем вас,— упрямо твердит Тетеля.— Иди, иди.. не испугаешь, хватит, не те времена..

Гриша Гончарюк сидит в стороне, охватив руками колени. Задумчивое, удивлённое лицо его освещено внутренней, не пробивающейся наружу улыбкой.

— Я вот думаю, думаю,— неожиданно говорит он с подкупающей, ребячливой искренностью.— Да подожди ты, Ведеш. Я всё думаю, какие советские люди простые! Учителя, например.. Приходят в класс— и точно не учителя вовсе..

— Что же тут хорошего, мэй Гриша? Ну вот, к примеру, выучусь я на доктора-ветеринара, так что я, буду какому-нибудь голану руку подавать?

— А твой отец кто? «Голану»... Кто твой отец? — опять вспыхивает успокоившийся было Ведеш.

— А они ведь подают руку! — наивно и радостно удивляется круглолицый, толстоносый Плечинта.— Правда, Гриша? Вы не поверите, может: секретарь райкома, когда уезжал, Бабинскому руку подал..

— Бро-ось? А Бабинский?

— А что Бабинский? Вы не видели, какой он? Подал тоже Вытер и подал..

— Вот, небось, дома рассказывал!

— А Гуцуляк, ребята, помните, с которым секретарь райкома тогда говорил?.. Слышал я, Гуцуляк первокурсникам рассказывал, как Вера Михайловна на кухне у Мишки картошку ела..

— Оголодала, что ли? — негромко удивляется кто-то.

— Теперь распустит язык, — лениво цедит сквозь зубы Скутарь. — Э... Теперь начнёт говорить, ещё бы! Сам секретарь райкома его отменил. Этому вшивому голану только того и нужно. Теперь начнёт всякое дерьмо нос задирать.

Прозоровский нерешительно дёргает товарища за рукав, но Скутаря уже перебивает Рошка.

— Что ни говорите, ребята, — с неожиданной грустью вздыхает он, — были профессёры при румынах, этим барышням не чета. Перед ними ведь за версту вот как становишься—живот к позвонкам прилипнет... А эти что? «Простые, простые!» Сами, видно, ничего не знают, мэй, боець!

— А то знают? Конечно, нет...

С лица Гриши Гончарюка медленно сходит радостное оживление.

— Разве ты можешь это понять? — презрительно откликается он. — Говорят с тобой по-человечески, не как с собакой, так разве ты это понять можешь? Эх, Георгий, какой ты... — он не договаривает, отворачивается в сторону. И в эту самую минуту общее внимание опять обращает на себя Ведеш.

Зло глядя в надменно вскинутое лицо Скутаря, он вдруг говорит, кривясь в недоброй усмешке, и едва заметные усики его вздрагивают.

— А знаешь, кто мой отец? Конюх у меня отец, вот, всегда был конюхом — а ты не заметил? Я молчал — а ты и не заметил? Как же ты со мной дружбу вёл, как у тебя в носу не свербило? «Вшивый голан»... Ты, может, и про меня так скажешь? Набаловался, неженка... — Ваня приблизил к самому лицу Скутаря своё побледневшее лицо: — Не много ли на себя берёшь, мэй? Время не то, надорвёшься...

В коридоре раздаётся звонок. Ребят точно ветром сдувает по местам. В разом наступившей тишине шаркают по коридору неровные, спотыкающиеся шаги старого Шёвчука.

— Рошку, Рошку, — перегибаясь назад, отчаянно шепчет Ведеш. — Рошку, садись на моё место, хочешь? Пусты меня к Гончарюку...

Авторитет Гриши Гончарюка сильно вырос за эти дни. Он и всегда внушал невольное уважение, этот худенький, серьёзный юноша, почти подросток, с милостивым детским лицом и строгими глазами. Точный и аккуратный во всём, педантически верный своему слову, безукоризненно опрятный, чего бы это ни стоило, с выглядывающим из-под наглухо застёгнутой курточки чистым белым воротничком, прекрасный ученик, разве только Прозоровскому уступающий первенство в классе, — он попал бы в категорию тех пай-мальчиков, которых так чуждаются и обычно не любят товарищи, если бы не это обаяние строгой требовательности к самому себе, если б не врождённое, чистое чувство товарищества, за которое уважали Гришу без исключения все, если бы, наконец, не внезапные приливы беспечной весёлости, совершенно его преображавшие.

Принадлежа по происхождению к привилегированному сословию (Гончарюк был сыном сельского учителя), он, однако, выбирал себе в товарищи ребят поскромнее, попроще, таких, которых избегали, которыми помыкали самоуверенные богатые ученики. Он мог часами просиживать с товарищем над трудным учебным материалом, отдать присланные из дому деньги, мог вступить за товарища в драку. Ребятам нравилось его твёрдое стремление к независимости, чувство справедливости, никогда ему не изменявшее, его ненавязчивая, но упорная прямота. Трудно не любить человека, который так скромно и твёрдо умеет остаться самим собой.

С того дня, как Гриша сделал единственное, что он мог сделать в тот момент, — повёл ребят, невольно повиновавшихся ему, на выручку

школьного зерна, он чувствовал, как его рванула, подхватила, понесла на поверхность волна незнакомой радости. Может быть, он не знал меру своих сил до этого дня? «Дождь Григорий часу», — сочувственно поговаривали ребята, глядя, как вдохновенно загорается порою лицо Гриши, прислушиваясь к интонациям его голоса — по-новому требовательным и суровым.

Ваня Ведеш смотрит на Гончарюка почти с завистью: в нём чувствуется непоколебимость, устойчивость, прямота — то, чего сейчас так нехватает Ведешу. Так нехватает! Ведеш сидит на месте Георгия Рошки растерянный, подавленный всем происшедшим. Что собственно произошло? Кто его за язык потянул — так вот сгоряча, сразу, перед Скутарём, который ничего уже не простит, ничего не забудет, перед всем классом, — да, да, Ваня помнит, как в каком-то тумане, эти обернувшиеся, удивлённые лица ребят. Теперь весь класс будет знать, что отец Вани — простой конюх. Ведь четыре года удавалось это скрывать — четыре года! Всё говорил, что отец его — эконо́м в крупной господарии, тянулся, из кожи лез, выглядел, слава богу, не хуже всех. Домой никого не пригласил. Живёт и живёт на помещицьем дворе, кто там начнёт разбираться! И вдруг всё случилось... Почему? Потому, что очень взбесил этот тон Скутаря? А почему он не замечал его раньше? Какое! Чтоб набить себе цену, сам иногда говорил таким тоном, а то и похуже. Иногда вспомнит старого, устало улыбающегося отца — и готов себя по щекам бить. «Слава богу, — говорит отец, когда Ваня приходит на каникулы домой чистенький, прилизанный, застёгнутый на все пуговицы, — слава богу, Юленька, Ванюша наш не хуже людей». А потом заплачет, листая костлявыми тёмными пальцами страницы его безупречного дневника. Вся жизнь у него в сыне, вся радость. А Ваня снимет форменный китель, погладит и ни за что уже не наденет до самой осени — не село бы пятнышко, не обтрепались бы, сохрани бог, обшлага. Даже девчат из-за этого избегал, пока был дома. Тянулся, тянулся... Ох, как всё перепуталось, перекрутилось, не стоило бы так сразу...

Поглядеть вот хотя бы на Рошку. Сидит сияющий, важный — ещё бы, рядом со Скутарём! Оглядывается, всем своим видом показывает — обратно не пересяду. Не пересаживайся, не надо; подумаешь — честь... Но недовольство собой опять захлёстывает Ведеша. «Горячка, бешеный! — ругает он себя. — Строил, строил, возводил здание — и вдруг, хлоп! Всё поломал, в одну минуту, своими руками... Всё как будто по-старому — застывший класс слушает Чеботаря. Чеботарь доверительно и спокойно обращается с каким-то вопросом к Скутарю, Скутарь поднимается величаво, неторопливо; вежливо улыбается в ответ на непрекаемую шутку Чеботаря. Всё по-старому — только Ведеш сидит где-то в задних рядах, рядом с Гончарюком. И весь класс уже знает, что отец Ведеша — простой человек, пропахший навозом конюх... «А ты, что же, — враждебно и холодно обрывает он сам себя, — как тая битая собака — нашкодил, а теперь в кусты? Теперь уже всё равно, — Ведеш, забывшись, шевелит губами, — всё равно, нет назад возврата. Всё равно ведь, назад возврата нет — жалеи не жалеи, кайся не кайся. Будем с тобой, Ванюша, другую жизнь начинать...»

9. «Красные яблоки на зелёных ветках»

Ребята шумели, спорили, ссорились, а Илья Сашко за целый день не сказал, кажется, ни слова, только раза два рассеянно передал прома-кашку куда-то назад. Думал, думал...

..По центральной улице Лукашей вдова Андреуца вела сильного буланого коня, отвечала что-то бессвязное сбегающим к ней односельчанам, нагибаясь на ходу, подолом вытирала лёгкие радостные слёзы. В опустевшей под вечер хате Василий деловито склонился над исполкомовскими бумагами. На бывших помещичьих полях под пронзительный напев крестьянской скрипки внезапно закипела ликующая «Молдаванеска». Шло новое в молдавские сёла — и Сашко радовался этому новому и тут же одёргивал себя. Что значило это новое в личной его судьбе?

Простота и доступность советских людей ошеломила впечатлительного Сашко. Взволновала речь Колесниченко, взволновал брошенный на него учителем открытый, доброжелательный взгляд. В привычной обстановке школы новизна советского порядка выступала особенно ярко. Хороший порядок! Хорошо, когда всё в твоей жизни зависит от тебя самого, от твоих способностей, ума, талантов. От твоей энергии... О, энергии Сашко не занимать! Сознание своих ещё не раскрытых сил, обычно присущее молодёжи, росло, ширилось, — его трудно было сдержать, оно рвалось наружу. Никогда это не волновало так, как теперь, когда Сашко очень хорошо понял, понял лучше, чем что бы то ни было другое, что эти скованные внутренние силы могут отныне проявлять себя свободно, безгранично.

Как и всегда в минуты крайнего волнения, лицо у Сашко становилось всё более сосредоточенным и хмурым. Чем шире в душе его разрасталась эта мелодия пробуждения, ликования жизни, тем теснее сдвигались рыжеватые брови Сашко, тем больше дичали глядящие куда-то в сторону, мимо класса, глаза. Если бы можно было уйти с уроков, достать скрипку — Сашко сыграл бы. Он отчётливо слышит эту никем не записанную песню — такой просторный, вольный, такой безудержно широкий мотив. Всё шире, всё выше, выше... Сашко спохватывается. Да, да, таблица Менделеева, металлы, металлоиды, валентность... Как всё это далеко, как всё это не нужно сейчас. Как хочется скорее остаться одному, прислушаться к себе; всё рассказать, что лежит на душе, верной подруге — скрипке. Или Марице? Поняла бы что-нибудь Марица в этих его думках?

Темноволосая, темноглазая девушка, молчаливая, гибкая, как виноградная лоза. Что Марица! Только и знает — целоваться да на руке виснуть. А начнёт говорить — благоразумная, рассудительная, точно старая баба, точно ей не восемнадцать лет вовсе! Сколько раз думал — ну поженимся, народит детей, станет хозяйство вести, а дальше что? Скучно! Не о такой любви у Сашко думка.

Илья отчётливо помнит первую их встречу на улице, как остановилась она чуть поодаль от него, повернувшись боком, изогнувшись тонким, удивительно стройным станом, косилась тёмным немигающим глазом из-под белого, туго обмотанного вокруг головы платка. Молча позволяла любоваться собой; пугливо, насторожённо ждала. Казалось, протяни к ней руку, и она сама, замирая, склонится к тебе на плечо. От этого многие, не один Сашко, теряли голову. Ещё бы — такая красавица! Зачем ум такой девушке, от прикосновения, от одного только взгляда которой в висках стучит! А она — вон какая оказалась, упорная. Сколько ночей провёл с ней Сашко, а Марица всё не поддавалась ни уговорам, ни ласкам. Откинется назад, изогнётся в его руках — об этом Сашко и сейчас не может спокойно вспомнить, упрётся в грудь Илье ладонями; не сводя упорного, немигающего взгляда с его молящего лица, медленно, отрицательно поведёт головой.

— Засылай сватов, Илье...

Дались ей эти сваты! Сашко мгновенно трезвел. Ничего ведь не видел по-настоящему, нигде дальше Кишинёва не побывал. Свобода, свобода! От одного этого слова в ушах звенит сильнее, чем от поцелуев Марицы.

Вот советские девушки — они Марице не чета, они не скажут — «сколько учиться можно?» Спросить их — зачем они приехали сюда, в Молдавию, от родных, может быть, от женихов, от мужей? Что у них в душе, у этих женщин, отчего они не думают о себе? Илья Сашко никогда таких не встречал. Вот хоть Клавдия Алексеевна (мэй, уже история, уже пятый урок — вот размечтался!), говорит о ледниковом периоде — кому нужна эта древность? — а смотрит на учеников, на него, Илью, так, точно они ей старые товарищи и им вместе этот ледниковый период до чрезвычайности интересен. На открытый, весёлый взгляд учительницы Сашко отвечает сумрачным взглядом из-под нахмуренных рыжеватых бровей. Со стороны кажется, что Сашко ненавидит Клавдию Алексеевну, не верит ни одному её слову, а он в это время любит её и восхищается ею. Что в ней есть, в этой женщине? Ведь не красавица, нет, Марица куда красивее. Говорят, этой Клавдии Алексеевне уже 28 лет, никогда, ни за что не дашь. Эти живые, умные глаза точно в душу глядят — вот с кем говорить бы и говорить! Вот человек, который с полуслова понял бы окрылённые думки Сашко. Раза два засмеялась — шумно, просто, словно и не на уроке вовсе, а в дружеской беседе. Илья даже оглянулся торопливо — не подслушал ли кто его тайные, запретные мысли? Пусть ничего не подумают, ему не любовь нужна — дружба. Большая женская дружба, о которой так смутно, так неопределённо мечтал Сашко, обнимая душными, летними вечерами тонкие плечи Марицы. Может быть, не женщина так влечёт к себе; может быть, хорош мир, стоящий за её плечами, мир, в котором всё так просто и достижимо, который так заставляет верить в себя!

Когда выходили после обеда, Сашко потянул Гончарюка в сторону.

— Слушай, Григорий, пойдём до советских учительек сходим.

Гриша нерешительно замялся:

— Неудобно, а? Ребята скажут — подлипалы, выскочки... Неудобно.

— Ну, что неудобно, — горячо убеждал Сашко, — они мало ли чего наговорят, ребята... Так теперь и будем их слушать, как теи бараны?

— А ну, пойдём! — решил Гриша. — Книжки просить, да?

И вот они стоят перед нами. Диковатые глаза Сашко быстро и придирчиво оглядывают комнату. Гриша Гончарюк, по-детски выпятив живот и доверчиво глядя на нас, смущённо треплет в руках форменный бархатный картуз.

Мы поражены. Мы никак не думали, что в первые же дни шевельнётся навстречу эта недвижимая, ледяная стена. Мы поражены, но не показываем вида.

— Вот и хорошо, — после минутной паузы говорит Клава. — Очень хорошо, что пришли. Нам с вами, ребята, предстоит большущая работа. Подумаем вместе, кого будем в учком выбирать, кого — в редколлегия...

Они нерешительно садятся. Учком? А что это такое будет — учком? Ага, самоуправление. Вот это здорово! Очень здорово, только не совсем понятно. Неужели они будут сами, совсем сами управлять порядками в школе?

Ребята быстро осваиваются, особенно Гриша.

— Скутаря нельзя, — сердится он на меня. — Что вы, нельзя Скутаря! Как это вы не понимаете?

— Да почему? Почему? — удивляюсь я. — Авторитетный парень, сам говоришь...

Сашко помалкивает. Он ждёт только одного — когда будет названа его фамилия. У него даже ладони потеют от волнения. Если бы они знали, какие крылья выросли за спиной у Сашко, как много он может!

— А ты, Сашко? — обращается к нему Клава.

— Я бы попробовал, — солидно отвечает Илья и от волнения хмурится ещё больше. — Немножечко...

И вот техникум наш зашевелился. Осторожно, сдержанно. Гриша Гончарюк для начала стал читать газеты по вечерам небольшому кругу ребят, преданных ему. Другие подходили, слушали. Иной тут же отойдёт, поругиваясь: «вот расселись тут, только заниматься мешают, катись, Григорий, до своего дормитора», — потом снова вернётся. Вместе с Сашко Гончарюк организовал выдачу русских книг из личной нашей библиотечки. Начала работать редколлегия, засуетилась над первым номером стенгазеты. Возглавляющий её Ваня Ведеш в поисках материала озабоченно носился по дормиторам и классам. Важно покрикивал на первокурсников, чинно поджимая губы в разговоре со мной, с готовностью кидался по первому моему слову. Очень неприятна эта его услужливая готовность! Прикреплённый вместе со мной к редколлегии Чеботарь всё на что-то хмурился, раздражённо перечёркивая поданные в газету заметки, на первое организационное собрание совсем не пришёл.

Это первое собрание вызвало много разговоров.

— Мы не совсем хорошо поняли, — переглянувшись с товарищами, осторожно подбирает слова Ваня Ведеш, — неужели о всех наших недостатках можно писать свободно?

— Вера Михайловна, простите, — нетерпеливо допытывается Сашко. — Это что же получается — и о профессорах, и о директоре можно писать? Нет, серьёзно?

Сашко глубоко, удовлетворённо вздыхает. Во всех чертах его лукавой физиономии нескрываемое удовольствие.

— Са-мо-критика... — повторяет он важно. Вот и ещё одно новое слово!

Наши ребята — большие любители употреблять кстати и некстати «новые слова». Они восприимчивы и любопытны. Оторвавшись от земли, от трудоёмкого крестьянского хозяйства, от семьи, которая задыхается без молодых рабочих рук, они пришли в техникум с горячим желанием «выучиться всему» и как можно скорее. Поэтому мы быстро двигаемся вперёд.

На уроках русского языка учим фонетику. Учим песни. Тщательно переводим каждое слово и выписываем в тетрадь. Запас слов постепенно увеличивается. И запас «новых слов» — тоже.

Человек всегда имеет право
На ученье, отдых и на труд...

— На труд? — уголком рта усмехается Скутарь. — Вот так право — на труд!

— Да, право на труд, — настойчиво повторяю я. — Советская власть всех обеспечивает работой. Два месяца назад мы застали в Бессарабии двенадцать тысяч безработных, они нищенствовали, потеряли уже всякую надежду. А сейчас! Прочтите их письма из Запорожья, с Донбасса. Они счастливы, они, наконец, имеют работу. Их труд хорошо оплачивается, уважается их человеческое достоинство. То, что в течение десятилетий не желало и не могло осуществить румынское королевство, осуществляет правительство Советского Союза.

Ребята переглядываются: кто из них не слышал о знаменитой кишинёвской бирже безработных? Гриша, не ожидая вызова, сам поднимается для перевода.

На каждом курсе создан штат переводчиков. На втором ветеринарном — Гриша Гончарюк, Ваня Ведеш, иногда Тимофей Тетеля. Лучше всех переводит Илья Сашко. Многих слов он ещё не знает, но прекрасно улавливает общий смысл, переводит с увлечением, со страстью.

Однажды обнаружился ещё один переводчик. Обычно Семён Котогой безучастно сидел в классе, опустив на руку худое, носатое лицо, лениво и холодно шурясь. И вдруг — читали мы в классе «Сказку о попе и о работнике его Балде» — Котогой встrepенулcя, вызвалcя переводить. Залившись неожиданной, мягкой, открытой улыбкой, передал сказку с таким блеском, с таким неотразимым украинским юмором, что всё вокруг него заулыбалось и ожило. И когда потянулись к нему оживлённые посветлевшие лица — поверилось, что сидит здесь не отчуждённая, румынизированная молодёжь, а свои — простые и весёлые крестьянские хлопцы.

История лукавого батрака пользуется таким колоссальным успехом, что я рискую дать первый самостоятельный пересказ. И вот стоит у доски круглолицый Плечинта, широко открыв простодушные глаза, он с трудом подбирает слова в напряжённой, сочувственной тишине.

— Ишоя Балда до попа. Кажет «Здравствуй, поп». «Здравствуй». «Или, поп, не забыл ты за плату?» «Ладно, — кажет поп. — Не забыл». И — вот Балда...

Вспотевший от старательных усилий, Плечинта безнадежно умолкает. — Ну, хорошо. Скажи конец. Что с попом от этих щелчков стало?

Плечинта, встrepенувшись, торжествующе выпаливает:

— Оки повылазили, о!

Я невольно смеюсь, смеются ребята, и в этом дружном смехе окончательно стирается разделяющая нас перегородка.

Насмеявшись досыта, вновь берёмся за дело. Время от времени кто-нибудь ещё потихоньку фыркает. Илья Сашко, утирая катящиеся по щекам слёзы, всё ещё смеясь, бормочет:

— Оф, Ваня, какая ты ужасная ребятишка!

А потом прозвучало ещё одно «новое слово» — учком! Как только были объявлены выборы в учком — равнодушно и отчуждённости навсегда был положен конец. Учком — полномочное школьное правительство, в состав которого должны быть избраны самые достойные, самые авторитетные ученики.

Самые достойные! На втором ветеринарном, где собралась вся аристократия техникума, уже дня за три до выборов кипели страсти. Котогой и Плечинта настойчиво называли имя Гриши Гончарюка.

— Хватит! — кричал Котогой, энергично рассекая ладонью воздух. — Хватит, покомандовал над нами Скутарь, кончились румынские порядки! Что ты мне грозишь? — тут же наступал он на кого-то. — Я это Скутарю и в лицо скажу: кончились румынские порядки!

Скутарь в разговор не вмешивался, споров сторонился. Обласканный им в последнее время Рошка, посмеиваясь и, как обычно, ничего не принимая всерьёз, весело обещал набить морду всякому, кто посягнёт на авторитет Скутаря. Тимофей Тетеля, человек благоразумный и рассудительный, пробовал урезонить расходившихся товарищей; Илья Сашко молча, взволнованно прислушивался к спорам, ожидая только одного: когда будет названа кем-нибудь и его фамилия, когда товарищи догадаются, наконец, как они много теряют, замалчивая имя рвущегося к делу, энергичного Сашко.

На первом курсе выборы были приняты спокойнее. Это, прежде всего, очень неровный по своему составу курс. Небольшая часть первокурсников уже училась год-два в «Шкоале де агрикултуре»: староста первого ветеринарного Алёша Мунтян, оборотистый коммерческий человек Калараш, кулацкий сынок Цуркан. Основная же масса пришла сюда впервые. Впервые пришла учиться голь перекатная: Димитрий Гуцуляк, четырнадцатилетний малыш Васенька Макаровский, которого все называют Марусей за детскую свежесть хорошенького личика и звонкий девический голосок; впервые пришла учиться еврейская молодёжь, которую к «Шкоале де агрикултуре» прежде и на пушечный выстрел не подпускали; впервые в Бессарабии пришли в сельскохозяйственную школу девочки.

Несмотря на пестроту, первый курс в массе своей проще, доверчивей и непосредственней, чем старшие ученики. Сказывается, что они «за румынами» меньше были муштрованы.

— Выбираем Мунтяна! — решают первокурсники весело и единодушно.

Мунтян очень популярен и на первом ветеринарном, и на первом зоотехническом. Даже второкурсники, даже Скутарь не брезгают беседой с Мунтяном. Уже совсем взрослый парень, недоучившийся в «Шкоале де агрикултуре», мобилизованный в румынскую армию, демобилизовавшийся из неё с приходом советской власти, — Мунтян импонирует старшим своим жизненным опытом, младших подкупает своей ребячливостью. Ленивый, весёлый, удивительно беспечный — этот взрослый, в сущности, человек теряется в толпе мальчишек. Его поросшее рыжеватым волосом лицо постоянно оживлено простоватой, тщеславной усмешкой. «О, Алёша — это такой парень!» — восхищённо и многозначительно отзываются о нём ребята.

Митя Гуцуляк приветствует нас при входе в суфражерию широкой улыбкой: «А мы за Мунтяна такую агитацию делали, вот вы повидите сейчас!».

В просторной суфражерии яблоку негде упасть. На сцене стоит покрытый красным стол для президиума, и голубой кувшин с простым деревянным ковшиком наивно и весело красуется на нём вместо графина.

Сергей Викторович, принарядившийся, торжественный, рассказывает об обязанностях учкома. Ребята выслушивают его нетерпеливо — об этом уже столько говорилось по дормиторам, по классам. Им не терпится, хочется сказать своё слово. Седов оглядывает их с радостным удивлением — нет, это не прежняя отчуждённая, безликая масса, так напугавшая нас каких-нибудь две недели назад. Что-то в ней уже стронулось с места, закрипело, пошло.

— Что ж, — говорит Сергей Викторович, — подумайте хорошо, ребята, кому вы доверите организацию нашей школьной жизни...

Ребята оживляются. От группы второкурсников несмело отделяется Георгий Рошка.

— Я предлагаю, — говорит он по-молдавски, испуганно округляя глаза, — от имени второго ветеринарного я предлагаю Николая Скутаря. Он у нас самый авторитетный, мы его все знаем. И Константина Прозоровского.

— Скутаря, Скутаря, — недружно проносится по рядам, — Прозоровского и Скутаря!

Скутарь заметно бледнеет, чуть кривит тонкие губы в самолюбивой усмешке.

— Скутаря, Скутаря, — охотно поддерживают зоотехники, — голосуем за Скутаря!

— Скутаря! — подхватывают первокурсники. Им вторят голоса где-то в глубине зала.

Ваня Ведеш, вспыхнув и с трудом владея собой, искоса смотрит на Скутаря. Смотрит, как Скутарь взволнованно ловит нарастающий в рядах гул.

«Ни за что, ни за что! — вихрем пронесится в голове Ведеша. — Опять он, всюду он. Всё переменялось кругом, а он опять выплывает наверх».

Но Ваня Ведеш молчит. Сам не замечая этого, он несколько раз приоткрывает рот и вновь отступает назад. Что ему мешает? Может быть то, что всегда мешало ему быть самим собой, что заставляло тянуться, тянуться...

— Ваню Ведеша! — робко выкрикивает Прозоровский имя своего закадычного друга.

— Ведеша, Скутаря, Прозоровского! — шумит зал. — Скутаря, Прозоровского, Ведеша.

— Гончарюка! — сложив ладони трубочкой, выкрикивает Котогой. Густой бас Тимофея Тетели солидно вторит:

— Правильно, Гончарюка!

Ваня Ведеш вздрагивает, решительно выходит вперёд. С падающим сердцем, беззаветно отдавшись порыву, он кричит, покрывая все голоса в зале, скосив на Скутаря отчаянные, ликующие глаза:

— Гончарю-юк! Правильно, громче, Семён!

— Скутаря! Гончарюка! Скутаря! — зал ревёт, начинает стучать ногами. Где былая безучастная невозмутимость?

Сергей Викторович поднимается, глядит в зал.

— Я дам слово тем, кто поднимет руку, — говорит он, не повышая голоса. — Ты что-то хотел сказать, Гончарюк?

Гриша, глядя на Сергея Викторовича строгими, недобрыми глазами, говорит медленно и твёрдо:

— Я имею вот что сказать. Нам Скутаря выбирать нельзя. Не может он и за румынами, и за советскими работать. Не может этого один человек, если он честный...

Шум покрывает его слова. В рядах возмущаются: что он там мудрит, этот Гончарюк. Пойди-ка, не выбери Скутаря, когда столько лет его фамилия произносилась первой. Там ведь как всё обойдётся, чем кончится — неизвестно. А такой, как Скутарь, он со свету сживёт, если встать у него на дороге.

— Скутаря, Скутаря! — настойчиво твердят ребята.

— Сергей Викторович, пусть Скутарь сам скажет! — поднимает руку Рошка. — Ведеш, ты переведи — я предлагаю, пусть Скутарь сам скажет...

Зал притихает. Скутарь злыми сужившимися глазами смотрит куда-то поверх толпы:

— Если меня выберут, — высоким, срывающимся голосом говорит он, и лицо его покрывается пятнами, — буду честно работать для советской власти. Как может Гончарюк говорить? Что он — мне в душу смотрел?

— Что он — Скутарю в душу смотрел? — запальчиво вторит Рошка.

— Сергей Викторович, дайте мне слово! — морщась от нетерпения, как от боли, рвётся Ведеш. — Я не за Скутаря, я имею за Гончарюка сказать. На втором ветеринарном это самый правильный человек. Кто всегда за правду стоит? Гончарюк. Кто самый хороший товарищ?

Гончарюк. Кто зерно спас тогда? Гончарюк. Сергей Викторович, — прибавляет Ведеш по-русски, — вы не знаете, это Гончарюк спас школьное зерно, когда уходили румыны!

Сергей Викторович смотрит в лицо Гончарюку. Этот юноша обратил на себя его внимание в первый же день приезда. Сергей Викторович неоднократно ловил на себе его настойчивый, придирчивый взгляд. В этой требовательной придирчивости по отношению к советским людям чувствовалась высшая оценка. «Мы вам верим, смотрите, — говорит этот взыскательный взгляд, — будьте самыми честными, самыми справедливыми людьми»...

— Гончарюк спас школьное зерно? — обращается Седов к собранию. Ребята кивают головами — конечно, Гончарюк, а кто же? — Это замечательная рекомендация, — продолжает Седов. — Таких вы и должны выбирать: тех, кто душою болеет за общее дело...

Седову трудно вести собрание. Ребята неожиданно активны — это и хорошо, не хочется сдерживать и ограничивать их, но с другой стороны... Мнения вспыхивают и гаснут, и невозможно руководить этими мнениями, невозможно всё время требовать перевода.

— Надо нам язык молдавский скорее учить, вот что, — наклоняется Седов к сидящей в президиуме Клаве. Но Клава не слышит его.

— Я предлагаю Илью Сашко, — поднимая руку, громко говорит она. Она давно уж следит за хмурым, одиноко сидящим Сашко; она больше не может видеть его взволнованное, несчастное лицо. Как он тогда сказал, в первый день: «Я бы попробовал... немножечко...»

— Опять со второго ветеринарного? — спрашивает Сергей Викторович. — Нет, нет, достаточно. Гончарюк, Скутарь, Прозоровский, Ведеш, а с зоотехнического отделения нет никого; с первого курса ни одного человека нет...

— Первый курс предлагает Мунтяна! — выкрикнул Петя Галецкий. Ребята задвигались, заулыбались.

— Эге, Алёша! Алёшу выбираем! Мунтян, где ты?

Мунтян, поднявшись в середине зала, охотно поворачивается во все стороны, улыбаясь. А зал согласно гудит:

— Мунтяна, Мунтяна!

— Какая популярность! — усмехнулся Сергей Викторович. Поднялся, негромко сказал в установившейся тишине: — Предлагаю от зоотехников — Дмитрия Гуцуляка... — минуту помолчал, посмотрел на девочек, скромной, молчаливой стайкой примостившихся около печки, прибавил с улыбкой: — и Анюту Кошер, правда, девчата?

Ребята захлопали: Аникуцу Кошер любили. Кандидатуру Гуцуляка большинство встретило с молчаливым неодобрением. Однако Гуцуляка предложил директор, спорить не осмеливались. Председателем учкома всё-таки выбрали Скутаря.

— Ничего, — говорил Клаве Седов, — только ещё начинаем жить; найдётся и для Сашко хорошая работа...

Илья, будто чувствуя, что речь идёт о нём, следил за Клавой издали влюблёнными, благодарными глазами. Она одна оказалась способной понять его и оценить. Вот человек! Доброжелательный, умный, всех понимает, всё видит насквозь... Он не торопился уходить. Смотрел, как за полуотворванной кулисой Клавдия Алексеевна о чём-то говорила с Седовым. Смотрел и думал, в который уже раз за эти дни: «Если бы быть ближе к советским!.. Какие хорошие люди, какие простые...»

10. Аьдий Чеботарь

Каждую субботу учком вывешивает на дверях «музея» вырванный из ученической тетради листок, на котором точно указаны результаты учёбы за истекшую неделю: «На первом месте второй ветеринарный курс — двоек нет, пятёрки имеют... На последнем месте остался первый ветеринарный: двойки получили Абрам Гринберг, Пачика Бабий; пятёрки имеют только Василий Киструга, Алексей Мунтян, Петя Галецкий».

— Вот лодыри! — Петя Галецкий сердито почёсывает затылок. — Давай, Мунтяну, всерьёз займёмся этой Пачикой. Пусть посмотрят, какой такой наш первый ветеринарный...

— Мэй, Пачика! — шумно веселятся вокруг. — Теперь у нас Пачика будет отличница!..

Здесь, около этого листочка, разгораются страсти. Зло высмеивают отстающих, даже физиономии бьют друг другу иногда, здорово бьют, всерьёз, со степным крестьянским размахом.

Мария Михайловна Смеречинская осторожно обходит толпу ребят у дверей «музея». Ребята торопливо расступаются.

Мария Михайловна в эти дни, как и всякий педагог, впервые приступивший к работе, озабочена и исполнена сурового чувства ответственности. Она остро завидует опытности, самоуверенности, неторопливым манерам Чеботаря, радостно удивлена нашей идущей навстречу простотой. Всё происходящее она воспринимает с готовностью и доверием, всему торопится научиться и всё перенять.

— Хороший это метод — соревнование, знаете, — чуть шепелявя, в своей обычной, слегка взвинченной манере говорит она, прикрывая за собой дверь в учительскую. — Не правда ли, домнуде? Мальчики очень подтянулись в последнее время, очень...

Гроссу поспешно восклицает:

— Ещё бы!

Стучевский согласно склоняет голову. Даже Чеботарь, угрюмый, недобржелательный Чеботарь вынужден признать, что соревнование приносит совсем неплохие плоды в оживившемся ученическом коллективе.

— Но вы не учитываете одного, — медлительно, взвешивая каждое слово, добавляет Чеботарь, — вы совершенно не учитываете национальных особенностей...

Клава и Чеботарь, проверяющий ученические тетради, задержались в опустевшей учительской. Крупные вялые пальцы Чеботаря механически поигрывают красным карандашиком.

— Вы поймите, — говорит он, доверительно склоняясь к Клаве, — поймите, что психология молдаван несколько своеобразна. Молдаване флегматичны, медлительны, тяжелы на подъём. Новые взгляды прививаются им чрезвычайно медленно. Годы нужны на это, Клавдия Алексеевна. Поверьте мне — долгие годы. А вы всё хотите переделать по своему, быстро, с налету, раз-два. Легкомысленно, недопустимо легкомысленно. Как хотите, конечно. Я старше вас, прекрасно знаю здешние условия — и могу пожелать вам только побольше основательности, побольше терпения. Национальный характер — это всё-таки чрезвычайно значимый фактор...

— Понимаю, понимаю, — нетерпеливо кивает головой Клава, — молдаване очень напоминают украинцев, не так ли?

— Да, пожалуй, — задумчиво говорит Чеботарь. — Да, да, вы совершенно правы.

— Но, Авдий Георгиевич, как же так? Насчёт украинцев тоже ведь существовала такая теория, что они очень медлительны и тяжелы на подъём. А они громаднейшую общественную перестройку завершили в каких-нибудь 23 года. Видно, не очень верна теория?

Чеботарь молчит, он весь поглощён очередной тетрадью.

— И знаете, Авдий Георгиевич, — улыбаясь, продолжает Клава, — не заметила я в ребятах никакой флегмы. Недоверчивость, некоторый холодок — это да, это есть, это и понятно. Но вот флегма... Вчера один такой флегматик в драку лез, за свой курс заступался. Или же выборы учкома вспомните...

— Простите, кстати, — перебивает её Чеботарь, и в голосе его слышится обычное раздражение, — я не могу понять, по какому принципу Вера Михайловна пропускает материал в газету. Я говорил, говорил, но скоро я принуждён буду попросту от всего отстраниться. Мы никогда не были такими уж ретроgrадами, как вы, очевидно, думаете. У нас в учебных заведениях тоже создавались рукописные органы с целью воспитать чувство собственного достоинства у юношей, развить в них логичность, умение излагать свои мысли. Но то, что пишут ученики в эту, как её, «Вьяца нова» — «Новая жизнь», — Чеботарь усмехнулся, — это же совершенно недопустимо, не знаю... Оценка преподавателей, например, — что это за похлопывание по плечу, благодарю покорно! — Раздражённо фыркнув, Чеботарь откидывается в глубь дивана.

— Вы о статье Беженаря? Но ведь она не помещена, насколько я знаю?..

— Дело не в этом даже, — досадливо морщится Чеботарь. — Как это получается, скажите вы мне, что ученики считают возможным давать преподавателю оценку: такой-то, мол, плох, такой-то хорош, такого-то, старого хрыча, пора на свалку...

Вспоминая невинную статью Василия Беженаря, где автор называет Петра Николаевича Гроссу «отцом родным» и тонко намекает, что следовало бы ему быть с учениками построже, Клава невольно улыбается:

— Согласитесь, Авдий Георгиевич, они уже взрослые люди...

— Ну, знаете, — тяжело двигается Чеботарь на диване, — мы с вами говорим, видимо, на разных языках.

— Почему? Чувство собственного достоинства...

— Нет, нет. Всё это меня шокирует, говорю я вам. Эти глупости, которыми они наполняют газету. Эти безграмотные стихи Сашко, этот Ведеш в роли редактора... И зачем надо так высоко ставить честолюбивого мальчика? Поощрять дурные инстинкты?

— Он неплохой редактор, хорошо работает...

— Ах, работает, — понимающе кивает головой Чеботарь. — А вам не кажется, что всё это — и выборы в учком, которыми у нас так увлеклись, и эти листочки, и даже, простите меня, некоторые ваши уроки — всё это скорее политика, нежели педагогика?

— Может быть...

— Вот видите! Нет, будем говорить откровенно, Клавдия Алексеевна, всё это мне очень несимпатично. Да, да, очень. Я лично предпочитаю держаться от политики подальше...

Клава вопросительно смотрит на него.

— Как бы вам это объяснить? — Чеботарь опускает свою массивную голову на руку и утомлённо прикрывает веки. — Я много пожил, Клавдия Алексеевна, и, знаете, успел от всего этого устать. Не думайте, я тоже горел когда-то — вот как вы сейчас, но потом... — голос Чеботаря глухо звучит из-под руки, — я имел неоднократную возможность убедиться с течением времени, что из чистых побуждений политике отдают-

ся немногие, единицы. А огромное большинство греет на политике руки, устраивает личную карьеру. Да, да! Когда в Румынии какая-либо партия приходила к власти, у руководства страной сейчас же вставали её виднейшие деятели. Они богатели, наживались. Потом приходили другие, весь государственный аппарат пересматривался снизу доверху — и всё для того лишь, чтобы дать возможность приверженцам уже другой партии нажиться и разбогатеть. Политика — это арена, на которой сталкиваются самые низменные страсти. Нет, нет, не возражайте, — останавливает он Клаву сдержанным жестом, — я достаточно насмотрелся на грязь, которая царит в кругах этих так называемых политических деятелей. Бр-р, отвратительно! Вы ещё, Клавдия Алексеевна, молоды. Когда-нибудь и вам станет всё это поперёк горла, вы — честный человек. Нет уж, политика не моя специальность, нет...

— И давно?

— Что давно?

— Я слышала, что вы работали в одной из организаций? — Клава быстро взглядывает в лицо Чеботарю.

— Да, — спокойно и медлительно отвечает он, — я был кузистом лет 8 тому назад. Вы что-нибудь слышали о безумном старике Куза? Это буржуазно-демократическая партия — кузисты. Теперь всё прошло, слава богу... — Болезненно морщась, Чеботарь тянется к стопке ученических тетрадей. — А что, — вдруг спрашивает он, и красный карандашик в его руке насторожённо замирает, — вы именно это имели в виду? Не совсем? Ах да, понимаю. Вас, очевидно, угостили довольно распространённой сплетней, что я будто бы был железногвардейцем. Какой вздор! Разве я с такой откровенностью говорил бы сейчас с вами?

11. Будем сражаться!

Каждый день начинается одинаково. Неутомимое молдавское солнце поднимается спозаранку и начинает припекать фасад интерната. На крыльце появляются первые одинокие фигуры и, плотнее запахнувшись в наспех накинутые пальто, опрометью кидаются на задний двор. Возвращаются они уже не торопясь, напевая и позёвывая, останавливаясь на крыльце, чтобы обмотать вокруг щиколоток распутавшиеся кальсонные завязки.

Спустя полчаса весь техникум кипит, как развороченный муравейник. И пока часть ребят ещё сидит в столовой, подбирая хлебом и прямо шепотью рассыпанную по блюдечкам брынзу, прихлёбывая из глиняных мисок пахнущий мочалкой чай, другие уже прогуливаются перед интернатом, беспечно поигрывая свёрнутыми в трубочку конспектами и пытаясь словно невзначай подойти как можно ближе к окнам бывшего директорского дома, где теперь — общежитие девушек. Зачастившие с утра визитёры виснут снаружи на подоконниках девичьего dormитора, не давая возможности всерьёз заняться утренним туалетом.

— Клавдия Алексеевна, скажите вы тому Мунтяну: что он до нас всё ходит? — кричит Ниночка Бабинская и медлит у окна. В голосе её слышится невольное любование собою и удовольствие оттого, что все мальчики, сколько их ни есть на дворе, обернулись взглянуть на её свежее, розовое лицо.

— Нина, да закрой же окно, наконец! — говорит из глубины dormитора Аникуца Кошер. — Вы сами, девочки, виноваты — кричите повсегда...

— Ах, ну конечно, сами... К тебе больше всех ходят... — беззлобно отвечает Ниночка, прыгивая с подоконника. Она уже поймала тот

взгляд, который искала — весёлый, откровенно любующийся взгляд Вани Ведеша из-под лихо сдвинутой шапки.

Раздаётся дребезжащий, назойливый звонок — и двор разом пустеет. Спешит сухонькая Мария Михайловна, улыбаясь встречным, Чеботарь величественно кивает Шевчуку, склонившемуся в дверях с поспешно сдёрнутой, прижатой к бедру паларией.

Так начинается день, один из многих. Часов в одиннадцать из полуподвала выглядывает ослепительно свежее, сияющее белизной и румянцем горбоносое лицо кооператора Ицека. Появляется и весь он, со вкусом потягивается на пороге и, плотнее запахнувшись в громадный овчинный тулуп, на который и смотреть-то страшно в это солнечное осеннее утро, опускается на самом припёке на лавочку у крыльца. Тихо. Жарко и тихо. Кажется, жизнь замерла, остановилась в полусне, и средоточием её является беспечный ленивый Ицек, который сидит так часами, дремотно поглядывая из-под полуопущенных век и сладко мурлыча. Но это неверно: жизнь не замерла и не остановилась. Она даёт о себе знать многообразными приглушёнными звуками, она идёт где-то в глубине этого внешне полусонного, зачарованного мирка. Стучит молотилка на заднем дворе, издалека, со школьных полей доносится деловитое погромохивание трактора, весело постукивают вразнобой молотки — то идёт скоростное строительство ещё одного жилого корпуса, задуманное Седовым. В распахнутом окне одного из классов звенит голосок Марии Михайловны:

— Итак, домнуде, будем искать равнодействующую...

— Атлант, эпистрофей... — доносится из другого окна.

В два часа дня тишина взрывается. Точно застоявшиеся кони, рвутся из классов ребята. Столовая берётся с бою. На обед, конечно, опять фасоль — фасоль на первое, фасоль на второе, но аппетиты уже разыгрались волчьими... На весь техникум — десятка четыре мисок, и пока четыре десятка счастливцев ловят губами скользкие фасолины (ложек нет!) остальные жмутся около кухонного оконца и ругают счастливцев на чём свет стоит. В столовой грязно. Корки летят из одного угла в другой, по столам ползут липкие желтоватые разводы.

После обеда каждый проводит время сообразно своим вкусам и наклонностям. Иные спят — кто в дормиторе, кто прямо на газоне парка, закрыв лицо паларией или конспектами лекций. Иные уходят в лес, в поле, группами прогуливаются по дальним аллеям парка. Гулко стучит на площадке за суфражерией волейбольный мяч; из окна дормитора слышна скрипка Сашко. От пруда доносится пение:

Когда шёл я новобранцем,
Был я молод, как цветочек, май!

Смеркается. Заволакиваются туманной пеленой, теряются в темноте холмы. По-стариковски ворча и сморкаясь в пропахшую керосином тряпку, Иван Иванович Шевчук разносит по классам семилинейные лампочки. Начинаются часы самостоятельной учебной работы.

Ужинать идут немногие. За ужином будет опять фасоль, и разводы на столах, и пропахшие мочалой миски. Некоторые, затянув пояса потуже и тяжело вздыхая, прямо с занятий уходят наверх, в дормиторы, задолго до звонка. В дормиторах скудное пламя коптилок колеблется от порывов осеннего ветра, врывающегося в разбитые окна. В дормиторах на тесно сдвинутых деревянных койках вперемежку со здоровыми лежат больные.

Кто должен думать обо всём этом: о помещении для изолятора и медикаментах, о лампах, о тёсе для коек, о мясе и молоке? В конторе и канцелярии техникума люди, которые непосредственно отвечают за снабжение, необыкновенно умело доказывают полную невозможность сделать или приобрести самые необходимые вещи.

Кассир Саккара с громом захлопывает нескороаемый шкаф и, поглядывая поверх очков злыми, неуловимыми глазками, доказывает эту невозможность, скрупулёзно перечисляя какие-то недостающие ссуды. Картинно откинувшись на стуле, охватив руками колени, бухгалтер Константин Филиппович Цивенко скромно отмалчивается, переводя заинтересованный взгляд с одного лица на другое. Завхоз Ионеску, ни слова по-русски не понимающий, только руками разводит и обращает на Саккара умоляющие глаза, как бы призывая его в свидетели. Он, разумеется, перебивал на всех базарах в окрестностях и, конечно же, ничего не нашёл.

Нам в лицо бесстыдно смеётся саботаж. Но как уличить, поймать за руку того вора, который, не будучи пойман, по старой русской поговорке и вором не является?

Кто-то должен заняться этим немедленно. Седов? Но его мысли и время заняты сейчас только одним: осенним севом. Газеты ни на час не позволяют забыть об этом. Молдавский народ, ранее голодный и безземельный, в эту осень должен по-хозяйски использовать каждый вершок плодородной бессарабской земли, отданной отныне в безраздельное его владение. Весь край занят сейчас только этим — севом, освоением земли. И когда Сергей Викторович Седов — хозяин ферм и полей, в распоряжении которого лишь плохонький, оставшийся от румын трактор и несколько пар попорченных лошадей, — когда Сергей Викторович, поздно вечером возвращаясь с поля, проходит по территории техникума, озабоченный и усталый, — мы не решаемся сразу же говорить ему о недостающих фитилях и о фасоли. Всё это он знает и сам. Громящим усилием воли Сергей Викторович заставляет себя думать в первую очередь о главном. Вспашка земли под зябь, осенний сев — это основное дело сейчас, которое не терпит никаких отлагательств.

Но и Седов, и Клава, и я чувствуем свою вину. Мы не можем не понимать, что так называемые «мелочи» приобретают здесь, сегодня, особое значение, что неустройство быта учеников, недостатки в техникуме — всё это вредит нашему делу. Острое чувство ответственности не даёт нам покоя.

Мы собираемся за полночь, когда затихают последние голоса в техникуме, когда гаснут последние огни в окнах интерната. Сергей Викторович озабоченно оглядывает скудную мебельку нашей комнаты:

— На что тут пиджак можно повесить в вашем дамском хозяйстве?

Я принимаю пиджак на собственные плечи — меня знобит, я откровенно зеваю; Клава входит из кухни с полотенцем через плечо, с кастрюлей горячего молока.

— Конечно, — громко ворчит она на меня, — ни принять, ни усадить дорогого гостя...

Дорогой гость испуганно прижимает палец к губам и выразительно смотрит на стену. За стеной слышно сонное дыхание большого семейства Михаила Пахолко.

Беседы в поздний час, заговорщический шёпот за скудным ужином — всё переносит нас в недавние студенческие годы. Но первое впечатление было бы обманчиво — не счастливая студенческая беспечность заставляет нас засиживаться по ночам...

— Да, положение сложное, — выслушав Клаву, соглашается Сергей Викторович и отодвигает едва пригубленный стакан. — Сев севом, конечно, но затянувшиеся в техникуме беспорядки подрывают наш авторитет, с этим я согласен. Подумаем, девушки, как мы распределим работу. Распределить её надо чётко, не бросаться всем в одно место, не толкаться зря. Нас здесь трое... — Седов задумывается. — Самое важное я попрежнему оставляю за собой, — говорит он наконец. — Это осенние полевые работы. Осенние полевые работы — это дело моё, управляюще-фермами и наших школьных рабочих. Скорейшее расселение ребят в дополнительный корпус — это дело тоже моё. До наступления холодов новый корпус будет готов, за это я вам ручаюсь. И если ребята будут жаловаться, что им в дормиторах тесно, — так и говорите: к седьмому ноября у каждого будет отдельная койка. Это второе дело. Третье — организация учебного процесса — вы не возражайте, подождите — это дело тоже моё и Стучевского. Ну, конечно, вопросы административные... Обучение русскому языку — это на вас, Вера! — очень важное дело, очень! Учить надо на уроках, после уроков, на дополнительных занятиях, стремительными темпами — мне просто не по себе становится, когда подумаю, что наши слова по-настоящему доходят лишь до одной трети ребят...

— Так, — мрачно говорит Клава, — а моё, значит, дело десятое..

— Воспитательная работа с ребятами — это лежит в основном на вас обеих; я не отстраняюсь, конечно, но достаточного внимания пока уделить не смогу. Вас, Клава, очень прошу заняться учкомом...

— А эти вот так называемые мелочи, вопросы быта? Кто ими должен заниматься?

— Учком. Учком, Клавдия Алексеевна, в том-то и дело. Ваша обязанность направить эту работу. Ребята должны почувствовать свою ответственность за всё, что происходит в техникуме. Помните, что говорил Колесниченко. Они должны мыслить государственно — это в воспитании основное. Они привыкли видеть над собою хозяев — теперь они должны почувствовать себя хозяевами. Разве ребята сами не могут застеклить окна или убрать помещение? — помолчав, продолжает Седов. — Они не должны расти иждивенцами. Это же всё наследие оккупации: пассивная, стонущая, иждивенческая психология. Я вам вот что скажу, девушки, — именно это и есть направление нашего главного удара: развязать инициативу учеников, заставить их самих отвечать за устройство школьного быта. Мы пока — полководцы без армии, армия — вон она, стоит уже за нашими плечами! Как нам легко вздохнётся, когда она, наконец, ринется в бой...

— Знаете, что особенно трудно? — отзывается Клава. — То, что врага чувствуешь рядом, а уличить его невозможно. Чеботарь, например... Сидит раздражённый человек, сердится на то, что жизнь его тревожит... За это с работы не снимают.

— С работы снимать! — Сергей Викторович делает безнадёжный жест. — А кого мы на его место поставили бы? Шевчука, Михаила Пахолко? Сами стали бы молдавскому языку учить? Нам ещё с этими Чеботарями придётся мириться до поры до времени...

Сергей Викторович поднялся, отошёл к голландке, погрел ладони. В голландке потрескивали дрова, красноватый отблеск падал на лицо задумавшегося Седова — оно сейчас было невесёлым, усталым. О чём он думал — о домашнем тепле, о Наташе? О той величайшей ответственности, которую принял на свои плечи?

— Сергей Викторович!..

— Что, родные? — Не ожидая ответа, он заговорил, будто с самим собой: — Вспомнил я, девушки, Чехова — его переписку. У него есть там такие слова, они меня когда-то поразили: «Мы бедны и некультурны, — пишет он, — оттого, что у нас очень много земли и очень мало людей...» Это написано в девяностые годы. Вы подумайте, какую же колоссальную работу провели мы, коммунисты, подняв эти огромные, нетронутые пласты... И ведь в каждой точке громадной страны каждое дело решается людьми, их самоотверженностью, их энтузиазмом. Иногда кажется: мало нас тут, трудно! А если вдуматься: нас здесь очень много — трое!

— Сергей Викторович, — опять начала я, — нам, может, ещё что-нибудь взять на себя, вы подумайте...

— А что же ещё? — испугался Седов. — Нет, вы уж не придумывайте, девчата, вам и так поручен громадный участок работы. Скоро пошло ещё вас на село с учениками...

— На село? Когда?

Седов не ответил. Поглядел на часы, заторопился.

— Ничего, ничего, девушки. Нас здесь достаточно, будем сражаться!..

12. Ворба маре — большой разговор

С течением времени ребята привыкли нести к советским учителям накопившиеся за день вопросы. Клава заходит вечером в первый зоотехнический «А» и сразу же попадает в кольцо жадных внимательных взглядов.

— Он говорит, почему так получается, Клавдия Алексеевна? — переводит Митя Гуцуляк горячую, нервную речь товарища. — Мы вот сидим в темноте, а у дядьки Ивана много ламп, мы видали...

— В конторе уверяют, ребята, что стёкол нет...

— Купить надо, если нет. Как же учиться?

— Оки болят!

С детской непосредственностью, неожиданной и притягательной в этих шестнадцати-семнадцатилетних юношах, они торопятся высказать всё. Они уже встали с мест, со всех сторон окружили Клаву.

— А почему нет посуды в столовой? Ложек, и то нет. Клавдия Алексеевна, вы пойдите в суфражерню, поглядите...

— Что ж я там, не была разве? Ионеску говорит, что посуду негде купить.

— Они много чего скажут. Негде...

— Куда она делась тогда, если негде? При румынах была...

— И почему только фасолю едим? Фасоля, фасоля...

— И почему спать нет на чём? Клавдия Алексеевна, или так можно? Мы по два человека разом спим...

Неторопливо подходит староста первого зоотехнического Цуркан. Его красивое лицо холодно. Он чуть шевелит бровями, желая говорить, и ребята поспешно замолкают, одёргивая друг друга.

— Клавдия Алексеевна, ведь у нас учебное заведение, правда? А почему у нас ни книг, ни тетрадей нет? Может быть, в Советском Союзе совсем нет бумаги? Вы поглядите, на чём мы пишем...

Одобрительный шум покрывает слова Цуркана.

— Я сегодня ботанику на промакашке писал, — выделяется чей-то смеющийся голос.

— Что ж, братцы, — весело откликается другой, — не миновать на стенах писать. Мэй, то пускай моя стенка будет, что промеж окнами.

— Эге, да то ж моя, до меня ближе!

Движением бровей Цуркан сдерживает неуместное оживление. Холодно глядя в чуть побледневшее Клавино лицо, он продолжает неожиданно высоким, зло зазвеневшим голосом:

— Почему у нас раньше всё было? И тетради, и книги, и постели давали, и форму красивую... Почему? Почему сейчас ничего нет? Разве советская власть такая бедная?

— Говорили: Советский Союз, в Советском Союзе... — отчётливо и враждебно произносит сзади негромкий голос, — а на самом деле...

«Что ж, будем сражаться», — мысленно повторяет Клава слова Седова, глядя на возбуждённые лица окруживших её ребят. Сюда уже набегали ученики и других классов, прослышавшие сторонкой, что на первом зоотехническом завязалась «ворба маре». Напряжённо насупил густые рыжеватые брови жадный до разговоров Илья Сашко, лицо Вани Ведеша тянется из-за его плеча, лицо примерного, благовоспитанного ученика; Алёша Мунтян беззаботной улыбкой как бы одобряет: «Ну, смелее, Клавдия Алексеевна, мы же вам верим!» Цуркан смотрит в упор всё так же холодно и невозмутимо. И все они ждут от Клавы каких-то единственных, решающих слов.

— Если мы, ребята, возьмёмся строить дом, — медленно и негромко начинает Клава, и голос её постепенно повышается и крепнет: — если мы возьмёмся строить дом — что, он сразу у нас будет большой, красивый и чистый — нет ведь? Начнём с того, что место расчищаем, фундамент закладываем — работа, как вы знаете, грязная и трудная. Потом по брёвнышкам кладём стены, потом и крышу. Мы с вами тоже взялись за постройку такого дома — здесь вот, в Бессарабии. И не всё у нас, как и следовало ожидать, получается сразу. Будем говорить откровенно, нас тут не все любят, нам могут нарочно мешать. Ребята, — горячо продолжает она, и умные, живые её глаза смотрят прямо в насупленное лицо Сашко. — Ребята, помогите нам бороться за хороший техникум, ищите причины непорядков, давайте строить вместе...

Сашко упрямо отворачивается. Чем сильнее обаяние этой удивительной женщины, чем больше тянет его к советским — тем больше замыкается в себе Сашко. Он не может так, как какой-нибудь желторотый птенец, — послушать, поверить и раз навсегда принять. Нет, нет, Илья Сашко прежде сам во всём разберётся. В конце концов, он взрослый человек и не может позволить, чтоб его водили на поводу, как телёнка.

— Почему ты отворачиваешься? — обращается к нему Клава, и ребята молча переводят взгляд на Сашко. — Почему вы все молчите? Думаете, кто-нибудь вам на блюдечке хорошую жизнь принесёт? Никто не принесёт. Когда у нас советская власть создавалась — ни от кого мы помощи не ждали, ни на кого не надеялись. Сами думайте, как нам здесь, в техникуме, порядка добиться. Вы вот учком выбирали. Выбрали, а со всеми жалобами к нам идёте... Я как раз шла спросить: когда собирается ваш учком, Гуцуляк?

— Сейчас собрать? — с готовностью высовывает мордочку Ваня Ведеш.

— Сейчас собрать! — коротко приказывает Клава. — Жалобы, жалобы... Будем по-деловому решать: что вы сами можете сделать...

И вот учком задвигался. «Ваша задача, — учила их Клава, — расставить людей, руководить. Но помните: за всё отвечаете вы, члены учкома».

Учком назначил Тимофея Тетелю ответственным по столовой. Со своим чисто крестьянским, истовым отношением к благообразию и порядку, Тимофей Тетеля на этой работе оказался как нельзя более у места.

Заложив руки в карманы, важно и озабоченно прохаживался он между столов в переполненной суфражерии, время от времени щёлкая первокурсников по головам.

— Ты что ж это хлебом кидаешься? — негодует Тетеля. — Или твой отец над тем хлебом хребтину не гнул?

В назидание нерадивой судомойке он вытирает клеёнку на столах, время от времени хозяйственно склоняется у кухонного оконца:

— Домну Бабинский, пожалуйста! Ещё тридцать порций фасоли, Мунтянов курс пришёл..

Даже это ненавистное слово «фасоль» он произносит как-то особенно уважительно и аппетитно. Он ходит по пятам за завхозом, досаждая ему своей монотонной, настойчивой воркотнёй:

— Вон тую свинью резать пора, домн Ионеску. Что ж всё фасоль да фасоль даём, у нас солидное учреждение.

Однажды пришёл в ярость:

— Ложек не могут достать, умные головы! Сколько говорю — достать не могут! Я им докажу, воров, сам пойду на рынки шукать.

Так появились, наконец, ложки.

Вася Беженарь, быстроглазый сметливый хлопец, зачистил на пекарню, на службы, в кладовую эконома.

— А вы не сердитесь, домну, — невинно говорил он, — я на это дело поставлен, значит будем говорить, как деловые люди. У вас почему лампы без фитилей стоят? Кто за фитили думать должен?

Неожиданную активность обнаружил первокурсник Калараш — перетянутый корсетом франт, большой ценитель мод. Томное выражение его заросшего щетиной лица сменялось деловитым оживлением, когда он отправлялся на воскресенье в Бельцы. Однажды он привёз оттуда аптечку и два пуда мыла.

Придя на учком и кокетливо присев на кончик стула, Калараш поклялся, что если ему дадут четыреста рублей и ещё сколько-нибудь «за комиссию», он дня через два привезёт из Бельц столько бумаги, тетрадей и мела, что техникум будет завален до самой крыши. С радостным воплем учком кинулся качать взвизгивающего Калараша; из карманов его посыпались какие-то мундштучки, ножички, ногтечистки.

— Четыре согни, — выжидательно повторил Калараш, вновь обретя под ногами почву. Члены учкома задумались.

Председатель хозяйственной комиссии Петя Галецкий осторожно предложил потихоньку угнать и продать парочку баранов.

Скутаре презрительно взглянул на него — ответственность прежде всего пала бы на председателя учкома, — пожал плечами и отправился к Сергею Викторовичу. Сергей Викторович недовольно поморщился:

— Спекуляция какая-то? А ну, зовите сюда Калараша..

Калараш клялся и божился, что спекуляции нет никакой — старый знакомый, какие-то связи.

— По твёрдой государственной цене, Сергей Викторович..: Что ж я, не понимаю? — Разошёлся, стукнул себя в грудь: — Я и за комиссию ничего не возьму, если такое дело..

С Каларашем в Бельцы отправился Стучевский.

— Без тетрадей мы пропадем, конечно, — напутствовал его Седов, — но доброе имя, Евгений Николаевич, всего дороже..

Стучевский и Калараш привезли бумаги, тетрадей, мела... Техникума до крыши не завалили, но на первых порах можно обернуться.

Канцелярские работники и хозяйственники были возмущены работой учкома: постоянным вмешательством ребят, заметками, появляющимися

в стенгазете. Однажды Гриша пришёл к Цивенко и потребовал очередную ведомость.

— Я член учкома, — строго сказал он. — Я хочу знать, почему Гуцуляк стипендию не получил, он тоже отличник.

Цивенко пошёл к Седову и швырнул перед ним на стол свою конторскую книгу. Седов поднял спокойные, заинтересованные глаза:

— Припадок?

Тогда Цивенко, присев на кончик стула, изложил, в чём дело.

— Так и сказал «я член учкома»? — засмеялся Седов. — Молодец, с достоинством. Вы закуривайте, Константин Филиппович.

Цивенко посмотрел на смеющегося Седова, вспомнил засупленного, неприступного директора «Шкоале де агрикултуре», неожиданно вздохнул. Раньше... Раньше всё было устойчиво, солидно, власть была властью, деньги — деньгами... Открытый жест, которым Седов предложил ему папиросы, заставил Цивенко внутренне улыбнуться. Когда домин Михалеску открывал перед ним, бывало, свой портсигар — он облекал его, конторского служащего, доверием, поднимал до себя; это был жест снисходительный, величественный, властный...

Цивенко сел глубже, небрежно поиграл карандашиком.

— Так как же, Сергей Викторович?

— Никак, обыкновенно. Давайте сюда свою книгу, будем вместе смотреть... Я вот думаю: хорошие у нас, Константин Филиппович, мальчишки...

Цивенко ушёл от Седова в бешенстве.

— Я вас ценил, как опытного работника, — предупредил его Седов. — Ещё одна такая ошибка, и придётся запрашивать в районе другого бухгалтера. Вы за нас не волнуйтесь, Константин Филиппович, бухгалтеры в районе есть...

Седов и не знал, что в техникуме его побаиваются, считают слишком требовательным, непримиримым. Он удивился бы, если бы узнал это. Воспитанный в советском обществе, он привык чувствовать себя среди единомышленников. Как домой, с открытой душой заходил в любое советское учреждение, в райком, в студенческое общежитие, в читальню. Он привык верить людям. Здесь, в Левкауцах, были не только товарищи, здесь были и враги. Здесь доверчивость расценивалась как глупость, деликатность и такт — как уступчивость, мягкотелость... В чём он уличил сейчас Цивенко? В мелком жульничестве. Но найдутся, видно, «ошибки» и покрупнее. Клава была права — самое тяжёлое заключалось в том, что враждебное было неуловимо: его трудно было выявить, обличить.

Учителя насторожённо приглядывались ко всему новому, от всего отстранялись, боясь ответственности. Легче чем с другими было с Марией Михайловной. Пётр Николаевич Гроссу казался Седову человеком искренним, но, к сожалению, поверхностным, несерьёзным. Учителя давали добросовестные, однообразные уроки, боязливо поглядывая на примостившегося где-нибудь на последней парте директора. Ребята заметно оживлялись, когда в класс приходили советские учителя — они вносили с собой живую заинтересованность, молодой задор; на директора, присутствующего на уроке, советские учительницы посматривали без боязни, пытались и его вовлечь в какую-нибудь неожиданную дискуссию — о разделительном мягком знаке, например. В чём можно было упрекнуть местных учителей? В том, что у них нехватало любви к своему делу? Им нехватало любви к ребятам, это было похуже...

Когда Седов из своего кабинета слышал знакомый стук трости Морея по каменным плитам двора, он торопливо подходил к окну:

— Виталий Львович, не зайдёте ли на минутку?

Седов любил этого горячего, искреннего человека, он неоднократно предлагал ему:

— Перебирайтесь к нам, Виталий Львович! Право же, вы здесь нужнее...

Виталий Львович не желал «перебираться», он не считал, что в техникуме он нужнее. Влюблённый в своих крестьянских ребяташек, он и мысли не допускал о том, чтобы бросить начальную левкауцкую школу.

— Куда я пойду? — начинал он сердиться. — Вот увидите сами: год проработаете здесь — вас отсюда и с мясом не вырвешь. А я на своём месте второй десяток сижу.

Заботы обступали Седова со всех сторон. Приходилось брать себя в руки, не отступать от плана. Сейчас на первом месте осенние полевые работы. Вспашка под зябь, дело для Бессарабии новое, встречала глухое сопротивление со стороны рабочих. «Помилуйте, Сергей Викторович, — говорили они ему, — такой гонки в сентябре никогда не было. Поздние культуры соберёшь, ну, озимь засеешь — и гата, всё!

— Быть того не может! — недоумевал Седов. — Ведь у вас же опытное хозяйство было, показательное? — Он сдвигал брови, выпрямлялся. — В общем, митинг на сегодня закрывается. Завтра подъём в четыре часа утра — все силы на взмёт зяби...

— А товарищ Заболотный сказал...

— И товарищ Заболотный вам скажет то же.

Никита Фёдорович Заболотный управляет школьными фермами. Если прийти к нему на квартиру — он оживится, начнёт многозначительно подмигивать, откроет поставец с вином.

— Вот и начальство к нам пришло. Ты, Сергей Викторович, что предпочитаешь — горькую или наливки?

— Ничего не хочу, — отвечает Седов, — да вы не вертите, присядьте, я ведь по делу...

Никита Фёдорович покорно садится, лицо его принимает скучливое, утомлённое выражение — о делах он говорить не любит. Пётр Николаевич Гроссу, которого Заболотный, органически не выносящий одиночества, поселил с собой и которому оказал самое великодушное, самое широкое покровительство, предупредительно улыбается Седову:

— Может быть, товарищ директор хочет послушать Москву?

В квартире Заболотного стоит дорогой, обтекаемой формы радиоприёмник, принимающий за границу вплоть до Новой Зеландии и Аргентины.

Седов переводит взгляд с радиоприёмника на большой ковёр, устилающий пол, на тяжёлые занавеси, на зеркальный шкаф в простенке. «А ведь приехал с одним чехоманчиком», — удивляется он.

— Хорошо устроился, — неодобрительно обращается Седов к Заболотному. — Ну, и как? Нигде не дует, не течёт, ничто не мешает?

— В каком смысле? — откликается Пётр Николаевич, готовый со всей серьёзностью пуститься в объяснения. Заболотный скашивает на него предостерегающий глаз.

— Что ж, Сергей Викторович, — говорит он, разглядывая свои ногти, — пришли о делах толковать — толкуйте...

Заболотный появился в техникуме почти одновременно с Седовым. В конце августа он пришёл в кишинёвский Наркомзем, предложил свои услуги. Там просмотрели его бумаги, посоветались: местный человек, происхождение крестьянское, имеет некоторый административный опыт... Услышав эти слова, Заболотный сразу показался себе умнее, значительней; осторожно вытянул ноги из-под стула, скрестил их перед собой.

Заведующий кадрами, измученный организационной горячкой, посмотрел в лицо Заболотному взвешивающим, оценивающим взглядом.

— Поезжай в левкауцкий техникум, а?

Заболотный задумчиво задержал ответ — он и не сомневался, что поедет, но изъявлять своё согласие сразу не желал. Оставалось выяснять, далеко ли от Левкауц до Кагула. Оказалось, очень далеко, чуть ли не вся Бессарабия. Заболотный заторопился:

— Подписывай, еду...

В родных местах, под Кагулом, Никиту Заболотного знали, как человека беспокойного, зряшного, там ему рассчитывать было не на что. Всё перевернулось с приходом Красной Армии, всё должно было перевернуться и в личной его, Заболотного, судьбе. Он давно уже мечтал, чтоб его где-нибудь приняли, наконец, всерьёз.

Румынскую власть он когда-то ругал искренне: к русским румыны относились подозрительно. Пришлось сменить не одно занятие, не одну специальность. Отовсюду его выбрасывало, точно сжатым воздухом. «Вы не говорите по-румынски?» — удивлённо поднимали брови администраторы. Румынский язык Никита Заболотный не мог выучить из-за природной лени, а отчасти и в силу ненависти к румынам. Однажды Заболотному всерьёз повезло. По рекомендации одного приятеля его пригласили управляющим в помещичью усадьбу. Помещик, поляк по национальности, обратил прежде всего внимание на широкие плечи нового управляющего, на его лицо, изображавшее преданную готовность. Месяца через четыре он вызвал к себе управляющего по чрезвычайному вопросу: «Ты что ж это, румынский язык учить отказываешься?» Заболотный поторопился вернуть словечко поумнее: «Из принципа...» Это решило всё. «Из какого такого принципа? — даже затрясся помещик. — Ты не на тот ли берег заглядываешься? Ты коммунист, скажи, коммунист, да?» «Ну, хватил! — обидчиво думал Заболотный. — Коммунист! Что мне, жизнь не дорога, что ли...» С должности управляющего Заболотного тут же выгнали — тем и кончился его недолгий «административный опыт».

В эту историю Никита Фёдорович посвятил Седова в первый же день знакомства. «Коммунист, говорит, а? Коммунист, говорю, а как же... и такое, знаешь, словечко ему припечатал, куда!»

На новом месте он охотно рассказывал о том, сколько перемучился при румынах из-за русского языка. Ему верили, вздыхали: ещё бы! Из-за одного только русского слова людей когда-то выводили в поле, расстреливали. Он так часто рассказывал это, что и сам поверил, в конце концов, в свои революционные заслуги. Он так часто рассказывал о безусловном доверии к себе советских, что и сам поверил в это неограниченное доверие. Люди, ещё не отвыкшие чувствовать себя рабами, восхищались им, лстили ему; Никита Фёдорович снисходительно слушал их — он поверил в себя стремительно, неудержимо.

Когда Седов говорил ему о лошадях, об инвентаре, о зяблевой вспашке, Заболотный благодушно отмахивался: «Да вникну, ладно, Сергей Викторович, я тебе говорю, что вникну. Всё пойдёт, наладится...» Взгляд Седова твердел, лицо становилось суровым — Заболотный торопливо поднимался с места: «Какого ж они чёрта там, а? Вот я сам сейчас пойду разберусь...».

Он шёл — и действительно разбирался. У рабочих он даже пользовался авторитетом. Когда, стряхнув на время самодовольное, благодушное оцепенение, Заболотный всерьёз впрягался в какую-либо работу и увлеклся ею, Седов думал: «Из этого человека мог бы быть толк. Но сколько из него ещё всякой дряни надо выколачивать...»

13. Командная высота

Газеты между тем били тревогу: правительственный план осенних полевых работ по Бессарабии стоял под угрозой срыва.

— Вот они цифры, видите? — поднимал Седов над головой газету. — Когда советская власть передала бессарабским крестьянам землю, она обязала их — брать с неё вдвое, втрое, использовать её по-хозяйски. А наши крестьяне всё ещё относятся к земле не как хозяева — как рабы. Посев по зяби, например, даст урожай процентов на 30, на 40 больший, чем по весновспашке. Все это понимают, а не пашут. Почему?..

Старшекурсники — Седов собрал только старшекурсников — переглядывались, молчали. Рошка, выслушав перевод, весело обернулся к товарищам:

— Мэй! Ты им ту землю распаши, засеи, а они её весной всё равно отнимут? Нет дураков! Ты переведи, Ведеш: люди говорят, землю всё равно отнимут весной..

— Буду я всякую глупость переводить! — Ведеша хмуро подтолкнули; он встал, перевёл нехотя. Седов точно обрадовался чему-то, вышел к самому краю сцены.

— Об этом я и хотел говорить — о кулацкой агитации. Это же типичная кулацкая агитация, товарищи. Советская власть ни у бедняка, ни у середняка землю отнимать не будет. Кто за свою землю боится? Кулак. Боится — и других пугает: вы, дескать, советскую власть не слушайте — где это видано, чтоб землю так вот безо всякого обмана давали? Вот бессарабский крестьянин и ждёт обмана — ему бояться не привыкать, он веками всего боялся. В общем, отсиживаться у себя по интернатам мы сейчас не имеем права. Кулацкой агитации надо противопоставить нашу, советскую агитацию. Вот и идите в село. Идите, успокойте крестьян насчёт земли, расскажите об уборке поздних культур, об осенних посевах, о зяблевой вспашке; растолкуйте выгоду супраг, проверьте распределение семфонда, использование лошадей, сломите кулацкий саботаж по сёлам..

Кто-то тихо, выразительно присвистнул: связываться с местным кулачеством не хотелось.

— Никого, между прочим, силком не посылаем, — холодно сказал Седов. — Откажетесь — сделаем без вас. Организуются две добровольческие бригады: одна идёт с Клавдией Алексеевной в Левкауцы, другая со мной, в Лукаши. Ну, что же вы молчите?

Тимофей Тетеля почесал затылок, уныло сказал:

— Надо подумать, Сергей Викторович, дело новое. Вы ещё наших крестьян не знаете..

— Что там новое, что новое! — негодуя взметнулся Сашко. — Мы же агрономическое отделение в этом году окончили! Сергей Викторович, мы же агрономическое отделение окончили. Пишите, все пойдём!

— Не горячись, Сашко, — спокойно остановил его Сергей Викторович. Постоял, покачиваясь на носках, глядя в зал спокойными, смеющимися глазами. — Ну что ж, беритесь... Беритесь, будущая молдавская интеллигенция..

При словах «будущая молдавская интеллигенция» ребята вспомнили Колесниченко, задвигались, заулыбались.

— Беритесь, ребята, беритесь, — серьёзно, настойчиво повторил Седов. — Ответственность прежде всего ляжет на нас, мы же здесь на командной высоте стоим..

Гриша встал, терпеливо переждал поднявшийся в зале шум.

— Сергей Викторович, пишите нас с Сашком в свою бригаду..

— Меня в Левкауцы, — поднял руку Ваня Ведеш, — Сергей Викторович, я там май больше знаю!..

Потянулись и остальные: Прозоровский, Котогой, Тетеля, Плечинта, Беженарь; выждав немного, поднял руку Скутарь, за Скутарём Рошка. Кое-кто отмалчивался, пытался спрятаться за чужую спину. Сергей Викторович деликатно обходил их глазами — ему нужны были добровольцы. Выход назначили на следующее утро.

Всю ночь Сашко не спал: итти в Лукаши ему не хотелось. Когда Илья вызвался первым итти на агитацию — им руководило только бескорыстное стремление проявить себя в том деле, которое он считал справедливым и нужным. Но теперь это стремление не было единственным. Теперь он мог признаться себе, что его роль, которой он заранее гордился, теряла половину своей привлекательности. Только случайно, только из третьих уст Клавдия Алексеевна — а её одобрения Илья добивался прежде всего — Клавдия Алексеевна узнает, что Сашко в Лукашах совершал чудеса. «Вы знаете, — скажет Сергей Викторович, — если бы не Сашко...» А Клавдия Алексеевна даже и не дослушает до конца, заторопится, уйдёт... Закрывая глаза, Сашко видел, как Клавдия Алексеевна равнодушно отмахивается и куда-то торопливо уходит... Быть рядом с ней! Доказать всеми своими поступками, каждым своим словом — он их человек, он тоже советский!

Было и ещё одно, но Сашко даже себе не решался признаться в этом: он боялся встречи с Бахчеваном. Что может выйти хорошего? Бахчеван приплетёт обязательно личное, ни к селу ни к городу впутает в дело Марицу; Марица будет глядеть с немым любовным укором. Нет уж, куда угодно, только не в редное село!

Наутро Сашко подошёл к Клавдии Алексеевне, в последний раз инструктирующей свою бригаду:

— Клавдия Алексеевна, возьмите меня с собой; я не пойду в Лукаши.

Клава обрадовалась. Даже не успев понять, что её обрадовало, — ей было не до того, — она тут же согласилась и спросила, потому что надо же было что-то спросить:

— А почему?

Сашко смотрел в сторону, брови его упрямо сдвинулись:

— То моё дело. Личное.

В полях было по-воскресному пустынно. По живью, переваливаясь, ходили сытые, осмелевшие вороны; заслышав шаги, лениво отлетали в сторону от дороги. Покачивались тяжёлые шапки неснятого подсолнуха, ласковый ветер шелестел меж пожелтелых стеблей кукурузы; на оголённых, безлюдных холмах лишь изредка, кое-где радуя глаз, маслянисто чернели полосы вспаханной земли.

— Видите, — переглядывались ребята, — прав Сергей Викторович, пропадает земля.

Плечинта покосился на идущего по обочине дороги Седова, крутнул головой не то с удивлением, не то с завистью:

— И что за человек! Себя не жалеет...

Больше всего ребят удивляло: что Седову до полей окрестных крестьян? Плохо ли, хорошо ли крестьяне работают — какое Седову дело? Со своим хозяйством управился — ну и слава богу! Ещё и благодарность бы получил от своего начальства, что управился первый. Не первый — единственный!.. Или вот Клавдия Алексеевна — что ей те крестьянские поля?

Клава и Седов шли впереди и не подозревали, что являются предметом обсуждения. Они догадывались, конечно, но всё-таки не вполне

представляли себе, до какой степени требовательно относились ребята к каждому их поступку, каждому слову. Пожалуй, в этом уже зрело признание. Ещё не понимая этого, ребята уже не отделяли от себя советских, признавали их своими. Это были первые плоды того чувства равенства, которое с первых же дней заронили советские учителя в сердца ребят.

— Мне кажется,— негромко говорил Седов Клаве,— это самое правильное, что мы могли сделать. Мы затронули основное в ребятах — их крестьянское, любовное отношение к земле. Всё, что касается земли, всё это ребятам дорого; они тут за нас до конца постоят...

— Думаете? — недоверчиво улыбнулась Клава. — Растеряются, боюсь...

— Растеряются? Дело-то ведь совсем нетрудное: крестьяне сами заинтересованы в том, чтоб обработать землю, они только и ждут толчка. Седов оглянулся на ребят, понизил голос до шёпота: — Бьюсь об заклад, знаете, о чём говорят? Удивляются, зачем нам, нам с вами лично, дались крестьянские поля. Вот вам и тема для политических выводов, учтите, Клава, — он вдруг засмеялся, сдвинул на лоб кепку. — Здорово! Ну, собой я сегодня доволен!

— Директор! — улыбнулась Клава. — Солиднее...

Дошли до перекрёстка, где дорога поворачивала на Лукаши. Надо было расставаться. Ребята значительно трясли друг другу руки:

— Дорим сукчес, желаем успеха! Как, не боитесь? Пишите, мы можем...

Сашко шумел больше всех; его живая, лукавая физиономия так и сияла.

— Которые тут в Лукаши идут? Ах, эти! Сергей Викторович, и откуда вы их понабировали, мэи? То ли дело у товарища Долининой бригада!.. — Уже отходя, вспомнил: — Вы ж там, хлопцы, Бахчевану скажите за меня слово-другое...

Беженарь удивился:

— И что ты шумишь? Вот и шёл бы сам учить того Бахчевана...

Сашко горестно развёл руками:

— Клавдия Алексеевна не отпустит, что вы!.. На меня тут вся надия...

Ребята расхохотались. Клава, оглянувшись, весело предложила:

— Споем, ребята! Покажем, какая у нас бригада дружная...

Ребята сконфуженно замялись:

— Мы ваших песен не знаем...

В эту минуту с дороги на Лукаши, в седовской бригаде, зазвенел высокий голос Гриши Гончарюка — он уже запевал старинную молдавскую песню.

Седов махнул в последний раз рукой и начал спускаться за холм. Над холмом ещё виднелись плечи и голова его — он весело что-то кричал, и Клава, не слыша слов, наугад отвечала, что всё будет в полном порядке. Седов скрылся, скрылась растянувшаяся цепочкой его бригада. Потом они опять показались — далеко внизу, и Седов, оглядываясь, кажется опять что-то кричал, но голос его относил ветром, и Клава, уже не отвечая, только помахала рукой.

В Левкауцкий сельсовет неторопливо собирались крестьяне — жизнь теперь пошла открытая, вся на людях, к этому общительные от природы молдавские крестьяне легко привыкли; привыкли каждый день ждать больших новостей, значительных событий. Вновь входившим охотно поясняли: «ученики вот пришли из техникума, говорят, работаем плохо...» Ребята, собственно, ничего ещё не говорили, сидели

рядом на лавке притихшие, немного оробевшие; даже Сашко замолчал, лицо его стало сердитым, каким всегда бывало в минуты волнения. Клава стояла рядом с председателем сельсовета Григорием Семичастным, молодым, румяным парнем, и тихо расспрашивала его о левкаучких делах. Вид у Семичастного был виноватый, беспокойный: он смущённо моргал и всё трогал Клаву за локоть, точно желая убедить её одним этим жестом.

— ...Сухо, нельзя сеяться, — переговаривались между тем крестьяне, — и хлопцев сюда зря пригнали, нельзя.

— Как это нельзя, как это нельзя? — горячо возражали другие. — Лау отсеялся, Думитру, Факша... Без хлеба остаться хочешь, мэй?

— ...Пусть-ка он там ещё за семена ответит, — поднялся прислушивающийся к разговору Клавы и Семичастного немолодой крестьянин Степан Бокарь. — Ты, товаришка, партийная, что ли? Ага, партийная! Ну-ка вот разберись в наших делах. Имел я гектар земли, советская власть два прибавила, хочу я, положим, гектар пшеничкой засеять — одобряет это партия?

— Конечно!

— Вот, одобряет! — торжествуя обернулся Бокарь к придвинувшимся поближе односельчанам. — А чем мне исполком помог? Ничем! Не дал зерна! Сколько просил — не дал. Ты, Семичастный, погоди, не отворачивайся. Отвернулся! Ты слушай-ка лучше, что нам партийный человек скажет. А вот Тодор Гинку — он богаче, куда! Семена имеет, 90 пудов ржи собрал, а сельисполком ему ещё пшеницы дал. Справедливо это? Я кажу — нет. А всё почему? Потому, что Тодор Гинку тому Семичастному родней приходится — кумнат, как это по-вашему?

Крестьяне сочувственно поддакивали, подмигивая в сторону Семичастного. Все вместе озабоченно стали решать, как по-русски «кумнат».

Клава нахмурилась.

— Открывай, Семичастный, собрание!.. Мы с тобой по душам ещё успеем поговорить...

Народу собралось порядочно. В низкой молдавской «ка́се»¹ было душно, под потолком висел синий табачный дым. Семичастный, солидно откашлявшись, открыл собрание:

— Слово для доклада...

— Какой там доклад. Мы к вам, товарищи, не для доклада пришли, — начала Клава, — так, побеседовать по-соседски. Шли мы сейчас через ваши поля — и, честно скажем, стыдно за вас стало. Плохо работаете; пусто в полях, голо, нет хозяйского глаза. Григорий Иванович вот рассказывал: только вчера обмолот закончили... Отстаёте! Вы пойдите на наши, на школьные поля — у нас уже и озимь засеяна, и зябь поднята. Богаче мы вас? Ой, нет! Хозяин у нас разумный, заботливый — в этом всё дело. Вот это и ребята скажут — так ведь, ребята? — Клава переглянулась с Ведешем, Ведеш весело, хвастливо подмигнул. — Хозяин, говорю, хороший. А у вас кукуруза ещё не убрана, сеете плохо. По государственному плану надо засеять 832 гектара озимых, а у вас вспахано под озимые 12, засеяно 32 гектара. Только 4 процента государственного плана выполнено, а правительственный срок давно миновал. Нам это, людям из-за Днестра, странно: для нас слово правительства — закон. А вы только ещё раскачиваетесь да почёсываетесь — точно вы не на себя, точно вы на чужого работаете! Что мне вам говорить — вы же и сами заинтересованы в том, чтоб обработать собственную землю. Вы «Социалистическую Молдавию» читали? Там чёрным по белому

¹ Кáса — дом (молдавск.)

написано — Липницкий район отстаёт, в правительственные сроки не укладывается... Позор ведь это, товарищи! Надо постоять за честь своего района...

Крестьяне молчали, потупившись, рассеянно крутили цыгарки. Сашко, глядя прямо в лицо Клаве, неожиданно для себя предложил глухим от волнения голосом:

— Клавдия Алексеевна, вы их спросите... Им, может, поработать надо... мы поработали бы, мэй, хлопцы?

Крестьяне запротестовали:

— Ладно, не надо!

— Не надо, спасибо, сами управимся!

— Придумали! Что у нас, стыда нет?

Ведеш вскочил:

— Клавдия Алексеевна, они май главного не говорят, я знаю... Вы им за землю скажите, что землю никто не отберёт! — Он повернул к собранию юношески светлое, чистое лицо. — Домнуле, вы же послушайте, никто не отберёт вашу землю! Закон такой есть: раз советская власть дала землю — значит, никто уж её не отберёт. То кулак брешет, не слушайте вы кулака...

Протестующий шум покрыл его слова. Крестьяне торопились уверить, что они в этом и не сомневались, что они советской власти и так верят, — но всё собрание точно вздохнуло облегчённо, и по этой вдруг установившейся лёгкости и Клава, и ребята почувствовали, что Ведеш был прав и что начинать надо было именно с этого. Клава поспешила ознакомить крестьян с земельным законом, удивилась:

— Что ж, вам разве не говорил никто?..

Крестьяне беззлобно отвечали:

— От того Семичастного узнаешь законы, как же...

Семичастный смущённо кричал, почёсывая затылок.

— Я думаю, товарищи, так, — подняла голос Клава: — Вы и без нашей помощи справитесь. Дело ведь у вас не в рабочих руках, дело в организации. О супрягах слыхали? Есть в Левкауцах супряги?

— А как же! — раздался голоса. — Думитру, Лаю, Пушкаш спрягались; так они уж и обмолотились, и засеяли, и поставку свезли — у этих идёт...

— Гаврилюки братья спрягаются повсегда.

— Мы с Гандрабурой сегодня договорились, — выступил из толпы очень смуглый, с цыганскими озорными глазами Антон Ковальчук. — Скажу по правде — я ещё тоже не сеял, нечем. С семфондом у нас и в самом деле безобразие получилось. Ну, это наладится. Вот партийный товарищ в это дело вмешался, — Ковальчук, хитря, повёл на Клаву глазом, — раз партийный товарищ вмешался, значит наладится. А только что ж это получается, граждане? Мы всё с государства, да с государства требуем — что у нас, семян нет? Есть! У кулаков сколько угодно семян есть, но они ни продать, ни обменять не хотят...

— Ну, кулак! — смешливо вставил кудрявый молодой парень, Михаил Рошка, старший брат Георгия, и сдвинул на лоб кечулу. — Мне вот родной отец не продаст семян...

— Что, в самом деле, делать с кулаком? — подал голос из угла Герман Думитру. — Вот Вайнеску наш — поехал пахать, привязал волов к гарбе, залез в кукурузу и спал целый день. Он наработает, этот Вайнеску! Он советскую власть саботирует, — вспомнил Думитру слова Седова.

Собрание, как это часто бывает на сельских сходах, разбилось на ряд небольших групп, деловито обсуждавших подробности дальнейшей

работы. Ребята после удачного выступления Ведеша осмелели; вертелись между крестьян, охотно вмешиваясь в разговоры.

— На 30—40 процентов больше урожай, чем по весновспашке, — горячо убеждал кого-то Сашко. — Ну, не верите, не верьте! Так то не я говорю — практика, опыт...

Котогой, ребром поставив ладонь, что-то толковал в группе крестьян про борозду, как её надо класть в засушливую погоду. Немолодой крестьянин уныло слушал, как Ведеш убеждал его в необходимости просушки кукурузных семян перед посевом. Отмахиваясь, плачущим голосом причитал:

— Ну, мороку и мороку придумывают новую... На что сюда этих ребят привели?

Подошёл Морей. Ничему не удивился, всё понял с полуслова. Снял шляпу, склонился над столом, стал читать бумагу, которую подвинула к нему Клава. Притихшие было при его появлении крестьяне вновь облегчённо зашумели, едва он отвернулся, — здесь многие были когда-то учениками Морей, робели перед ним.

Семичастный выпрямился, поднял руку, торжественно провозгласил:

— Прошу вашего внимания!

Внимание ему уделили, правда, не сразу. Долго рассаживались поудобней, толкаясь, шаркая ногами; председателя поддразнивали:

— А ну давай, давай! Тебя ещё не слышали. Кайся!

— Я каяться, товарищи, не буду, — начал Семичастный, — от покаяния ни мне пользы, ни людям. Скажу только, что действительно ошибка произошла с этим Тодором Гинку. Ну, постараюсь больше ошибок не допускать. Улестил он меня, сукин сын; жинка ещё взяла за жабры...

— Жинка у Семичастного — ого! Прокурор! — сочувственно поддержал кто-то.

— Ну, в общем, всё сказал. Не будет больше ошибок. Завтра же остаток семфонда распределю. Я так полагаю: Гандрабуре дать, Бабию, Степану Бокарю...

— Михаилу Рошка! — подсказал кудрявый парень.

— Ну, ты с отцом своим разберись как-нибудь! Не срамись! — раздался голоса.

— Не могу, не могу, видит бог, хозяева! — раскланивался Рошка.

— Не срамись. Собрание задерживаешь...

— А теперь, — снова поднял руку Семичастный, — а теперь есть тут одно предложение: вызвать на соревнование село Лукаши к 23-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...

О том, что такое социалистическое соревнование уже слышали, долго растолковывать не пришлось. Только Михаил Рошка всё говорил удивлённо и радостно:

— Вызовем — да и сядем! Вызовем — да и сядем.

Его потянули за рукав:

— А ты сразу садись — вона! Садись и молчи — уж осрамился сегодня...

Обязательства обсуждали серьёзно и долго, во многом помогли хозяйственная сметка и авторитет Морей. Наконец Виталий Львович зачитал окончательное решение:

К 10 октября — кончить осенний сев.

К 25 октября — убрать поздние культуры.

К 30 октября — закончить сдачу государственных хлебопоставок.

К 7 ноября — выполнить план зяблевой вспашки.

Крестьяне повеселели, готовы были хоть сейчас подниматься в поле.

— А ну, молодуха, пошевеливайся! — блестя цыганскими глазами.

приговаривал Антон Ковальчук, легонько толкая к выходу долговязого Гандрабуру. — Связал нас бог одной верёвочкой, теперь не распутаться...

— Мэй, Ионе! — кричал через головы Бабий. — Ио-он! Будь готов, я тебя завтра чуть свет взбужу! Я тебе не жинка, спать не дам...

— А думаешь, жинка ему спать даёт? — толкнул Бабия локтем неунывающий Михаил Рошка.

Клава подозвала Ведеша, передала ему уже переписанные Прозоровским обязательства:

— Тебе сейчас Григорий Иванович коня даст — скачи в Лукаши, передай наш вызов Сергею Викторовичу или Василию Сашко...

— Так пусть бы Сашко и скакал, — великодушно предложил Ваня. Илья издали повёл головой: «молчи». Ведеш удивился, но ничего не сказал. В том возбуждённом состоянии, в каком он находился, скакать за десять километров в Лукаши, будоражить чужое село, потрясая вызовом из Левкауц, казалось ему наивысшим счастьем.

Надо было разбиваться по-двое, итти по крестьянским домам, агитировать тех, кого не было на собрании. Сашко везло: Клавдия Алексеевна сама, проходя мимо, предложила ему:

— Подожди меня, Илья! Идём вместе.

Сашко ликовал, весь будто светился. Сегодня в нём не было и следа обычной хмурой насторожённости — Клава мысленно отметила это. Она смутно догадывалась о том, что происходит в душе Сашко. Она понимала, что этот жизнерадостный, энергичный юноша, который так долго, так недоверчиво приглядывался ко всему новому, так долго сдерживал себя на позиции постороннего, скептического наблюдателя, — решил, наконец, что-то очень большое, что-то самое важное для себя, и теперь увлечённо отдаётся действию, борьбе, жизни. И если даже не всё ещё им решено и додумано до конца, если даже не всё для Сашко ясно — его сильная, активная натура не может долее оставаться бездейственной и равнодушной. И то, что Клава догадалась о происшедшем в Сашко переломе и радовалась ему, усиливало чувство симпатии и внутренней близости, которое она испытывала по отношению к этому парню.

Постояли все вместе за околицей, глядя, как мелькала в степи крошечная фигурка Ведеша, подпрыгивающая на конской спине.

Семичастный вдруг сказал испуганно:

— Вот — вызвали! А теперь как сорвёмся, о господи!.. Позору-то сколько!

Клава ответила убеждённо, негромко:

— Не сорвёмся.

Сашко быстро взглянул в её лицо. Вот человек! Ясный, простой, сильный...

Семичастный первый повернул обратно, почтительно тронул на голове кечулу:

— Куда пойдёт доамневоастре?¹

Клава сказала так, точно иного ответа и быть не могло:

— К Вайнеску...

Уже берясь за тяжёлую железную щеколду калитки у дома Вайнеску, Клава спросила молчаливо следующего за ней Сашко:

— Справишься, Илья? Я ни слова не скажу, ты будешь один говорить.

Сашко ничего не ответил, взгляд его был красноречивее слов: она могла сомневаться?!

¹ Доамневоастре — ваше господство.

На дворе страшным лаем залилась большая, свирепая дворняга, загремела железной проволокой. Толстая молдаванка с жирным, лоснящимся лицом отворила дверь на крыльцо:

— Мэй, чине аколо? Кто там!

Всё было совсем не так, как они ожидали. Вайнеску мял длинную седую бороду, со всем соглашался. Сашко требовал немедленной обработки принадлежащей Вайнеску земли, а Вайнеску задумчиво, медленно склонял голову:

— Конечно, конечно...

— Так то ж не я требую — государство!

— А конечно.

Когда речь зашла о сдаче поставок, Вайнеску опять готовно склонил голову. Он только осведомился — сейчас надо везти зерно, или можно уж отдохнуть в воскресенье, как все добрые люди. Сашко сказал, что воскресенье Вайнеску может провести, как все добрые люди, а в понедельник чтоб со сдачей хлеба не задерживал, — и опять прибавил: «Это не я велю, это советская власть», и Вайнеску опять понижающе закивал головой.

В конце концов и Клава, и Сашко вышли от Вайнеску несколько разочарованные — они ждали чего угодно, только не этого. Неожиданная уступчивость Вайнеску казалась им подозрительной. Они несколько не удивились бы, если б узнали всю правду — что Вайнеску в эту ночь вывез свой хлеб надёжному человеку в Липницу, чтоб спустить его там по спекулятивной цене. Себе же оставил он пудов сорок, не больше, — чтоб, как выражался Вайнеску, «легче было толковать с властями».

Ребята собирались за околицей — возвращаться решено было вместе. Освободились раньше, чем предполагали: крестьяне и сами понимали выгоду взятых на себя обязательств, особенно агитировать не приходилось. В техникум шли беспорядочной, оживлённой толпой: впереди вдоль дороги стлались длинные неуклюжие тени с крохотными головками и утолщёнными книзу руками. Всё веселило ребят, они смеялись, радуясь удачам сегодняшнего дня. Сознание с честью выполненного долга поднимало в них чувство собственной значительности. Клава рассеянно улыбалась. В сегодняшнем дне что-то было не доведено до конца, и это «что-то» жалко было упустить. Клава напряжённо пыталась вспомнить какую-то очень важную, ускользающую мысль.

— ...А он меня спрашивает, — долетел до Клавы удивлённый голос Котогой: — Твоё-то какое дело? Я и примолк — что я скажу?

— А ты бы сказал — район, дядька, позоришь, — деловито посоветовал Сашко. — Мэй, Симеоне!

— Знаю, сказал! — всё так же удивлённо продолжал Котогой. — Говорил я ему. А он кажет: что ты мне мозги вкручиваешь — район, район! Я тебя знаю — ты же глдянский. Ну, и тикай до своих Глдян, а до меня тебе дела нет...

— Как это — дела нет? — возмутилась Клава, и вдруг, едва только она взглянула в эти обернувшиеся к ней лица, поняла, что поймала то «самое важное», к чему вёл и не мог не вести сегодняшний день. — Как это дела нет? — уже спокойнее повторила она и предложила: — Присьдем, ребята!

Расселись в круг на тёплом, нагретом за день холме. Поддавшись внезапному, вдохновенному порыву, Клава стала говорить о том, что для неё самой и для её сверстников было таким несомненным! Об этом и не думалось никогда, как не думаешь обычно о том, что составляет самую суть твоей жизни. Может быть только теперь, когда

она убедилась, что чувства и понятия, такие несомненные для неё, нуждаются в чётком выражении, только теперь она увидела ту пропасть, которая разделяла два мира — мир свободных, исполненных достоинства граждан, и мир недавних, ещё не распрямившихся рабов. И стремление уничтожить эту пропасть как можно скорее, здесь, в Бессарабии, стремление как можно скорее приобщить к своей правде этих серьёзно слушающих её мальчишек заставляло её голос звучать особенно взволнованно и убеждённо, когда она говорила о чувстве личной ответственности за общее дело.

— Это первое, самое главное, что отличает советских людей, — говорила Клава. И какой-то нерв бился у неё с внутренней стороны локтя, и биение его дрожью передавалось вытянутой загорелой руке, на которую она опиралась всем телом. И хоть не всё в её речи было до конца понятно слушателям — достаточно было поглядеть на это светящееся, как бы летящее к закату лицо, на эту сильную руку, достаточно было прислушаться к интонациям её голоса, чтоб надолго запомнить необычный, неожиданный разговор.

И Сашко запомнил. Присмирив, он сидел чуть поодаль, отвернув от Клавы сердитое, взволнованное лицо. Этот разговор, этот вечер навсегда решили его беспокойную судьбу.

14. Никита Заболотный

— Ты вот что, — говорил Никита Фёдорович Седову, крутя пуговицу на его пиджаке. — Ты этого чёрта Ионеску не слушай. Баба он. Как это — гвоздей до сих пор достать не может? Что это — гальванометры, что ли, какие?

Никита Фёдорович имел самое смутное понятие о том, что такое гальванометры, но для красного словца и они пошли в ход. Седов, не терпевший фамильярности, снимал его руку со своей груди. Заболотный этого не замечал.

— Я что сказать-то хочу? Я с ним сам поеду. В Лукашах, говорят, ярмарка большая на этих днях, так туда чего не привозят!

— Слушайте, Никита Фёдорович, — серьёзно отвечал Седов: речь шла о самом важном для него деле, о строительстве жилого корпуса, — слушайте, Никита Фёдорович, если вы гвоздей достанете — вам цены не будет. И ещё купите овец парочку, бак для прачечной, дверок печных... Идёмте в контору, я список составлю. К Сашко Василию загляните: скажите, Седов интересуется, как соревнование идёт, он знает. Фельдшер, говорят, живёт там на покое старенький — пригласите его к нам. Пообещайте, что хотите; вы, я знаю, обещать мастер, я всё сделаю...

— Будь покоен, Сергей Викторович, как девушку, уговорю, — заверял польщённый Заболотный.

И вот Заболотный едет на ярмарку в Лукаши. Флегматичный Ионеску глядит на оголённые волнистые поля, медленно поворачивающиеся вокруг повозки, на синюю линию горизонта, пожуёт, подремлет, прикурят от спички, покосится на Никиту Фёдоровича равнодушным, тяжёлым взглядом. Скучно...

Наклонившись к плечу Пахолко, Заболотный не спеша рассказывает ему про то, про сё — больше про всякие свои любовные истории. В местах позабористее Пахолко изумлённо крутит головою: «Ну чёрт...», и вдруг хохочет. Сам Никита Фёдорович не смеётся, чуть отклонится, выжидает, глядя вдаль пустыми, кофейного цвета глазами; «слышь-ка, слышь, — нетерпеливо теревит он своего слушателя, — а то, знаешь, при-

ходит ко мне как-то один мой дружок...» И, рассказывая очередную историю, думает: «Ну, чем я хуже советских? Я, гляди-ка, получше Седова мог бы руководить. Вон как я с рабочим поговорить умею, а они... Из книжек всё, умны очень...»

Под вечер въезжают в Лукаши. Разбуженный Ионеску принимает вожжи—правит к большому, стоящему на главной улице дому за каменным, высоким забором.

— О, це богата хоромина,— крутит головой Пахолко.— Самый первый дом в деревне за румынами был, Бахчеванов. Что ж, будьте здоровеньки! — И круто поворачивает коней от калитки.

— А ты ж куда, эй Мишка? — удивляется Заболотный.

— До Сашковых,— Пахолко показывает кнутовищем в сторону небольшого дома.— Сашко тут родные живут, хлопца нашего. Постукайте до меня, как соберётесь зранку.

Никита Фёдорович хочет сказать, что и он пойдёт к Сашковым, у него к ним, тем более, дело, но уже, гремя засовами и, слышно, отгоняя собаку, выходит сам Бахчеван в сопровождении Ионеску.

— Вот гостей добрых бог послал,— говорит он, останавливаясь перед Заболотным, часто кланяясь ему и обнажая в улыбке сверкающие, ровные зубы.— Заходите, товарищ Заболотный, вам в этом доме повсегда рады. Разрешите, придержу, приступочка тут. Марица, доченька, а ну спеши сюда, каких гостей до нас бог послал!

Из сарая выглядывает красивое девичье лицо, до самых бровей обмотанное белым платком, выглядывает и вновь скрывается.

Никиту Фёдоровича вводят в дом. Чувствуя бережную руку хозяина на своей спине, его предупредительную улыбку, Никита Фёдорович привычно обмякает. «Вот как,— думает он,— меня теперь принимают в кулацком-то доме...» Снисходительно пошучивая, он ходит от стены к стене, разглядывая висящие вокруг зеркала румынские открытки с изображением красивых брюнеток и элегантных блондинов — улыбающихся, грустящих, целующихся, нюхающих цветы,— разглядывает полосатые дорожки на полу, развешанное по стенам рукоделье, трогает безделушки на комодке, тяжёлые оклады икон. Пока хозяева собирают к столу и Ионеску с Бахчеваном, не обращая внимания на него, о чём-то быстро, деловито говорят по-молдавски, Заболотный, сгорбившись, смотрит в крошечное оконце на кривую сельскую улицу, залитую низкими лучами солнца, прорезанную густыми поперечными тенями. Прямо против окна, на той стороне дороги, изуродованной глубокими засохшими колеями, каменистый подъём ведёт к колодцу. У колодца распяты — целая повесть о крестной муке, рассказанная деревенским художником. Здесь и череп с перекрещенными костями, в который упираются вытянутые ступни Иисуса, и две коленопреклонённые женские фигуры по обе стороны его, с воздетыми к небу взорами, и даже лещи и молоток, прикреплённый под руками Иисуса, как раз над головами этих коленопреклонённых фигур. Традиционный петух наверху растопырил крылья, точно собираясь взлететь, и круглый деревянный глаз его зло и тупо смотрит прямо в лицо Заболотному. Слева, во дворе Сашко, светится вымытая глиняная посуда, нанизанная на сучья сухого дерева. За поворотом, слышно, гонят стадо, хлопает пастуший бич, скрипят отворяемые ворота. Всё это с детства знакомо Никите Заболотному. Скучно, скучно...

— Пожалуйте, домнуле,— говорит Бахчеван,— закусите чем бог послал, очень прошу...

Никита Фёдорович подсучивает рукава, усаживается поудобней.

— А где ж твоя дочка, эй, как тебя, Бахчеван,— допытывается он.— Хитрый чёрт, похвалился, а посмотреть на даёт.

— Да вон она,— равнодушно кивает Бахчеван на дверь.— Смотрите, если приятно смотреть на такую уродину...

Марица, уже приодевшаяся, стоит в дверях, прижавшись к косяку, заломив вверх обнажённые до локтя руки. Молча, неподвижно позволяет любоваться собой. Кажется, шевельнись кто за столом — она вспорхнёт и улетит, точно вспугнутая птица. Кажется, подойди к ней, острожно, тихо, протяни к ней руку — красивая голова её сама со вздохом склонится к тебе на плечо.

— Что ж,— оборачивая к Никите Фёдоровичу улыбающееся лицо, говорит Бахчеван,— выпьем, товарищи гости дорогие! За что теперь пить полагается — за советскую власть?

— Э, что ты там говоришь! — рассеянно отмахивается Заболотный, не сводя с Марицы восхищённого взгляда. — Выпьем за твою девчонку, приятель! Вот, скажу тебе, хороша!

— В мать пошла... — соглашается Бахчеван и подвигает гостю закуску. Заболотный пьёт, веселее, тут же наливает ещё.

Ионеску, лишь приподняв свой бокал, выжидательно смотрит на хозяина.

— Ладно, ладно, домну Ионеску, подумаю, время терпит,— отвечает на его немой вопрос Бахчеван. — А ты бы подошла, доченька, поухаживала за дорогим гостем, вина ему поднесла. Пейте, товарищ Заболотный, пейте, кушайте, очень вас прошу...

Не обращая внимания на Заболотного, Ионеску склоняется к самому уху Бахчевана. Молчаливый, флегматичный Ионеску здесь, в доме Бахчевана, преобразился — будь Заболотный повнимательней, его поразило бы это. Шёпот Ионеску требователен, отрывист, и лицо Бахчевана всё больше мрачнеет. Бахчеван надолго задумывается, на вопросы Заболотного отвечает рассеянно, невпопад.

Никита Фёдорович, впрочем, и не ждёт ответов. На него, разморённого дорогой, хмель действует быстро и сильно. Он не следит ни за выражением лиц, ни за приглушённым разговором, он видит только услужливую, застенчивую девушку, её красивое лицо.

— Вот довелось, наконец, и гостей за столом угощать,— уже без следа улыбки, медленно, серьёзно говорит Бахчеван. — А то ведь никто и не заходит до хаты, брезгают. Кулак, говорят... Люди, товарищ Заболотный, как та травинка в поле — куда ветер дует, туда и она стелется... Э, времечко...

Помолчав, он придвигается к Заболотному ближе.

— А что, вы, говорят, большой человек сейчас при советских, товарищ Заболотный? Я уж наслушался. Ваши тут приезжали кое-кто: так, говорят, в гору пошёл, не узнаешь...

Никита Фёдорович неторопливо, многозначительно опускает голову.

— Так... — задумчиво говорит Бахчеван. — Песня есть такая у советских — «кто был ничем, тот станет всем»... Вот как, значит, нынче...

Никита Фёдорович сочувственно подаётся к Бахчевану, трогает его за руку.

— Я тебе, Бахчеван, вот что скажу, — внушительно говорит он, — тебе при этом порядке жизни всё равно не будет. Не будет! У тебя, посмотрю я, и собственности как полагается, и домик подходящий, и скотина на дворе какая-никакая шевелится, и, гляди-ка, денежек в банке не одна тыща лежит, так ведь?

Бахчеван уклончиво поднимает одну бровь.

— А ты не говори, я всё равно знаю. Я людей столько на своё...

веку перевидел!.. Я тебя вон как вижу — во! — Заболотный раскрывает перед хозяином широкую ладонь. Бахчеван умно и трезво смотрит на захмелевшего гостя.

— Такому, как ты, человеку сейчас, Бахчеван, не житьё. Нет! Я думаю так: тебе опереться на кого-нибудь надо. Вот я, например.. Я человек вольный — куда хочу, туда и пойду. Опять же политичный, грамотный — обращение понимаю, всякое такое. Опять же — перед советскими в силе. Знаешь, как они там со мной считаются? Как незадача какая — так ко мне: «Никита Фёдорович, товарищ Заболотный!..» А почему? Седов — он умный, он понимает, кто ему нужен. Я его и с осенней посевной выручил, всё вывез на своих плечах, а как же? Мне Седов сколько раз уж говорил: «Ты, Заболотный, по какому такому праву в партию не вступаешь? Ты человек рабочий, тебе там честь и место. Опять же — рекомендацию я тебе со всем своим удовольствием дам, потому как наш ты человек, наш, я же знаю». А я говорю: «Стойте, Сергей Викторович, стойте, так нельзя. Надо всё делать путём, не горячаясь, подумав. Я, говорю, ещё заслужить хочу, я ещё, говорю, книжечки эти разные про капитализм никак не прочту за работой. Вот ведь...» А Седов говорит: «Ты, Никита Фёдорович, человек рассудительный, ты сам смотри, как тебе лучше выходит...»

Хмельные глаза Заболотного горят вдохновением. Он в полную меру наслаждается своей значительностью, он творит, он сам верит каждому своему слову; он сейчас щедр и великодушен. Бахчеван молчит, пощипывая ус, серьёзно, задумчиво глядя на гостя.

— Вот ты за меня и уцепись. Ты держись... Я ведь, главное, что — я озолотить могу, кто со мной душа в душу. Я туда, я сюда — я, знаешь, какой. Приехал в Левкауцы голенький, а сейчас — зайди ко мне в дом, полюбуйся — чего там нет? Я ведь и скотиной, и помолом ведаю — всё я. Захочу, любого барашка со двора, а? — он подтолкнул Бахчевана в бок, засмеялся хрипло, — или там пшенички, или маслица — всё через мои руки, всё... Ты гляди-ка, Бахчеван, я для тебя знакомый хороший Хороший, учти!

Бахчеван учитывает. Он многое прикидывает сейчас в уме, слушая пьяное бахвальство своего гостя, тревожно, ревниво поглядывая на дочь, косясь на совершенно трезвого, выжидательно следящего за ним Ионеску.

Прав Ионеску, прав: время пошло такое — знай поворачивайся. Кто долго разбирается, сидит в дураках. Приходил на днях Сашко Василий, а с ним мальчишка какой-то из левкауцкой школы — такой непримиримый, глазасгый! — этому-то какое дело! Грозилась землю вовсе отнять, если не будет Бахчеван сеять. Такие отнимут! Отняли часть, отнимут и вовсе. Всё отняли — богатство, почёт, душевный покой, ничем не ограниченную власть над округой, всё! Бахчеван мысленно выругался. Ему ли, потерявшему всё, что имел, жалеть о чести единственной дочери, когда необходимо пожертвовать и этим. Время такое пришло — рискуй, Бахчеван, хитри, крутись лисицей, не будет тебе иначе жизни!

— Господи, да баранинки вы ж не отведали, — обращается Бахчеван к Заболотному, и взгляд его холоден и насторожен. — Кушайте, кушайте, очень прошу. Выпьем за хозяйку вашу, или есть у вас?

Никита Фёдорович, не слушая, неопределённо, легонько отмахивается.

— Я что сказать-то тебе хочу, а, красавица? Марусенька, наклонись ко мне, на ушко скажу, хочешь?

Он всё пытается задержать в своих руках тонкие девичьи руки, а они всё ускользают, и темноволосая девушка улыбается так близко,

близко, и совсем близко её молодое, гибкое тело. А Бахчеван привалился к плечу, горячо дышит в самое ухо:

— Недотрога. Так и воспитывал — в строгости, никакой не давал поблажи. Для хорошего человека берёт.

— Это люблю, — веселея, Никита Фёдорович вновь тянется к Марице. — За такую девчонку жизни не жаль. Правду говорю — бери меня всего с потрохами, вот я какой...

Сквозь обволакивающий его хмельной туман Никита Фёдорович слышит заискивающий, вкрадчивый шёпот Бахчевана, видит у самого лица его улыбку. Эта застывшая улыбка и выплывающее из тумана тонкое девичье плечо, эта улыбка — и так близко колеблющееся девичье тело. За окном уже совсем темно, неясной тенью выделяется у колодца распятое, петух наверху растворился в лиловых сумерках, кажется, отвернулся.

— Темно, не вижу... — сердито говорит петуху Заболотный и отмахивается от окна.

— Пожалуйста, — склоняется Бахчеван.

На стол перед Заболотным ложится жёлтое, вздрагивающее пятно, он гладит его неверными пальцами, не сознавая, что это свет зажжённой лампы.

— Марусенька, — бормочет Заболотный, видя зарумянившуюся в свете лампы смуглую гибкую руку, — какая девочка, а! Красавица...

Он вдруг склоняется и, качнувшись, припадает к этой руке. Рука трепещет, пытается вырваться, до затуманенного сознания Заболотного из какой-то смутной дали доходит властный оклик Бахчевана:

— Ласе, Марица!

— Ласе, ласе, — бормочет и Заболотный, лаская покорно замершую руку. — Девочка, куколка...

...Наутро Марица долго плакала. Проснулась она поздно, уже в своей горнице, в своей постели, и всё не могла вспомнить вчерашний вечер. Вспомнила сначала требовательный жёсткий шёпот отца в сенях, когда она выбежала туда за ним и Ионеску; его яростное лицо; потом пробуждение Заболотного, заснувшего среди недопитых стаканов... Вспомнив всё, Марица слабо вскрикнула, зажала рот руками. На румынских открытках над кроватью замирали в объятиях друг друга изощренные кавалеры и дамы. Девушка со старой конфетной коробки улыбалась из тёмных мехов лукаво и недоступно... Выходить, встречаться с людьми, с отцом было мучительно, невозможно.

Отец, точно испытывая те же чувства, весь день молчал, избегал Марицы. За обедом заговорил. Сказал сурово, коротко, не глядя на дочь и не называя Заболотного по имени:

— Приедет он за тобой на днях, приготовься. Дела кое-какие справит и к праздникам советским приедет. Венчаться будете или так?

— Он женат, тату, — вся вспыхнув, робко взглянула на отца Марица, — у него жена есть в Кагуле, я знаю...

— Ну, ну, женат, говори ещё! — прикрикнул на неё отец, и тут же заторопился. — И что ж, что женат, и что ж, что женат, была одна, заведёт другую. Это советский закон позволяет — от живых жён других заводить, не бойся, только веди себя умненько.

Марица молчала, склоняя голову всё ниже. Бесцеремонно распорядившись ею, отец унизил её, оскорбил — об этом не скажешь. Всегда чужой и недобрый, он стал теперь ненавистным. Чувство одиночества, неприютности вновь поднялось в ней, сдавило горло; нахмуренное, глядящее куда-то в сторону лицо Сашко вздрогнуло, поплыло перед глазами, она задохнулась, повалилась грудью на стол.

— Оф, Илие! Оф, сердце моё...

Перепуганный отец молча гладил разметававшиеся девичьи косы. Что он мог сказать? Что поймёт эта девчонка в той сложной политической игре, которую начал с недавнего времени Бахчеван? Поймёт ли она, как необходимо ему иметь сейчас влиятельного, близкого к советским зятя. Бахчеван распрямится, вздохнёт, смело будет глядеть в глаза советским. Вновь встанет на ноги. Дети все такие — их растишь, воспитываешь, сколько на них здоровья тратишь, а они непочтительны, неблагодарны... Господи, ведь он и о ней же думает, и о Марице! Кто знает, что с ним может произойти по нынешним временам? И подумать-то страшно. Так по крайней мере она, сирота, будет за сильным влиятельным мужем. Женат уже? Чепуха! Марица цены своей красоте не знает. Плачет, дурёха, — о ком плачет? О каком-то сопливом мальчишке из левкауцкой школы, о таком же вот вражёнке, что и тот, который приходил, глазастый... Из-за него, подумать, красоту свою губит! У матери Марицы в своё время так же вот вся красота поблёкла от слёз.

— Чтоб я этих слёз не видел больше, — сняв руку с дрожащего плеча дочери, жёстко сказал Бахчеван. — Что тебе отец — враг, что ли? Забылась! О счастье твоём пекусь, ступай.

Марица послушно встала, пошла к себе. Повалившись на колени перед кроватью, глядя в низенькое оконце на сверкающую Сашкову крышу, тоскливо и страстно называла имя единственного родного человека на свете:

— Илие, Илие...

15. Две песни

— Вот если старых взять, — говорил Гончарюк застенчиво и искренно, как он всегда разговаривал с нами, — многие старые по-румынски и не знают совсем, только по-украински или по-русски. А молодые — они всю жизнь под румынами прожили, другого ничего не видели. Они думать, и то по-румынски привыкли. Вы их ещё не знаете, наших учеников, вам с ними трудно будет...

Нам нелегко, это верно. Сегодня мы одерживаем какую-нибудь очередную победу и торжествуем, а завтрашний день вновь отбрасывает нас на исходные позиции. Мы знаем: исходные позиции остались позади и к ним уже нет возврата — и всё-таки в эти моменты, чтоб двинуться снова вперёд, требуется собрать все свои душевные силы. Так мы живём: в поисках и сомнениях, переходя от уныния к радости, от неудачи к новым поискам. Мы счастливы. Мы живём одним напряжением, одной заботой — своими учениками. Мы идём к ним — и они идут к нам. Но как они медленно, как неуверенно идут!..

Гринберг взял без спроса карандаш у Киструги. Добродушный увалень Киструга долго искал свой единственный карандаш, а когда нашёл его, деловито ударил Гринберга по физиономии.

Я, классный руководитель, могу возмущаться и негодовать сколько угодно, сколько угодно говорить о недопустимости национальной розни — влажные, ласковые глаза ни слова не понимающего по-русски Киструги смотрят в лицо мне спокойно и терпеливо.

«Это же пустое недоразумение, — взывают они, — ведь ничего особенного не произошло, вы же знаете. Вот вы кончите, и я вам всё объясню».

Комизм этой сцены очевиден. Постоянный переводчик первого ветеринарного, Петя Галецкий, улыбается понимающе и виновато. В его переводе лишённая негодования, моя речь теряет всякий смысл, вся

укладывается в две—три неторопливые фразы. «Это же пустое недоразумение, — молча взывает Киструга всем своим видом, — почему вы так сердитесь? Неужели из-за таких пустяков?»

— Так уж он у нас бестолковый, — беспечно посмеивается Алёша Мунтян.

А на переменке приходит с первого зоотехнического Цуркан, неизвестно откуда про всё узнавший; расталкивая ребят, подходит прямо к парте Гринберга и, облокотившись на неё, говорит значительно и угрожающе:

— Ты что же, фискальщик? А ну, скажи про меня, — и спокойно, со страшной силой бьёт Гринберга в ухо. Гринберг падает на лавку и глухо рыдает, не смея поднять голову. Ребята молчат. Только Петя Галецкий говорит удивлённо:

— Повсегда жалуется, вот...

— Подождите, пусть он ещё в дормитор придёт, — холодно говорит Цуркан.

По вечерам, пробираясь меж ветвей, выползает на мутное небо зеленоватая луна, повисает на конце могучего, обнажённого грозой ствола, торчащего из густой листвы парка. В техникуме тишина. Лишь прорвутся звуки фортепьяно из-за приоткрытой ставни какой-нибудь преподавательской квартиры, лишь простучит, удаляясь, колотушка ночного сторожа. Утомившийся за день, спит наш левкауцкий техникум. Спит ли? Может быть, и не спит ещё. И днём и ночью он живёт глухой напряжённой жизнью.

На высоком ребре деревянной койки сидит Сашко и, забывшись, жестикулирует зажатым в руке ботинком.

— А как же дом строят, чудак ты, — убеждённо и добродушно втолковывает он хмуро глядящему на него Котогою. — Как строят дом? Что ты, с фестончиков, что ли, с резных начнёшь, занавески неизвестно на что повесишь? Не так ведь, правда? Сначала мы положим фундамент...

— Не пойму я, — перебивает его Котогой. — То ли ты, Илья, от души говоришь, то ли выгоду какую маешь... Э, ты не скажешь, хотя...

— Ох, какой ты, Симеоне! — искренно огорчается Сашко. — Ведь я ж не советским, я всё это тебе говорю. Выгода! Какая мне с того выгода? Я ведь советских, знаешь, как слушаю — я никогда ничего не беру на веру. Я с ними про себя сколько раз не соглашался и спорил, а потом подумаешь, подумаешь — нет, видишь всё равно их правда. Знаешь, Сёмка, ты только не говори никому: я в комсомол бы хотел...

— Ну, комсомол, — отмахивается Котогой. — Его у нас никогда и не будет. Мы ещё такие, э...

Сашко скашивает на Котогоя хитрый, смеющийся глаз.

— ...Не-ан-дер-гальцы, мэй, — с удовольствием скандирует он только сегодня услышанное «новое слово» и, подтолкнув Котогоя локтем, звонко хохочет.

А потом, откинувшись на койку, заложив руки за голову, думает. Вчера приходил хлопец из Лукашей, приносил записку от Василия, поклон от Марицы. Говорит, Марица до себя зовёт — хоть на день, на час. Так с ними и надо, с девушками. То ни слова, ни ласки от неё не добьёшься, а то сама зовёт — сама! А времени ведь прошло немного... Никуда он отсюда не уйдёт — здесь каждый день точно целый мир открывается. Начнёт ли говорить Седов, Вера Михайловна, особенно Клавдия Алексеевна — в их словах чувствует Сашко всем беспокойным, ищущим сердцем неоспоримую, единственную правду. Сашко шёл бы и шёл за советскими, может быть не всегда соглашаясь сразу, вдумываясь в каж-

дое слово—но шёл бы! А сказал он об этом впервые. Сказал одним только словом «комсомол», как влюблённый именем возлюбленной выражает всю свою боль и счастье.

Котогоя между тем поразила неожиданная искренность Сашко — он знал Илью всегда насмешливым и скрытным. Комсомол! Если б кто-нибудь терпеливо растолковал простому глodyанскому парню, что это значит. Котогой же верил словам. Не верил словам, мало верил людям. Немудрёный жизненный опыт убедил его, что люди черствы, несправедливы в суждениях, равнодушны к чужому горю. Это убеждение не делало самого Котогоя ни холоднее, ни суше, оно делало его только требовательнее, он был непоколебим в своих симпатиях к тем людям, в которых видел доброжелательность и простоту. Он удивил всех своих товарищей, когда с первого же появления в техникуме Димитрия Гуцуляка стал выказывать ему открытое и щедрое расположение, из себя выходил, когда кто-нибудь подсмеивался над этой странной дружбой. Заискивающая робость Мити вызвала в нём страстное желание защитить товарища. Один нуждался в покровительстве, искал его, другой оказывал это покровительство охотно и просто.

Люди улыбаются по-разному: один неохотно и криво, другой — светло и открыто. Когда улыбался Котогой — он весь был в улыбке — мягкий, деликатный в обращении украинец. Но он же становился совершенно неузнаваем, когда какая-нибудь несправедливость затрагивала его. Вспыльчивый, горячий, он терял голову, защищая то, что считал единственно верным; лицо его хмурилось, темнело, принимало туповатое-упрямое выражение. Таким и знали его товарищи: для одних он был привязчивым и открытым, для других — неуживчивым и упрямым.

Отойдя от Сашко, поглочённый своими мыслями, Котогой осторожно присел на койку Гриши Гончарюка, хотел спросить его о комсомоле, но так и не спросил ни о чём. Гриша второй день не вставал: он трясся в жестоком ознобе, лицо его было покрыто испариной, губы горели. Котогой поправил на нём кожу, со вздохом сказал:

— Оф, как же тебя скрутило, Григорий...

Гриша попробовал улыбнуться, улыбка получилась жалкой, наткнул на себя кожушок, повернулся — и вдруг, подняв голову, прислушался. Глядя на него, прислушались и остальные ребята. В наступившей тишине издали, из глубины дормиторов явственно донеслись приглушённые звуки румынского монархического гимна.

Ребята переглянулись, кое-кто заулыбался: зоотехники, первый курс!.. Ну и надумали, румынские гимны петь!

— Вот отчаянные черти! — Георгий Рошка подмигнул Скутарю озорным смеющимся глазом. — Как скажешь, подтянем, Коля, а?

Скутарь, лежащий на высоко взбитых подушках, лениво усмехнулся и неопределённо пожал плечами.

— Давайте петь, ну! — настаивал Рошка. — Скутарь, что ты скажешь? Давайте...

— Нечего тут хулиганить, — отозвался Тимофей Тетеля. — В лес идите, там и пойте, что в дурью голову придёт...

Ребята нерешительно усмеваются. Тетеля — этот вечно разведёт воркотню. Скутарь небрежно приподнимается на койке, обводит ребят выразительным взглядом — «ну, поём, мол»... Выжидательно поднимает ладонь. И в это время раздаётся неожиданно звонкий голос, беспечный, шальной голос Гончарюка.

— А вот мы сейчас своё споём — давайте, ребята? Затянем советскую песню, посмотрим, чья возьмёт! Рошка, миленький мой, как мы с тобой споём сейчас! Пошли, Симеоне...

Стискивая колотящиеся в ознобе зубы, Гриша Гончарюк поднимается с постели и в одном белье, опираясь на плечо Котогоя, путаясь неверными ногами в соскользнувшем на пол колушке, перебирается на середину дормитора — на кровать Рошки.

Рошка с готовностью подвигается. Увлечённый этим азартом, от которого вспыхивают Гришины глаза, Рошка, признанный дирижёр школы, начинает привычно распоряжаться:

— Ближе, ребята, так. Первые голоса — к Григорию, вторые — к Сашко. Дайте кто-нибудь господину дирижёру тетрадочку... — И повышая голос, кричит через стену в соседний дормитор: — Мунтян, Мунтян! Алёша!

— Спит он, — вразумительно доносится оттуда. — Эй, Мунтяну! Спит уж...

— Это Галецкий, что ли? Буди его, пускай петь идёт!

Поднятый с постели Мунтян, полусонный и взъерошенный, в одной рубашке, позёвывает среди склонившихся над тетрадошкой оживлённых ребят. Он, конечно, ничуть на них не досадует за прерванный сон. Мунтян — покладистый человек, он всегда и на всё согласен. Петь, так петь. «Песнь о Родине»? Ладно! Глубоким, неотразимым тенором, который составляет славу Мунтяна, является предметом зависти и поклонения, он заводит: «От Москвы до самых до окраин»... Подхватывают ребята торжественно, тщательно произнося каждый слог:

Че-ло-век про-хо-дит, как хо-зя-ин
Не-объят-ной Ро-дины своей...

Растёт, ширится мелодия этой советской песни в левкауцких дормиторах; всё твёрже, всё уверенней выговариваются гордые её слова:

Широка страна моя родная...

— Будто и правда — советские... — простодушно улыбается Плетинта.

— Мы и есть советские, а как же... — негромко откликается Сашко.

Он подтягивает мужественным, приятным баском, сдержанно, задумчиво. Нет ничего случайного вокруг — ни песен, ни анекдотов, ни весёлых рассказов. Почему Гончарюк, больной, почти в бреду, уловил враждебное мгновенно, а он, Сашко, растерялся, промолчал? Не вступишь Гончарюк — сейчас весь второй вегеринарный, а за ним, конечно, и все дормиторы затаяли бы румынские гимны — а он, Сашко, продолжал бы молчать? Хмуро, с затаённым восхищением смотрит Сашко в горящее азартом лицо Гончарюка. Таким вот и надо быть! Каким — этого Сашко не умеет определить точно. Всё-то он, Сашко, занят собой — пора уже дело делать, пора твёрдо идти по своей дороге.

— Ты бы ложился, Григорий...

Гриша делает нетерпеливое движение головою:

— Пой!

А в дормиторе первого зоотехнического сидит на подоконнике Цуркан и, широко раздвинув колени, нахмутив красивое холодное лицо, поёт «Три цвета» — румынский гимн. С задором, с вызовом подтягивают ему первокурсники.

— Эге, Цуркану, слушай! — останавливает Цуркана прислонившийся к подоконнику Вангели, болезненный, весь какой-то разболтанный подросток, с капризно вздёрнутыми бровями на бледном лице.

В наступившей тишине явственно доносится мягкий задушевный голос:

Всюду жизнь и вольно, и широко,
Точно Вольга полная течёт...

— Мунтян это, — с уважением шепчет кто-то. Радостно, дружно подхватывает вдали хор:

Молёдым везде у нас дорога...

— Здорово поют, вот здорово! — замороженно шепчут ребята.

— К чёрту! — коротко, энергично бросает Цуркан. — Здорово, здорово... Что вы, не видите — они нас затереть хотят. Поём «Да здравствует король»... Только смотрите, крепче!

Да здравствует король в почёте и покое,
Страны любимец, царства повелитель...

Но неуверенные голоса с трудом доходят до самой высокой ноты — и здесь окончательно сбиваются.

— А пасха, пасха завтра... — в бешенстве вскакивает Цуркан на подоконник. Ребята, оглушённые залпом ругательств, робко оглядываются на него.

— Да ты не злись, Цуркану, — говорит Васенька Макаровский. — У них голоса крепче — нам не перетянуть.

— К чёрту! — кричит Цуркан неожиданно тонким голосом. — Почему не все поют? Почему не все поют, я вас спрашиваю?

— А ты что, купил нас? — добродушно отзывается Гуцуляк, отрывая голову от подушки, и на его веснушчатом некрасивом лице весёлое удивление. — Почём платишь — я подумаю, мэй, Цуркану?

— Не с тобой разговор, — коротко отвечает Цуркан, не сводя холодных глаз с крайней у двери койки. — Вангели, а ну скажи мне, кто это там лежит? Не Гринберг ли это опять? Ага, Гринберг..

Ребята затихают. Им уже знакомы эти вкрадчивые зловещие интонации.

— Гринберг! — яростно окликает Цуркан. — А ну вылезай оттуда, отвечай: ты почему это не поёшь с нами? Ты, может, забыл нашу науку? Тебе, может, напомнить следует?

— Мэй, Цуркану, ласе, оставь! — негромко говорит Гуцуляк.

— Что «ласе», что «ласе», — вытягивая тонкую шею, отделяется от стены Вангели. — Гони отсюда жидов к чёртовой матери.

Цуркан удерживает Вангели за плечо.

— Ага, Гуцуляк заговорил! — кричит он торжествуя. — Бей и его, ребята, всех, кто продался советским, бей!

Злобно ревушая масса. Тёмные, вырвавшиеся наружу инстинкты владеют этой толпой подростков. Одичавшая толпа уже ломится в двери, уже растекается по соседнему дормитору, и пьяный от бешенства Цуркан покрывает ревушие голоса тонким, высоким криком:

— Всех, кто продался, — бей! Орлы, вперёд!

— ...Мэй, боец, что там делается! — с безумными глазами ворвался в свой дормитор Ваня Ведеш. — Котогой, Сёмка, там твоего Гуцуляка убивают.

Все переглянулись.

— Цуркан, наверное, командует. Вот бешеный!

Котогой подтянул брюки.

— А ну, я пошёл, — сказал он, ни к кому не обращаясь. Уже от дверей прибавил с подчёркнутым безразличием:

— Вы со мной, небось, никто не пойдёте? Вам что!

— Все пойдём,— стремительно поднялся Гриша.— Второй ветеринарный повсегда дружный. Проучим Цуркана за его фашистские штушки...

— Сиди, сиди,— изумлённо запротестовали ребята.— Ну, чёрт ты, Григорий, без тебя не управимся?

Медленно, неохотно поднимались, разминаясь, переглядываясь — в драку вязываться не хотелось.

Сашко снял. Может быть, он только об этом и мечтал каких-нибудь пятнадцать минут назад—о том, чтобы с кем-нибудь помериться силой.

— Мы люди деловые,— приговаривал он, зачем-то обуваясь и для верности пристукивая башмаками.— Мы сейчас этот хулиганский Цурканов курс по кирпичику разберём.— О! Готово, пошли, мэй, мальчики, Сашко обулся!..

Ваня Ведеш неожиданно гикнул, отчаянно бросил шапку себе под ноги, рванул с места:

— Взво-од, за мной! Марш!

Ребята с рёвом выскочили за ним, точно подхваченные вихрем. Дормитор опустел. Гончарюк опустился на ближайшую койку. В дормиторе, кроме него, остались только Скутарь, Прозоровский и Мунтян. Лёжа в своей обычной позе с поднятыми над головой локтями, Скутарь пробормотал сквозь зубы:

— Хорошо у нас Гончарюк командовать научился! Ну, просто слушаешься!..

Костик Прозоровский драться не умел и не любил, он бледнел от боли и жалости, если при нём кого-нибудь били. Сейчас он нерешительно остановился в дверях, вглядываясь в темноту, рассеянно теребя поднятую им с пола баранью шапку Ведеша.

— Костик, пойдика сюда!— тихо окликнул его Гриша.— Подай мне Семёнов кожух, обессилел я. Какой из тебя вояка, ты не ходи. Не ходи, без тебя управятся!..

— Вот мы с тобой, Коля, люди солидные,— вдруг засмеялся Алёша Мунтян и подсел поближе к Скутарю.— Люди солидные, всеми этими драками не занимаемся. Что ты, Гончарюк, так смотришь? Я не с вашего дормитора, могу я нейтралитет держать?..

16. «Широка страна моя родная...»

Наутро Котогой свалился в лихорадке. Фельдшер, прибывший с Никитой Фёдоровичем из Лукашей, осмотрев Семёна, обнаружил на его спине и груди страшные кровоподтёки. Стали спрашивать. Котогой молчал. Кого ни спрашивали из ребят — все молчали. Иные стыдливо отворачивались, скрывая царапины и синяки. Митя Гуцуляк молча оглядывался на своего распростёртого в полубеспамятстве друга.

Чувство справедливости, негодования, жалость к Семёну, болезнь которого он, как и все ребята, связывал со вчерашней дракой,— всё это мешалось в душе Мити с томящим, знакомым с детства страхом. Кто знает, к чему повело бы признание? Вдруг от слишком поспешного, неосторожного шага рухнет, наконец осуществившаяся, мечта об образовании. Этим Митя никак не мог рисковать. Чем угодно, только не этим! И он тоже молчал, отводя от Котогоя виноватые глаза.

А под вечер к Сергею Викторовичу робко постучали. В дверях стоял Гриша Гончарюк. За ним жались в темноте притихший Ваня Ведеш и хмурый Сашко. Сергей Викторович испугался.

— Кто ж тебе позволил встать, Гончарюк?

Ведеш озабоченно ответил за Гришу:

— Вы не знаете, Сергей Викторович, тут дело такое...

Волнуясь и сбиваясь, ребята рассказали о происшедшей в дормиторе драке; только Сашко сидел неразговорчивый, исподлобья поглядывал на Седова.

— ...Пришли к вам, как к партийному человеку, — твёрдо закончил Гриша. — Что мы теперь будем делать? Тому Цуркану в техникуме никак нельзя оставаться, Сергей Викторович, он же фашист, правда...

— Фашист, да... — вставил и Ваня Ведеш.

Сергей Викторович надолго задумался. Встал, походил по комнате, подошёл к окну. Как могла вспыхнуть эта неистовая безобразная драка? Где-то была допущена ошибка. День за днём он вспоминал сейчас прошедшие два месяца — первое собрание, на которое приезжал Колесниченко, первые уроки советских учителей, выборы учкома, борьбу с бытовыми трудностями, с притаившимся в техникуме врагом, выход в окрестные сёла — этот первый гражданский подвиг левкауцких ребят, — всё было правильно. Седов тревожно искал ошибку — и не мог её найти. Ведь уже явственно становилось лучше — налаживалось мало-помалу питание, срочно достраивался жилой корпус, в котором будет расселена часть первокурсников; досрочно, несмотря на трудности, были закончены осенние полевые работы, и это внушало ребятам чувство гордости за свой техникум; росло чувство ответственности за общее дело. Ощутимо, на глазах менялись ребята, а ведь прошло так немного времени.

За его спиной осторожно переговаривались ребята.

— Будут теперь говорить — вот, фискалы, — огорчался Ведеш. — Оф, как это всё получается нехорошо.

— Не фискалы! — упрямо и тихо возражал Гончарюк. — Мы не фискалы. Это ж политический вопрос... Что его, так оставить?

...Как же мог он не заметить, что в глубине этих старых дормиторов притаилось тёмное, враждебное? Теперь ясно, в чём ошибка. Но только... Нет, никакой ошибки нет, всё правильно! Как это сказал Гриша?.. «...Цуркан как услышал, что затянули советскую песню, стал, ребята говорили, как бешеный. А что может сделать? — у нас голоса сильнее...»

Седов засмеялся. Кажется, ребята дали урок ему, директору. Да, это политический вопрос! Запели советскую песню? Советской песней ответили на румынский монархический гимн? Никакой нет ошибки, всё правильно. Всё шло правильно, потому что молчаливая, пассивная насторожённость первых дней была значительно хуже. Потому что в тысячу раз хуже была безлика, казавшаяся равнодушной масса. Почему так испугала его эта пробуждающаяся политическая активность? Да-да, политическая активность — чем ещё, как не разгорающейся политической борьбой было это внезапное столкновение песен в левкауцких дормиторах!

— Что ж, — обратился к ребятам Седов, — начали, хлопцы, дело — доводите его до конца. Соберите завтра учком, ставьте вопрос о происшедшей драке. Ставьте принципиально, остро. Свою судьбу Цуркан и его компания сами отдали в ваши руки...

— Какая там компания у Цуркана? — подал голос Сашко. — У нас он один такой бандит...

На следующий день после уроков в учительской собирается учком. Собрание открыто, и слух идёт, что будут говорить о позавчерашней драке, поэтому учительская вмещает столько народу, сколько она в состоянии вместить.

— Вы посмотрите на эти лица, какой ужас! — шепчет Мария Ми-

хайловна. — Вы посмотрите на этого мальчика, на Цуркана, что с его глазом?

Цуркан стоит почти у самых дверей, прислонясь к стене, замкнутый, невозмутимый, ко всему готовый, окружённый горсточкой своих при- спешников. Ваня Ведеш из-за учительского стола, за которым преувеличенно важно и в то же время смущённо сидят члены учкома, то и дело лукаво подмигивает товарищам в сторону Цуркана — какова, дескать, мальчишки, чистая Ванюшина работа!

Нагягивая кожушок на плечи, с трудом поднимается Гончарюк. Кто-то сочувственно восклицает в плотно обступившей стол толпе:

— Ты бы сидя говорил, мэй, Григорий!

Точно не слыша, Гончарюк обводит всех строгими, лихорадочно горящими глазами.

— Я долго не буду говорить,— предупреждает Гриша. — Я только спросить хочу: долго мы будем жить, как теи свиньи? Ну да, как теи свиньи,— помолчав, настойчиво продолжает он. — Нам советские правильную дорогу показывают, а некоторые тут назад хотят нас толкнуть, на старое. Не хотим мы по-старому жить, не будем! Я это здесь за всех говорю...

— А ты за себя говори! — выкрикивает Вангели. Цуркан, не сводя с лица Гончарюка твёрдого, холодного взгляда, тихо прогает Вангели за рукав: «Мэй, ләсе»...

— Оф, Гончарюк, дай я скажу,— нетерпеливо пробивается к столу Илья Сашко. Вчерашней хмурой сосредоточенности в нём нет и следа, лицо его решительно и насмешливо:

— А тебе не нравится, да, Вангели? Никак не нравится новая жизнь? Что ты молчишь? Ага, то-то... И ты, Цуркан, молчишь? Вы только по-тихому нагадить можете, а громко никогда не скажете, чего хотите. Конечно, не скажете! Потому что вы — фашисты!.. Нет, не фашисты — фашистики! Знаете, такие ещё маленькие, неразвернувшиеся...

— Ого, Сашко!

— Ну, это уж слишком...

— Правильно, чего там слишком! Правильно...

— Господи, конечно правильно,— убеждённо подтверждает Илья. — Я вам это сейчас докажу, мэй, ребята! Неужели вы не видите, какая сейчас на свете война идёт? — Голос Сашко взволнованно звенит. — Я вот думаю, думаю по разу; никогда, кажется, столько не думал!..

— Это, между прочим, полезно, — негромко, иронически говорит от окна Чеботарь.

— Пожалуйста... — вздрагивает Сашко, недоуменно оглядывается на Чеботаря, замолкает.

Не надолго устанавливается напряжённая тишина. Чеботарь пожимает плечами.

— Мы не какие-нибудь глупые пацанятки,— совсем тихо, уже не глядя на Чеботаря, продолжает Сашко. — Нам теперь так просто голы вы не закружишь. Мы не на луне живём — в Левкауцах; мы понимаем, что война и здесь, в Левкауцах идёт. И нечего, ребята, бояться слов. Драться ведь не боялись...

— Мэй, Илья, ты будто не дрался?

— Так дрался же! — удивляется Илья. — И повсегда буду драться — за правду... А что ж, Цуркану дать волю? Не дадим! Верно я говорю, Григорий?..

Седов глядит на сияющую Клаву, издали улыбается ей. Этот замкнутый парень, Илья Сашко, раскрывается в последние дни стремительно, свободно...

— А ведь Сашко, ребята, прав,—поднимается Сергей Викторович.— Сашко очень правильно сейчас сказал: между фашизмом и коммунизмом нет и не может быть примирения и компромиссов. Нет середины, нет двух путей! Мир раскололся на два лагеря, и каждый, кто участвует в схватке, попадает неминуемо в один из этих двух лагерей. Выбирайте, ребята! Выбирайте — вы уже взрослые люди; выбирайте — вам ещё жить и жить: как вы проживёте свою жизнь? С кем вы? Мы, коммунисты, зовём с собой всех честных, всех мужественных...

Седов, приостановившись, оглядел напряжённо внимательные лица ребят.

— Думайте, ребята, думайте, решайте свою судьбу! Сашко и Гончарюк были совершенно правы, когда говорили: то, что произошло у нас в техникуме, это не просто вопрос дисциплины, не просто вопрос нашей внутренней школьной жизни — вы не маленькие, вы должны это понимать,— это вопрос политический, и только так мы его будем рассматривать сегодня.

Было тихо — при этих словах стало ещё тише; ребята точно затаили дыхание.

— Вы рискуете допустить большую ошибку, Сергей Викторович,— чуть бледнея, сказал Чеботарь и тяжело двинулся на стуле,— в конце концов, это же ещё дети...

— Дети?— удивлённо переспросил Сергей Викторович.— И этот вот, Николай Цуркан, он тоже ребёнок? — Цуркан не выдержал иронического, холодного взгляда Седова, отвернулся; Сергей Викторович хотел что-то прибавить, сдержался, сел. — Что ж, ребята, всё ясно. Пусть учком теперь сам решает, что делать. Зачинщикам, я думаю, поблажки не должно быть. Кто они?

— Что такое «поблажка»? — озабоченно завертелся Сашко.

Поднялся председатель учкома Скутарь, без нужды постучал карандашиком, замораживающе-властно оглядел учеников:

— Кто будет говорить?

Ребята переглянулись, нерешительно замаялись. Гуцуляк взволнованно гмыкнул, кашлянул. Хотел заговорить, но в горле у него пересохло от волнения. Чувствуя, что все на него оглянулись, что пути назад всё равно отрезаны, он внезапно, с оборвавшимся сердцем, нерешительно сделал шаг от стены.

— Я хочу сказать, как член учкома,— нерешительно начал он. Ему всё ещё не верилось, что он действительно является членом учкома, он даже не присел сейчас к столу, за которым заседали товарищи,— ему всё казалось, что на него насмешливо и осуждающе косятся. Но после слов Седова ему уже было всё равно, косятся на него или не косятся, он чувствовал себя точно на голову выше и начал пресёкшимся от волнения голосом: — Я буду говорить, как член учкома...

Митя сделал ещё шага два по направлению к Цуркану, протянул руку:

— Вот он, Цуркан! Цуркан в этом деле всех главнее. Командует, ну, как тот кулак, житья от него нет... Что Цуркан май главный хулиган у нас — то все знают. А другие — они же глупые ещё, правда, они Цуркана боятся. Пёс ты бешеный, — с каким-то удивлением поворачивается Митя к надменно глядящему на него Цуркану. Коротконогий, мешковатый, он стоит против Цуркана в толпе притихших, плотно сдвинувшихся ребят.— Пёс ты бешеный, пёс! Ты за что Котогоя избил? Мы сюда учиться пришли — почему ты нам не даёшь? Что ты так на меня смотришь — напугать думаешь? Меня в жизни такие, как ты, и не так пугали. Меня хоть ругай, хоть бей, я за это никогда

не боюсь — тебе бы вот хуже не было... Вот советские люди, они таким, как ты, покажут, дай срок; ты поперёк всей советской политики стоишь, слышал?

Ребята задвигались, расступились. Гуцуляк вошёл в их круг, весь дрожа от пережитого возбуждения.

— Что вы будете делать? — засуетилась Мария Михайловна. — Сергей Викторович, что вы будете делать? Такие серьёзные обвинения...

— Ну, кто будет ещё говорить? — вновь поднялся Скутарь.

— Скутарь, — тихо тронул его за локоть Гриша, — пускай все члены учкома скажут.

— Мэй, не учи, — процедил сквозь зубы Скутарь и громко сказал: — Пускай все члены учкома говорят, я по кругу пойду. Ты, Мунтян.

Мунтян охотно поднялся, обвёл ребят, в том числе и Цуркана, весёлым доброжелательным взглядом, чуть улыбнулся уголками губ. Дав возможность налюбоваться собой, сказал:

— Я — как все, что ж. Все ребята против того Цуркана. И Сергей Викторович тут правильно говорил, что он есть прстивник советской власти. Предлагаю дать ему маё строгое наказание — какой-нибудь выговор, я знаю?

— Ты, Прозоровский?

Прозоровский вдруг вспыхнул — густо, почти до слёз, поднял на Скутаря чистые синие глаза, отрицательно замотал головою.

— Что с тобой? — удивился Сергей Викторович. — Ты говори, Прозоровский...

— Не могу, — жалобно пробормотал Костик и умоляюще взглянул на Седова. — Ведь я в дормиторе сидел, когда они там дрались, как я могу говорить...

Клава, ближе всех сидящая к Прозоровскому, тихо, настойчиво сказала:

— Костик, а ты всё-таки говори. Это очень важно...

Костя оглянулся на неё, встал.

— По-моему, — заикаясь, заговорил он, — за такие поступки исключать надо. Никто не смеет мешать нам учиться — мы сюда учиться пришли. Вы Цуркана все знаете — ему по-хорошему нельзя говорить. Что ему выговор! Ему не выговор — его исключить надо. И потом — говорили тут ребята, это же не простое хулиганство... Разве вы не согласны? Это же неуважение к советским законам. А мы будем Цуркана по головке гладить? О, господа, не могу я говорить об этом — я же в дормиторе сидел...

— Он кажет «исключить», — подхватил Сашко. — Сергей Викторович, что мы будем даром из пустого в порожнее переливать. Я же вижу — все за исключение!

— Прозоровский прав, — отозвалась Клава, — за такие вещи по головке не гладят. — Клава одобряюще кивнула Прозоровскому. — Мужественное, честное выступление! Молодец Костик!

Костик вспыхнул, потупился.

— Я только одно хочу добавить, — поднялся с усилием Гриша, — я предлагаю записать так: не просто исключить, а исключить за фашистское поведение... Пусть все знают...

— Правильно! — серьёзно отозвался Сергей Викторович. — Скутарь, так и запишите: за фашистское поведение...

Скутарь не ответил, повёл голосование. Члены учкома проголосовали за исключение.

— И пусть он до своего Антонеску тикает, — тихо добавил Ваня Ведеш. Цуркан рванулся, коротко бросил: «Пошли, мэй!...»

Человек восемь ребят отделились от стенки, двинулись за Цурканом. Загремела брошенная с силой входная дверь.

— И правда, пёс бешеный, — удивлённо сказал Плечинта.

— Тут ещё второй вопрос, — минуту помедлив, нагнулся к повестке дня Скугарь. — Сергей Викторович, кто будет говорить?

По второму вопросу выступила Клава. Говорила о том, что нужно лучше поставить политическую работу, что с сегодняшнего дня начнёт заниматься кружок по подготовке в комсомол, которым будет руководить Вера Михайловна. При словах «подготовка в комсомол» кто-то коротко восторженно ахнул. Сашко, переводивший выступление Клавы, тут же спросил:

— Кружок — на русском языке, да? А для тех, кто русского языка не понимает — для тех как? — И тут же, не дождавшись ответа, предложил, отвернувшись в сторону взволнованное, нахмуренное лицо: — Сергей Викторович, поручите это мне? Поручите, а? Я буду вести кружок на молдавском языке. Веру Михайловну послушаю, а потом свой кружок соберу. Я справлюсь, вы не думайте, всё хорошо будет...

— Всё будет хорошо, я за Сашко ручаюсь, — поддержала его Клава.

— Я тоже за Сашко поручусь, — улыбнулся Сергей Викторович, — я сам знаю: всё хорошо будет...

17. Середины нет!

— ...А как они ведут себя на собраниях? — раздражённо говорит Чеботарь. — Это их неуместное оживление, эти выкрики с мест! Заметки, которыми они заполняют газету, их так называемое самоуправление, это хождение в село с какой-то странной, внеучебной целью. Ещё бы им не нравились советские порядки! Никакой субординации, развязывание низменных инстинктов. Мы столько лет говорили об авторитетах, о религии, Евгений Николаевич, вы вспомните! Как упорно пытались привить мы нашим ученикам какие-то навыки нравственности, культуры. Ещё несколько месяцев советской власти — и мы не узнаем наших учеников. Помилуйте, наши ли они? Они уже вообще не наши...

Чеботарь помолчал; продолжал осторожнее, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Мои коллеги меня изумляют между прочим, они, очевидно, совершенно примирились с тем, что попираются элементарнейшие педагогические принципы... Я, во всяком случае, не вижу, чтоб мои коллеги противопоставили хоть что-нибудь влиянию советских людей...

«Противопоставить что-нибудь влиянию советских людей?» Нет, это не было сказано. Вообще, ничего не было сказано. Чеботарь сидит так, точно он по крайней мере в течение получаса не проронил ни слова. Глаза его полузакрыты, лицо непроницаемо и насторожено.

Тишина. Никто не шелухнулся в полутёмной гостиной Стучевских. Только Мария Михайловна подняла обеспокоенный взгляд на стоящего рядом Морея. Но и у Морея глаза полузакрыты, и на худом неподвижном лице невозможно различить решительно ничего. Молчит Евгений Николаевич, Юлия Михайловна, сидя на низенькой скамеечке у ног его, повернула к Чеботарю любезное внимательное лицо. Пётр Николаевич задумчиво пощипывает листья пальмы; на краешке стула у двери скромно примостился Саккара, он внимательно следит за всем неуловимыми, глубоко запрятанными глазами.

Выждав минуту-другую, Чеботарь продолжает:

— Мне кажется, что мои коллеги мало задумываются над смыслом происходящих событий. Очевидно, существующий порядок вещей мыс-

лится им установившимся надолго, навсегда... Здесь все свои люди, Виталию Львовичу мы, кажется, тоже не имеем оснований не доверять, — Морей подчёркнуто склонил голову, — может быть, мы могли бы высказаться более откровенно...

— Я полагаю... — нерешительно начал Евгений Николаевич.

— Да?

— Как хотите, конечно... Я полагаю только, что тема разговора несколько... Как бы это сказать?..

— Нелойяльна? — вступился Морей. — Ничего. Ничего, Евгений Николаевич, ты не беспокойся. Я считаю наоборот — разговор обещает быть очень интересным, очень...

— Вы находите? — насторожённо осведомился Чеботарь.

— Нахожу, — опять склонил голову Морей. — Итак, слушаем вас...

— Если угодно, я продолжу. — Чеботарь коротко глянул на Саккара, тот быстро, неуловимо кивнул головой. — Я думаю, мы слишком легко отказались от своих воспитательных принципов, домнуле. Скоро и здесь будет война — это неизбежно, она уже висит в воздухе. Стоит только внимательнее читать газеты — вы почувствуете дыхание войны. Война многое изменит, многое заставит переоценить..

— То есть, вы хотите сказать, что война кончится поражением Советского Союза? — опять спросил Морей.

Чеботарь поморщился. У этого учителя из села Левкауцы неприятная манера — вносить ненужную остроту в постановку каждого вопроса. Но Чеботаря уже предупредил Саккара.

— Осмелюсь заметить, домнуле, — негромко заговорил он от двери, — Авдий Георгиевич ни одного слова не сказал о поражении Советского Союза. Ни одного! Думается, что никто из присутствующих не решился бы предсказать, чем кончится новая мировая война: это было бы, действительно, нелойяльно. Но нельзя отрицать и того, что на Германию сейчас работает вся Европа, да, да... — он обеспокоенно оглядел всех.

— Может быть, мы продолжим разговор о педагогических методах? — быстро спросила Мария Михайловна. — Авдий Георгиевич, пожалуйста.

— Вы знаете, а мне нравится, — неожиданно вступил в разговор Пётр Николаевич, и всё его большое лоснящееся лицо как бы призывало присутствующих разделить его радость, — да, да, мне нравится, когда в каждом учащемся я вижу личность. Личность, ого! Что мы знали о наших учащихся раньше — я не только про эту школу говорю, здесь я не имел чести работать, но что мы вообще знали раньше о наших учениках? Такой-то аккуратен, такой-то небрежен, такой-то способен, такой-то туп. Разве теперь мы не знаем о них значительно больше? Вчера я убедился, что Прозоровский, например, имеет большое чувство чести, хоть он и нерешителен и слишком скромнен, что он может быть со временем порядочным гражданином, что Мунтян двоедушен, труслив. И так подробно, гораздо подробнее я могу сказать сейчас о каждом. О каждом!

Пётр Николаевич значительно поднял палец, потрянул шевелюрой. Мария Михайловна издали улыбнулась ему, снова подняла глаза к Морю. Морей, заметив её взгляд, неловко опустил рядом с ней на диван.

— Заметки в газету! — продолжал ободрённый Пётр Николаевич. — Что в них страшного? Помните, они написали про меня заметку — ту самую, которую Вера Михайловна тогда так и не пропустила. Мне эта заметка понравилась, очень! Знаете, мне пришлось тогда о многом подумать...

— Ну, если вы позволите ученикам учить себя... — раздражённо пе-

ребил Чеботарь. Каждое слово Петра Николаевича казалось ему неуместным, глупым — Чеботарь считал Петра Николаевича человеком пустым и ничтожным и не находил нужным это скрывать.

Пётр Николаевич вдруг рассердился:

— Не они меня учат, я сам учусь...

— Что вы хотите, — пожал плечами Чеботарь, — они потребовали от вас того, к чему привыкли. Они сами ждут от преподавателя требовательности, строгости, а не этого дешёвого панибратства, занесённого к нам...

— О ком вы говорите, Авдий Георгиевич? — удивилась Мария Михайловна. — Панибратство? Но вы же неправы, неправы! Вы говорите о советских учителях? Они доступны, да, но они очень требовательны, очень — если даже хотите знать, суровы. Возможно, я неправильно понимаю советскую педагогическую систему, — взволнованно продолжала она, оглядываясь на молчаливого, насупленного Морей, — но мне она мыслится основанной прежде всего на уважении к достоинству ребёнка...

— Эта система развивает эгоизм, самолюбие, грошовый апломб! — вскипел Чеботарь. — Какое там достоинство! Разрушая нравственность, что они предлагают взамен этому вашему ребёнку — циническую философию желудка, оскорбляющую каждого порядочного человека?..

— Вы знакомы с этой философией? — быстро спросил Морей, не глядя на Чеботаря.

Чеботарь кинул на него яростный взгляд, сдержался.

— У нас не клеится разговор, домнуле, — сказал он холодно. — Мы точно говорим на разных языках, меня это удивляет...

— А вы думали найти общий язык, домну?

Стучевский почувствовал вызов в голосе Морей, заволновался:

— По-моему, ты слишком уж резок, Виталий Львович! Все мы люди одного воспитания, одной культуры...

Морей сделал отстраняющий жест:

— Место человека в обществе, Евгений Николаевич, определяется не культурой. Спроси у Авдия Георгиевича, он тебе расскажет основные положения той философии, которая, по его мнению, оскорбляет порядочных людей. По его мнению!..

— Вы опять начинаете, чудовище, — жалобно взмолилась Юлия Михайловна.

Чеботарь пожал плечами:

— Виталий Львович всё шутит...

— Шутит? — возмутился Морей. — Какие же тут шутки? Вы вот о войне говорили, Авдий Георгиевич. Что ж, я готов этот разговор продолжить. Вас испугало одно — что мы будем, волей или неволей, воспитывать будущих солдат Красной Армии, а не подданных его величества румынского короля...

— Виталий Львович!

— Оставьте, Юлия Михайловна! — лицо Морей вспыхнуло. — Ну, откажите мне от дома, если вас так волнует, когда я открываю рот... — Виталий Львович из-под клочковатых бровей смотрел на Юлию Михайловну яростно, нетерпеливо. Мария Михайловна тихо воскликнула:

— Оставь его, Юля!

— Осмелюсь заметить... — зашевелился в своём углу Саккара.

Виталий Львович поднялся, заходил по комнате. Казалось, что в неистовство его приводит прежде всего тесно поставленная в гостиной мебель.

— Вы говорите, Авдий Георгиевич, война! Война уже идёт, и вы это прекрасно знаете. Именно вы это прекрасно знаете. Позвольте, позволъ-

те, — протянул он дрожащую руку к Чеботарю, — позвольте, я вам говорить не мешал. Я ещё раз повторяю: именно вы это знаете, недаром вас так беспокоило, что мальчики ваши мало-помалу становятся советскими людьми. Война идёт, повторяю я, и то, что вы сейчас говорили тут, — это была тоже военная операция: рекогносцировка, разведка. Вы довольны её результатами, домну Чеботарь? Вы спросили, надолго ли этот порядок, и интересовались, если я не ошибаюсь, нашим мнением на этот счёт. Я вам отвечаю, домну: навсегда! Не будем искать общий язык, домну Чеботарь! Не будем искать до тех пор, пока вы не скажете вместе с нами: «Этот порядок, существующий порядок, мой, я принимаю его». Вы знаете середину, Авдий Георгиевич? Я середины не знаю...

Мария Михайловна удивлённо воскликнула:

— Вот и Сергей Викторович говорил нам вчера: середины нет! Виталий Львович, если б вы слышали...

Морей опустил рядом с ней на диван, полез в карман за платком. Из кармана посыпался табак, Виталий Львович сконфузился, начал стряхивать его со своих колен, с платья Марии Михайловны. Лицо его стало растерянным, добрым.

Чеботарь величественно поднялся, ни на кого не глядя, склонил голову в полупоклоне:

— Благодарю за гостеприимство, Юлия Михайловна! У вас стало собираться слишком уж пёстрое общество...

Стучевский поспешил за Чеботарём в переднюю — в чём-то оправдывался там, извинялся. Морей вдруг засмеялся, и все оглянулись на него удивлённо.

— Бедный Евгений Николаевич! — искренно сказал он. — Я его ругаю, Чеботарь ругает — и оба за одно и то же. Трудновато становится одновременно на двух стульях сидеть...

Юлия Михайловна негодуяще поднялась.

— Витик, Витик! — закричала она в соседнюю комнату. — Витик, пойдй поиграй нам что-нибудь, детка...

18. Борьба продолжается

Седову необходимо было ехать в Кишинёв. Уезжал он неохотно, медлил, накануне отъезда пожаловался: «Понимаете, хотел в эту неделю помещенье в порядок привести, всё убрать, почистить»... Клава обидчиво откликнулась: «А без вас мы, как без рук, конечно»... Седов улыбнулся, помолчал: «Что ж, девушки, организуйте без меня субботник, покажите нашим ребятам, как советские люди работают»... Заболотному, провожавшему его на станцию Падурике-Маре, на прощанье говорил:

— Оправдайте, Никита Фёдорович, моё доверие. Смотрите, чтоб всё тут шло, как по маслу...

Своим заместителем на эту неделю он оставлял Заболотного.

Заболотный был прежде всего самолюбивым человеком: он и сам искренно желал, чтоб всё у него шло как по маслу.

Ему недостаточно было руководить, он должен был удивлять своей распорядительностью, административным талантом. На следующий же день после отъезда Сергея Викторовича он вышел на крыльцо конторы с ведёрком красной масляной краски и обратился к толпе ребят, собравшихся перед столовой в ожидании ужина:

— А ну, кто ту мачту выкрасит — тридцатку в зубы!

Посредине двора стояла высокая мачта, окрашенная в цвета румынского знамени — красный, жёлтый и голубой. Ребята, придерживая палари, с сомнением поглядели на её верхушку. Полез было Сашко —

сорвался. С отчаянным выкриком, кошкой вцепился в неё Ваня Ведеш, поднялся метров на семь, сполз назад, обдирая колени.

— Да я ж пошутил, поверили, — отмахивался он от смеющихся ребят.

Откуда-то прибежал озабоченный Рошка. Уже раздеваясь, для верности спросил:

— Тридцатка?

Его успокоили:

— Тридцатка. А ну, Рошка, кажи класс.

В одних трусах, смуглый, красивый, Рошка протискался сквозь толпу. Привязав к поясу ведёрко с краской, полез на мачту.

Сильными, ритмичными движениями он уверенно покрывал метр за метром. Когда долез до середины мачты, ребята начали волноваться:

— Ну, чёрт этот Рошка. И впрямь долезет: отчаянный!

Сначала Рошка кричал вниз что-то смешное, весёлое, но ребята не смеялись. Они смотрели на него молчаливо и тревожно. Затем Рошка перестал кричать, движения его стали тяжелее, лица уже не было видно. Он уже не играл, он боролся за свою жизнь; сильная его фигура на фоне прозрачного, яркого неба упорно, напряжённо рвалась к намеченной цели. Когда он дотронулся рукой до заточенной, едва видимой с земли верхушки, из всех грудей вырвался ликующий крик.

Из помещения интерната вышла Клава — и замерла, не сводя с Рошки встревоженного взгляда.

А Рошка уже спускался, быстро работая кистью. Лицо его было неузнаваемо, бледно, покрыто крупными каплями пота.

Когда ноги Рошки коснулись земли, ребята дали исход обуревавшим их чувствам. Что-то кричали ему, хлопали по спине, возбуждённо хохотали. Рошка весь был в краске, она полосами стекала по его смуглому телу. Он улыбался, это была жалкая улыбка измученного человека.

Заболотный торжествуяще обратился к Клаве:

— Видали? К приезду Сергея Викторовича! Тридцатку отвалил, зато какая работа...

— А разбился бы парень? За вашу тридцатку?

— Ну, разбился... В первый раз её тоже не боги красили...

Клава, придя домой, заговорила прямо с порога:

— Вера, давай думать, как организовать воскресник...

Я удивилась:

— Что ж тут думать? На воскресниках, что ли, мы не работали никогда?

Клава огорчилась:

— Не понимаешь ты меня. Вот была бы ты сейчас там, поняла бы сразу...

Она рассказала об административных подвигах Заболотного.

— ...Главное — за деньги, за тридцатку! — не могла успокоиться Клава. — Знаешь, Вера, этот воскресник должен стать решающим днём в жизни наших ребят... Вот наша задача!

— Чтоб поняли радость нашего, советского труда?

— Чтоб поняли радость советского, коллективного труда!

Начали подготовку к воскреснику. Вызвали санитарную комиссию: Костю Прозоровского, Аникуцу Кошер. Санитарная комиссия поддержала нас.

Аникуца сказала:

— Знаете, я давно думаю: всё надо помыть, почистить, такая грязь кругом. И нельзя ли нам с Костиком дезинфекцию сделать?

В первые дни, когда в санитарную комиссию были избраны Костик

Прозоровский и Анюта Кошер, ребята посмеивались: «Вот какой оказался Костик! Тихий-тихий, а лучшую девушку себе выбрал». Костя отмалчивался и краснел, Анюта ему и в самом деле нравилась. Да и не ему одному нравилась эта серьёзная девушка, её открытое смуглое личико. Скромная Анюта, с небрежно сколотыми гребёнкой темнорусыми волосами, с несложившейся фигуркой подростка, как ни странно это казалось на первый взгляд, умела внушать самую пылкую и почтительную влюблённость. Её безыскусственность влекла сильнее самого изысканного кокетства.

Другие девочки наряжаются в модные светлые платья, делают необыкновенные причёски, покрывают их тонкими сетками, перетягивают бантами, а Аникуца пройдёт к своему дормитору в неизменной толстой юбке и вязаной кофточке, гремя грубыми башмаками по каменным плитам, — и, не желая того, не думая о том, мигом притянет к себе взгляды ребят. При других девочках говорят гадости, других девочек подстерегают в коридорах, обнимают со смехом, а Аникуца строго, отстраняюще посмотрит — и перед её прямым, осуждающим взглядом опускает руки даже нахальный, избалованный Рощка.

— Чем ты нас лучше, Аникуца? — удивлялись девочки.

— Девочки, а я знаю? — искренно отвечала Анюта.

К порученной им работе и Костик Прозоровский и Анюта отнеслись с присущей обоим серьёзностью: следили за работой прачечной, организовали банные дни, помогали фельдшеру в уходе за больными. Мысль о воскреснике обоим понравилась, они сомневались только в одном:

— Да разве наши ребята будут работать? Никогда. Это, может, ваши, советские...

Мы весело успокаивали их; в этот же день говорили по классам:

— Приходите только желающие — мы никого не заставляем. Приходите те, кому честь школы дорога. Приходите! Вычистим техникум, как игрушечку...

Ребята скептически посмеивались:

— Велика честь, коли нечего есть!

— Много поработаешь с этой нашей фасоли. Кабы мясо!

— Или мы лошади — мусор на себе вывозить?

Но в назначенный день почти никто не ушёл домой — остались на воскресник. После сытного завтрака — Заболотный ради этого случая приказал резать барана — спокойно, неторопливо столпились у главного входа, ожидая дальнейших распоряжений. Никита Фёдорович вышел на крыльцо благодушный, довольный — идея воскресника понравилась ему как нельзя больше. Он прочитал составленный заранее, совместно с нами и санитарной комиссией, приказ. Во главе со своими руководителями классы расходились на отведённые им участки. Во главе второго зоотехнического со значительным, строгим видом прошёл Пётр Николаевич; торопливо, любезно кивая по сторонам, прошла в изящном розовом передничке Мария Михайловна. Прямо с места ребята первого зоотехнического «А» завели полюбившуюся песню:

Легко на сердце от песни весёлой,
Она скучать не даёт никогда...

Сняющих, лихо печатающих шаг, их вела на расчистку парка, махая рукой в такт песни, смеющаяся бодрая Клава.

— Почему по классам работать, почему? — внезапно заволновался в строю Сашко. — Я, может, тоже хочу этот парк расчищать...

Ваня Ведеш понимающе покосился на него.

— Позавидовал, мэй, Илья? Подожди, мы сейчас свою песню споём, не хуже этой.

И, двинувшись за насупленным, глядящим в землю Чеботарём, второй ветеринарный затянул песню, которая у него лучше всего получалась:

Дестул де тоате ч'ам трoим,
Дестул, кэ тымпул трэче...¹

— Лáсе, лáсе, — торопливо зашипел перепуганный Сашко, — мэй, боець, лáсе. А...

Он зажал уши руками. Сзади уже звенел чей-то насмешливый, ликующий голос, покрываемый дружным хохотом:

— Панихиду себе запели, мэй! Ну, работнички...

Семён Котогой, уже выздоравливающий, но всё ещё слабый, стоял, запахнувшись в тёплый кожух, у открытого окна дормитора и завистливо смотрел вниз, на залитую солнцем площадку. Он чувствовал себя глубоко несчастным. Солнечный день, спорая работа товарищей, весёлый голос Веры Михайловны, перекликавшейся внизу с учениками, — всё усиливало в нём тоскливое чувство одиночества.

За спиной Котогоя, в другом конце дормитора, Гриша Гончарюк яростно стучал молотком, починяя дверь.

Анюта Кошер кончала мыть дормитор, из стороны в сторону двигая тряпкой. Поровнявшись с Гришей, она вдруг спросила чуть дрогнувшим голосом, остановив движение обнажённых до локтя рук:

— Что ты не придёшь до меня никогда, мэй, Григорий?

— А что я до тебя пойду? — помедлив, ответил Гриша. — Что я — не вижу? Вокруг тебя и без нас народу порядочно.

— У меня семья большая, да, — просто, серьёзно ответила Анюта и опять энергично заработала тряпкой.

Гриша сосредоточенно, ещё более яростно застучал молотком. Анюта вдруг быстро выпрямилась:

— Мэй, Григорий, — обеспокоенно заговорила она, отбрасывая волосы со лба тыльной стороной ладони, — Григорий, слушай! Ты, сохрани бог, не подумай, что я тебя тоже в кавалеры зову. У меня не об этом думка...

— А я и не подумал, — в тон ей серьёзно и просто ответил Гриша. Встретил открытый взгляд Анюты, тихо сжал выше кисти её мокрую хуленькую руку.

— Эге, Симеоне, — вдруг весело, громко заговорил он, — и что ты смотришь на тот двор? Смотри лучше, как мы с Аникуцей убрались — чистота какая, смотри!

И прижавшись головой к косяку, засмеялся счастливым смехом.

...Этот мягкий, запоздалый зной осени, чуть звенящий в ушах, яркость ещё не отцветшей зелени, эти последние дни октября, такие спокойные, такие прозрачные...

А в это время по дороге к техникуму спешили Мунтян и Скутарь.

— Я не понимаю, — раздражённо говорил Скутарь, косясь на беспечное и ленивое лицо приятеля, — я не понимаю, что ты сомневаешься?

— А я не сомневаюсь, — нехотя отвечал Мунтян, — я же тебе ничего не говорю...

— Не говоришь, а я вижу... Должен ты хоть немного вперёд рассчитывать, мэй, Алёша? Или как та свинья только и видеть, что у себя

¹ Достаточно всего, что я пережил, достаточно, потому что время идёт...

под ногами? Ты вспомни, что домн Чеботарь говорил: «не сегодня-завтра война, русские у нас не засидятся». Ну, должен же ты, чудака, свою выгоду понимать!

— А я понимаю, отцепись ты... — спокойно ответил Мунтян. Но Скутарь убеждённо продолжал, не слушая, загибая пальцы:

— ...Или — раз! Мы сейчас с тобой люди лойяльные, дружественные по отношению к советской власти, и когда начнётся война, нас румыны и немцы, — потому что здесь всё равно немцы будут, — гонят под пушки, под снаряды во вшивую роту. Или — два! Мы сейчас немного рискуем, — господи, да какой тут риск, нам ведь советские доверяют! — а зато потом — положение, почёт, партийная карьера! Чудака, мы же свои люди будем, заслуженные... Алёша! — Он слегка потряс Мунтяна за плечо. — Э, нет в тебе этого, знаешь... ну, азарта, что ли. Ты ленивый, ну, ленивый, как тот боров. Эх, Алексей...

Немного помолчав, засмеялся неожиданным, тихим смехом.

— Ты, Алёша, смотри — будем мы с тобой большими помещиками, господарями... Эти же наши ребята — они нам в ножки кланяться будут — хоть бы и тот Гончарюк, вот не люблю кого! Будем с хорошими людьми дружбу вести, друг к другу в гости ездить, какие у нас лошади будут! Подкатишь на своих до меня в Фалешты: «а ну, где тут домн Скутарь», а перед тобой всё село, мэй, за версту шапки снимает! Как мы с тобой приоденемся, эх, Алёшка, — он покосился на вылезавшие из слишком коротких рукавов волосатые руки Мунтяна. — Из таких вот пиджачков, как у тебя, в какие шикарные костюмчики перелезем! Какая у нас жизнь с тобой будет, какие женщины... Красавицы, ребятам нашим такие и не приснятся.

Воодушевлённый собственной речью, он сейчас был совсем прост, и эта простота Скутаря при обычном его высокомерии и неприступности действовала притягательно. Скутарь умел нравиться, когда хотел. Мунтян, глядя себе под ноги, невольно заулыбался...

— Ладно, брось об этом, — сказал он наконец. — Там видно будет, я ж не отказываюсь... Я, знаешь, о чём сейчас думаю — о той вон девчонке Бахчевановой. Такую бы нам в Левкауцы, я погулял бы...

Ходили они в Лукаши до Бахчевана, носили какие-то бумаги от Чеботаря. Как и наказывал Чеботарь, в селе не задерживались. Скутарь даже к родным не зашёл. Уже выходя из села, увидели прижавшуюся к плетню девушку у самой дороги. Она стояла, пугливо, выжидательно глядела на них тёмными глазами из-под белого, надвинутого на брови платка.

— Ну и фетица фрумоасе¹, — обрадовался Мунтян, свернул на идущую вдоль плетня тропинку. Девушка ждала, не шелохнулась.

— А я вот он, — весело сказал Мунтян и потянулся обнять её. — Ты не меня ждёшь, красивенькая?

— Отец увидит, не надо, — медленно отстранилась девушка, кивнула на только что оставленный ими дом. — Вы не из левкауцкой школы, мальчики?

— Оттуда, — согласился Мунтян, как будто невзначай пожимая опущенной рукой спокойные пальцы девушки.

— Илью Сашко не знаете? Знаете, да? Мальчики, что я вас прошу, скажите, пусть придёт до меня на час. Скажите — Марица зовёт. Марица Бахчеван, запомните? Скажите, она уже не первый раз зовёт, ему, может, не передавали...

¹ Фетица фрумоасе — красивая девушка.

— Э, он не придёт, тот Сашко,— беспечно отмахнулся Мунтян и обратился к Скутарю: — Ведь не придёт, мэй, Коля? Лучше нас приласкай, вот мы какие ребята красивые...

Марица испуганно поглядела на того, на другого, вырвала у Мунтяна руку:

— Почему не придёт? — упавшим голосом спросила она.

Мунтян, не слушая, тихо тянул платок с её головы; платок сполз на плечи, тяжёлые тёмные косы упали на грудь. Вот это красавица, школьным пигалицам не чета, с такой и на люди не стыдно показаться!

— Что? Не придёт? Почему? Николай, как ты думаешь, почему? — Внезапно вспомнил устремлённый как-то Ильёй на Клавдию Алексеевну хмурый, несчастный взгляд, взгляд, на который тогда Мунтян не обратил внимания, а теперь пожелал истолковать по-своему. — Да как же он придёт, господи, он у нас в учительку советскую влюбился. От любви совсем как тот дурак стал...

— Грех врать, мальчики, — чуть побледнев, схватилась за плетень Марица.

— Кто врёт, что ты! — отвечал Мунтян, всё настойчивей приближая к Марице своё беззаботно улыбающееся лицо. — Ну, Марица...

Марица взглянула на него, вскрикнула, спрятала в ладони лицо. Вырвалась, побежала к дому.

— Э, спугнул! — равнодушно сказал, отходя, Скутарь. — Надо было тебе про того Сашко выдумывать...

Ребята, оживлённо работавшие в парке и у главного входа, не обратили никакого внимания на приход Скутаря и Мунтяна. Для них сейчас не существовало ничего, кроме радости дружного коллективного труда, испытанной ими впервые. Со своими барственными замашками, с высокомерно поднятым подбородком, Скутарь для них был сейчас чужд и непонятен, будто житель другой планеты. Мелькали смеющиеся, оживлённые лица, взлетали лопаты в обнажённых руках.

Кто-то пробегал мимо с носилками, с ведрами, бесцеремонно толкался. Со двора неслась песня:

Когда я пришёл в казармы,
 Был большой я трус.
 Та-ра, та-ра-та-ра-ра; тара-та-ра!
 Листик падает на землю —
 А уж я боюсь!..
 Та-ра, та-ра-та-ра-ра; тара-та-ра!

По голосам, по песне можно было узнать второй ветеринарный. Скутарь повернул туда.

Ребята сдирали дёрн, утапывали площадку для волейбола. Тимофей Тетеля, не поднимая головы, гневно остановил Скутаря:

— Стой, куда в сапогах? Ходят, начальники... Только командовать знают.

— Где домн Чеботарь? — спокойно спросил Скутарь.

Чеботарь отдыхал в директорском кабинете, грузно откинувшись в кресле. Медленно, осторожно подбирая слова, он не спускал с Заболотного тяжёлого изучающего взгляда.

— Да, я уверяю вас, Никита Фёдорович, удивительно способный, вдумчивый юноша. Незаурядный лингвист, между прочим. Я за него лично могу поручиться, вам поручительство нужно?

— Способный, говоришь? — по привычке «тыкая», переспрашивал Заболотный. Он, пожалуй, не имел права решать подобных дел без Седова. Он размышлял.

Замкнутый, неприступный Чеботарь принадлежал к тому очень немногочисленному кругу людей, у которых Никита Фёдорович не мог выискать никакой явной или тайной слабости, а таким людям Никита Фёдорович не доверял и немного перед ними терялся.

— Я лично могу за него поручиться, — уверенно повторил Чеботарь и склонил тяжёлую голову. — Да, да, очень способный. И потом — кто его исключил? Мальчики. А мы с вами, Никита Фёдорович, взрослые люди, воспитатели. У нас с вами свои дела, и мальчики в них вмешиваться не могут. Ответственность лежит прежде всего на нас, и за каждого человека — за каждого! Вы сомневаетесь, Никита Фёдорович? Неужели вы боитесь взять на себя ответственность без Седова? Я думал, вы более полномочны...

Никита Фёдорович дрогнул, поднял на Чеботаря пустые глаза, с досадой махнул рукой:

— Будет, уговорил. Скажи ему, пускай приходит...

Чеботарь, морщась, грузно поднялся, медленно склонил в приветствии голову, вышел на крыльцо.

Увидев ожидающего Скутаря, позвал его в кабинет. Принимая из рук Скутаря заклеенный в газету пакет, сказал:

— А теперь дойдите, мой друг, до Цуркана, передайте, что он снова принят в школу. По моему личному поручительству, подчеркните. И пусть он завтра после ужина явится ко мне с этим своим Вангели.

19. Мальчики

Осенью, перед разлукой, любовно ласкает солнце прекрасную бесарабскую землю. И от этой ласки, точно девичья щека, застенчиво румянятся матовый виноградный лист, глубже дышит золотистая, тёплая грудь холмов, и в ржаво-медных кудрях, в дубовых ветвях вздрагивают лёгкие паутинки.

Тих и задумчив родной лес в своей неяркой, трогательной красоте. Старые коренастые дубы медленно роняют листья на пожелтевшие поляны. В пронизанной солнцем траве хлопотливо вскинет задком заяц, прошуршит сухая, опавшая ветка, порскнёт потревоженная птица, у самой дороги коротко прострекочет кузнечик — и лес, будто вздохнув, вновь замолкает. Природа недвижима, покорна... Нет сил противостоять грустному её очарованию, даже если тебе всего восемнадцать лет, даже если душа твоя полна собственной сложной, противоречивой жизни...

Костя Прозоровский сидит на самом краю леса, прижавшись к нагретому за день древесному стволу, сидит так, чтоб хорошо видеть и ведущую от леса к техникуму дорогу, и вьющуюся внизу, вдоль пруда, тропинку, и деревянный крест, наклонившийся над водой, любимое место ребячьих свиданий, — сидит тут уже давно и, сдвинув густые брови, напряжённо думает.

...Никогда снова перед человеком не встанут те важнейшие чистые и большие вопросы, разрешить которые призвана юность. И если юность иногда слишком сосредоточена на себе, может быть это понятно. Костя Прозоровский думает сейчас об этом: трудно жить молодому. Трудно, если человек предоставлен самому себе в своих одиноких поисках, если у него застенчивый, молчаливый характер, не умею-

щий себя проявить, если у него привязчивое в дружбе, полное любви сердце, не умеющее открыться.

Почему от него ушёл Ведеш? Они до последнего времени крепко дружили, вместе занимались, вместе мечтали, всем делились, не имели друг от друга секретов. А оказывается, за все эти годы Ведеш ни словом не обмолвился о самом главном — о том, чего стоит ему пребывание в «Шкоале де агрикултуре», ему, сыну конюха.

И сейчас Ведеш отходит всё дальше—не рвёт, нет, не ссорится, но попросту занят своими делами, попросту живёт своей жизнью, легко и равнодушно отбросив мысль о старом товарище. Почему? Не потому ли, что отец Кости — первейший в округе кулак? Так ведь и не отец вовсе — отчим. Что же понял тогда Ведеш в Косте, если из-за одного этого так легко, так просто его оставил?

И вот — Костя один. Скутарь? Он никогда не был с ним близок; не нужно Косте его высокомерное покровительство. Что Скутарь! У Скутаря своя дорога, у него, у Кости, своя. Какая? Господи, какая?

Когда Костя был ещё подростком, он вычитал в старой хрестоматии легенду о Прометее. С растерзанной грудью Прометей смотрел на землю, и в его взгляде светилась любовь к людям. Люди славили имя Прометея. Косте хотелось быть Прометеем. Пусть не славят, пусть даже не подозревают о существовании Кости, но пусть не останется ни одного несчастного на земле после безвестной Костиной смерти...

Всё это было совсем недавно. Можно было смотреть на домну директора, произносящего в торжественные дни высокопарные речи о «верности королю, о преданности Румынии маре» — и, не слушая, думать своё: о гордом, прикованном к скале герое. Можно было зубрить окончание латинских глаголов или держать равнение на парадах «Страже Церулуй», или слушать дома мелочные расчёты отчима с односельчанами — и упорно мечтать о своём: о жертве во имя людей, о каком-то героическом самозабвенном порыве, которого в жизни, может быть, никогда не будет. Можно было жить и мечтать — и между мечтой и жизнью не было ничего общего, мечта не требовала ни немелких решений, ни соответствующих поступков.

Пришли советские — и всё стало иначе. То, что услышал Костя на первом же занятии комсомольского кружка, потрясло его. Облик Николая Островского вытеснил из его души надуманный образ Прометея — и Костя даже вздохом сожаления не успел проводить свою былую мечту. Всё стало иначе вокруг и в нём самом. Места не осталось отвлечённой мечте, мечта стала действительностью, явью, за неё требовалось бороться, её нужно было осуществлять. И робкая, добрая душа Кости, которая так, может быть, и продремала бы в течение всей его жизни, затрепетала, воспрянула. Никто не знал, о чём одиноко думал этот молчаливый, застенчивый юноша, а душа его «набирала высоту» в это время...

При всех его способностях русский язык усваивался медленно, с трудом — или так только казалось нетерпеливому Косте! Ему жаль было пропустить хоть одно слово советских людей. Ребята кое-что переводят, а больше не переводят. Ваня всё бежит, всё торопится куда-то — и каждый день относит его всё дальше и дальше. А как хорошо было бы, попроси у советских книги, читать их вместе, и вместе думать над каждым словом. Как хорошо они могли бы дружить сейчас! Насколько выше, насколько содержательней была бы теперь их дружба! Костя сидит на краю леса, глубоко задумавшись, и терпеливо, настойчиво ждёт Ведеша, чтоб, наконец, объясниться с ним откровенно.

Ведеш между тем и не подозревал, что доставляет другу столько страданий. В противоположность тихому, мечтательному Косте, он был постоянно оживлён, деятелен, активен. Сейчас, когда жизнь забила ключом, когда каждый день влёт за собой столько дел и столько событий, Ведеш отдавался всем своим существом каждому новому дню, ликующе, увлечённо брался за каждое новое дело; ему некогда было задумываться о ком бы то ни было, он ещё никогда не жил так радостно и так полно. Он очень удивился бы, если бы узнал, чем Костя жил в последнее время — Ведеш этого не знал. Он очень давно уже ничего не знал о Прозоровском. Может быть, смутно чувствовал себя виноватым? Может быть, предчувствовал объяснение, а Ведеш терпеть не мог объяснений и инстинктивно их избегал.

Как бы то ни было, Ведеш не думал о Прозоровском. Сейчас он лежал на лесной поляне, под дубом, опершись на локоть, и по лицу его, от подбородка до надвинутой на брови шапки, скользила лёгкая кружевная тень. Ведеш был взволнован. Не прошло и получаса, как они разговорились с Сашко, с которым никогда настоящего не дружили, и вдруг оказалось, что они с полуслова, с полувзгляда понимают друг друга. Они говорили о том, что в последнее время поглощало их целиком, было для них наиболее важным — обо всём том, что происходило и дома, в селе, и в стенах левкауцкого техникума, и в собственных их душах. Открываясь друг другу, они неожиданно для себя, впервые за столько времени вспомнили Чебана — разве не он их толкнул когда-то друг к другу?

Чебан был экономом «Шкоале де агрикултуре». Работал он очень недолго, месяца два, не больше, но память о нём сохранилась долгая. Рабочие его уважали, ребята ему удивлялись. Он не ругался, не пускал в ход кулаков — этого уже было достаточно, чтоб произвести сильное впечатление на левкауцких учеников. Но это было не всё. Он не заискивал в директоре, не сближался с учителями, сидел вечерами с рабочими, внимательно приглядывался к ученикам. Запомнился его взгляд — твёрдый и будто оценивающий каждого, на кого он устремлялся. Заметили, что охотней и чаще всего говорит он с Гришей Гончарюком, но у Гончарюка нельзя было попытаться, да никто и не пытался особенно, в чём состоят эти разговоры. Немного позже Чебан стал отличать Сашко — бог знает, что нашёл дома Чебан в неуживчивом, беспокойном Сашко, вечно несогласном с начальством.

Однажды вечером Сашко отозвал Ведеша и тихо сказал:

— Дома Чебан просил зайти к нему после отбоя. Только чтоб никто не видел...

Чтоб никто не видел! У Ведеша от удовольствия заблестели глаза.

— А зачем, мэй, Илья? Он сказал что-нибудь?

— Тише, ради бога! Услышат...

В непроглядной темноте, с трудом вытягивая из грязи потяжелевшие боканчи, добрались юноши в тот вечер до домика Чебана. Под рукою Сашко скрипнула калитка. Мгновенный свет электрического фонарика ударил в лицо отшатнувшихся ребят. Чебан — это был он — успокоенно молвил:

— Добре, мальчики. Идёмте за мной.

Ведеш ждал, что он поведёт их в дом, но Чебан шёл в глубину небольшого двора, указывая фонариком дорогу. Из дверей хлева пахнуло запахом тёплого навоза, парного молока.

— Сюда, ребята.

Дно кормушки отодвинулось, будто ящик, под ним смутно блеснул репродуктор.

— Об этом не болтают, вы знаете? — нагибаясь к приёмнику, спросил Чебан.

Сашко обидчиво ответил:

— Маленькие мы?..

В репродукторе заглушённо бормотала разноголосица звуков. Ребята, присев на корточки, прильнули к репродуктору, затаили дыхание. За плечами тепло дышала, перебирая жвачку, корова.

В репродукторе что-то зашумело, точно десяток пропеллеров.

— Аплодисменты, — догадался Сашко.

Аплодисменты резко оборвались. Женский голос проговорил:

— Товарищи радиослушатели! Только что окончилось второе отделение концерта, который мы транслировали из Колонного зала Дома Союзов. Через одну—две минуты проверка времени и бой часов Кремлёвской башни.

Чебан неслышно отошёл к дверям, озабоченно вслушался в темноту.

— Ты что-нибудь понял, мэй, Ванюша? — заволновался Сашко.

Снова прильнули к репродуктору. Слышались автомобильные гудки, приглушённый шум большого города.

— Вот мы и в Москве, — сказал Чебан. — Поверите, каждый раз волнуясь...

Забили далёкие-далёкие часы на московской площади. И не замолк ещё их бой — раздалась величаявая, смутно знакомая мелодия.

— Интернационал! — взволнованно стиснул Сашко руку Ведешу.

— Вот так и приходите, только чтоб не знал никто, — сказал Чебан, когда кончилась передача «последних известий». — Живёте, как те овцы, смотреть обидно...

А на другой день быстрым маршевым шагом вошёл на школьный двор взвод полицейских солдат. Рассерженный директор долго доказывал что-то офицеру, убеждал в чём-то, видимо дурной боялся славы. Раздражённо пожав плечами, указал, наконец, дорогу к домику эконома.

Чебана дома не оказалось. Спустили собак. Собаки покружили по двору, кинулись в камыши, на болото... Через полчаса солдаты взвалили на телегу, вывезли из школьных ворот полуживого, истерзанного собачьими клыками Чебана.

Бледный Ведеш вызвал вечером из дормитора Сашко.

— Что мне покоя не даёт, Илие, — дрожащим шёпотом заговорил оч. — Ведь Чебан, наверное, на нас думает..

Илья отвернул сумрачное лицо.

— Не думает он на нас, — сказал он наконец. — Тут дело старое. Что ты, не видишь, какой он человек?

С того времени Чебан исчез бесследно. Говорили, что был замучен до смерти в кишинёвской сигуранце.

Как он понятен им теперь, этот суровый, сердечный человек.

— ...Действительно, жили как овцы! — вспоминает Сашко. — Каких-то брехунов слушали, развесив уши. Вспомни, как нам когда-то Стучевский евангелие читал в дормиторе: если есть у тебя рубаха — отдай её, и прочее. А почему, ты мне скажи, если он искренне желал нам добра, почему он лгал про Советский Союз, как и все другие? Почему?

— Илья, скажи мне, а ты уже убеждённый? Всерьёз убеждённый? — тихо спрашивает Ведеш, глядя в лицо Сашко.

— Да, убеждённый, — твёрдо отвечает Сашко. — Знаешь, Ванюша, мне в последнее время казалось, что у меня голова не выдержит — лопнет, столько я думал! Когда советские люди говорят, мне даже обидно делается: ничего я не знаю, точно вчера родился! Мне б хотелось

учиться, учиться, всю жизнь учиться. Ведь можно это, как ты думаешь, учиться всю жизнь?

Ведеш ответил неуверенно:

— Если будут советские — наверное можно. А если не будут...

— А почему не будут? — поднял голову Сашко.

— Я знаю? — помялся Ведеш. — Слух идёт, что скоро немцы придут...

— Да почему придут, почему? — вспыхнул Сашко, наседавая на Ведеша ненавидяще и страстно. — Повторяешь это за всякими дураками! Объясни, почему придут? Ну, войны они захотят — это я допускаю. Сергей Викторович так и говорил, что войны они непременно захотят. Ну, подобрали они под себя всю Европу — с этим я тоже не спорю. Но почему ты думаешь, что они могут разбить Россию? Советскую Россию? Ты подожди, слушай, — тронул он плечо Ведеша. — Разве их можно разбить — ты же смотри, какие они все патриоты! Ну, представь себе товарища Колесниченко или нашего Седова. Разве они сдадутся без боя? А мы — тебе не приходило это никогда в голову? — разве мы не пойдём драться за Советский Союз, если придётся?

И Илья, сам поражённый этой внезапно пришедшей ему в голову мыслью, вдруг замолчал, глядя в лицо товарищу. Ведеш даже привстал. Возможная война, о которой так много и бестолково говорилось в dormitorioх, впервые представилась ему в этом свете. Всегда думалось: отойдём мы к Германии или к Румынии? Или всё-таки останемся с Россией? Будут защищать нас русские или не будут? То, что драться придётся им самим — и драться в рядах Советской Армии, — это даже в голову не приходило...

— Так нас же не возьмут... — медленно, недоверчиво протянул Ведеш.

А Сашко, не слушая, восторженно продолжал, поднимаясь на колени:

— Граждане Советского Союза! Мы — граждане Советского Союза!.. Ваня, когда мне паспорт дадут, я, наверное, всех ребят перецелую, не знаю!..

— А если комсомольский билет? — оживившись, перебил его Ведеш.

И вдруг они оба расхохотались. Они катались по траве, тузили друг друга.

Сашко, наконец, успокоился, сказал серьёзно, торжественно:

— Знаешь, Ваня, пошли сейчас до учительок советских. Я не могу, душа горит. Так и так, скажем, может можно у нас уже комсомол открывать?

Костя Прозоровский сидел на том же месте, и тень от дерева, под которым он сидел, тянулась до самого пруда.

— О, Ваня! — сказал он и улыбнулся слабой, застенчивой улыбкой. — А я тебя жду.

Ведеш остановился.

— Давай поговорим с тобой, — нерешительно предложил Костя. — У нас так плохо получается с тобой в последнее время. Ты сядь!

— Потом, Костя, — нетерпеливо сказал Ведеш, оглядываясь на удаляющегося Сашко. — Потом, ладно? Ну, после ужина, найдёшь меня тогда в dormitorioх... — И не дождав ответа, не взглянув даже в лицо Прозоровского, с весёлым гиком кинулся догонять Илью.

Костя долго смотрел им вслед, пока маленькая фигурка Вани не скрылась в школьных воротах, потом упал на землю и вдруг зарыдал, зарыдал мучительно, в голос, как никогда не плакал до этих пор. Слезы градом катились по его щекам, он останавливался на минуту, чтоб перевести дыхание, и со стоном вновь прижимался лицом к остывшей земле.

20. Растут свои советские...

После воскресника ребята ещё долго испытывали какое-то изумлённо-радостное чувство. Вот как, оказывается, у советских работают — дружно, споро и бескорыстно. Охотно помогая друг другу, не требуя наград. Советские учителя оказались прекрасными товарищами в простом физическом труде — это произвело сильное впечатление.

Приближались Октябрьские праздники. Подготовка к празднику ожидала самых пассивных, проявила скрытые способности и таланты.

Оказалось, что ни одной пьесы нельзя играть без долговязого, мрачного юмориста Скрипинка, оказалось, что в женских комических ролях бесподобен Андрей Флуераро со своим добродушным бабьим лицом, что никто не может так украсить помещение, как Тимофей Тетеля, так, казалось бы, унылый и прозаический.

Цуркан взялся оборудовать сцену. Он неузнаваем, деятелен, предельно скромно, но откуда у нас взялся Цуркан?

Седов, вернувшийся из Кишинёва, нагружённый двумя ящиками учебных пособий и огромным количеством обещаний из наркомата, сразу же заметил его. На вопрос директора Заболотный ответил настороженной улыбкой:

— А что? Хороший человек за него поручился.

— А об авторитете учкома вы подумали, вы... — едва сдерживаясь, спросил Седов.

Заболотный отвёл глаза:

— Какой учком, Сергей Викторович? Мы взрослые люди, воспитатели. Ещё нам мальчишек слушать...

Вызвали «мальчишек». Члены учкома мялись, переглядывались: они были отходчивы, им уже было жалко Цуркана.

— Он теперь лучше стал, Сергей Викторович, — сказал Ведеш. — Пригладились, как тая кошка...

— Именно что пригладился, — недовольно поморщился Седов. — Филантропией занимаетесь, а, ребята?

Гриша Гончарюк, сам педантически верный своему слову, возразил:

— Сергей Викторович, он нам слово дал, вы не знаете...

Так Цуркан остался в техникуме.

В эти дни особенно хлопотливо стучат молотки на заднем дворе — к 7 ноября новый жилой корпус должен быть закончен. Митя Гуцуляк возглавил бригаду строителей-первокурсников — в помощь рабочим. Редколлегия выпускает специальный, праздничный номер стенгазеты: там передовая о значении предстоящего праздника, немногословная и искренняя статья повара Бабинского, благодарящего советскую власть за освобождение от румынской оккупации, статья Петра Николаевича на ту же тему, написанная в изящном стиле — с «огненными восходами» и «пламенеющими сердцами». Чеботарь тоже принёс статью — вернее, не статью, перевод с русского на молдавский знаменитой басни Крылова «Две бочки»; редколлегия намёков не поняла — басня так басня! — поместила невинные литературные упражнения Чеботаря в отдел сатиры и юмора.

По классам проводятся предпраздничные беседы — «Что дала Советская власть бессарабскому народу». На втором ветеринарном беседа ведёт Семён Котогой. Он польщён оказанным ему доверием, светло, застенчиво улыбается. Он верен себе. Беседа его немногословна, скромна, но до предела насыщена цифрами и фактами.

— ...Румынское правительство заигрывало с бессарабскими крестьянами, говорило, что всех наделит землёй. Нас на свете ещё не было,

как объявили аграрную реформу восемнадцатого года. Кто с неё имел землю, с той реформы? В Бельцком уезде, к примеру, сахарозаводчик Эманский за хорошую взятку получил разом 200 гектаров. На место русских помещиков сажали «осадников» — тоже помещиков, только из румынских чиновников, офицеров, давали им громадные наделы земли. А что с той реформы имело крестьянство? Ничего. Правда, ничего, вы же знаете! Налоги—это да, это было. Налоги увеличились вдвое. Кулак вступал в договор с властями, специально кормил сборщика налогов, перцептора, тот забирал за налоги всю худобу, конфисковал хлеб... Что делали! В стужу снимали двери! Всё за налоги. Крестьянин, бедняга, покрутится туда-сюда — отдаёт свою землю кулаку. Так и распределлась бессарабская земля: у одних громадные наделы — вот как у Вайнеску, у Бахчевана нашего, у румынских «осадников»; у других ступить некуда, нет земли. Так и тянулось до сорокового года; вот как осуществлялась румынская реформа!.. В сороковом году вот, вы знаете, — Котогой застенчиво улыбается преподавателю, сидящему тут же, — пришла советская власть. Три месяца не прошло, как установилась советская власть, а что мы имеем? По одному нашему Липницкому району — только по одному району, мэй! — землю получило более 7 тысяч крестьянских хозяйств — самых бедных; распределено между крестьянами 815 голов скота, 7 000 пудов зерна...

В классе тишина. Скуталь насторожённо спрашивает:

— Откуда ты цифры брал, мэй, Симеоне?

Котогой с готовностью показывает «Социалистическую Молдавию». Кто-то из ребят шепчет:

— Здорово!

— Правда, здорово, — подтверждает и беседчик. — Я так, ребята, удивился, когда узнал... Так Октябрьская революция, — заканчивает Котогой, — освободила, в конце концов, и нас с вами...

Ребята аплодируют. Котогой весело оглядывает класс:

— Вопросы есть?

Ого, ещё бы! Вопросы у них есть всегда. Эти вопросы не всегда непосредственно относятся к делу, но отвечать на каждый — непреложный закон нашей левкаудской жизни. Котогой охотно уступает мне своё почётное место.

— Расскажите нам про Ленина, Вера Михайловна, — просит Ведеш.

— Какой он человек был? Расскажите, — вторит Сашко.

Я не прямо отвечаю на вопрос; сильные, скорбные строки воскресают в памяти:

Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозей.
Ещё бы —
такое
не увидишь и в века!

Когда я замолкаю, надолго устанавливается тишина. И если что-нибудь кажется неуместным сейчас, в том взволнованном и приподнятом состоянии, в котором все мы находимся, — это отчётливый звонок Шевчука, зазывающий по дормиториям. Из класса никто не выходит. Ребята только встали с мест, закинув друг другу руки на плечи, обступили меня.

— Или можем мы на вакации поехать в Москву? — переводит Вешеш застенчивый вопрос Костика Прозоровского.

— Разрешат нам поехать в Москву, как вы думаете?

Но вот, наконец, и 7 ноября!

Ребят невозможно узнать. Неизвестно откуда взялся у каждого галстук, воротничок. Появился на свет единственный, бережёный костюм, костюм, который всем семейством справляли когда-то подрастающему учёному сыну, костюм, который стоил когда-то немалых слёз матери, немалых забот отцу: шикарный, с приподнятыми плечами, с подобранной талией, с брюками в ширину ступни, как требовала тогда, при пошивке, последняя бухарестская мода. Те, которых судьба лишила подобного великолепия, наспех позашивали самые рискованные дырки, докрасна натёрли мочалками шею.

Перед вечером к нам приезжают гости — тяжело вылезает из коляски Колесниченко, следом за ним соскакивает секретарь райкома комсомола Ванюша Быков. Бывший беспризорник, только что демобилизовавшийся красноармеец, лёгкий и общительный человек, Быков сразу же вмещивается в толпу обступивших коляску ребят, знакомится с ними; обняв за плечи сразу двоих, окружённый со всех сторон, скрывается в глубине ученических dormitorioв.

Мы водим Колесниченко по интернату, по классам, по службам. Он утомлённо и как-то рассеянно слушает озабоченного Седова.

— Людей вам ещё надо, так? — перебивает Колесниченко. — Наших, советских... Так и говори, а то ходишь вокруг да около.

— Всё равно не пришлёте? — с надеждой спрашивает Седов.

— Не пришло, — покорно соглашается Колесниченко и идёт дальше. Седов понимающе кивает головой.

— А нам и не надо, — помолчав, говорит он. — А, Алексей Васильевич? У нас тут свои советские растут...

Колесниченко косится на него хитрым глазом:

— Ты мне самое главное покажи, — говорит он, — покажи, где ты этих советских расселять будешь?

— Только за тем и приехали — проверить? — то ли удивлённо, то ли укоризненно восклицает Седов.

— Только за тем и приехал — проверить, — спокойно отвечает Колесниченко.

Седов ведёт нас всех ко вновь отстроенному жилому корпусу. Колесниченко ходит по чистым и гулким, ещё не заселённым комнатам, где пахнет стружками и сырой штукатуркой, пробует топчаны, шпингалеты на окнах, постукивает по перегородкам — и молчит.

— Ну, — останавливается, наконец, Колесниченко и оглядывает нас степлевшими глазами, — что ж я вам на всё это скажу? Сердечное вам спасибо, хорошо работаете, товарищи! Тебе, Седов, особенное спасибо! Очень я за тебя боюсь, признаться: справишься ли... Задание нештучное — удвоить число студентов! Честное слово, молодец!..

Седов попытался скрыть невольную торжествующую улыбку — не вышло. Шёлкнул каблуками, отрапортовал:

— Служу Советскому Союзу!

У крыльца уже выжидательно мялись первокурсники-строители, старшие ребята на Колесниченко поглядывали ревниво, почти влюблённо. Впереди всех широко, добродушно улыбался Гуцуляк. Колесниченко кивнул ему головой, подошёл.

— Старый знакомый?! Как поживаешь, Дмитрий?

Гуцуляк продолжал молча, радостно улыбаться.

— Что ж ты молчишь? Рассказывайте, как живёте, ребята?

Ребята нерешительно переглянулись.

— Хорошо живём, да, — солидно и значительно, поджав губы, сказал Ваня Ведеш.

— Хорошо? — переспросил Колесниченко. — Совсем хорошо? А то мне, понимаете, какую-то ерунду рассказывают про вас: спят пока по двое, недоедают... Расскажут же такое! — Он вдруг нахмурился: — Эй, а вы, может, врёте, хлопцы?

— Врём немножко, — осторожно ответил Сашко и, удивлённо взглянув на шумно, со вкусом захохотавшего Колесниченко, расхохотался сам. — Вот, — вытирая слёзы, пробормотал он. — Вот и поговорили с хозяйном района.

— А ведь у меня к вам дело, — обращаясь ко всем, сказал Колесниченко. — Я вам благодарность привёз. Благодарность от коммунистической организации района! Молодцы ребята, очень серьёзно помогли на селе, очень! Мне уж и крестьяне про вас рассказывали... Результаты соревнования знаете уже?

— Скажите, товарищ Колесниченко!

— Что ж, скажу... Соревнование выиграли Левкауцы, поздравляю: во все сроки уложились, план выполнили, с зябью ещё к пятому ноября управились. В Лукашах хуже дело — за ними ещё по хлебопоставке должок...

— У них и вспашка ещё не закончена, — с огорчением добавил Беженарь.

— Вспашка не закончена? — быстро переспросил Колесниченко. — Это ещё надо проверить. Ну хорошо, а о комсомоле вы уже думаете, хлопцы?

— Господи, да мы же... — даже задохнулся Сашко.

— Не подготовлены они ещё, — неуверенно сказала Клава.

— Как, не подготовлены? — перебил Колесниченко. — Вы капитализм видали? Ага, то-то! А они видали. И капитализм, и феодализм, и всякую гадость. Но, — строго поднял он палец, — проверяйте! Хорошо проверьте. Вы мне за каждого комсомольца ответите!

— Есть, ответить за каждого комсомольца! — обрадовались мы.

— Поехали, Быков, — заторопился Колесниченко. Уже садясь в коляску, ещё раз обратился к нам. — А ну, отвечайте откровенно, как на духу. Учите вы молдавский язык, нет? В следующий раз приеду, ни одного слова по-русски не скажу, смотрите!..

Мы засмеялись, закричали вслед:

— Друм бун, товарищ Колесниченко!

Тимофей Тетеля заканчивает в суфражерии последние приготовления.

— Куда? — шипит он, поймав за плечо кого-то из шныряющей мелкоты. — Нет вас работать. Держи этот конец, ну!

Поддерживая свободной рукой массивную гирлянду, он поднимается на стремянку.

— Тетеля, мэй, — молит внизу мелкота, — так меня же Ведеш послал за клеем. Ты меняпусти, мне скорей надо.

— Разбаловались, никакого порядка нет, — ворчит наверху Тетеля.

В это же время в кухне председатель хозяйственной комиссии Петя Галецкй угощает фасолью с салом приглашённый из Ружницы оркестр — около десятка угрюмых дядей с небритыми физиономиями. Молитвенное молчание, сопровождающее этот процесс, прерывает влетевший вихрем Сашко.

— Кто у вас старший, вы? А что вы знаете играть, танцы? А туш? А Интернационал знаете?

— Знаем, домну, всё знаем,— отвечает самый небритый, смахивая крошки с расшитого гуцульского жилета.

— И Интернационал знаете? Правда? Ого, то дело! Патрика, да что ты смотришь? Подрезай гостям хлеба! Да брынзы, брынзы клади...

В суфражерии становится всё люднее, всё оживлённее. Ножками вверх проплывают стулья.

Пора бы уже начинать! Из ближних сёл прибывают родственники— в нарядных жилетах, в палариях, в начищенных сапогах, женщины— в цветных юбках, в ярких платках. Приходит Морей. Приходят из своего дормитора девушки, стайкой садятся в уголок. Как мощный корабль, рассекает толпу Чеботарь. В фарватере видна приветливо кивающая голова Петра Николаевича, улыбающееся лицо Марии Михайловны, озабоченный Стучевский. Распорядитель вечера Илья Сашко стремительно проходит по залу.

— Мэй, Илья, скорее,— умоляют его.

На трибуне Сергей Викторович. Прижав ладонями листки своего доклада, он оглядывает зал.

Вот они сидят, подняв к нему спокойные молодые лица, — те, о ком он думает непрерывно, забывая об отдыхе, о сне, о письмах с московским штемпелем, давно ожидающих ответа. Чистое по очертаниям, переменчивое лицо Ведеша, строгие глаза Гончарюка, доброжелательная улыбка Котогоя. Когда они успели привязать его к себе, эти хлопцы? Когда они успели им завладеть — нераздельно, властно? Удивительная работа — работа с молодёжью! Ей нужно отдаваться всем существом, всем сердцем — иначе тебя оттолкнут, не примут. Нужно работать вдохновенно, страстно — или не работать совсем. Нужно самому быть постоянно молодым, а как же иначе?

Седов говорит о самоотверженных, мужественных людях, проложивших дорогу первой социалистической революции в мире. Говорит о послереволюционных годах— о гражданской войне, о разрухе, о повсеместно развернувшейся стройке, о пятилетних планах. Он не смотрит в лежащие перед ним листки. Седов рассказывает сейчас не биографию страны — биографию своих друзей, своих сверстников. Клава следит за ним загоревшимися глазами: это и её биография, биография поколения, призванного Октябрём.

— Ребята,— продолжает Седов, — вы ведь не гости, вы не посторонние наблюдатели здесь. Когда я говорю о громадной работе, проделанной советскими людьми, я говорю об общем нашем деле; вы тоже теперь строители социализма. Товарищ Колесниченко передавал сегодня ребятам спасибо от нашей коммунистической партии за помощь в осенней посевной. Советская страна ждёт от нас ещё и ещё работы — дружной, совместной работы. Все вместе мы построим новую жизнь в молодой Молдавской Республике. Много говорят сейчас о будущей войне — да, война может разразиться; не будем закрывать глаза на предстоящие испытания. Но какие бы испытания нам ни предстояли,— пройдёт несколько лет, может быть десять, пятнадцать — и вы, ребята, вы, будущая молдавская интеллигенция, будете уже в первых рядах народа, строящего коммунизм. Счастливого пути, дорогие мои друзья!

На трибуне стоит Морей. Он переводит речь Седова для гостей.

— Мальчики,— заканчивает Морей,— это уже не Сергей Викторович, это я вам говорю: мы, люди старшего поколения, завидуем вам и благословляем вас. Будьте благодарны великому советскому народу.

Зал взрывается аплодисментами. Вздрагивают огни висящих по стенам керосиновых ламп. Седов с опасливой улыбкой смотрит на эти дрожащие огни. Он словно не замечает, что ребята, аплодируя, глядят прежде всего на него, глядят благодарно, серьёзно.

А на сцене уже хмурый от волнения Сашко.

— Нам Сергей Викторович сказал...—говорит он, задыхаясь от волнения. — Нам Сергей Викторович говорил: есть только два пути! Он нам говорил — выбирайте, есть только два пути, как вы проживёте свою жизнь? Сергей Викторович, мы выбрали! Я хочу сказать... Я только хочу сказать от имени всех наших ребят: мы уже выбрали свой путь, он для нас только один!..

Ребята встают. Сдерживая волнение, я тихо спрашиваю Седова:

— Что это, победа?

— Как вам сказать, — Седов смотрит на поднявшихся, аплодирующих ребят. — Победа, конечно... Но только не демобиливайтесь: нам ещё за этих ребят драться и драться...

В оживлённой подготовке к танцам никто не замечает, как в дверях появляется полупьяный, улыбающийся Заболотный в запялённом пальто: из-за плеча Заболотного робко заглядывает в зал обмотанная платком девушка.

— Ну что, — оборачиваясь к ней, благодушно спрашивает Заболотный, — может, потанцуешь, Маруся, с хлопцами?

Девушка тянет Заболотного за рукав:

— Не надо, домну, стыдно... Лучше пойдёмте отсюда...

Нигде не танцуют так, как в нашей суфражерии — так молодо, просто, от всей души. Под ликующий, пронзительный напев крестьянских скрипок мелькают преображённые лица, влюблённые улыбки. Девушки, смеясь, смело откидываются на вытянутой руке партнёра; юноши, глядя куда-то мимо девичьих лиц чуть диковатыми глазами, мелко и быстро перебирают ногами; лихо вскрикивают на поворотах, притоптывают, подмигивают друг другу, разнообразя фигуры. Девушек мало; даму передают другому по первому требованию, в самом разгаре танца. Потерявший даму кавалер минуты не теряет — танцевать, главное танцевать! — всё с тем же диковатым вдохновенным выражением лица выхватывает первого попавшегося из толпы, ни на секунду не выпадая из ритма, всё так же мелко, деловито перебирая ногами.

Быстрее, быстрее, ещё быстрее играй, музыка!

— Цок, цок, цок! — выкрикивает стремительно проносящийся Ровика, выкатывая глаза и надувая щёки. — Цок, цок, цок! — звучит его голос уже в другом конце зала.

У Клавы горят глаза, ноги сами выстукивают такт под стулом. Она не слушает Петра Николаевича. Пётр Николаевич приглашает её на новоселье — его друг Заболотный с сегодняшнего вечера пожелал почему-то остаться один. Клава рассеянно качает головой, следя за мелькающими парами, — какое там новоселье!..

Оставив партнёра, нерешительно приближается Мунтян:

— Может быть, домневоastre согласится...

Пропала, закружилась Клавдия Алексеевна! Её крупная, плечистая фигура в танце, как и в работе, стремительна и легка. Увлечённая, забывшая обо всём на свете, она срывается с места, не давая ребятам проделать все вступительные церемонии и поклоны. А когда Илья Сашко объявляет «Дамский вальс» и девочки нерешительно направляются выбирать себе кавалеров, Клава быстро подбегает к Сашко и, схватив его за руку, со смехом вытаскивает на середину зала. Будто почувствовал вызов Сашко — как же он закружился! В зале

замерли, следя за весёлым, неистовым танцем. Быстрее, быстрее, быстрее — невозможно спокойно смотреть на эту сумасшедшую пляску! С гиком срывается Рошка, увлекая за рукав засмотревшегося Беженаря; топнув, выскакивает Котогой, прижимая к груди Ваню Ведеша, ещё пара, ещё, ещё—через минуту ни Клаву, ни Сашко невозможно разглядеть в буйном водовороте.

Уже поздно, очень поздно. Давно уже разошлись преподаватели — этого не заметил никто. По дормиторам разбрелись первокурсники, разъехались гости, раскланялся оркестр.

На сцену прыгает с разбегу со своею скрипкой Илья Сашко, вслед за ним карабкается кооператор Ицек.

— Сырбу, сырбу, — командует Рошка, — мэй, боець, сырбу!

Ицек подбрасывает к подбородку скрипку, поднимает смычок.

Старшие ребята, все как на подбор стройные, высокие, встают тесным кружком, обхватив друг друга за плечи. Сначала всё очень пристойно — идут влево, идут вправо, дружно с выкриками притоптывают, падают на колени — и идут снова — но движение это всё убыстряется, выше становятся прыжки, шалеют глаза, подпрыгивают на голове волосы.

Листья зелёные, листья арбуза,
Сырба наша — как можно выше, —

выкрикивает Рошка, едва переводя дыхание. Они давно уже не имеют вида одетых по последней моде, сдержанных и предупредительных молодых людей, им уже не до воротничков и галстуков, чёрт возьми.

Идём один, бьём два,
Идём два, бьём три...

Быстрее, быстрее! Они ещё туже обхватывают друг друга за шею — и ещё смелее откинувшись назад, кружатся так, что уже невозможно разглядеть их лица.

Та-та́, та-та-та́,
Та-та́, та-та-та́...

Листья зелёные, листья ореха,
Сырба наша — ещё быстрее! —

кричит в изнеможении Рошка, и вырвавшийся из груди стон показывает, что сырба пошла ещё быстрее, хотя это и кажется невозможным.

Расходимся часов в 6 утра с пением полюбившейся ребятам «Дубинушки».

Ой-ты, Вольга, мать-река,
Широка и глю-бо-ка,
Айда да айда, айда да айда...

Давно, давно уже погасли последние огни иллюминации в далёкой Москве...

(Окончание следует).



С. МАРШАК

★

ГОДОВЩИНА

Когда читаем в сводках имена
Дивизий боевых, покрытых славой,
Мы думаем: великая война
Вместила войны, что вела страна, —
От Куликова поля до Полтавы,
От Нарвской битвы до Бородина.

Мы проходили по земле Балканской,
По следу наших прадедов-солдат.
Мы одолели крутизну Карпат.
Мы бились на полях войны гражданской
И снова отстояли Сталинград.

И, спаянные сталинскою волей,
Простою правдой ленинской сильны,
Зачинщика войны мы побороли —
На память всем зачинщикам войны.

Трудом гражданским, воинской отвагой
Был побеждён в броню одетый враг.
Встают Варшава, Будапешт и Прага,
И вот уже над крышею рейхстага
Бушует на ветру советский флаг.

И нынче, дни победы вспоминая,
Клянёмся тем, кто доблестно в бою
Пал на путях до Эльбы и Дуная, —
За мир бороться в сомкнутом строю!

НАДПИСЬ НА СКАЛЕ

За океаном есть гранитный пик.
Уходит в небо шлем его скалистый.
Туда не водит горный проводник
Растянутой цепочки альпинистов.

Но вот вверху на каменной стене
С восходом солнца буквы заблистали,
Возникло слово в дальней вышине, —
И люди утром прочитали: «Сталин».

Кто это имя смело начертал
Над пропастью, над крутизной отвесной,
Над грудой многоэтажных скал —
Пока ещё народу не известно.

Глядит на город гордая скала, —
А горный воздух по утрам хрустален, —
И только в небе разойдётся мгла —
На склоне выступает имя «Сталин».

Его хранит высокий горный кряж,
Одетый утром в золотые тучи.
Стереть его не мог наёмный страж —
Дерзнёт ли он вскарабкаться на кручи?

И надпись над обрывом в вышине
Молниевидной строчкой остаётся—
Преградой тем, кто мир ведёт к войне,
На радость всем, кто рад за мир бороться!



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЕЛЕНА НАГАЕВА

★

У НАС В ШКОЛЕ

Мы, работающие в школах, хорошо знаем, что значит «школа-новостройка». В новостройке не только новы стены и не обжиты классы — там ново всё. Школьники — от малышей «первачков» до взрослых юношей и девушек — учатся здесь первый год. Они пришли из разных школ, они не знают друг друга, учителя не знают их. Самый коллектив педагогов в новостройке создаётся заново, у школы-новостройки нет традиций, нет преемственности. Учителю в ней трудно.

На положении новостроек ещё сравнительно недавно были вновь образованные мужские и женские школы. Теперь и те и другие насчитывают несколько лет жизни. Облик этих школ определился. Когда я из своей мужской школы захожу по какому-нибудь делу в женскую, которая находится в том же переулке, где наша школа, — меня всегда приятно удивляют тишина и порядок, царящие там. Я с удовольствием наблюдаю, как после звонка, означающего конец урока, одна за другой раскрываются двери классов, и девочки, с учительницей впереди, строем выходят в коридор. Коричневые платья, чёрные фартучки, белые воротники и нарукавники, тугие косички.

Эта женская школа, где директором Анна Павловна, моя давнишняя приятельница, очень организованная школа, и внешний порядок, так приятно поражающий посетителей, является естественным выражением той внутренней дисциплины, которой сумел добиться педагогический коллектив своей вдумчивой упорной работой.

Но Анна Павловна говорит, что только близоруким людям кажется, будто в женских школах легче работать, чем в мужских. Конечно, девочки охотнее подчиняются внешним правилам режима, на уроке учитель не затрачивает столько энергии на поддержание тишины в классе — это верно.

— Но у нас свои трудности... — говорит Анна Павловна.

Больше всего Анна Павловна озабочена тем, что учителя, работающие в её школе, могут власть в благодушие, самоуспокоенность, что они утратят постоянную насторожённость и бдительность, необходимые воспитателю.

— Если девочки тихо сидят на уроке — это ещё не значит, что они слушают! При внешней дисциплине в женских школах не очень внимательный педагог может просмотреть нечто более важное...

— В вашей школе, — говорит Анна Павловна, — учитель всегда в состоянии боевой готовности — ну, и славу богу! А у нас... вот говорят — санаторий! А разве это так? Стёкла у нас не бьют, парт не ломают, нет драк и крика в перемены — но разве это значит, что всё благополучно? Пожалуй, можно забыть, какие задачи стоят перед нами, воспитателями, и успокоиться — дескать всё у нас тихо, мирно! Этого я

боюсь. Учитель должен помнить, что мы готовим не кисейных барышень и не домашних хозяек, что из нашей школы должны выйти советские девушки, строители коммунизма, как и ваши мальчики. Нам стало трудней, когда мы остались одни. Время совместного обучения вспоминаем добрым словом.

Вот уже шесть лет, как существуют у нас параллельно две системы обучения. В крупных городах мальчики и девочки занимаются отдельно, в деревнях и небольших городах существуют смешанные школы. Какая из этих двух систем лучше? В чём достоинства и недостатки каждой из них? Оправдано разделение школ или нет?

Одни говорят, что в результате разделения выиграли девочки, другие утверждают, что мальчики, третьи, как наша «соседка» Анна Павловна, откровенно жалеют о прошлом.

— Да,— говорят в мужской школе,— дисциплина у нас хромает без девочек и успеваемость ниже... Когда учились вместе — было соревнование, была дружба и взаимопомощь. Теперь педагогам стало труднее.

— Женственность хороша... — говорят в женской школе, — надо заботливо выращивать лучшие женские качества, но как бы не пустили корни качества бабьи! Появляются среди родителей и даже среди педагогов всякие настроения. Дескать, девочки — это девочки, не беда, что они отстают в активности и общественно-политическом развитии от мальчиков, это в порядке вещей... Но разве сама жизнь не опровергла эти уродливые рассуждения?!

Слушая разговоры о том, что в мужских школах работать труднее, наш директор Иван Иванович всегда сердится.

— Всё это известно, — говорит он, привычно забирая в кулак седеющую бородку. — В смешанных школах одни трудности, у нас — свои. Какой отсюда вывод? Один: работать и ещё раз работать! Двигаться вперёд, искать! В конце концов всё зависит от учителя. Мы столкнулись с трудностями, которые не научились ещё преодолевать, — значит, надо научиться! Конечно, самое лёгкое дело сложить с себя ответственность, сказать: «система виновата» — и успокоиться. Вздохи о прошлом только разоружают. Эти бесцельные разговоры..

— Почему бесцельные? — спокойно возражает Анна Павловна.

Анна Павловна часто заходит к нам в школу. Она вечный противник Ивана Ивановича в педагогических спорах, что не мешает им быть большими друзьями.

— Спорят наши с вами товарищи, — продолжает Анна Павловна, — о том, как лучше организовать обучение и воспитание. В спорах родится истина. Детский коллектив — важнейший фактор в нашей работе. От того, как он организован, зависит во многом и успех учителя..

Она напоминает: ведь в советской жизни, в семье, на производстве нет того, перед чем поставлен воспитатель в школе раздельного обучения — нет чисто мужских или чисто женских коллективов..

Иван Иванович горячится.

— Кто может отрицать, что наши раздельные школы имеют большие успехи? Что мы сильно шагнули вперёд? Разве сегодняшняя раздельная школа похожа на ту, что была четыре—пять лет назад?

— Естественный ход вещей в нашей стране! — живо откликается Анна Павловна. — А кто может отрицать, что за эти годы неузнаваемо изменились и школы совместного обучения? Ведь они имеют не меньшие, а может быть, большие достижения?

Все мы знаем, что Иван Иванович был горячим сторонником раз-

дельного обучения. За шесть лет работы в мужской школе его взгляды сильно поколебались. Но к окончательному решению он так и не пришёл. Ему кажется, что лучше мириться с существующими неудобствами и затруднениями, чем пойти на новую ломку, от которой может пострадать многое, с таким трудом созданное, выращенное, налаженное. И поэтому всем, а в том числе и себе самому, Иван Иванович старается доказать, что положительные стороны системы раздельного обучения весят больше, чем отрицательные. Что те, кто говорит о недостатках системы, — хотя этим амнистировать недостатки собственной работы.

Но факты — упрямая вещь. Анна Павловна рассказывает, что к ней постоянно приходят матери и сетуют на то, что они не знают, с кем встречаются и как проводят время их дочери вне школы. Подобные жалобы часто приходится выслушивать и нам от родителей наших учеников. Молодёжь знакомится в кино, на катке, на танцплощадках. Отношения, которые складываются между юношей и девушкой в результате таких знакомств, выпадают из-под контроля родителей и школы и не всегда напоминают ту светлую юношескую дружбу, которая оставляет след на всю жизнь.

В смешанной школе развитие учащихся происходит правильней. Когда дети, когда юноши и девушки учатся в одном классе, состоят в одной пионерской или комсомольской организации, когда общность работы, интересов, постоянная взаимопомощь неизбежны — естественно и просто складываются хорошие товарищеские отношения. Молодёжь по-настоящему узнаёт друг друга в работе. Если случается, что школьная дружба позднее переходит в другое, более сильное чувство, то плохого в этом нет, так как чувство вырастает на почве общих склонностей и устремлений.

Иван Иванович безусловно прав в одном: учитель не может оправдывать свои неудачи и срывы ссылкой на специфические трудности работы в мужской или женской школе.

— Недоработок, — говорит он, — у нас не должно быть! Мы работаем в реально существующих школах. Нам доверены государством дети — будь то мальчики или девочки, — и мы обязаны дать им максимум возможного.

Но Иван Иванович не прав, уклоняясь от принципиальной постановки вопроса. Не надо бояться извлечь уроки из существующего опыта совместного и раздельного обучения.

Мы, практики, мало делимся опытом вне стен своей школы, мы не записываем, не обобщаем — и не всегда потому, что нет на это времени, — скорее потому, что нет привычки к широким обобщениям, нет привычки работать «на всех», а не только на свою школу, на свой класс. А ведь дело-то у нас общее, огромное дело! Почему бы Академии педагогических наук не созвать совещания учителей, работающих в тех и других школах? Наши школы давно не новостройки, у нас накопился богатый опыт, и учитель должен полным голосом заговорить о том, что вызывает бесконечные споры в узком кругу. Почему наша «Учительская газета» — это только ведомственный листок, в котором не слышно голоса учителя-практика? Дело не в том, где трудней и где легче работать и кто выиграл — мальчики или девочки. Важно ответить на вопрос, что теряют и те и другие, что теряет советское общество при системе раздельного обучения.

Я заведу учебной частью в мужской школе. Уложить в рамки школьного режима бурную энергию мальчиков трудно, вопрос дисциплины у нас стоит очень остро.

Перед концом уроков я выхожу из своего кабинета и наблюдаю. С первыми звуками звонка из распахнутых дверей классов стремительно выскакивают мальчики разных возрастов и рассыпаются по коридорам. Вот уж кто-то мчится мимо меня, его настигает другой, не менее быстроногий товарищ... Малыши, сбиваясь в табунки, заигрывают друг с другом, как медвежата на солнышке. Прыгают через ступеньки и лихо скатываются по перилам лестницы подростки. Даже взрослые десятиклассники то и дело схватываются в шутливой борьбе, теснят и подталкивают друг друга, разминая косточки, ноющие от неподвижного сидения на парте.

Страшен не шум в коридоре и даже на уроке. Страшно другое — проявление грубости и неуважения, с чем порой приходится сталкиваться в мужских школах.

Если до сих пор ещё имеют место резкие выходки со стороны учащихся — это только наша недоработка, как говорит в таких случаях Иван Иванович. Мы ведём упорную борьбу против случайно просочившихся влияний, чуждых духу советской школы. Но всё же не раз пожалеешь, что нет облагораживающего влияния девочек!

У меня за плечами большой опыт работы в смешанной школе, теперь шесть лет я работаю с мальчиками. В мои обязанности завуча входит не только учить и воспитывать школьников, но и направлять всю академическую жизнь школы, помогать учителю в его учебной и воспитательной работе. Сказать, что я люблю своё дело — значит не сказать ничего. Бывают минуты, когда моя профессия тяготит меня, когда я готова проклинать день и час, в который я связала свою жизнь с педагогикой — что в том? Представить себя вне школьной работы я просто не в силах! Школа со всеми её большими и малыми заботами не только вошла в мою жизнь — она полностью слилась с нею, и нет такой силы в природе, которая могла бы оторвать меня от школы.

У нас часто говорят: учителем надо родиться. Я не согласна с таким утверждением и совсем не думаю, что учителю необходимо обладать какими-то особенными врождёнными качествами. Здоровый советский человек, если он попал в школу и втянулся в работу, — он стал хорошим учителем. Наша эпоха, весь стиль нашей жизни пронизан педагогическими идеями, и все те высокие качества, которыми должен обладать учитель, присущи всякому советскому человеку, коммунисту. Нет нужды говорить, что мы, учителя, — все коммунисты, хотя и не все держим партийный билет в руках. Равнодушный человек не может быть учителем, равнодушным людям нет места в школе!

Макаренко любил говорить, что он совершенно случайно сделался педагогом, по желанию отца-маляра. С уверенностью можно сказать, что и в любой другой профессии Макаренко проявил бы себя так же ярко.

По всему складу, по характеру, по привычкам, по вкусам и интересам, которые проявлялись у меня в юности, никто не мог подумать, что я сделаюсь педагогом. Я увлекалась разными вещами, строила всякие планы, хотела сделаться то писателем, то учёным — только не учителем! Когда жизнь привела меня в школу, у меня были очень туманные представления о задачах воспитания и полное отсутствие умения взяться за дело. Интересно то, что я впервые почувствовала себя педагогом только после жестокого провала в работе.

Хорошо помню свои первые шаги в школе. В памяти ещё свежи университетские лекции, солидным багажом кажется прочитанная литература, романтические мечты волнуют воображение. Мне страшно войти в класс... Но вот передо мной сорок девочек и мальчиков сидят на чёр-

но-жёлтых партах. Ожидание, задор и любопытство написаны на лицах — кто она, эта новая учительница?

Я начинаю говорить о литературе, о поэзии, о жизни. Я спешу выложить перед юными слушателями весь запас имеющихся у меня знаний, мне хочется заразить их своей страстью к искусству. Этой речью я занимаю все сорок пять минут урока. В классе тихо. Меня слушают. Я вижу внимательные блестящие глаза, полуоткрытые губы — и сердце моё полно восторга и гордости. Ах, ну чего стоят все эти бесконечные разговоры о дисциплине! Теперь я понимаю, в чём секрет.

Чувствуя себя победительницей, счастливая и взволнованная вышла я из класса. В учительской с высокомерием юности отвечала на вопросы товарищей о первом уроке.

Думала я приблизительно так: если любишь свой предмет, если владеешь речью — всё решается хорошо и просто. Детям интересно, их увлекает наука — и вопрос дисциплины решается сам собой. Если перед классом стоит нравственный сухарь с душой, застѣгнутой на все пуговицы, и коряво пересказывает страницы учебника, то, понятное дело, внимания класса нехватит и на несколько минут...

И я произносила вдохновенные речи перед учащимися, я упивалась своим успехом. Горькое разочарование принесла мне первая письменная работа. Сейчас же после урока я нетерпеливо раскрыла ученические тетради... Что же это такое? Ни мысли, ни знаний, ни орфографии... Мои уроки пропали даром! Я задумалась.

Это было в далёкие времена младенчества единой трудовой школы, времена Кости Рябцева. Учителя получали одно предписание за другим, толковали о Дальтон-плане, о необходимости строить новую школу, никто не знал толком, с чего начать. Администрация путалась в программах, отчётах и совещаниях. Каждый работал за свой страх, некому было прийти на помощь учителю. Моя работа не проверялась, я не получила никаких указаний, я не знала, как правильно строить урок. Я чувствовала свою ошибку, но я не умела исправить её.

Между тем в отношении класса к моим урокам появились нехорошие, смутившие меня признаки. В классе давно уже не было тишины, не было внимания. Я слышала перешёптыванья, шелест страниц, скрип парт, я видела явно равнодушные лица, бегающие глаза, быстрые движения рук, передающих что-то с парты на парту.

Неужели им неинтересно? Заглянув в журнал, я называла попавшиеся на глаза фамилии. Школьники выходили к доске и отвечали бесвязно и вяло или вовсе не отвечали. А шорохи и звуки всё разрастались, неясный гул висел над партами. Тщетно я призывала к порядку. Я укоряла — и видела перед собой совсем не смущённые — весёлые лица, ловила улыбки! Я возвышала голос — и с ужасом убеждалась, что и это не имеет действия. Крышки парт уже не скрипели, а нахально стучали, из однотонного гула вырывались отдельные голоса. Звонок стал для меня спасением. А в коридоре так же, как и раньше, окружала меня гурьба школьников. Их лица были доброжелательны и спокойны, глаза смотрели невинно и радостно — мне не верилось, что эти славные ребята только что мучили меня на уроке.

И чем дальше, тем шло хуже и хуже. Что я ни делала, чтобы поддержать дисциплину в классе, — всё было напрасно! Тишины и порядка не было, и бумажные голуби свободно порхали по классу. И настал день, когда один такой голубь с тихим шелестом распластал бумажные крылья на классном журнале. Растерянная, я схватила, смяла в напряжённых пальцах бумажную птицу... И вдруг в заднем ряду парт тонко тренькнула натянутая резинка.

Я вскочила, уронив стул, выбежала в коридор и оттуда, не оглядываясь, в учительскую. На диване в пустой учительской я расплакалась. Не умеешь, не можешь... Им скучно с тобой, они не любят тебя, они смеются. Уходи из школы!..

Легонько стукнули в дверь. Я торопливо вытерла слёзы, отбежала к окну. В дверь нерешительно протиснулись две девочки и староста Ваня Козин. Щёки Вани были красны, тёмные выпуклые глаза блестели. Он робко остановился у порога. Девочки, опередив его, подошли ближе.

— Простите, Марья Петровна...

— Это я, — сказал Ваня, — резинкой...

Мои ученики стояли передо мной, смотрели ласковыми смущёнными глазами. Невольно носком туфли я прижала к полу останки злосчастной птицы. Ах, этот голубь! Досада и горечь душили меня.

Мне казалось, что школьникам стыдно смотреть на меня, что им стыдно за меня, за свою учительницу.

— Если бы вы только знали, с какой радостью я шла в школу, как рвалась к работе... и как мне больно... как горько... Я не нашла того, о чём мечтала... Это очень тяжело! — вырвалось у меня.

— Мы понимаем, Марья Петровна... Даём слово... простите! Только вы поостроже. Ребята любят вас, а не слушаются. Вы слишком добрая...

И это было для меня откровением.

Конечно, я не ушла из школы. На первом уроке после происшествия ребята сидели прекрасно. Но мне было ясно, что если я сейчас не использую настроения, не поверну круто штурвал—будет всё по-старому. Я переломила самолюбие и открыто заговорила с ребятами, серьёзно, как со взрослыми, о своём педагогическом срыве... Рисковала ли я окончательно потерять авторитет? Да, рисковала. Я поставила перед классом (это были тринадцати-четырнадцатилетние подростки) вопрос о достоинстве человека, об отношении к труду—своему и чужому, о радостях и горестях всякой профессии и общественной деятельности. В сущности, ничего нового в этом не было. То, о чём я говорила тогда школьникам, говорится всеми учителями по разным поводам, но не всегда самые лучшие слова убеждения действуют так, как того хочет воспитатель. Мой класс находился в состоянии душевного размягчения, и мне удалось использовать момент, когда ребята, почувствовав в учителе простого, близкого человека, хотели загладить свою вину, как-то выразить любовь и уважение к нему. Я поставила свои условия, класс принял их. Конечно, далеко ещё не всё гладко было в моих взаимоотношениях со школьниками. Но тон был найден, и в этом классе теперь мне работалось лучше. Зато в двух других классах я не могла по-настоящему справиться с работой до конца учебного года. Мне было мучительно трудно работать в них. Для учителя нет ничего страшнее, как ощущение своего бессилия перед классом! Уроки становятся тогда для него пыткой. Каждому новичку-воспитателю хорошо известно, как часто успех всей его работы зависит от продуманного плана, крепко организованного урока, от верно взятого тона в самом начале занятий с классом. Ошибки исправляются трудно.

Сейчас учительской молодёжи легче. В школу она приходит теоретически вооружённая и с первых шагов видит внимание и помощь. И всё же волнуются все, и очень немногие сразу находят себя, оставшись наедине с классом.

Учитель должен тщательно готовиться к своей первой встрече с учениками. Эта встреча, верно взятый тон часто определяют дальнейший ход работы. Я каждый год повторяю молодым учителям своё требование: принимая сегодня в свой класс детей, впервые увидевших

парту, знакомясь с каждым из них, вы должны всё время думать о том, каким будет каждый доверенный вам малыш через десять лет, когда он с аттестатом зрелости уйдёт из школы.

Часто я вспоминаю простые ясные слова Сталина: «Молодежь — наша будущность, наша надежда, товарищи.. Она должна донести наше знамя до победного конца». Эти слова я воспринимаю так, как будто они обращены непосредственно к нам, воспитателям. Ни на одну минуту мы не смеем забыть то, чего хочет от нас Великий учитель.

Молодёжь донесёт знамя до победного конца, если мы её подготовим.. Много, очень много спросится с воспитателя.

У нас в школе много хороших учителей и среди старых опытных методистов, и среди совсем зелёной молодёжи. Но все эти хорошие учителя и воспитатели хороши каждый по-своему.

— Теоретически можно себе представить абстрактную школу, — говорит Иван Иванович, — в которой педагоги подходят к ученикам с совершенно одинаковыми требованиями и воздействуют на них одинаковыми приёмами. Но это была бы мёртвая школа. При общей задаче и общих основных требованиях влияние учителя определяется его индивидуальностью.

Педагогический такт — вот верный компас, которым мы пользуемся в своей работе. Этим чувством в очень большой степени обладает наш директор Иван Иванович.

Ивана Ивановича любит и уважает вся школа. Талантливый руководитель, человек твёрдой воли, большого сердца, он, требуя от школьников безоговорочного подчинения режиму, вместе с тем умеет чутко подойти к молодёжи. Ивана Ивановича нередко можно видеть в коридоре, окружённого старшекласниками.

Помню такой случай. Есть у нас в школе старый, знающий и очень опытный математик. Казалось бы, ему и книги в руки, а вот что-то разладилось у него в этом году с дисциплиной. Он перестал быть хозяином класса.

Должно быть, виной тому были его утомлённость, рассеянность, озабоченность домашними неурядицами. Ошибку он допустил с первого урока, а потом ничего не мог сделать. Он стыдился сознаться в своей беспомощности и старался скрыть её от товарищей. И вот дело дошло до того, что не выдержал — убежал из класса за десять минут до конца урока.

На беднягу тяжело было смотреть. Он сидел в углу за шкафом и никак не мог закурить: папироса ломалась в дрожащих пальцах прежде, чем он успевал поднести спичку.

Все бывшие в учительской поняли, что ему самому не поправить положение. Я уже думала: не лучше ли будет передать восьмой «Б» другому математику? Невольно вспомнилась моя неудача.. но я была тогда молода и неопытна, здесь был профессионал, здесь трагедия была глубже.

После математики в расписании стоял час директора. Час директора в нашей школе не был часом учебных занятий. Это был час воспитательной работы. Школьники делали доклады на общественно-политические и международные темы; разбирались различные вопросы, волнующие класс, обсуждалось поведение дезорганизаторов, а главное, шли разговоры «по душам».

Иван Иванович спокойно поздоровался с поднявшимися при его появлении школьниками и приказал дежурному стереть с доски, на которой очень зло и похоже была нарисована карикатура на математика.

Класс молча ждёт нахлобучки, но всё идёт обычным порядком. Директор просматривает журнал с отметками. Слушает доклад. Об инциденте с математиком — ни слова.

Ребята в недоумении. Что такое? Никто не упрекает, не распекает, а на душе беспокойно, неприятно.

Директор держится холодно, по-деловому. Звонок — и он уходит. Мальчики бросаются за любимым учителем.

— Иван Иванович, простите нас. Не сердитесь... Вы изменились к нам, Иван Иванович!

— Вы обидели человека, хорошего учителя. Вы оскорбили во мне чувство уважения к человеку и товарищу. Мне тяжело, больно видеть вас такими нечуткими, не уважающими чужой труд. У меня пропало хорошее, доверчивое отношение к вам. Может быть, оно вернётся... Сейчас разговаривать с вами, как прежде, не могу... Не выйдет.

— Мы извинимся перед Василием Ивановичем!

— И по-вашему, это всё?

— Что же нам делать, Иван Иванович? Научите.

— Нет, уж вы подумайте сами.

Через некоторое время узнаю, что на математике тихо. Все подробности мне неизвестны, но знаю, что в классе было бурное заседание комсомольцев, потом общеклассное собрание — всё это без участия педагогов. Комсомольская группа выделила двух сильных в математике комсомольцев для помощи отстающим. Были назначены ответственные по дисциплине.

Результаты сказались так быстро, что впоследствии группорг с целью подтянуть класс назначил консультантов по всем предметам.

Никакими взысканиями и строгостями нельзя было бы достичь того, чего достиг Иван Иванович.

Молодая учительница Нина Васильевна сама очень похожа на школьницу. Она способна без умолку болтать и смеяться с подругами. Но вот она вошла в класс — и сразу преобразилась. Строго сдвинутые брови, холодный взгляд, крепко сжатые губы, бесстрастный голос. Окрики, запрещения, приказания — откуда что берётся! Больше всего на свете боюсь потерять авторитет у школьников, она старается быть суровой и неприступной. И всё же в классе Нины Васильевны беспорядок, урок проходит вяло. Из класса она выводит мальчиков строем, но в коридоре её воспитанники сейчас же разбегаются в разные стороны. А есть учительницы, к которым школьники льнут в перемены, засыпают вопросами, рассказывают о себе и делятся своими интересами.

После посещения уроков Нины Васильевны мне много раз приходилось указывать молодой учительнице на её ошибки. Нина Васильевна обижается, кажется даже плачет после разговоров со мной, но прислушивается к моим замечаниям и работает над собой. Она читает методическую литературу, посещает семинары в институте усовершенствования учителей. Я знаю, из неё выйдет хороший учитель.

На днях Нина Васильевна входит после урока в учительскую, бросает на стол классный журнал, лицо несчастное...

— Мука какая-то! Не могу больше с этими сорванцами!.. Уйду в женскую школу...

— Что такое?

— Да ничего особенного... Как всегда! Читала им сказку о сестрице Алёнушке и братце Иванушке... Ну, разве они будут слушать? Неинтересно им, это для девочек сказка. Их такими вещами не проймёшь! Вы знаете, какие у меня сорви-головы...

«Ну вот, — подумала я, — ещё нехватало, чтоб наша учительская молодёжь заразилась дикой идеей об особой, мужской и женской программе обучения...»

Я посмотрела на расписание.

— Нина Васильевна, у вас сейчас «окно»... Пойдёмте со мной в третий «А», к Александре Ефимовне, у неё будет урок чтения!

Мы вошли в класс вместе с Александрой Ефимовной. Мальчики дружно встали. Сели по знаку учительницы, без шума опустили откинутые крышки парт.

Александра Ефимовна приняла рапорт дежурного и раскрыла журнал. Мальчики сидели спокойно, но лица многих выражали нетерпение. Один не выдержал, поднял руку.

— Александра Ефимовна! Что мы будем читать сегодня?

— Я знаю! — крикнул кто-то с задней парты, — про сестрицу Алёнушку...

Александра Ефимовна чуть улыбнулась и взяла со стола книгу.

— Да, я вам прочту сегодня сказку «Про братца Иванушку и сестрицу Алёнушку». Хорошая сказка. Поднимите руки те, кто читал эту сказку!

Руки поднял почти весь класс.

— Ну вот, большинство читало! Но это ничего, вам всё равно всем будет интересно слушать. Я читала эту сказку очень много раз, я её наизусть помню — и всё-таки мне доставит большое удовольствие снова прочитать её вам. Слушайте внимательно!

Александра Ефимовна читала совсем негромко, но её грудной приятный и очень гибкий голос заполнял весь класс. Ребята слушали, не спуская глаз с выразительного лица учительницы. Их чувства прорывались в невольном жесте, в задержанном дыхании, в глубоком вздохе, в блеске глаз...

«Солнце высоко, вечер далёко, жар донимает, пот выступает... Не послушался Иванушка сестрицы Алёнушки, напился водицы... — и сделался братец Иванушка серым козлёночком...»

Развёртывается драматический сюжет сказки. Перед слушателями возникает образ кроткой любящей Алёнушки, нетерпеливого братца, злой и завистливой ведьмы.

«Костры горят горючие, котлы кипят кипучие... Хотят меня зарезати...» Класс замер, он переживает ожидание страшной участи серого козлёночка.

Сказка кончена. Распались злые чары. Удовлетворённое чувство справедливости прорывается в радостных возгласах слушателей. Ребёчьи лица сияют. И после чтения естественно и просто возникает беседа по содержанию сказки. Говорят о взаимоотношениях Алёнушки с Иванушкой, о братьях и сёстрах, об отношении старшего к младшему, с возмущением отзываются о злой завистливой ведьме. Как богаты и содержательны наши народные сказки! Какой прекрасный материал для воспитателя!

Я раскрыла тетрадь Нины Васильевны с конспектами уроков. В плане сегодняшнего урока чтения у Нины Васильевны записано всё то, что сейчас мы слышим в третьем «А». План хорошо продуман, составлен правильно. Я невольно взглянула на сидящую рядом Нину Васильевну. На её юном лице я прочла искреннее огорчение. Она вздохнула и шепнула мне на ухо: «Из беседы у меня ничего не вышло. Почему?»

Между тем мальчики по назначению Александры Ефимовны по очереди читали текст по своим книжкам. Читали выразительно, заметно

подражая интонациям учительницы и вместе с тем внося от себя более яркую эмоциональную окраску драматических сцен.

После звонка мы втроём сидели у меня в кабинете и обсуждали урок.

— Вас слушают, а меня нет. Что же мне делать? — с отчаянием в голосе говорила Нина Васильевна. — Значит я не умею?

Александра Ефимовна улыбнулась.

— А вы заметили, что и мои готовы были не слушать? Они почти все читали сказку... Я привлекла их внимание словами, что я наизусть всё знаю, а мне всё-таки интересно. И ведь мне на самом деле интересно. Я каждый раз по-новому переживаю и свой урок, и реакцию класса. А вы наперёд решили, что вас не будут слушать. Вы думали: вот если бы я была у девочек... Дети почувствовали ваш холодок, и им стало скучно. Вы рассердились — и окончательно потеряли власть над классом. В том, что урок прошёл вяло, часто бываем виноваты мы сами. Почему вас тянет к девочкам? Вы думаете — там будет легче? Неверно!

А вот Зоя Сергеевна сама перешла к нам из женской школы и прекрасно справляется. Правда, у Зои Сергеевны больше опыта, она учительствует восьмой год.

Ссылаясь на собственные школьные годы, Зоя Сергеевна горячо говорит о преимуществах смешанной школы.

— Конечно, мы хорошо влияли друг на друга. И девочки подтягивались, и мальчики не распускались! И дружили мы тогда по-хорошему. Мои школьные друзья — друзья на всю жизнь! У девочек тихо, зато с мальчиками интересней... А главное — вопросы дружбы решались проще и правильней...

После звонка из пятого «Г» Зоя Сергеевна вышла, тесно окружённая школьниками. Её молодое красивое лицо светилось улыбкой, глаза блестели. Мальчики, отталкивая друг друга, старались поближе протиснуться к учительнице. Они были чем-то возбуждены, переговаривались между собой. Зоя Сергеевна в гурьбе ребят медленно продвигалась по коридору к учительской.

Я очень люблю Зою Сергеевну. Мне нравятся её горячий порыв, чуткость, творческие озарения и постоянные поиски нового. Увлекаясь, иногда она ошибается. Я прощаю ей ошибки, хотя и журю на правах завуча. По сияющему лицу Зои Сергеевны я поняла, что она только что пережила счастливые минуты вдохновения и взволнована какой-то удачей. Это чувство знакомо каждому педагогу.

Зоя Сергеевна вошла в учительскую вместе с мальчиком, принёсшим из класса карту.

— Зоя Сергеевна, — торопливо заговорил мальчик, поставив карту в угол за шкаф. — Зоя Сергеевна, я в подстенку на дворе больше не играю, я с Карасёвым дружу, мы в биокружок вместе ходим!

Зоя Сергеевна весело кивнула мальчику. Он ушёл. Большая, светлая, уютно обставленная комната наполнилась учителями. Одни торопливо записывали что-то в журнал, другие наспех просматривали тетради с конспектами уроков, третьи просто отдыхали. Наш старый математик сидел в глубоком кресле, устало вытянув руки и закрыв глаза. Около стенгазеты весело хохотала над чем-то Нина Васильевна. «Вот если бы она умела иногда так же заразительно смеяться со своими учениками — было бы совсем неплохо», — подумала я.

Зоя Сергеевна положила на стол классный журнал, чуть передвинула горшки с гортензиями, дотронулась рукой до растрепавшихся тонких и

свеглых волос и обвела сияющими глазами учительскую. Она заметила меня, сидящую на диване, и губы её смешливо дрогнули.

— Может быть, вы будете недовольны, Марья Петровна, но я счастлива, — сказала она, садясь рядом со мной на диване.

— Я проходила мимо вашего класса...

— Вам показалось, что у меня шумно? Да? Этот шум выражал заинтересованность!

— Темой урока?

— Не совсем, — засмеялась Зоя Сергеевна. — Мы отошли от тем, но я не жалею об этом. По плану урока я читала им отрывки из «Одиссеи». Ну, и вот — Пенелопа... женихи, двадцатилетнее ожидание пропавшего мужа! Я говорю о любви, о дружбе, о верности... Высокое слово — верность. Верность любимому человеку, верность своему слову, верность родине... Лица становятся серьёзными. Внимание приковано, класс у меня в руках. Меня охватывает настоящее вдохновение, я чувствую необыкновенный подъём! И я бросаю классу: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты!» Класс встрепенулся, загудел, потянулись руки, кричали с места, не дожидаясь моего вопроса. Что же такое, говорю, подлинная любовь, дружба? Хороший друг? Товарищ? Разве можно представить, чтобы благородный, мужественный, отважный человек дружил с низким негодяем, себялюбом и трусом? Разве мог Олег Кошевой дружить с ничтожеством? Оглянитесь на себя, на своих друзей, оцените, подумайте! Настоящая любовь, дружба!.. Ну, тут пошли сравнения, примеры и из литературы, и из жизни. Если бы вы видели в это время ребят! Ну, где же там тишина! Конечно, было шумно.

Зоя Сергеевна взволнованно перевела дыхание.

— Одним словом — все драгоценные сорок пять минут урока пропали у вас для предмета?

— Всё наверстаю. Класс получил больше! Я радуюсь, у меня ощущение начала большой победы, я вижу возможности. Передо мной раскрылись ребячьи души... Марья Петровна! Ведь я нашла ключ к моей работе классного руководителя — такой план разворачивается! Нет, я не жалею...

— Но разве нельзя было, — задала вопрос Антонина Григорьевна, немолодая, полная женщина с очень бледным спокойным лицом и сдержанными скупыми жестами, — такую беседу с классом — полезную беседу — предусмотреть в плане? Провести её таким образом, чтобы не страдал программный материал? Как вы считаете?

— Конечно, лучше было бы всё предвидеть вперёд, как вы, — вздохнула Зоя Сергеевна, — но... у меня пока что так не получается. Боюсь, и дальше будут экспромты. Со временем, наверное, научусь укладываться в план...

— Совсем без экспромтов в нашем деле не обойтись, — всё так же спокойно говорила Антонина Григорьевна. — Как бы мы ни регламентировали время в плане, но неожиданные повороты урока всегда могут быть. И разве мы не поэты своего дела? Бывает такая счастливая возможность, которую грех не использовать. Я вот вам расскажу...

Антонина Григорьевна и Зоя Сергеевна совсем разные и обе очень хорошие воспитатели. Антонина Григорьевна работает двадцать лет. Она спокойна, методична, очень выдержана. Представить Антонину Григорьевну застигнутой врасплох, в затруднительном положении — прямо-таки невозможно. Она всё предвидит и всё наперёд знает, позаботится о таком, что и в голову другому не придёт! Припоминаю такой случай. Как-то появилась мысль у старшей вожатой оформить в пио-

нерской комнате доску, на которой были бы собраны изречения замечательных людей о школе и школьников. Естественно, возникло затруднение: откуда достать сразу весь нужный материал? Антонина Григорьевна говорит: «У меня есть» — и приносит целую кипу газетных и журнальных вырезок. Оказывается, всё это она в разное время вырезала и складывала «на всякий случай». И вот случай представился. И так всегда. В организации утренников, экскурсий, посещения театра Антонина Григорьевна незаменимый человек. Она классный руководитель восьмого класса и преподаёт литературу. Ребята её любят, класс у неё дисциплинированный. Свои организаторские способности она сумела передать своим воспитанникам.

У нас в школе все уже привыкли к тому, что класс Антонины Григорьевны всегда на виду, и не случайно, что именно из числа её воспитанников выбран секретарь комсомольского комитета.

Опираясь на комсомольскую группу, на актив класса, Антонина Григорьевна справляется с самыми отчаянными. Просто диву даёшься, как она это делает. Голоса она никогда не повышает и никогда никого не наказывает.

У Зои Сергеевны нехватает, может быть, уравновешенности, но инициативы не меньше. Обеих учительниц роднит свойственная им любовь к делу и незаурядный организаторский талант. В этом секрет их удачи. Они педагоги каждой клеточкой своего существа. Плох тот учитель, который живёт интересами школы по звонку и забывает о ней дома. Да так и редко бывает. Даже во сне мы видим своих воспитанников и школу...

Жизнь учитель воспринимает через свою профессию.

Помню, в учительской разговорились о книге Ажаева «Далеко от Москвы».

— Ах, какие люди! Какие люди! Даже завидуешь..

— Кому?

— Да тем, кто воспитал их. Какое это счастье!

Эти слова принадлежат Зое Сергеевне.

Зоя Сергеевна вдумчиво работает с классом, она близко знает своих мальчиков, особенности каждого, и пользуется большой любовью. Но Антонина Григорьевна находит, что молодая учительница чуть-чуть распускает школьников. Например, она допускает разговоры во время урока, между тем как Антонина Григорьевна требует абсолютной тишины в классе. Зоя Сергеевна доказывает, что разговоры, связанные с уроком, неизбежны и дурного в этом ничего нет, наоборот — хорошо, так как указывает на заинтересованность.

— И всё же разговоры расшатывают дисциплину, — утверждает Антонина Григорьевна.

Эти разногласия между двумя хорошими передовыми учителями — разногласия отнюдь не частного характера. Наши усилия, усилия руководителей школы, безусловно направлены к тому, чтобы добиться прочной сознательной дисциплины и поднять успеваемость. Но как сделать, чтобы борьба за дисциплину шла не в ущерб активности учащихся? Завучу и директору школы постоянно приходится размышлять над этим вопросом. Дело осложняется тем, что среди учительства в этом отношении большие разногласия. Одни стоят на точке зрения Антонины Григорьевны, другие поддерживают Зою Сергеевну. Поэтому отдельные учителя подходят с разными требованиями к школьникам. Проще в младших классах, где один учитель занимается с детьми по всем предметам.

Особенно велика эта опасность в женских школах. Анна Павловна как-то рассказала мне случай, бывший у неё в женской школе. В девятом классе вёл урок новый преподаватель истории. После звонка дежурная подала ему тетрадку, в которую, по заведённому обычаю, учитель ставил отметку за поведение всему классу. Историк поставил тройку. Девушки в недоумении. Как? За что? Почему? Мы же очень тихо сидели! «За то, что вы молчали», — ответил учитель; его не удовлетворило пассивное отношение к уроку, и он не мог поставить полной отметки, несмотря на внешний порядок в классе. Дисциплина на уроке — это активное отношение к теме урока.

— А вот другой учитель чувствует себя прекрасно в полном безмолвии класса и ставит пятёрку за поведение. Зло, с которым всё время борюсь!.. — закончила свой рассказ Анна Павловна и прибавила с улыбкой: — А всё-таки тройку наш историк поставил себе — не сумел увлечь класс.

В результате постоянного внимания и настойчивости мы добиваемся того, что в стенах школы учащиеся ведут себя дисциплинированно. Они вежливы с нами, кланяются при встрече, подымают оброненный учителем карандаш, охотно помогают повесить карту, принести классные пособия, убрать всё после урока, они благодарят и извиняются. Но едва они вышли из школы — превращение совершилось, на улице это уж совсем не те школьники, которые только что строем вышли из класса! А дома некоторые из них и вовсе не похожи на себя: ходят в шапке, ложатся с ногами на кровать, мусорят на пол, грубят и ничем не хотят помочь матери. Организовать детей на время их пребывания в школе — важно, но невелика заслуга воспитателей, если их влияние ограничено часами учебных занятий.

Когда правила школьного режима и общежития, которые мы прививаем детям, превратятся в привычку, в неотъемлемую потребность, когда школьник — где бы он ни находился — везде будет вести себя так, как если бы он был на глазах своего учителя, — вот тогда мы скажем, что близки к решению основной задачи.

На всех классных собраниях, пионерских сборах, на заседаниях комсомольского комитета и на общешкольных собраниях говорится много хороших, искренних, горячих и мужественных слов, даётся множество торжественных обещаний... Часть этих обещаний выполняется — но только часть и не очень большая! Почему? Наш школьник безошибочно распознаёт добро и зло, его привлекают, волнуют движения высоких чувств, и вызывают негодование мелкие чувства, недостойные поступки. Он способен верно оценить и собственное поведение, чистосердечно признаться в своих ошибках. Его добрые намерения всегда искренни, он сам верит, что не свернёт в сторону... И всё же! Слово и дело — как они далеки друг от друга! Вот где, пожалуй, наше самое больное, самое уязвимое место. Коммунистическая нравственность диктуется внутренней потребностью. К этой потребности человек приходит через привычку. Воспитание воли — как мало сделано нами, какая огромная работа ждёт нас! В подавляющем большинстве случаев отсутствие дисциплинированной воли у наших воспитанников является причиной всех срывов, причиной всех наших неудач. Сознательная дисциплина держится не на одном понимании необходимости. Правильный школьный режим — средство достижения дисциплины, средство воспитания воли. Упорная кропотливая работа учителя ведётся каждый день, она складывается из мелочей, и эти мелочи определяют результаты.

«Коммунистические принципы, если взять их в простом виде, — говорил М. И. Калинин, — это принципы высокообразованного, честно-

го, передового человека, это — любовь к социалистической родине, дружба, товарищество, гуманность, честность, любовь к социалистическому труду и целый ряд других высоких качеств, понятных каждому».

«Они (эти свойства. — *Е. Н.*) могут быть глубоко внедрены в сознание ребёнка только в порядке повседневного незаметного воздействия на основе товарищеского общения в течение всего периода школьной жизни».

В этих немногих словах раскрывается смысл, содержание и форма работы учителя, ведущего молодёжь к коммунизму.

Авторитет учителя, сила его влияния на учеников сказывается прежде всего на уроке и зависит от того, как он ведёт урок. Но как бы ни было велико воспитательное значение хорошо организованного интересного урока — этого недостаточно; учитель, классный руководитель находит самые разнообразные способы воздействия на ребёнка вне класса.

Юноши и девушки девярых, десятых классов не нуждаются, подобно малышам, в постоянной опеке и руководстве учителя, но в их возрасте сильна потребность иметь старшего друга, товарища и советчика, — и таким должен быть для своих учеников классный руководитель. Если этого нет, то степень влияния учителя невелика. Наша молодёжь живёт широко и жадно. Она хочет знать всё, что есть нового в науке и технике, в искусстве и литературе, она ищет ответа на самые разнообразные волнующие её вопросы.

Недавно, просматривая тетрадки с сочинениями десятиклассников, я отчётливо почувствовала, насколько интеллектуально вырос наш школьник. И по содержанию, и по форме сочинения были неизмеримо выше тех, которые писались в школах пятнадцать лет назад. Скажу прямо: работы, за которые я сама поставила бы тогда хорошо и отлично, теперь оценивались всего лишь тройкой.

Классному руководителю старших классов недостаточно быть хорошим специалистом, чтобы расположить к себе учащихся. Если юноши относятся к нему с холодком, то это часто означает, что ученики кое в чём переросли своего учителя, и общение с ним не привлекает их. Человек широко образованный, глубоко чувствующий и знающий искусство и литературу, легко сделается другом и старшим товарищем своих воспитанников, и тогда перед ним раскроется неограниченная возможность оказывать влияние на формирование, на идейный рост молодёжи.

В среде советских учителей давно уже перевелись Беликовы. С понятием «учитель» теперь связывается представление о высококультурном, передовом, чутком и отзывчивом человеке.

В какой другой профессии есть большие энтузиасты своего дела, чем наши учителя? Учитель не считается ни со временем, ни с силами, ни с обстоятельствами, он всё сердце, всего себя отдаёт школе, классу, своим воспитанникам! С больничным листом учитель приходит в свой класс, чтобы дать контрольную работу перед концом четверти, чтобы спросить Иванова, чтобы дать возможность выправиться Петрову, чтобы аттестовать всех, чтобы присутствовать на педсовете и так далее... Прикованный болезнью к постели, он переживает душевные муки за свой класс, оставшийся без преподавателя или переданный кому-то другому — кому? Ну разве может кто-нибудь заменить его — так сроднившегося с классом, так знающего каждого из своих учеников! Для каждого из них готовы свои слова у их учителя. Источник и радости и горя учителя — его школа, его класс, его дети! Это он, учитель, растеряв сон, в долгие ночные часы перебирает в памяти особенности каждого, болеет и радуется за каждого, с надеждой и страхом смотрит на него, выпуская из-под своей опеки... Это учитель затуманившимися сле-

зой глазами читает неожиданно полученное письмо от своего бывшего ученика, и каждое тёплое слово внимания и уважения наполняют гордой радостью учительское сердце. Он читает и перечитывает короткие строки, он счастлив и без конца рассказывает товарищам: кем стал теперь Вася Кулаков, каковы его заслуги перед родиной и как он вспомнил своего старого учителя...

— Учительская лирика питается школой, — иронизирует Анна Павловна.

Когда мы сходимся с Анной Павловной, хотя бы и в домашней обстановке, все наши разговоры в конце концов сводятся к тем же темам. Они неисчерпаемы. Вот кто-то сказал: «А у нас в школе...» — «А у нас...» — и тут уж нам трудно остановиться.

— Вчера я порадовалась, — говорит Анна Павловна, — у нас было такое бурное заседание комсомольского комитета... Так разгорелись — прямо я своих девочек не узнала! Кончилось тем, что одну девушку вывели из членов комитета — за поведение, недостойное комсомолки. Посмотрим, что теперь будет... Заметь: всё сделано по собственному почину, без моего вмешательства! Я довольна. Комитет действует!

— Ну вот, а ты вечно жалуешься на отсутствие инициативы, на пассивность...

Анна Павловна смеётся:

— Меня радует, что победило чувство ответственности! Девушкам было жаль подругу — и всё-таки! Она созналась мне после, что никогда никакие взыскания, упрёки и внушения со стороны родителей и школы не могли её заставить так почувствовать свою неправоту, как почувствовала она это, выслушав суд товарищей!

Я могла бы привести десятки подобных примеров из жизни нашей школы. Всем известно, что быть вызванным на комитет для школьника зачастую куда страшнее, чем выслушать самый строгий выговор в директорском кабинете.

— Плохо то, — говорит Анна Павловна, — что райком мало занят школьными комсомольскими организациями. Всё руководство сводится к инструкциям и указаниям общего характера, а тут нужна пристальная повседневная работа. Вот если бы был комсорг, как раньше... Вести на поводу, пожалуй, не так уж трудно, нужно другое! Нужно всё время искать лучшие формы работы, нужно обновлять содержание работы! Есть школы, в которых комитет комсомола выродился в какой-то придаток учебной части, превратился в верховное судилище над двоечниками. Недавно прихожу я в соседнюю женскую школу. Передовая школа в районе, очень организованный крепкий коллектив, директор — неглупый человек. И, представь, говорит мне: «У меня все заседания комитета проходят под лозунгом: «жить — это значит любить родину». Любить родину — значит служить ей. Школьник-комсомолец служит родине тем, что хорошо учится. Если у тебя двойки — значит ты не любишь свою родину. Ты отличник — значит ты патриот!» Ну, знаешь... я только руками развела. Понятное дело, не так решаются эти задачи!

Любовь к родине неотделима от сознания советского ребёнка. Поговорите с любым школьником, послушайте, как он воспринимает то, что читается на уроке. Здесь как будто всё благополучно, всё ясно. Никакой борьбы учитель не ведёт. Патриотизм свойствен нашей молодёжи так же, как и материалистическое миропонимание. При нашей системе обучения и воспитания иначе быть не может. А вот такое вульгарное толкование патриотизма ничего, кроме вреда, ничего принести не может. Работа должна вестись серьёзно и углублённо.

...Я только что собралась заняться рассмотрением плана пионерской работы, который перед звонком оставила у меня на столе старшая вожатая, как дверь открылась, и в кабинет вошла молодая, хорошо одетая женщина.

— Простите! — заговорила она. — Я была в учительской, но там никого нет, все на уроке. Я — Щепетова! Мать Игоря Щепетова из пятого «Г». Почему-то меня вызвала Зоя Сергеевна... Что случилось? Игорь отличник, мальчик послушный, воспитанный... Я в полном недоумении, что он сделал...

Я предложила матери сесть и дождаться здесь Зою Сергеевну. Она села, а я раскрыла свою толстую клеёнчатую тетрадь с записями. «Игорь Щепетов... Что такое мне напоминается? Да, вот пятый «Г»... Щепетов Игорь. Так и есть!»

— Да, ваш сын хорошо учится... Но вот он у меня на заметке, я собиралась говорить о нём с классной руководительницей. Кое-что мне в нём не нравится.

— Но что же такое? Боже мой! Мы оба с мужем так следим за его развитием... Что сделал мой мальчик? Ах, эти дурные влияния! Я так боюсь их...

— Речь не о дурных влияниях. Я наблюдала его на уроке, на алгебре... Трудная задача... класс не может решить, а Игорь поднял руку — он решил...

— Вот видите, — просияла мать, — такой способный мальчик!

— Да, но посмотрели бы вы на выражение его лица в этот момент — торжество, высокомерие, самодовольство...

— Естественно, мальчику приятно, что он знает лучше других! Игорь такой самолюбивый — ужас! Если меня вызвали по такому поводу, то, право, даже странно.

— Не знаю, о чём хочет говорить с вами Зоя Сергеевна, но и то, что я рассказала вам, достаточно серьёзно. С вашим сыном нужна особая работа. Успех будет вернее, если мы будем работать согласованно с вами.

Мать пожала плечами.

— Что у вас за порядки — не понимаю! В школе на головах ходят! И вместо того, чтобы вызвать родителей хулиганов, вызывают меня только потому, что мой сын не так посмотрел или не так улыбнулся. Недавно я пришла в школу. В классе Игоря был пустой урок — шум невообразимый, свалка... Одни кричат просто так, другие пытаются остановить, призывают к порядку. Мой Игорь сидит и спокойно читает книжку. Что ж вы хотите? Он говорит мне: «С ними всё равно ничего не сделаешь, лучше я почитаю — всё-таки польза». И мальчик прав.

— Нет, не прав.

В кабинет быстро вошла Зоя Сергеевна.

— Очень хорошо, что вы пришли, — сказала она, дружелюбно пожимая руку Щепетовой. — Успокойтесь, пожалуйста, Игорь ничего дурного не сделал... Он очень дисциплинирован, всё так же хорошо учится, начитан, развит не по возрасту! К нему очень хорошо относятся все преподаватели. Но... видите ли, я хочу сказать, что если ваш сын одарён выше среднего, то и спросится с него больше. Ведь вы хотите, чтоб Игорь стал настоящим человеком? Ну, разумеется! Я и сигнализирую опасность. Она лежит в общественной пассивности Игоря. Приведу пример. В классе сломали выключатель — в расчёте из-за темноты уйти с последнего урока. Игорь в этом, конечно, не участвовал. Но класс доволен. Я Игорь не противится общему настроению. Домой? Ну хорошо, домой! А ведь он звеньевой! Ему просто до других нет

дела, он занят собой... Он сидит в скорлупке воспитанного мальчика: я хороший, я так не делаю! Он и некоторые его товарищи могли бы быть совестью класса...

— Ну, нельзя же предъявлять такие требования к одиннадцатилетнему мальчику...

— Можно и должно, — горячо сказала Зоя Сергеевна. — Разве вы хотите сделать из своего сына холодного эгоиста, себялюбя? Он должен чувствовать ответственность не только за своё поведение, но и за поведение товарищей. Он член коллектива, и он выбран звеньевым, ему оказали доверие...

— Ах, все эти выборные должности! Право, Игоря от них следовало освободить! Все эти лишние нагрузки вредят здоровью. Достаточно того, что он учится и не нарушает дисциплины в классе. А вы хотите возложить на мальчика функции педагога. Никто не виноват, что некоторые учителя не справляются...

Зоя Сергеевна встала, резко двинув стулом.

— Задача воспитателя заключается не только в том, чтобы не допускать нарушений дисциплины. Наша главная задача — вырастить человека! В характере вашего сына я вижу черты, которые, если их не сгладить, помешают ему быть человеком, достойным эпохи, эпохи коммунизма! Очень жаль, что вы не хотите понять меня!

Они простились холодно, недовольные друг другом, — мать унесла на лице выражение обиды и отчуждённости, учительница, огорчённая и негодующая, обратилась ко мне:

— Вот вам культурная мамаша! Двоек сын не получает, с синяками не ходит, мило улыбается — ах, чудный мальчик! А то, что у неё под крылышком вырастает отвратительный сноб, себялюб — это её не трогает!

Я поделилась своими наблюдениями на уроке математики.

— Ну, вот вам! Я так и знала. Помните Оршанского?

Оршанского я, конечно, помнила. Он в прошлом году кончил десятый класс в нашей школе. Очень одарённый юноша, умница, прекрасный организатор — за всё время я не помню лучшего секретаря комсомольского комитета. Учился блестяще, но самомнения был непомерного. Равных себе он не видел ни в ком. Иван Иванович, наш директор, вспоминая о нём, всегда говорит: «Оршанский у меня на совести, наша недоработка! Блестящие способности, а что из него выйдет, ещё не известно. Способности у него свои, а вот что сделали мы, педагоги? Испортили парня, захвалили!» Дело дошло до того, что Оршанский в десятом классе пропускал занятия, ссылаясь на свои общественные обязанности. А преподавателю литературы заявил: «Не буду учить наизусть монолог Фауста — перевод меня не удовлетворяет!» И не учил.

— Я не могу допустить, чтобы из Щепетова получился такой же Оршанский! Если мать будет поощрять в нём высокомерие — так и выйдет, с той лишь разницей, что Оршанский был активист, общественник, а Щепетов пассивен.

По приглашению Вали, старшей вожатой, и Зои Сергеевны я пришла на заседание совета отряда пятого класса «Г».

Председатель, худощавый серьёзный мальчик, огласил повестку дня. Звеньевой, невысокий румяный крепыш, удовлетворённо заявил, что у Синюхина двоек больше нет, последнюю контрольную по алгебре он решил правильно. У Андропова ещё не всё в порядке, но он дал слово, что будет заниматься.

— Я ему пригрозил: в случае чего — сниму галстук!

— Ну ты, Сашка, не очень-то...

— Что не очень-то! Я с ним каждый день сижу, пока все уроки не сделает!

— А вот у Щепетова во втором звене больше всего неуспевающих... Почему, Игорь?

Со стула поднялся мальчик с умным красивым лицом, в опрятном синем костюме.

— У Трошина с Ивановым — голуби, они с чердака не слезают, а Мишин...

— Ты бы посидел с ними, как я! — выкрикнул Саша. — Небось никогда не останешься!

— Мама требует, чтобы я приходил сейчас же после уроков...

— Разве мама не знает о твоих обязанностях звеньевого? — вмешалась Зоя Сергеевна.

— У неё своя точка зрения... — солидно ответил мальчик.

— Вызвать всех двоечников на совет отряда! — сказал председатель. — Теперь о Ерохине, — не совсем уверенно продолжил он. — Вот Зоя Сергеевна говорит, будто Игорь знал, что Ерохин хочет сломать выключатель, и не сказал ей об этом... Он виноват...

— Не виноват! — страстно выкрикнул Саша. — Он не ябеда! Мало ли что знал — и другие, может, знали!

— У вас ложные понятия о товариществе, — сказала Валя и начала пространно объяснять, какой вред заключается в устаревшем правиле: не выдавай товарища.

Мальчики сидели со скучающими лицами, и видно было, что они совсем не считают это правило устаревшим.

— Ну, хорошо, не будем говорить, почему Игорь не сообщил мне! Пусть скажет, пытался ли он остановить Ерохина?

— Всё равно он меня не послушал бы... Я промолчал.

— А! Промолчал! Вот ты всегда так! — снова закричал Саша. — Дал бы раза Ерошке!

— Сказал бы мне, — заметил председатель.

— Ребята стали кричать и стучать пальцами. Обрадовались, что уроков не будет..

— И ты обрадовался?

— Я подумал, что если два урока пропадут — не беда, и конечно, приятно прийти домой раньше...

Разговор затонул. Ребята, забыв Ерохина, все напали на Игоря.

— Он такой, — кричал Саша, — он только о себе заботится. Ему на всех наплевать. Какой он звеньевой! Все ребята в звене на него жалуются.

Общий вывод был таков: Игорь не виноват в том, что не сказал классному руководителю, но виноват в том, что сам не принял мер, не посоветовался с председателем и с членами совета отряда.

На другой день, рассказывая в учительской о «деле с выключателем», Зоя Сергеевна взволнованно призналась, как неправа была она, упрекая Щепетова в том, что он не сказал ей про Ерохина.

— Да, Зоя Сергеевна, это ошибка, — сказал директор. — Моё глубокое убеждение: нельзя ставить мальчика в положение предателя.

Старшая вожатая Валя всплеснула руками.

— Что вы, Иван Иванович! Не отрывка ли это старой школы? У нас столько разговоров о ложном товариществе — оказывается, вы поощряете!

Директор сердито забрал в кулак бородку.

— Не перегибайте палку, Валя. Вы исходите из общих моральных норм и забываете психологию. Нельзя насиловать волю ребёнка. «Не

выдавай товарища» — это заповедь ребенка с того момента, как он почувствовал себя в коллективе. Это чувство локтя... Понимаете, в чём тут трудность? — Он обратился к Зое Сергеевне: — Как вы поступили с виновным?

— Ерохина я не наказывала. Ребята сами решили отобрать у него галстук — на время.

— Итак, виновник осуждён товарищами — это хорошо, очень хорошо! — сказал директор. — Ещё лучше было бы, если б они заставили Ерохина самого сознаться в своей вине. Может быть, так и случилось бы, если б Щепетов сказал вовремя — не вам, а совету отряда! Молодцы ребята — в этом они правильно обвинили Щепетова! Усилия воспитателя должны сводиться к тому, чтобы правильно организовать здоровое общественное мнение. Азбучная истина. Но критерий морали не должен идти вразрез с внутренним ощущением «добра и зла» школьника. Мы с вами прекрасно знаем, что наши ребята обладают достаточной этической чуткостью, что наш детский коллектив и влиять и карать умеет.

— Так можно оправдать всё! — не унималась Валя. — Всё законно — и круговая порука, и списыванье, и подсказыванье!

— Не рубите с плеча, Валя. Вы ведь чувствуете, о чём я говорю... Подсказыванье, списыванье — ну, тут и разговору быть не может...

— А вот вы знаете, что было в шестом классе? Председатель отряда отобрал тетрадь с решённой задачей у своего соседа и передал Петрову, своему другу — списывай, голубчик! И, представьте, оправдывается тем, что хотел избавить Петрова от несправедливости! Ему говорит, двойку нельзя ставить, он болел, он после выучит! Вот вам председатель отряда!

— Факт недопустимый. Но в мотивах, Валя, надо разобраться. Списывание — зло. С ним боремся. Вот у нас принято давать разные варианты контрольной, а по-настоящему должна быть работа одинаковая для всех. Учитель не доверяет ученикам, не скрывает своего недоверия — не нравится мне это! Антонина Григорьевна диктует для всего класса один текст, а ведь у неё не списывают? Больше доверия и... зоркости — не в том, конечно, смысле, что надо зорко следить, не заглядывает ли кто в тетрадку соседа, — я говорю о другой зоркости... Общая картина такова: в начальной школе у нас школьник не списывает и не подсказывает, а перешёл в пятый класс — пошло! Обмануть становится интересно, весело... Возьму для примера девятый класс — уже не дети, хороший собранный коллектив, больше половины комсомольцы, а что оказалось? На классной доске пишут карандашом химические формулы так, что если стать в определённом положении относительно доски, то можно легко читать, а смотреть прямо — не видно! Случайно обнаружилось. Был у меня с ними откровенный разговор. Мы, говорят, Иван Иванович, по химии хорошо занимаемся, а это — просто так, для интереса придумали... Право, я сам склонен думать, что тут больше игры, мальчишества, чем злостного обмана! Под конец признаются мне в такой штуке: на уроках немецкого языка вывешивается у них стенгазета — обыкновенная стенгазета по виду, а на ней во всю полосу столбцами — слова, правила, словом, вся грамматика... Обновляли к каждому уроку! Понятное дело, что учитель должен предупреждать всякую возможность этакого спорта. Недоработок у нас ещё много, товарищи!

Много мучительных минут, горьких разочарований и боли от сознания своих ошибок приходится испытывать учителю в его сложном труде выращиванья человека — «труднейшем из производств», по выражению Макаренко, — но всё это искупается ни с чем не сравнимым чув-

ством удовлетворения, которое знакомо каждому из нас. Пусть даже не так часто встречаемся мы с этим чувством — но оно есть!

Я разрешаю себе мечтать, а иногда мы мечтаем вместе с Анной Павловной: сложить свои обязанности директора женской и завуча мужской школ, взять каждой по классу малышей-семилеток и пестовать их, поднимая вверх по ступеням школьной лестницы вплоть до актового зала, до торжественной минуты вручения взрослым юношам и девушкам аттестата зрелости.

Не случайно в таких мечтах рисуется нам сельская школа. В деревне особенно велико влияние школьного учителя, и, кроме того, в деревне учитель работает с полноценным детским коллективом смешанной школы, а не с односторонним коллективом — мужским или женским.

— Большой вопрос... — говорит Анна Павловна. — Когда я заговорила об этом в гороно, — мне один товарищ ответил: «Дело педагога тщательно готовиться к очередному уроку, следить за дисциплиной. А какая система обучения лучше — это не вам решать».

Только чиновник мог так ответить учителю. А жизнь? А наш практический опыт? Разве не мы, народные учителя, творцы нашей школы?

Мы хотим сами строить советскую школу, хотим сами определять её судьбу — по-хозяйски, так же, как решают вопросы развития народного хозяйства инженеры и стахановцы, колхозники и трактористы.

Размышляя о том, как лучше организовать детскую среду, как лучше вести внешкольную работу, мы пришли к заключению, что хорошо бы было организовать детский клуб.

Клуб — это центр, вокруг которого сосредоточивается вся внешкольная работа: кружки, лекции, спектакли, экскурсии и спортивные занятия. В клубе должно быть интересно, весело. Всем захочется быть членом такого клуба, но войти в члены клуба смогут не все... кое-кому доступ будет закрыт, никто не даст рекомендации дезорганизатору или лодырю.

И тут сама жизнь привела нас к новым формам работы. Не помню, кому принадлежит первая мысль, но вышло так, что педагогические коллективы наших двух соседних школ объединились.

Мы решили сообщать всю внеклассную и кружковую работу, устраивать общие спектакли, вечера, конференции, диспуты, организовывать совместные поездки за город, вместе посещать музеи, картинные галереи и театры. Всё это должно было создать условия для товарищеского общения школьников, для здорового соревнования.

Горячим энтузиастом такого клуба оказался наш Иван Иванович.

Когда на объединённом заседании двух педколлективов Анна Павловна сделала доклад о плане внешкольной работы, необыкновенное оживление охватило учителей. Каждый вспоминал свой класс, каждый вносил предложения. Со стороны могло казаться, что найдено какое-то необычайно счастливое решение всех наших наболевших вопросов — так велико было воодушевление собравшихся.

Хотелось поскорее, не откладывая в долгий ящик, приступить к осуществлению плана, поскорей рассказать обо всём школьникам.

На другой день я зашла в кабинет к Ивану Ивановичу. Здороваясь со мной, он решительным жестом снял очки:

— Я вот вчера слушал и думал: хорошее дело — организовать совместный клуб. Но ведь это компромисс. Этого недостаточно...

— Недостаточно... — согласилась я.



К 150-летию со дня смерти А. В. Суворова

К. ПИГАРЕВ

★

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Восемнадцатого мая 1950 года Советский Союз отмечает столетие со дня смерти великого полководца, одного из основоположников русской национальной школы военного искусства — Александра Васильевича Суворова.

В минувшие суровые и героические годы Великой Отечественной войны особенно близок и дорог стал нам Суворов. В ожесточённых битвах за свободу и независимость нашей Родины, в торжественном громе побед, одержанных советским народом и его доблестной армией, с особой вынятностью звучали в наших сердцах бессмертные воинские заветы Суворова. Знаменитый полководец прошлого ощущался нами как наш славный современник.

Но память о Суворове не тускнеет в нашем сознании и теперь, в период послевоенного возрождения и мирного строительства нашей страны. Мало того, именно теперь становится особенно ясным, что создатель русской науки побеждать был не только гениальным полководцем, но и подлинным борцом за русскую национальную культуру, поскольку культура военная является органической неотъемлемой частью общей культуры народа. И в этом отношении Суворов стоит в ряду величайших деятелей русской национальной культуры, разделяя славу с Петром I и Ломоносовым. Подобно трём титанам возникают они один за другим на историческом пороге России XVIII столетия. Пётр умирает за несколько лет до выхода Ломоносова на арену общественной деятельности; Ломоносов сходит в могилу, когда уже расправляет свои крылья Суворов. Борьба Ломоносова за национальный характер русского просвещения и борьба Суворова за национальные основы русского военного искусства — это различные стороны единого исторического процесса, корни которого тянутся в петровскую эпоху. Не было бы ни Ломоносова, ни Суворова, если бы им не предшествовал Пётр, но без Ломоносова и Суворова «насаждение Петра Великого» едва ли бы смогло принести те плоды, которые оно принесло.

На долю Ломоносова и Суворова выпало не только продолжить дело Петра, но и устранить некоторые ошибки преобразователя. Как известно, Пётр I широко раскрыл двери своей страны для разного рода искателей счастья, под видом специалистов нахлынувших в Россию из-за границы. При Петре, правда, они держались тише воды, ниже травы, побаиваясь его «дубинки», но зато после его смерти осмелели и подняли головы. Заполнив все главные отрасли государственного управления, они протянули свои грязные руки и к русскому просвещению. Петербургская Академия наук превратилась в тёпленькое местечко для иностранных карьеристов от науки, приехавших к нам ради наживы, — людей не только чуждых, но и враждебных России.

Ломоносов отнюдь не был склонен вообще отрицать западную культуру. Он отлично понимал ту пользу, которую она может принести его родной стране на тогдашней стадии её исторического развития. Но он не переносил «неприятелей наук российских» и посвятил себя тому, чтобы «до гроба» своего бороться с ними. Ища соратников в этой борьбе, Ломоносов призывал: «дайте возрастать свободно насаждению Петра Великого»; предупреждал, что если не будет пресечена вредоносная деятельность «неприятелей наук российских», то «великая буря восстанет».

Целям ограждения и утверждения отечественной культуры, защите её от всех посягательств врагов отвечала в конечном счёте и суворовская наука побеждать.

«Доброе имя должно быть у каждого честного человека, — говорил Суворов. — Лично я видел это доброе имя в славе своего отечества. Мои успехи имели исключительной целью его благоденствие». Убедённый в том, что война есть бедствие, а «победа — враг войны», он с тем большим рвением усовершенствовал русское военное искусство. Вот почему овладение наукой победы является залогом спокойствия народа, залогом мирного цветения и культурного развития страны.

* *
*

Рассказывают, что однажды, встретившись с механиком-самоучкой Кулибиным, Суворов трижды поклонился ему в пояс, приговаривая при каждом поклоне: «Вашей милости — Вашей чести — Вашей премудрости». Затем, указывая на Кулибина окружающим, воскликнул: «Помилуй бог, сколько ума! Много ума! Он изобретёт ковёр-самолёт».

В этих словах великого полководца прозвучала гордость за русского человека, непоколебимая уверенность в неограниченности его творческих возможностей.

«Горжусь, что я русский», — говорил Суворов. Его целью было всячески возбудить и укрепить в русских солдатах и офицерах чувство национальной гордости. Видя в героях народных сказок и былин воплощение лучших черт русского народа — любви к Родине, мужества, отваги, предприимчивости и находчивости, Суворов нередко наделял именами этих героев своих отличившихся подчинённых. «Он — русский, — говорил в таких случаях Суворов, — он — Илья Муромец, он — Еруслан Лазаревич, он — Добрыня Никитич!.. Победа, слава, честь русским!» И чем труднее задачу ставил он перед своими «чудо-богатырями», тем с большим убеждением обращался он к каждому из них: «Покажи на деле, что ты русский!»

Под Измаилом (1790), объезжая войска, Суворов не скрывал от них сложности предстоящей операции — штурма, на который, как он потом сам выразился, можно было решиться только раз в жизни: «Крепость сильна, гарнизон — целая армия, но ничто не устоит против русского оружия — мы сильны и уверены в себе». Он звал проявить эту уверенность на деле: «Валы Измаила высоки, рвы глубоки, а всё-таки нам надо его взять».

Впоследствии Суворов включил в свою «Науку побеждать» следующее наставление: «Ров не глубокий, вал не высок, бросься в ров, скачи через вал! Ударь в штыки, коли, гони, бери в полон!» Утверждение «ров не глубокий, вал не высок» в сущности означало: ров глубокий, но не для русского солдата; вал высок, но не для суворовского «чудо-богатыря» — этот перемахнёт, перелетит через любую преграду.

Вера в русского солдата не покинула Суворова и в самый драматический момент швейцарского похода, когда великому полководцу со всей ясностью открылось предательство союзников. На военном совете в Муттентале Суворов воззвал к «величайшей храбрости и высочайшему самоотвержению» своих войск и заключил речь словами: «Это одно остаётся нам. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире: мы на краю пропасти, но мы — русские!»

И суворовская армия снова оправдала уверенность своего полководца в том, что для неё нет непреодолимых преград. Недаром Энгельс, касаясь военных событий 1799 года в своей статье «По и Рейн», писал: «В сентябре того же года последовал поход Суворова, в котором, по образному и сильному выражению этого старика-солдата, «русский штык прорвался сквозь Альпы»... Этот переход был самым выдающимся из всех современных альпийских переходов».¹

Суворов видел, что не простая отвага и не показное молодечество влекут русского солдата на боевые подвиги, что им руководит присущее ему чувство национальной чести. По глубоко справедливому выражению Дениса Давыдова, «Суворов положил руку на сердце русского солдата и изучил его бытие».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XI, часть II, стр. 13.

Солдат-человек являлся в глазах Суворова основным движущим фактором войны, основным решающим фактором победы. Не оружие само по себе определяет силу солдата, а, наоборот, солдат — силу оружия. В этом, следуя по стопам Петра I, Суворов резко расходился с западноевропейскими, в первую очередь прусскими, военными теоретиками, считавшими, что главнейшим фактором войны является сила оружия, солдат же — не более как «стреляющая машина», «механизм, военным уставом предусмотренный». Разница между петровско-суворовским пониманием дисциплины и дисциплиной в теории и практике прусского военного дела заключалась в том, что в первом случае дисциплина не только не исключала разумной инициативы, но предоставляла ей широкое поле деятельности; во втором же случае понятие дисциплины суживалось до слепого повиновения и отрицало за солдатом право сознательного отношения к своим воинским обязанностям.

Люди и время — вот что, по мнению Суворова, составляло наивысшую ценность для полководца. «Деньги дороги, жизнь человеческая ещё дороже, а время дороже всего», — говорил он, стараясь подчинить себе драгоценное время. Быстрота суворовских переходов и стремительность нападения служат лучшим примером тому. Убеждённый и непримиримый враг стратегии «истощения» в понимании западных военачальников XVIII века, Суворов отдавал себе полный отчёт в её оборотной стороне: «истощается» не только противник, но и тот, кто его «истощает». Настойчивое избегание боя и длительные осадные сидения ослабляют морально-боевой дух войск.

Суворов обычно не уклонялся от сражения, а шёл ему навстречу, твёрдо уверенный в том, что «ближняя к действию цель лучше дальней». Он стремился прежде всего нанести сокрушающий удар по живой силе противника. «Оттеснён враг — неудача, — говаривал Суворов, — отрезан, окружён, рассеян — удача».

Если Суворов учил своих солдат «готовиться в мире к войне», то это не значило, что он воспитывал в них воинственные человеконенавистнические инстинкты. Напротив. Он учил их непрестанно совершенствовать своё боевое искусство, с тем чтобы в случае, если грянет война, скорейшим путём завершить её победой и миром. Именно такой смысл вложен в его завет: «готовься в войне к миру». Будучи ещё молодым офицером, Суворов осуждал действия фельдмаршала Салтыкова, не закрепившего победных результатов Кунерсдорфской битвы (1759): «На месте главнокомандующего я бы сейчас пошёл на Берлин и война могла бы кончиться». В дальнейшем ряд побед Суворова, осуществлённых им посредством стремительного наступления, имел решающее влияние на прекращение военных действий. Таковы, например, победа при Козлудже (1774), за которой непосредственно последовало заключение Кучук-Кайнарджийского мира, или взятие Измаила, имевшее не только чисто военное, но и политическое значение: падение этой турецкой твердыни предотвратило назревавшую европейскую коалицию против России. С юных лет Суворов держался правила: «Одно кровопролитное сражение исключает многие, которые в целом повели бы к ещё большим потерям».

Непримиримый к наступающему и сопротивляющемуся противнику, Суворов требовал от своих войск гуманного отношения к противнику, бросающему оружие: «Неприятель сдался — пощада». В некоторых обстоятельствах Суворов ставил «благородное великодушие» выше карающего меча. Так, например, когда после взятия Варшавы (1794) к нему прибыли депутаты для переговоров о капитуляции, он бросил на землю саблю и пошёл им навстречу, крича: «Мир! Мир!». Варшавские депутаты были крайне изумлены умеренными условиями капитуляции, предъявленными им Суворовым. Как известно, он не потребовал от них контрибуции и объявил полную амнистию всем полякам, сложившим оружие. Такой образ действий не мог не располагать польский народ в пользу русских, и Суворов был прав, говоря в 1795 году: «Если бы прусский король вздумал предпринять что-либо против России, то большая часть жителей употребит оружие в нашу пользу». Но политика, которую Суворов проводил в Польше, не отвечала видам Петербургского двора, отнюдь не склонного к «благородному великодушию» в отношении «мятежников». Постепенное

отстранение Суворова от военно-административной деятельности в Польше и последующее отозвание его в Петербург нужно рассматривать именно в этом плане.

Современники называли Суворова «генералом Вперёд». Преимущества своей наступательной тактики он сам определил в следующих образных словах своей «Науки побеждать»: «Неприятель нас не чаёт, считает нас за сто вёрст, а когда издали, то за двести, триста и больше, — вдруг мы на него, как снег на голову. Закружится у него голова: атакуй с чем пришёл...» Полагаясь на отличную боевую выучку своих войск, безошибочность собственного полководческого расчёта («глазомера») и огромную выгоду внезапности нападения, Суворов не боялся с меньшими силами атаковать численно превосходящего противника. Под Туртукаем (1773) суворовский отряд в семьсот человек рассеял четыре тысячи турок; под Козлуджей восемь тысяч русских сокрушили сорокатысячный турецкий корпус; при Рымнике (1789) семь тысяч русских и восемнадцать тысяч австрийцев под руководством Суворова разгромили стотысячную армию турок; в сражении при Треббии (1799) соединённые русско-австрийские войска в количестве двадцати двух тысяч человек одержали победу над тридцатью шестью тысячами французов. Подобные примеры отнюдь не являются исключениями: можно было бы привести ещё ряд других. Замечательно, что победы Суворова обычно достигались им ценой сравнительно небольших потерь, во много раз уступавших потерям врага: при Фокшанах — в четыре раза, при Рымнике — в десять раз и т. д. Это не значит, однако, что победы доставались Суворову легко. Он особенно ценил победы, одержанные над сильным противником. Так, например, в Италии (1799), готовясь нанести удар французам, которыми командовал талантливый и опытный генерал Моро, Суворов сказал: «Мало славы было бы разбить шарлатана; лавры, которые похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть».

Полководческое искусство Суворова было необычайно разнообразным и лишённым шаблона. Если он предпочитал наступательную тактику, стремясь сорвать планы противника, посягая растерянность в его рядах, обратить его в поспешное бегство и затем упорно преследовать «до тех пор, пока истреблён не будет», то не меньшего мастерства достиг он в искусстве активной обороны. Блестящими её образцами служат сражения при Гирсове (1773) и под Кинбурном (1787). Оба дорого обошлись противнику. При Гирсове, охраняя стратегически важный для русской армии пункт, Суворов со своим трёхтысячным отрядом наголову разгромил десяти тысячный турецкий корпус. Под Кинбурном, на Днепровско-Бугском лимане, Суворов допустил, чтобы отряд турок высажился с кораблей на берег, и атаковал его только тогда, когда он приблизился к крепости менее чем на версту. Из пяти тысячного десанта спаслось не более семисот человек. Суворов имел основание говорить потом: «Под Кинбурном я отбил у турок охоту делать высадки».

В полководческой практике Суворова оборона и вынужденный обстоятельствами отход носили всегда активный характер, являлись составными частями манёвра, рассчитанного на то, чтобы нанести решительный удар противнику. По самой сути своей они не имели ничего общего с «подлой обороной» и «гадкой ретирадой», над которыми Суворов всегда издевался и которые были свойственны западноевропейской военной практике его времени. Именно их имел он в виду, когда говорил: «Во всю жизнь свою я не знал ни отступления, ни обороны». С понятием «ретиреды» Суворов упорно боролся, не допуская, чтобы даже слово это произносилось в его войсках. «Слух, взоры и души своих воинов я предостерегал от всякого вида отступления», — говорил он. Приказывая в 1799 году Багратиону обучить русским приёмам боя союзные австрийские войска, Суворов предписывал ему «отгучить» их от «ретирады».

Однако считая, что солдат не должен и помышлять об отступлении, Суворов вменял в достоинство полководцу умение «во-время отступить без потери», когда это требуется в интересах сохранения живой силы и боеспособности армии. Вот почему «генерал Вперёд» несколько не противоречил себе, когда в Италии, сообразуясь с местными условиями, не раз отдавал приказы об отводе войск и указывал своим подчинённым на то, что «уступленный пост можно снова занять, а потеря людей невозвратима; нередко один человек дороже самого поста». Но, «оглядываясь назад»,

великий полководец, по собственному его признанию, делал это не с тем, чтобы бежать, а чтобы напасть. Свообразие отступления в полководческой практике Суворова заключалось в том, что оно было активным как по своему конечному замыслу, так и по своему выполнению. Во время легендарного перехода через Альпы истощённые, не имевшие продовольствия и боеприпасов суворовские войска не ограничивались тем, что сдерживали наседавшего на них противника, но и сами то и дело переходили в атаку, нанося ему существенный урон.

Никогда не изменял Суворову полководческий «глазомер», заключающийся в умении быстро и верно оценить создавшуюся военную обстановку, с выгодой для себя воспользоваться «положением места» (даже таким, которое могло казаться неблагоприятным) и заранее предугадать намерение противника. Суворову был присущ дар подлинного творческого вдохновения, опиравшийся на высокий морально-боевой дух воспитанных им солдат и офицеров. Прививая каждому из них «на себя надёжность», сам он в полной мере обладал этой «надёжностью» на себя и на свою армию, верил в то, что русского солдата может сломить только смерть.

Когда во время одного сражения, победный исход которого ещё не был ясен, Суворову доложили, что русские разбиты, он переспросил: «Русские разбиты? Значит они все убиты?» — Конечно, нет. — «Так, значит, они не разбиты!»

Суворов никогда не оставлял солдат в состоянии бездейственного покоя. Верный своему принципу: «Солдат и в мирное время на войне», Суворов обучал его не искусству поворотов на параде, а искусству выносливости в походе, стойкости и находчивости в бою. Ещё в бытность свою полковником, в пору командования Суздальским пехотным полком (1763—1768), он проводил непривычные для русского солдата ночные манёвры, устраивал форсированные марши, переправы через реки, заставлял суздальцев физически закалять себя. Под Измаилом Суворов приказал соорудить в тылу русских войск военный городок, напоминавший своим расположением измаильские укрепления. По ночам солдаты занимались штурмом этого городка, готовясь к атаке неприступной крепости. Суворов не допускал, чтобы чувство страха и недоверия к своим силам могло поколебать нравственное равновесие в рядах его войск. Искусным и изобретательным военным воспитателем-психологом Суворов остался и на поле боя.

Суворов, начавший свою военную службу с нижних чинов, сам был прежде всего солдатом — и в прямом, узком, и в переносном, широком, значении этого слова, сформулированном ещё Петром I: «Солдат есть имя общее, знаменитое; солдатом называется первый генерал и последний рядовой». Недаром Суворов-фельдмаршал и Суворов-генералиссимус так гордился званием — солдат.

Известен ответ Суворова лечившему его врачу, тщетно убеждавшему больного генералиссимуса подчиниться необходимому для его здоровья режиму: «Ведь я солдат». — «Вы — генералиссимус», — возражал ему врач. «Так, но солдат с меня пример берёт».

Солдат брал пример с Суворова, но и Суворов в свою очередь брал пример с солдата, затем чтобы самому быть ближе к солдату. И прозвище «солдатский генерал» привилось к нему по праву. Значение военно-воспитательной системы Суворова заключалось в том, что он не был педагогом-теоретиком. Сильный не одним военным гением, но и кровной внутренней спайкой с солдатской массой, Суворов был замечательным военным воспитателем-практиком.

Ни один из русских полководцев прошлого не оставил после себя такого большого количества военно-воспитательных наставлений и заветов, как Суворов. «Полковое учреждение» (1764—1765), приказы и распоряжения (1770—1771), относящиеся к первой польской войне, приказы и наставления времени второй польской войны (1794), наставление крестнику А. Карачаю о достоинствах офицера (1794), письмо молодому П. Скрипицыну о характере истинного героя (1794), «Наука побеждать» (1796), приказы, распоряжения и письма периода итало-швейцарского похода (1799) взаимно дополняют друг друга и свидетельствуют о непрерывном расширении суворовской науки победы. На основе глубокого знания истории и богатого личного опыта создал

Суворов законченную систему воспитания войск, являющуюся лучшим воплощением военного гения русского народа.

Военно-воспитательная система Суворова вытекает из принципа: «Каждый воин должен понимать свой манёвр». Требуя от каждого солдата и офицера сознательного поведения в бою, Суворов считал, что это «понимание манёвра» находится в тесной зависимости от их сознательного отношения к вопросам военного обучения. Не зубрить без толку, а отдавать себе полный отчёт в значении своих воинских обязанностей — вот какую задачу ставил Суворов перед своими подчинёнными. Он подымал их до себя, раскрывая перед ними основы своего военного искусства; при этом он всегда сообразовался со степенью их военной подготовки и общим уровнем развития.

В своём «Словесном наставлении солдатам о знании для них необходимом», составляющем вторую часть его «Науки побеждать», он дал первый свод военных наставлений, обращённых непосредственно к солдату, тогда как все существовавшие дотеле наставления были обращены к командиру. Считая, что незачем загружать голову солдата излишними подробностями, Суворов облёк свои наставления в предельно краткие, эмоционально насыщенные формулировки, уснащённые народными пословицами и поговорками.

В своих обращениях к офицеру Суворов выступает особенно требовательным. И это понятно. Ведь именно на офицера ложится почётная и ответственная задача обучить и воспитать солдата. Для этого офицер должен не только непрестанно расширять свои военные знания, но и быть всесторонне образованным и нравственно безупречным человеком. Он обязан тщательно изучать своего противника, знать, в чём заключается его сила и его слабость. Суворов всегда сам был верен этому правилу. Он сознавал своё превосходство над Фридрихом II — «Я лучше прусского покойного великого короля; я, милостью божиею, баталии не проигрывал», — но он включил и его в круг тех полководцев, опыт которых — хотя бы в качестве отрицательного примера — мог быть полезен молодому офицеру.

Глубокое внимание к вопросам военного воспитания в их органической связи с вопросами обучения характерно вообще для русской национальной школы военного искусства. Бывали в истории русского военного дела такие периоды, когда это внимание не только притуплялось, но проблемы воспитания вытеснялись задачами обучения, сводившимися к мёртвой рутине, «шагистике» и «ружистике». Всякий раз это означало внедрение в русскую армию чуждых её национальным особенностям форм военного дела. Неизменным образцом для подражания выступала в таких случаях прусская военная система.

В борьбе за укрепление и развитие национальных основ русского военного искусства прославил своё имя не один Суворов. Ещё Семилетняя война выдвинула ряд деятелей, которые могли бы написать на своём знамени слова Ломоносова: «Дайте возрасть свободно насаждению Петра Великого». С этой стороны заслуживают нашего внимания и Салтыков, победитель Фридриха II под Кунерсдорфом, и Пётр Шувалов, высоко поднявший значение русской артиллерии, и в особенности Румянцев, которого мы чтим как одного из основоположников русского военного искусства. Выдающееся полководческое дарование Румянцева признавал Суворов, с гордостью заявлявший: «Суворов — ученик Румянцева». Но, благодаря своему могучему гению, Суворов выступает далеко вперёд из рядов своих соратников. Недаром те принципы, за которые они боролись, стали в дальнейшем называться суворовскими.



Суворов воплотил в себе лучшие отличительные черты русского человека. Его «Наука побеждать» носит печать глубоко русского склада ума. Но, как Пётр I, как Ломоносов, как Пушкин, Суворов был чужд национальной исключительности. Он впитал всё здоровое и жизнеспособное, что было создано многовековым военным опытом народов. Будучи прежде всего русским полководцем, одним из наших нацио-

нальных героев, Суворов принадлежит в то же время к числу самых замечательных мировых полководцев.

Воспитанный в классических традициях, он видел в знаменитых героях античного мира своих великих предшественников. Придавая большое воспитательное значение историческим образцам, Суворов хотел, чтобы с него брали пример так же, как он брал пример с Юлия Цезаря или с Александра Македонского: «Потомство моё прошу брать мой пример».

Однако великие предшественники отнюдь не были в глазах Суворова образцами недостижимыми — он учил не подражать им, а состязаться с ними. «Возьми себе в образец героя древних времён, — говорил он во время швейцарского похода генералу Милорадовичу. — Наблюдай его, иди за ним вслед: поравняйся, обгони — слава тебе! Я выбрал Кесаря — Альпийские горы за нами, бог перед нами: ура! Орлы русские облетели орлов римских».

Облететь и обогнать — это не значит принизить свой образец, это значит в самом превосходстве своём показать себя достойным сравнения с ним. Блестящим примером такого состязания с Суворовым представляется нам Кутузов. Отлично усвоивший принципы суворовской военной школы, Кутузов при штурме Измаила был «правой рукой» великого полководца. Впоследствии ему пришлось действовать в значительно более сложных исторических условиях, чем Суворову. Война не была для Кутузова средством решения чисто военных задач: она являлась для него одним из способов решения задач общеполитических, будучи неразрывно связана с дипломатией. В самом себе Кутузов сочетал гений полководца и замечательный талант дипломата. И зная, как дальновиден и разнообразен в своих приёмах был Кутузов-дипломат и какой неисчерпаемый запас военной хитрости и тонкого расчёта таил в себе Кутузов-полководец, можно сказать, что он был стратегом в дипломатии и дипломатом в стратегии.

Если Суворову не пришлось вести ни одной войны, от исхода которой непосредственно зависели бы национальная целость и государственная независимость Родины, то именно такую войну довелось вести Кутузову в 1812 году. В борьбе с Наполеоном Кутузов не только руководил армией, по своей численности значительно превосходившей военные силы, которые когда-либо возглавлял Суворов, но и придал организованный характер партизанской войне, установив тесное взаимодействие армейских партизанских отрядов с отрядами крестьян, поднявшимися на защиту Отечества.

Обогащая и расширяя русскую науку побеждать, Кутузов всегда отдавал себе отчёт в органической связи своего военного искусства с военным искусством Суворова, который не переставал быть для Кутузова символом победы. «Пусть всякий помнит Суворова: он научал сносить и голод, и холод, когда дело шло о победе и о славе русского народа», — так говорил Кутузов в 1812 году, призывая своих солдат на боевые подвиги. Он обращался с этими словами к армии, в рядах которой было ещё немало суворовских богатырей, героев Рымника и Измаила, ветеранов итальянского и швейцарского походов. Упоминание имени Суворова с восторгом встречалось солдатами: «Кутузов помнит, Кутузов любит Суворова!»

И можно не сомневаться в том, что если бы Суворову довелось разбирать стратегические и тактические приёмы Кутузова в Отечественной войне 1812 года, он, не обинуясь, признал бы его достойным питомцем своей суворовской школы военного искусства.

Перед грандиозными победами нашей советской эпохи меркнут все, даже самые необычайные, победы Суворова и Кутузова. Но из этого не следует, что образы этих знаменитых полководцев и патриотов должны потускнеть в нашем сознании. Вовсе нет. Мы всегда будем благодарны им за то, что они завещали нам свой пример. Недаром в героические дни Великой Отечественной войны товарищ Сталин назвал их имена в ряду других имён наших великих предков, призывая вдохновляться их мужественными образами в борьбе с фашистскими захватчиками.

Ярким доказательством всенародного признания заслуг Суворова перед потомством служит присвоение его имени одному из высших военных орденов, учреждённых Советским правительством, а также открытие суворовских военных училищ.

Лучшим памятником Суворову является грандиозный расцвет советского военного искусства, поднятого на новую, ещё не виданную высоту гением Сталина, и та борьба за мир, которую неуклонно вела и ведёт наша великая Родина. Вооружённая самой передовой современной наукой побеждать, она выиграла жесточайшую из войн, которые когда-либо знала история. Оправдав глубокую жизненность суворовского завета «Победа — враг войны», могучий Советский Союз высоко держит в своих руках знамя мира, объединяющее все прогрессивные и миролюбивые силы человечества против чёрных козней империалистической агрессии.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. КОВАЛЬЧИК

★

ЖИВАЯ ЛИТЕРАТУРА И МЁРТВАЯ СХЕМА

Закон жизни и развития советской литературы является свободное творческое соревнование писателей всех жанров, всех направлений, представителей разных поколений нашей литературы, писателей всех народов нашей страны.

Принцип творческого соревнования писателей является выражением социалистического характера нашей литературы. На основе этого принципа только и возможно настоящее свободное развитие творческих индивидуальностей во всём их своеобразии, непрерывный рост сил нашей литературы.

Соревнование было основным методом роста советской литературы с первых этапов её развития, когда в области культуры ещё имели силу элементы непролетарские, мелкобуржуазные и буржуазные.

Отвечая на вопросы В. Билль-Белоцерковского, товарищ Сталин так определил пути роста советской литературы:

«Конечно, очень легко «критиковать» и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое лёгкое нельзя считать самым хорошим. Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путём создания могущих её заменить настоящих, интересных, художественных пьес советского характера. А соревнование — дело большое и серьёзное, ибо только в обстановке соревнования можно будет добиться формирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы»¹.

Эти слова были сказаны товарищем Сталиным в 1929 году. И благодаря тому, что партия и лично товарищ Сталин постоянно указывали писателям на необходи-

мость широко развёртывать творческое соревнование, сделать соревнование формой развития литературы, благодаря тому, что партия осудила метод администрирования, декретирования в литературе, стало возможным в короткие исторические сроки создать литературу социалистического качества, выражающую правду новых общественных отношений.

Если метод соревнования был главным и самым правильным в тех условиях, когда ещё только шёл процесс кристаллизации советской литературы, когда стояла задача вытеснить, выжить всевозможную макулатуру буржуазного образца, то ещё более действенное и всеобъемлющее значение получает соревнование в условиях победившего социализма. Творческое соревнование даёт замечательные результаты во всех сферах общественного труда советских людей, оно повсеместно в нашей жизни открывает дорогу новому, передовому, даёт простор личной инициативе, изобретательству. Творческое соревнование стало законом развития советской литературы, создаваемой трудом многих и разных писателей, объединённых одной благородной целью — работать для блага своего народа, своей великой Родины. И как во всех областях труда советских людей, каждый новый успех литературы не может не стать достоянием общественным, ступенью нового роста, движения вперёд.

Ежегодное присуждение Сталинских премий является подведением итогов творческого соревнования писателей. Оно помогает развивать и совершенствовать нашу литературу, создавать изобилие духовной культуры в нашей стране.

Такого творческого соревнования, в котором участвуют все писатели, полно и свободно выражающие свои творческие склон-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 328.

ности, такого соревнования нет и не может быть в странах империализма, где литература отторгнута от народа, где душается всякое свободное слово, где господствующие отношения купли-продажи развратили писателей, сделали их лакеями при буржуазии. Здесь наградой и поощрением пользуются наиболее продажные писаки, усердствующие в том, чтобы всячески попирать интересы своего и других народов, пропагандировать человеконенавистничество. И какой может быть разговор о свободе творчества буржуазного литератора, о разнообразии творческих направлений, когда литература в странах империализма стала одним из средств разжигания войны, розни между народами? Нет нужды в соревновании там, где литераторы изощряются только в изображении безобразного, патологического, пытаются внушить своими сочинениями презрение к человеку. Сосредоточенная на изображении всевозможных уродств, буржуазная литература до предела однотонна, обезличена в своей кричащей примитивности и убожестве. Эта литература только бизнес. Поэтому буржуазному литератору надо писать или по общему стандарту, чтобы попасть в общий модный поток и урвать свой кусок пирога, или же ошеломить экстравагантностью. Но экстравагантность, самоцельное оригинальничание никогда ещё не были выражением настоящей, то есть человеческой сущности таланта. Для пустого оригинальничанья таланта, собственно, вовсе не нужно.

Насколько широким и действенным является творческое соревнование советских писателей, можно судить по итогам присуждения Сталинских премий за истекший год, хотя и любой другой год даст столь же явные подтверждения глубины и силы творческого соревнования.

Среди лауреатов 1949 года — писатели разных национальностей. Здесь русские писатели — С. Бабаевский, Ф. Гладков, В. Вишневский, Б. Лавренёв, С. Михалков и др., писатели Советской Украины — М. Рыльский, Н. Рыбак, старейший писатель Таджикистана Садриддин Айни, грузинский поэт И. Гришашвили, таджикский — М. Миршакар, азербайджанские писатели — Мехти Гусейн и Сулейман Рустам... Советская литература — детище всех народов великого социалистического государства. Она создаётся трудом писателей всех на-

циональностей нашей Родины и, многогранная, многообразная по своим национальным формам, она самим фактом своего неуклонного развития и обогащения выражает непобедимую жизненную силу дружбы народов.

Своеобразие культуры каждого народа нашей страны полно и свободно выявляется в условиях советского строя. Но это национальное своеобразие не есть нечто застывшее, отгораживающее культуру одного народа от всех других. Национальное своеобразие выражает собою самобытность социалистических наций, объединённых великой исторической целью строительства коммунизма. Поэтому чем полнее оно, это своеобразие, выражено в произведении, тем выше народность этого произведения, тем ярче раскрывает оно глубочайшую связь жизни своего народа с историческими судьбами всех народов нашей страны и тем ценнее оно для широких слоёв советских читателей.

Сталинской премией отмечены «Повесть о детстве» Ф. Гладкова и книга воспоминаний Садриддина Айни «Бухара». Обе книги посвящены прошлому, воссозданному в обоих случаях с настоящей исторической конкретностью, вниманием к психологии людей, их быту, противоречиям действительности. Ф. Гладков повествует о русской деревне конца прошлого века, о судьбах русского крестьянства, разоряемого эксплуататорами и жадно ищущего исхода из нужды и горя. Садриддин Айни раскрывает своеобразный характер социальных противоречий в жизни своего народа и так же, как Ф. Гладков, с особым вниманием относится ко всему, что знаменует собой будущее обновление жизни. Материал у писателей был разный, и это не могло не наложить отпечатка на характер их книг. Но разница ощутима не только в материале. Она сказывается и на способе изображения. Традиции русской прозы и особенно традиции А. М. Горького характерны и для Ф. Гладкова, и для Садриддина Айни. Каждый из писателей, творчески осваивая эти традиции, даёт своё решение поставленной задачи. У Ф. Гладкова — это эпически широкое изображение процесса жизни, непрестанного роста и выявления противоречий в психологии и практике людей, это внимание к росткам нового, которые несомненно разовьются в будущем и приведут к

победе трудящихся, иными словами, это строго реалистическое повествование, в котором ошутимо передано, что всё прошлое обозревается с позиций исторических завоеваний социализма. У Садриддина Айни горьковские традиции преломляются по-своему, в сочетании с традициями демократической таджикской литературы, и это определяет собою неповторимость облика, характера произведения, в котором простота и строгость повествования соединяются то с сатирическими, то с лирическими интонациями. Но и та и другая книга находятся в русле литературы социалистического реализма. Книги эти проникнуты глубокой убежденностью в правоте дела народного, дела освобождения, они оптимистичны, хотя и показывают без прикрас «свинцовые мерзости» прошлого, по выражению Горького.

Свобода выражения национального своеобразия каждой из наших литератур находит многочисленные и яркие подтверждения. Голос Мирсаида Миршакара, поющего славу людям колхозного труда Таджикистана («Золотой кишлак»), обличающего колонизаторов Востока, англо-американских империалистов («Непокорённый Пяндж»), нельзя смешать с голосом азербайджанского поэта Сулеймана Рустама, хотя, как и Миршакар, Сулейман Рустам в книге стихов «Два берега» выражает гнев народа против поджигателей войны, англо-американских монополистов, и горячие симпатии к борющимся, угнетённым народам Востока.

Дело защиты мира и безопасности — настоящее, кровное дело советских людей и прогрессивных сил всего человечества. Поэзия борьбы за мир и торжество демократии против поджигателей новых войн создаётся в наши дни трудом поэтов всех республик Советской отчизны. Эта поэзия даёт замечательный пример глубочайшей народности советской литературы. В ней получает зримое выражение прочная вера советских людей в то, что силы мира и демократии непобедимы. В ней во весь голос звучит идея интернационализма и патристической гордости советских людей за свою могучую Родину. Эту поэзию борьбы и непоколебимой веры в победу создают поэты русские и украинские, азербайджанские и узбекские, таджикские и белорусские, латышские и эстонские... Она звучит на языках всех народов нашей страны и выражает волю народов. Эти боевые стихи советских

поэтов — свидетельство их плодотворной учёбы у великих классиков русской поэзии и у лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи Маяковского. И в каждом случае поэтические традиции претворяются вполне оригинально, в соответствии со всем характером жизни народа, чувства и мысли которого выражает поэт.

Богатство и разнообразие советской литературы обусловлены её живыми связями с действительностью, с народной жизнью. Чужда советской литературе та обезличенность, стандартность, которая органически присуща буржуазному искусству.

Как и раньше, среди лауреатов Сталинской премии 1949 года есть писатели всех поколений. Такие, как Б. Лавренёв, Ф. Гладков, В. Вишневский, М. Рылский, И. Гришашвили, В. Ильенков, принадлежат к старшему поколению советских писателей, их имена давно известны читателям, эти писатели участвовали в формировании советской литературы с первых её шагов. Другие, как С. Бабаевский, К. Симонов, В. Панова, А. Яшин, С. Михалков, Н. Рыбак, Э. Казакевич, стали писателями в годы сталинских пятилеток и Великой Отечественной войны. Но есть в списке лауреатов 1949 года имена авторов первых произведений, как А. Волошин, написавший роман «Земля Кузнецкая», или писатели хотя и работавшие в нашей литературе ряд лет, но только теперь создавшие произведения большого звучания.

В течение многих лет работал Константин Седых над романом «Даурия» и создал большое эпическое произведение о жизни Забайкальского казачества в условиях царской России и на великом историческом переломе — в борьбе за власть Советов. Теперь труд писателя получил заслуженное признание.

Давно работает в литературе Ксения Львова, всегда стремившаяся глубоко познать жизнь, характеры советских людей. Её повесть «На лесной полосе» — результат вдумчивого изучения действительности, умения автора увидеть и передать главное в советских людях — их устремлённость к новому, волю к труду.

Для А. Коптяевой, автора романов «Фарт», «Товарищ Анна» и удостоенного Сталинской премии романа «Иван Иванович», характерно внимание к вопросам

морали, семьи, быта. Знание действительности позволяет А. Коптяевой правдиво показывать жизнь, воспитывать в читателе уважение ко всему новому, решимость закончить с пережитками старого.

Мы знаем А. Чаковского по его повестям о жизни ленинградцев периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. В романе «У нас уже утро» писатель раскрывает пафос обновления исконно русских земель Южного Сахалина, вырванных победоносной Советской Армией из рук японских империалистов.

В творческом соревновании участвуют, таким образом, все поколения наших писателей. И каждый год выявляются новые и новые дарования, ярче раскрывается талант уже известных писателей. Нельзя не видеть в этом одну из закономерностей советской культуры: непрерывный рост её деятелей, постоянный приток новых сил. Где бы ни жил писатель — в Москве, в республиканском центре или в области, к какому бы поколению деятелей литературы он ни принадлежал, но если он создал произведение жизненно правдивое, отмеченное трудом и дарованием, он получает заслуженное признание.

2

На каких же путях достигают успеха советские писатели? Что примечательного открывают нам в этом смысле итоги развития литературы за 1949 год?

Это прежде всего путь изображения правды жизни, всё большего сближения литературы с действительностью. Это путь совершенствования мастерства, создания образов обобщающей силы, с наибольшей полнотой выражающих то, чем живёт советский народ.

В мире нет более правдивой, более бесстрашной литературы, чем наша советская литература. Чем полнее и ярче изображает писатель правду нашей действительности, тем большей действенной силой обладает его произведение, тем большим доверием пользуется писатель со стороны читателя. По самому характеру своему, по глубине связей с народной жизнью советская литература чужда идеям бегства от действительности в мир «творимых легенд» или субъективных, предвзятых представлений и

иллюзий. Это литература реалистического познания и отображения мира в целях его революционного преобразования в интересах людей труда, народа.

В творческом соревновании писателей победителями оказываются те из них, кто глубже и полнее знает жизнь, кто пишет о ней правдивее и потому имеет возможность с наибольшей полнотой проявить зрелость своего дарования, стать писателем-новатором, сказать своё новое слово. Напротив, те писатели, которые в силу каких-либо причин испытывают недоверие к действительности, считают, что красок самой жизни недостаточно для того, чтобы увлечь читателя, те писатели, которые становятся на путь литературного украшения, неизбежно обедняют, искажают жизнь, а всё их мастерство в конечном счёте оказывается не только далеко не оригинальным, а порой попросту эпигонским, или лежит в русле устарелой традиции, мешающей свободному выражению нового содержания жизни. Литература 1949 года даёт тому доказательство.

Читателям известна статья М. Бубеннова о романе В. Катаева «За власть советов», опубликованная газетой «Правда». Это пример партийной, принципиальной и товарищеской критики работы писателя. Статья М. Бубеннова ещё раз напоминает писателям о том, что всякое отступление от правды жизни неизбежно влечёт за собой и художественную несостоятельность произведения. В романе Катаева не получили жизненно верного изображения ни руководящая деятельность партийной организации, ни борьба советского подполья, потому что писатель не проявил настоящего доверия и внимания к действительности, он искал иных, сугубо литературных способов «оживления» повествования, пользовался давно испытанными приёмами занимательности, а в результате обеднил и изображаемую жизнь, и собственное дарование.

Другой случай отступления от правды жизни представляет роман В. Каверина «Открытая книга», первая часть которого была опубликована в «Новом мире» в 1949 году. Хороший замысел — показать жизненный путь, процесс становления советского учёного-женщины — был решён писателем в столь условном плане, что оказалась нарушенной правда характера главной героини Тани Власенковой. Её трудно воспри-

нять в качестве будущего передового деятеля нашего общества. В «Открытой книге» В. Каверин отказался от одного из важных завоеваний литературы социалистического реализма, отказался от того, что, думалось, стало уже основанием творчества и самого В. Каверина и так ярко проявилось в романе «Два капитана». Речь идёт об изображении характера человека не как пассивного результата обстоятельств жизни и не как поставленного над этой жизнью, а в живых, активных связях человека с окружающим миром. В новом романе В. Каверина рост характера главной героини представлен как самостоятельный процесс, вне решающего воздействия действительности, без достаточной связи с ней. Если же действительность и изображается писателем, то почти всегда внешний мир возникает как нечто случайное для героини, мешающее ей, отвлекающее в сторону от чего-то «главного». Пресловутый метод «остранения» формалистичен и не может служить предпосылкой творческого успеха советского писателя. Метод этот не соответствует поставленной писателем цели. Не случайно, когда В. Каверин от изображения «роковой любви», от изображения захолустного мещанского быта переходит к показу новых революционных явлений жизни — деятельности комсомольской организации, вузовской общественности — он деформирует эти явления, рисует их поверхностно и неверно.

Требование изображать правду жизни открывает настоящий простор для совершенствования мастерства писателя, для новаторского труда в искусстве. Писатель, правдиво повествующий о жизни, пылливо относящийся к самой действительности, глубоко изучающий её, уже тем самым вступает на путь подлинного, а не мнимого новаторства. Это новаторство, вытекающее из необходимости и потребности в полную меру выразить характер нашей жизни, неуклонное её движение к новому.

Эта неразрывная связь и взаимообусловленность формы выражения, совершенствования художественного качества произведения с требованием идейной глубины и правдивости содержания подчёркнута во всех документах партии по вопросам литературы и искусства. В постановлении об опере В. Мурадели «Великая дружба» дана исчерпывающая оценка мнимого новаторства

формалистического направления в музыке и обосновано подлинное новаторство, имеющее своим источником жизнь народа, демократические традиции русской музыкальной культуры. А в постановлении о кинофильме «Большая жизнь» с полной определённою было сказано о том, что художник оказывается во власти банальных способов решения темы, как только он отступает от нового в жизни, от правды современной действительности и навязывает зрителю свои отсталые и ограниченные представления. Напротив, когда художник идёт навстречу новому, глубоко изучает самый материал действительности, ему уже нет нужды прибегать к псевдонаторскому, формалистическому способу «подачи» материала, ему открываются в этом случае настоящие творческие пути к истинному новаторству в искусстве.

Для нас, литераторов, могло показаться неожиданностью появление в партийной печати летом 1949 года статей о крупнейших недостатках пьес А. Софронова «Карьера Бекетова» и В. Кожевникова «Огненная река». Могло показаться неожиданным потому, что в писательской среде не была развёрнута по-настоящему критика и самокритика, что здесь царил примиренческое отношение к недостаткам работы литературных авторитетов, и далеко не все выводы сделали мы из указаний партии, постоянно подчёркивающей взаимосвязь содержания и формы в искусстве, огромное значение мастерства для писателя. Могло показаться, что вот-де теперь настала очередь поставить вопросы художественного качества. На самом же деле вопросы идейного содержания литературы и её художественного качества никогда не ставились обособленно друг от друга, в какой-то «очередности». Несостоятельные пьесы А. Софронова и В. Кожевникова стали поводом для того, чтобы с новой силой напомнить: не может быть в среде писателей безответственного отношения к художественному качеству произведения! В тех случаях, когда проявляется пренебрежение к форме, неизбежно искажается и содержание произведения, становясь ложным, каким бы значительным ни был первоначальный замысел автора.

Вопросы формы, совершенствования художественного качества — это не вопросы кампании, кратковременного мероприятия,

осуществив которое, можно спокойно почитать на лаврах или перейти к следующим «очередным» делам. Это коренной вопрос роста нашей литературы — полноты выражения в ней правды жизни, силы её воздействия на широкие слои читателей.

Мастерство наших писателей было бы совершеннее и выше, если бы литературная критика оказывала действенное, плодотворное влияние на литературу, была бы свободна от групповых, приятельских соображений, в угоду которым делаются непростительные отступления от основных марксистско-ленинских положений об искусстве, извращаются принципы развития литературы советского общества.

Отставание в области формы художественного изображения жизни даёт себя знать и на произведениях, отмеченных Сталинскими премиями. Иные из этих произведений страдают растянутостью, неслаженностью композиции. Это заметно на романе К. Седых «Даурия», в котором рядом с яркими и художественно завершёнными главами, рисующими картины классовой борьбы в Забайкалье, есть главы растянуто-описательные, лишённые подлинной художественной выразительности. Заметно это и на повести в стихах А. Яшина «Алёна Фомина» — произведении народном, образно богатом. Самый выбор жанра — повесть в стихах — не освобождает автора от необходимости строить повествование более динамично, не допуская затянутых описаний, ослабляющих эстетическое впечатление от произведения. Недостаток композиционной слаженности и роману Г. Медынского «Марья», в котором с излишней детализацией, например, рассказано — именно рассказано, а не показано в действии — о настроениях Семёна, не сразу нашедшего своё место в колхозе после возвращения с войны.

Многое предстоит сделать нашим писателям и в таком важнейшем вопросе, как создание характера положительного героя. Нередко писатель, рисуя образ героя и не располагая при этом достаточной для глубокого обобщения суммой жизненных наблюдений, исходит не из задачи отражения сущего, а из схемы должного. Показ становления характера положительного героя в живом процессе победоносной борьбы нового со старым требует большого художественного мастерства, базирующегося на

пристальном и широком изучении действительности, не одного избранного писателем объекта, а множества жизненных фактов и явлений. Это не значит, разумеется, что писатели должны воскрешать рапповскую схему «живого человека», снабжая положительного героя мелкими «житейскими» недостатками, это лишь значит, что характер литературного героя должен быть показан не готовым, с раз навсегда приданным ему набором должествующих качеств и свойств, а формирующимся и обогащающимся в процессе преодоления жизненных противоречий. Так фигура секретаря Южно-Сахалинского обкома Русанова (в романе А. Чаковского «У нас уже утро») или секретаря райкома в «Марье» Г. Медынского намного выиграли бы и значительно сильнее захватили бы внимание читателя, если бы мы увидели их внутренний мир, их мысли и чувства, их радости и тревоги — словом, увидели бы в их лице не только хорошо и правильно показанную функцию руководства, но и живые человеческие характеры, растущие и крепнущие в борьбе за победу нового.

Особенно много трудных, нерешённых вопросов формы в области поэзии и драматургии. Здесь опыт развития советской литературы не обобщён, и много путаницы, извращений внесено формалистами, критиками-эстетам и космополитами. Много ещё предстоит сделать писателям и критикам, чтобы до конца разоблачить вреднейшие космополитически-эстетские теории, вооружить писателей положительным знанием вопросов мастерства.

3

Глубокая, органическая связь идейности, правдивости содержания произведения с подлинным новаторством художественных способов изображения действительности — всегда процесс живой и непрерывно развивающийся и потому исключает необходимость декретировать раз и навсегда готовые правила для нашей литературы, втискивать её в какие бы то ни было искусственные рамки. Нельзя предлагать писателям ограниченные рецепты, вне которых будто бы невозможно существование литературы.

Социалистическая идейность советской литературы, её связь с передовым опытом народа, строящего коммунизм, правдивость изображения существеннейших сторон жиз-

ни в непрерывном её развитии, движении к новому — эти основы нашей литературы заключают в себе возможность богатого разнообразия красок и форм, разнообразия средств художественного выражения.

И всё же находятся люди, которым не по нраву это разнообразие и которые пытаются втиснуть живую, постоянно развивающуюся литературу в придуманные схемы, навязать писателям предвзятые мёртвые правила, остановить естественное движение литературы. Таково выступление А. Белника, опубликовавшего в журнале «Октябрь» (№ 2, 1950) статью «О некоторых ошибках в литературоведении». Вреднейший смысл этой статьи был до конца вскрыт в редакционных статьях газет «Правда», «Культура и жизнь», «Литературная газета». Исчерпывающим образом было доказано, что А. Белик «пытается возродить давно разоблачённые и осуждённые нашей партией сектантские установки рапповцев, противопоставлявших писателей-коммунистов беспартийным писателям, насаждавших групповщину»¹.

Статья А. Белника порочна не в каких-либо отдельных положениях, а порочна целиком, от начала и до конца — и по приёмам критики, и по выводам. В статьях партийной печати была разоблачена и разбита система взглядов этого новоявленного рапповца.

Читая статью А. Белика, испытываешь прежде всего недоумение, которое скоро сменяется возмущением: откуда у этого человека, только-только начавшего выступать в печати и ещё ничего не сделавшего для литературы, столько апломба, зазнайства, презрения к труду других людей?

Чего стоят, например, такие назидательные, менторские рассуждения А. Белика:

«Мы повторяем эту мысль, ибо хотим, чтобы её усвоили, запомнили все, кому дороги интересы социалистической литературы, не только современные, но и будущие. Мы повторяем эту мысль потому, что имеется немало литераторов, кричащих о всеобщем торжестве социалистического реализма, о том, что, мол, пора оставить разговоры о борьбе с его противниками, как никому не нужные скучные дрязги».

Спрашивается, что даёт Белику право приписывать многим советским литераторам

обывательские настроения? Откуда эта презрительность в тоне, это неумное чванство, это высокомерие? Традицией нашей советской печати является чувство уважения к труду всех людей, уважение к читателям, к которым обращается автор. А читая сочинение А. Белика, не можешь не почувствовать его самонимия, его неуважения к труду людей, о которых он пишет, пренебрежения к читателю, к которому критик обращается.

А. Белику ничего не стоит приписать себе заслуги, ему не принадлежащие, представить себя в таком ореоле единственного глашатая абсолютной истины. Он пишет, например:

«Мы имеем в виду бытующее в нашей литературе деление русского общественного движения 40—50 годов XIX века на два течения: западников и славянофилов. Пора бы, кажется, заменить эту терминологию научной, марксистской, отражающей подлинное содержание различных направлений общественной мысли».

Эти строки не что иное, как недозволенный в советской критике приём — попытка выставить себя самого в качестве первооткрывателя истины, в одиночку пекущегося о чистоте науки. А ведь читателям известно, что ещё в 1948 году, когда отмечалось 100-летие со дня смерти В. Г. Белинского, термин «западник» был отброшен как не состоятельный, не выражающий сущности позиций великого русского революционного демократа Белинского. Как же хватило у А. Белика смелости приписывать себе то, что уже сделано другими? Такая же по меньшей мере нескромность проявилась и в том, что А. Белик приписывает себе заслугу критической оценки повести К. Симонова «Дым отечества», когда всем известно, что впервые ошибки этой повести были вскрыты в статьях партийной печати (статья Н. Маслина в газете «Культура и жизнь»).

Менторство, зазнайство, высокомерие — эти приёмы А. Белика далеко не оригинальны. Они почерпнуты им из мутного источника сектантской рапповской критики, пытавшейся в своё время шельмовать и писателей и читателей, но, естественно, потерпевшей полный крах.

Из того же источника почерпнуты А. Беликом и способы расправы с «противниками». Без тени смущения или неловкости

¹ «Правда» от 30 марта 1950 года.

автор развязно производит всякого рода передержки, подтасовки, искажения цитат, добываясь одного — представить критикуемых им людей безнадежными невеждами.

Нет возможности исчерпать все случаи беликовских передержек и извращений. Сошлёмся только на два из них.

Подвергая критике книгу А. Еголина «Освободительные и патристические идеи русской литературы XIX века» за действительные и мнимые, приписываемые автору самим А. Беликом ошибки, критик без зазрения совести «свободно» использует текст критикуемой книги так, как это нужно ему, А. Белику. Вот как, например, пользуется критик цитатой из книги:

«...А. Еголин в своей книге утверждает, что «Чернышевский всей своей теоретической и практической деятельностью пропагандировал «крестьянскую социалистическую революцию» (подчеркнуто нами. — А. Б.). Между тем каждому известно, что крестьянская революция не может быть социалистической. А. Еголин не делает различия между утопическим социализмом и подлинным, научным, пролетарским социализмом».

Белик сделал своё дело — уличил А. Еголина в невежестве. Но обратимся к книге А. Еголина, проверим, как же писал он о Чернышевском, как выглядит на деле приведённое Беликом положение. В книге мы читаем:

«Чернышевский всей своей теоретической и практической деятельностью пропагандировал крестьянскую социалистическую революцию. Именно под этим знаменем тогда шли все лучшие передовые люди страны на борьбу с феодально-крепостническим строем. Для нас, оценивающих прошлое с позиций марксизма-ленинизма, очевидно, что понятие социалистическая и крестьянская революция — несовместимы. Борьба крестьянства с помещиками в основе своей была борьбой за американский тип буржуазного развития России против прусского типа. Мы знаем, что победа над царизмом была возможна только при условии объединения крестьянской и пролетарской революции».

Как видим, автор книги проводит различие между тем, какой представлял себе крестьянскую революцию Чернышевский и какой она могла быть на деле. А. Белик же умышленно обрывает цитату с тем, что-

бы, побив А. Еголина по сути дела его же собственными словами, изобличить критикуемого автора в невежестве, а себя преподать в качестве безупречного блюстителя истины.

В другом месте А. Белик пишет:

«Формирование философских взглядов Герцена А. Еголин объясняет сплошными влияниями западных мыслителей, но никак не влиянием русской действительности того времени».

Вот, казалось бы, неопровержимое обличение А. Еголина в тягчайшем грехе низкопоклонства. Но посмотрим, что же сказано о Герцене в книге А. Еголина. Здесь мы читаем: «В силу более позднего развития России по сравнению с некоторыми западноевропейскими странами русские мыслители должны были усваивать идеи, шедшие извне. Но гениальные русские люди никогда не были подражателями. Воспринимая критически европейские идеи, наши мыслители развивали их дальше и шли своими, оригинальными путями. Это в полной мере относится к Белинскому, Герцену, Чернышевскому и Добролюбову».

Можно говорить о недостаточности определения, данного здесь А. Еголиным, но никак нельзя в этом случае приписывать автору книги низкопоклонства перед Западом, как это делает А. Белик, делает с одной единственной целью — ошельмовав труд других людей, показать свою сверхбдительность.

Мы привели эти два способа «обработки» А. Беликом книги А. Еголина не для того, чтобы сказать, будто книга эта безупречна и не нуждается в критике, а для того, чтобы подчеркнуть, что А. Белик дискредитирует дело критики недозволенными в советской литературе приёмами и методами. О такого рода критике А. Фадеев правильно говорил на XIII Пленуме Правления ССП, что авторов её следует привлекать к уголовной ответственности. Когда же А. Белик касается действительных, а не сочинённых им самим ошибок книги А. Еголина, то он просто-напросто повторяет ранее сказанное о ней в печати в статьях А. Фадеева, Н. Глаголева и других, но только «забывает» сказать об этом и выдаёт себя за «первокритика».

Бесчестность приёмов, зазнайство, зашатательность соединяются у Белика с предельной невежественностью.

Белик берётся судить о многих важных вопросах развития нашей литературы — об отношении к классическому наследству, о методе советской литературы, — не дав себе труда усвоить даже те выводы, которые давно уже вошли в обиход всех культурных людей нашей страны. Как справедливо было подчеркнуто в статьях партийной печати, Белик даёт извращённое истолкование политики партии в литературе, вульгаризирует в сектантском рапповском духе само понятие метода социалистического реализма. Невежественный этот критик пытается внести раскол в среду советских литераторов, внушить большому числу беспартийных писателей, будто им не дано быть создателями произведений социалистического реализма.

В отношении к наследию классиков А. Белик пытается ревизовать ленинское учение о преемственности, об освоении великих традиций русской классической литературы. Высказываясь в духе пролеткультовщины и рапповского нигилизма, А. Белик отказывает великим писателям прошлого в способности правдиво отразить действительность. Вот типичный образец вульгаризаторских рассуждений новорапповца А. Белика. Оказывается, «напрасно искать отображения его (революционного движения самих масс. — *Е. К.*) в произведениях таких писателей, как Чехов и Л. Толстой, не говоря уже о Златовратском и других. Слов нет, Л. Толстой и А. Чехов величайшие русские писатели, гордость и слава нашей литературы; но разве автору не известно, — поучает Белик, — что эти писатели были весьма далеки от понимания содержания и характера революционного движения во главе с социалистическим пролетариатом, что Л. Толстой был противником научного, революционного социализма, а Чехов его совершенно не понимал?»

Рассуждение это, как видим, далеко не новое. В «разоблачении» классиков активно упражнялись и пролеткультовцы, и рапповские горе-теоретики. Эта ликвидаторская позиция А. Белика идёт вразрез с классической ленинской оценкой творчества Л. Толстого, как «зеркала русской революции», как отражения протеста самих масс. Ленин писал, что в произведениях Толстого нашло отражение «Великое народное море, взволновавшееся до самых

глубин...», что «Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая еще не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними».¹

Не случайно воскрешаются А. Беликом разбитые нигилистические теории. Он пытается всеми способами расшатать, подорвать реалистическую основу нашей литературы — и классической, и современной. В типично ликвидаторском духе он подвергает сомнению способность беспартийного писателя отражать правду жизни. Это ликвидаторство тем вреднее, что всюду А. Белик прикрывает его пышной, а по существу демагогической фразеологией, делая вид, что он заботится о чистоте советской литературы, о незамутнённости её социалистического качества.

На словах А. Белик не знает удержу в превознесении нашей литературы. По мнению А. Белика, недостаточно, видите ли, сказать, что наша литература, и в частности творчество Горького, представляет собою шаг вперёд в художественном развитии человечества. Куда же это годится, не перестаёт волноваться А. Белик, говорить о шаге вперёд, когда надо определить иначе, более весомо — «не шаг и не ступень, а новая эпоха», «революционный переворот в мировой литературе». А. Белик не может допустить, чтобы кто-то рассматривал творчество пролетарского писателя Горького «наряду с писателями-реалистами, которые не имели идейной связи с пролетарским социализмом». Оказывается, «считать Горького только продолжателем (пусть даже на новом этапе) классической литературы — значит отрицать революционную сущность социалистической литературы, не понимать диалектического характера художественного развития человечества». Это ли не пример заботы о чистоте нашей литературы!

Но в этом превознесении Горького и намеренном умалении писателей, не имевших «идейной связи с пролетарским социализмом», отчётливо выразилась ликвидаторская сущность паучений А. Белика. Разорвать все живые и действенные связи советской литературы, и в частности её основоположника Горького, с тем, что было создано

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 16, стр. 323.

великими русскими писателями в прошлом, извратить партийную оценку связи литератур — вот к чему устремляется этот критик-невежда. Ему нипочём то, что в памятной всем советским людям речи товарища В. М. Молотова на похоронах А. М. Горького было сказано:

«По силе своего влияния на русскую литературу Горький стоит за такими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как лучший продолжатель их великих традиций в наше время»¹.

Нагло игнорирует А. Белик и положение, развитое в докладе тов. А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», о том, что «лучшая традиция советской литературы является продолжением лучших традиций русской литературы XIX века...»².

На словах А. Белик превозносит советскую литературу, а на деле занимается не чем иным, как извращением её характера, смысла, направления её развития. Так А. Белик ведёт атаку на линию партии в области литературы. При этом А. Белик допускает чудовищные извращения принципа партийности нашей литературы.

По определению товарища Жданова «ленинский принцип партийности литературы — важнейший вклад В. И. Ленина в науку о литературе»³. В этом принципе находят продолжение и развитие лучшие традиции революционно-демократической русской критики — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, поборников реалистического, общественного направления в искусстве.

Принцип партийности нашей литературы никогда не был и не мог быть призывом к сектантской отгороженности одной группы передовых писателей от другой. На всех этапах борьбы ленинский принцип партийности литературы сплачивал всех лучших передовых писателей, вне зависимости от прямой принадлежности их к партии большевиков, открывал им широкие пути к подлинно народному творчеству, выражающему глубочайшую необходимость для народа перестроить мир на новых началах. Поэтому нет ничего вреднее, как трактовать принцип партийности в сектантском духе. Статья А. Белика представляет

собою вопиющий пример извращения и опошления этого принципа.

А. Белик ничего не понял и ничего не вынес из чтения статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература»: не понял её политического боевого характера, её направленности против враждебной буржуазной идеологии, прикрывавшейся тогда, в 1905 году, маской и лозунгом беспартийности, не понял того, что Ленин в этой статье обосновал становление литературы не узко-групповой, а по-настоящему глубоко общественной, народной, творимой многими писателями, литературы подлинно свободной, открыто связанной с пролетариатом, с делом освобождения всех трудящихся, служащей миллионам и десяткам миллионов трудящихся, одухотворённой идеей социализма, опытом практической борьбы за его осуществление.

А. Белик обнаружил своё беспримерное невежество, сделав вывод, будто бы слова Ленина по адресу буржуазных литераторов применимы к советским литераторам, живущим в новых исторических условиях победившего социализма, укрепившегося морально-политического единства всего советского общества.

А. Белик пишет: «Ведь и по сей день в сознании некоторых литераторов не искоренены ещё пережитки торгашеских отношений, бюрократизма, элементы карьеризма...» Идейними противниками для этого незадачливого критика оказываются не продажные буржуазные писаки, а... «некоторые литераторы» нашего общества. На них направляет удары этот сверхбдительный критик, пекущийся о чистоте нашей литературы и забывающий на деле об исторических завоеваниях социалистической революции, о коренных изменениях в сознании людей, боровшихся за победу нашей Родины, за укрепление её могущества.

Высокомерно упрекая критиков в том, что они «уклоняются от решения теоретических проблем социалистического реализма», и менторски взывая: «Пора понять, что всякое исследование вопросов истории и теории литературы в отрыве от теории социалистического реализма обречено на неизбежное научное поражение» — А. Белик сам представляет наглядный пример пресловутого «научного (?) поражения». Вульгарными оказываются все его «теоретические открытия», явно обнаруживает

¹ В. М. Молотов. Статьи и речи 1935—1936. Партиздат ЦК ВКП(б), 1937, стр. 238.

² Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, 1946, стр. 26.

³ Там же.

этот «теоретик» свою зависимость от дурных образцов рапповской критики.

Понятие метода социалистического реализма оказывается для этого «теоретика» уже недостаточным, как бы устаревшим, и он выдвигает иное — «партийный метод художественного творчества». При этом А. Белик старательно разъясняет, что далеко не все писатели имеют право владеть этим методом, что «не все появляющиеся в советской литературе произведения написаны методом социалистического реализма», что этот метод существует чуть ли не для избранных. Все эти рассуждения А. Белика заставляют вспомнить, как в своё время вредители, окопавшиеся в РАПП'е, тоже возомнили себя «теоретиками», выдвинули понятие «диалектико-материалистического метода» в художественном творчестве, внешне архиреволюционное, а по существу направленное лишь к тому, чтобы расколоть ряды нашей литературы, подорвать её основу — реализм, связь с жизнью, внести смуту в среду писателей, посеять подозрение и недоверие к честным литераторам, связавшим свою судьбу и свой труд с общим делом народа. И всё это только потому, что эти писатели беспартийные, а как таковые, не вправе будто бы владеть «диалектико-материалистическим методом».

Плохих наставников избрал себе А. Белик, повторяя вдребезги разбитые «теории» и «теорички» авербаховского толка, вредной, тенденциозной является его статья, насквозь проникнутая чуждым советскому литератору духом сектантства.

Это сектантство тем нетерпимее, что для него нет ни малейшей почвы в современной советской литературе.

В речи перед избирателями 9 февраля 1946 года товарищ Сталин говорил:

«В былые времена коммунисты относились к беспартийным и к беспартийности с некоторым недоверием. Объясняется это тем, что флагом беспартийности нередко прикрывались различные буржуазные группы, которым невыгодно было выступать перед избирателями без маски. Так было в прошлом. Но теперь у нас другие времена. Беспартийных отделяет теперь от буржуазии барьер, называемый советским общественным строем. Этот же барьер объединяет беспартийных с коммунистами в один общий коллектив советских лю-

дей. Живя в общем коллективе, они вместе боролись за укрепление могущества нашей страны, вместе воевали и проливали кровь на фронтах во имя свободы и величия нашей Родины, вместе ковали и выковали победу над врагами нашей страны. Разница между ними лишь в том, что одни состоят в партии, а другие нет. Но это разница формальная. Важно то, что и те и другие творят одно общее дело. Поэтому блок коммунистов и беспартийных является естественным и жизненным делом»¹.

Это единство целей советских людей, сплочённость их в единый коллектив, испытанный годами труда и борьбы, характеризует и состояние нашей литературы. Она создаётся трудом писателей и коммунистов, и беспартийных, равно заинтересованных в том, чтобы создать произведения, достойные пашей великой Родины, достойные славы своего народа, укрепляющие его могущество.

Не удастся беликам подорвать эту основу общего труда советских литераторов, посеять смуту и недоверие к большому отряду наших писателей.

4

Отличительная особенность «теоретизирования» А. Белика состоит в том, что все положения его — дурная схоластика, все они до крайности метафизичны.

Ревнитель «развёрнутой (!) теории социалистического реализма», он игнорирует конкретную, жизненную основу нашей литературы, связь писателей с действительностью, способность их отразить правду жизни. Понятия народности, реализма А. Белик считает незначительными, не заслуживающими серьёзного изучения. Зато больше всего беспокоит этого горе-«теоретика» неутолимое желание стать пророком, вождем «новых законов художественности», создать систему правил, придать ей общеобязательное значение. Его совсем не интересует живое, конкретное и многообразное развитие литературы, ему хотелось бы навязать ей сумму раз навсегда готовых, общеобязательных приёмов.

Вот типичный образец рассуждений Белика на эту тему:

¹ И. Сталин. Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы. Госполитиздат, 1950, стр. 23—24.

«Наша литература знаменует собою перелом (на меньшее Белик не согласен.— Е. К.) не только потому, что она самая идейная литература в мире, что она отображает новую, социалистическую действительность, но и потому, что делает это при помощи новых приёмов и способов художественного изображения».

Об идейности, об отражении действительности говорится мимоходом, ударение поставлено именно на «новых приёмах», этим обеспокоен А. Белик. Он не устаёт повторять, что «для советского художника явно недостаточен арсенал старых приёмов и способов художественного изображения действительности», он снова и снова настойчиво отрывает современную литературу от классического наследия и подчёркивает, что писать надо «по новым законам художественного творчества». А Белик рекламирует себя в качестве некоего литературного законодателя, которому известны все тайны обогащения арсенала «приёмов и способов художественного изображения новыми законами типизации, построения художественного образа, сюжета, композиции и т. д., т. е. новыми законами художественности».

Читая эти рассуждения, нельзя не вспомнить о том, что в пору, когда шёл процесс кристаллизации советской литературы, не было недостатка в такого типа законодателях литературы, которые из кожи вон лезли, изобретая рецепты «совершенно новой», совершенно якобы «сверхреволюционной» литературы. Но вспоминается и другое—от всех этих самозванных менторов искусства—и богдановско-пролеткультовского, и формалистского, и рапповского толка—не осталось и праха, а живая литература, питаемая соками жизни, шла своим путём, опрокидывая все и всяческие искусственные построения и схемы, как вредные, ложные.

В чём же суть литературного «законодательства» А. Белика? В том, чтобы пресечь возможность для писателя свободно выражать свою творческую индивидуальность (и это основано на недоверии к писателям и к самой действительности), положить предел многообразию форм, характерному для литературы социалистического реализма, до предела её унифицировать, сделать однообразной и однотонной. Об

этом исчерпывающе сказано в редакционной статье газеты «Культура и жизнь»:

«...незадачливый критик в том же совершенно рапповском духе выступает против многообразия форм, стилей и жанров в искусстве социалистического реализма, против многообразия проявления творческих индивидуальностей советских писателей. Вопреки плодотворному опыту развития советской литературы, давшей многообразие форм и жанров, А. Белик требует, чтобы раз и навсегда были декретированы определённые манеры и средства выражения, «соответствующие» методу социалистического реализма. Так может рассуждать только безнадежный метафизик и догматик, неспособный рассматривать вещи в их многообразии и в развитии и изменении»¹.

Вместо того, чтобы заниматься живым и нужным делом—критической оценкой творческих результатов развития нашей литературы, оценкой конкретного труда советских писателей и на этом основании делать обобщения о закономерностях её развития, о её успехах и недостатках, А. Белик, презирая реальный опыт литературы, пренебрегая её связью с действительностью, занимается вредным измышлением «законов», «правил» и «средств» художественного изображения, по-формалистски отрывает эти «средства» от идейного содержания литературы. С подлинной критикой эта позиция ничего общего не имеет.

5

Статья А. Белика в наиболее конденсированном виде представила те вредные для нашей литературы положения, которые, к сожалению, бытуют и в некоторых других критических работах.

Нельзя не обратить внимания, например, на статью М. Шкерина «Об одном из главных героев», напечатанную тоже в журнале «Октябрь» и тоже в «Трибуне писателя». Хотя редакция оговаривает, что «Статьи этого отдела печатаются в порядке обсуждения», однако, напечатав статью М. Шкерина в № 4 за 1949 год, редакция так и не сообщила читателям впоследствии, в чём она согласна с автором статьи и в чём ему возражает. Иными словами, никакого обсуждения статей, помещённых в «Трибуну писателя»,—в «Октяб-

¹ «Культура и жизнь» от 31 марта 1950 года.

ре» практически не бывает, и неверные выводы авторов этих статей так и остаются неоспоренными.

М. Шкерин посвятил свою статью самой актуальной теме — произведениям о рабочем классе, об индустриальном труде. Неоспоримо важное значение имеет задача подвести итоги тому, что уже сделано в этой области советскими писателями, как изображают писатели жизнь и труд рабочего класса нашей страны. Не менее важно определить, в чём недостатки этих произведений и какими путями пойдёт наша литература дальше. К сожалению, важный и нужный замысел был решён М. Шкериным несостоятельно, вследствие односторонности его позиций, узко-группового подхода к явлениям литературы. М. Шкерин до предела обеднил нашу литературу, тенденциозно представив её развитие.

Прежде всего вызывает решительное возражение стремление М. Шкерина столкнуть, противопоставить друг другу различные направления нашей литературы, опыт одних писателей объявить верхом совершенства, а опыт других начисто зачеркнуть, как якобы абсолютно несостоятельный. Делается это так: произведения «своих» оцениваются с учётом исторической обстановки того времени, когда они появились, а произведения «чужих» подвергаются строгому суду современника, без малейшей попытки понять и вскрыть, какие стороны и черты действительности своего времени эти произведения отразили. Такая «методология», конечно, не может быть признана достижением, ничего путного, стоя на таких групповых позициях, создать невозможно.

Не случайно поэтому М. Шкерин прибегает к чудовищным натяжкам и допускает произвольные, ни на чём не основанные выводы. Так, например, в самом начале своей статьи он устанавливает, что «литература о рабочем классе распадается как бы на две отличные друг от друга группы произведений. Первая открывается «Цементом» Ф. Гладкова, вторая — «Фабрикой Рабле» М. Чумандрина. И там и тут мы видим советских рабочих, но освещены они по-разному. В «Цементе» и некоторых других произведениях, примыкающих к этой группе, ярко выявлена революционная, преобразующая роль рабочего класса и руководящая, идейная роль большевист-

ской партии. В «Фабрике Рабле» и некоторых других руководящая идейная роль партии затуманена».

Далее М. Шкерин подробно «опровергает» «Фабрику Рабле». Трудно понять, на чём основано утверждение о том, будто бы роман М. Чумандрина, как известно слабый, не имевший никакого значения для развития советской литературы и давно забытый читателями, будто бы этот роман определил собою целое направление в литературе. Здесь чистейший домысел критика, имеющий своей целью подготовить почву для атак на ряд других произведений советских писателей, вывести их за скобки советской литературы. Это делается и по отношению к романам И. Эренбурга «День второй» и «Не переводя дыхания», а в какой-то мере и в отношении романов — М. Шагинян «Гидроцентральный», А. Малышкина «Люди из захолустья» и других произведений, изображающих труд рабочих, вплоть до произведений самого последнего времени.

Что же даёт М. Шкерину основание провести такой «водораздел» — одних писателей всемерно возвышать, других изничтожать? В статье ответ на этот вопрос подчеркнут многократно. Оказывается, одни писатели показали «нам неукротимую силу коммунистического сознания, двигающего людей на преодоление, казалось бы, непреодолимых трудностей», показали героев, наделённых коммунистическим сознанием, а другие писатели рисуют действительность «как бы с «той» стороны», не называют «главного возбудителя... — коммунистическое сознание».

Всё и вся в статье М. Шкерина ставится с ног на голову. Начисто изымается главная сущность нашей литературы — реализм, её связь с народной жизнью, правдивость изображения процессов действительности. Взамен этого вульгарно понятая, сектантски истолкованная партийность творчества, взятая с отрыве от реализма, народности литературы, используется в качестве средства для ниспровержения одних писателей и возвеличения других.

Для М. Шкерина существует только литература должного, а не сущего, литература, которой он отказывает в необходимости изображать сложный процесс жизни в её противоречиях, в постоянной борьбе нового со старым, в преодолении старого

не по каким-то прописным путям и рецептам, а в жизненно-правдивых столкновениях, конфликтах.

Сколь узка и несостоятельна эта позиция М. Шкерина, можно заметить по логике самой его статьи, в которой концы с концами не сходятся, так как, несмотря на все усилия автора, никак нельзя, говоря о литературе, выбросить вон понятие действительности, отражения правды жизни.

М. Шкерин пишет: «В первой половине тридцатых годов вышло много произведений о героических усилиях рабочего класса. Тут и упоминавшиеся уже нами романы (М. Шагинян, В. Катаева, И. Эренбурга.—Е. К.), и хорошая повесть Б. Полевого «Горячий цех», и повесть Ю. Крымова «Танкер «Дербент» и ряд других. Но автор настоящей статьи считает самым значительным произведением тех лет два романа Василия Ильенкова («Ведущая ось» и «Солнечный город»).

Не будем возражать против того, что М. Шкерин не нашёл нужным даже упомянуть о романе Н. Островского «Как закалялась сталь», где, как известно, новаторски решена тема труда. Не будем пристрастны и к тому, что автор не счёл нужным сказать также хоть что-либо о значении произведений Ю. Крымова, показавшего рождение нового, стахановского труда — величайшего перелома в сознании рабочих. Согласимся с тем, что автор статьи имел право говорить о том, что представляется ему наиболее интересным в литературе тех лет.

Но вот М. Шкерин начинает рассуждать о романах В. Ильенкова. Он говорит о том, что В. Ильенков показал «психологию рабочих — старых и молодых, передовых и отсталых» и тех, кто жил «далёким от общественной жизни» и позже «осознал свою ответственность перед народом», и тех, кто с самых низов подымается к участию в общественной жизни. Другими словами, автор статьи справедливо видит силу В. Ильенкова, как писателя, в умении правдиво изображать процессы самой действительности, непрерывные изменения психологии людей, форм жизни.

Так на каком же основании М. Шкерин не применил подобного же подхода к роману А. Малышкина «Люди из захолустья» или к роману М. Шагинян «Гидроцент-

раль»? Почему здесь он выступает догматиком, забывает о действительности, отражённой в этих произведениях, не пытается даже вскрыть, в чём сила и в чём слабость этих произведений. Почему не вспомнил он, например, о том, как оценил роман А. Малышкина М. И. Калинин, сказавший: «Здесь удивительно конкретно, в соответствии с жизненной правдой, показан рост людей из маленьких городов захолустья на больших стройках. У нас этот рост идёт повсюду и во всех сферах человеческой деятельности»¹.

А М. Шкерин не заметил никакого положительного содержания в романе. Он нашёл только, что якобы А. Малышкин «отражает нашу действительность как бы с «той» стороны», что «о размахе социалистического наступления по всему фронту мы можем судить лишь по тому, как суживается мир чуждых нам людей, как они отступают, яростно огрызаясь и рыча от боли, как хитрят, изворачиваются, натягивая на себя личину передовых советских людей».

Статья М. Шкерина, обсуждение которой так и не состоялось на страницах журнала «Октябрь», статья ложная по установкам, беспринципная, групповая. Принцип партийности в ней истолкован в сектантском духе, что не могло не привести автора статьи к обеднению нашей литературы, извращённому истолкованию самих её основ — идейности, народности, реализма.

Обращает внимание и то, что по адресу «своих» — авторов, печатающихся в «Октябре», — М. Шкерин не делает ни одного критического замечания, зато проявляет неудержимое стремление к разносу, как только речь заходит о «чужих». Ничего, кроме вреда, такая критика нашей литературе не приносит.

Духу сектантства в литературной критике нужно положить конец. Мы не сможем успешно бороться за подъём идейно-художественного уровня нашей литературы, если будем относиться терпимо к выстулениям групповым, сектантским, мешающим движению нашей литературы к новому.

¹ М. И. Калинин. О литературе. Ленинград, 1949, стр. 90.

* *
*

Для вреднейших рассуждений А. Белика, так же как и для критических упражнений М. Шкерина, была предоставлена «Трибуна писателя» в журнале «Октябрь».

Но А. Белик, как и М. Шкерин, использовал также и трибуну XIII Пленума Правления ССП, когда статья А. Белика ещё не была опубликована. Он выступил с теми же самыми положениями, которые в более законченном виде увидели свет на страницах журнала «Октябрь». Об этом приходится говорить потому, что, к большому огорчению, в среде литераторов А. Белик не получил сразу должного отпора, не был понят в своём настоящем качестве. В своём заключительном слове А. Фадеев резко критиковал нигилистическое, по существу пролеткультовское отношение А. Белика к наследию классиков. Но порочные выводы А. Белика о сущности советской литературы, его сектантские рапповские мышления остались без оценки. Не дал отпора А. Белику и никто из участников пленума. Всё это говорит о том, что в нашей среде ещё не изжит либерализм, терпимость ко всякого рода отклонениям от правильных позиций, что порой за громкой фразеологией мы не умеем распознать действительную сущность той или другой ложной «теории».

Пленум подчеркнул значение критики и самокритики для дальнейшего роста нашей литературы, осудил все и всяческие поползновения к зажиму критики, равно как и недобросовестную критику, исходящую из соображений не принципиальных, групповых. Несомненно положительно значение пленума. Однако обсуждение вопроса о состоянии и задачах литературной критики могло бы быть более плодотворным, если бы этот вопрос рассматривался не в отрыве от общего развития литературы, а в неразрывной связи с ней. Тогда бы скорее прояснились многие пока ещё запутанные вопросы критики, отчётливее было бы видно, что нужно сделать для её подъёма. Совсем неслучайно, что в выступлениях представителей братских республик эта тенденция соединять вопросы критики с общим процессом роста литера-

туры, с её потребностями была главенствующей. Так, например, в выступлении товарища Краульниша (Латвия) было отмечено, что неверное истолкование проблем реализма в ряде критических работ мешало приближению писателей к жизни, питало собой ложно-романтические, украшательские тенденции в латвийской поэзии.

В редакционной статье газеты «Культура и жизнь» — «Об одном рецидиве рапповщины» дано своевременное указание в отношении места и роли критики в развитии литературы. Здесь сказано:

«Необходим коренной перелом в отношении к критике со стороны редколлегии литературных журналов и со стороны Союза писателей. Критика — это не «второй эшелон» литературного фронта, а его передовые позиции. Нам нужна принципиальная литературная критика, способствующая идейно-художественному росту советских писателей и мастеров искусств».

Глубокая заинтересованность партии и правительства в развитии литературной критики ярко проявилась в том, что среди лауреатов Сталинской премии за 1949 год есть целая группа литературоведов и критиков. Высокую оценку получает творческий труд критика, помогающий по-настоящему раскрыть богатства нашей многонациональной литературы, способствующий её неуклонному движению к новому. Дело критики приумножать количество таких трудов, созданных не только на материале прошлого, но и на основе современности. Настоящего, глубокого изучения опыта нашей литературы ждёт от критиков читатель, и, несомненно, только работы, позитивные по содержанию, помогут осветить пути к будущему, будут содействовать совершенствованию идейно-художественного качества нашей литературы. В таких работах нуждаются не только советские люди, но и наши друзья за рубежом, развивающие сейчас в странах народной демократии свою национальную культуру. Эта большая созидательная работа — первое условие авторитета критики в глазах читателей. Она-то и положит конец всякой возможности печатать на страницах журналов вздорные и вредные вульгаризаторские статьи.

Т. МОТЫЛЕВА

★

ЧЕРТЫ ПРОГРЕССИВНОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В литературной жизни зарубежных стран происходят знаменательные события. «Мы живём в эпоху, когда с каждым днём усиливается движение народных масс по пути к демократии и социализму, когда лагерь мира и демократии превратился в могучий фактор всей международной обстановки».¹ Творческие силы прогрессивной литературы заметно растут. Растёт международный авторитет передовых писателей, их известность, степень их воздействия на массы.

И на Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже и Праге, и на тех съездах и конференциях в защиту мира, которые состоялись в течение последнего года в ряде стран, был отчётливо слышен голос писателей. В числе делегатов Всемирного конгресса было 246 литераторов. В состав постоянного Международного комитета сторонников мира входят: Александр Фадеев, Александр Корнейчук, Илья Эренбург, Ванда Василевская, Луи Арагон, Пабло Неруда, Говард Фаст, Мартин Андерсен Нексе, Йоганнес Бехер, Анна Зегерс, Го Мо-жо, Жоржи Амаду, Людмила Стоянов, Михаил Садовяну. Среди активнейших деятелей движения за мир и Николай Тихонов, и Поль Элюар, и Ян Дрда, и Жан Лаффит, и Эми Сяо, и многие другие известные поэты и прозаики разных стран. Само это широкое участие выдающихся писателей в большом общественно-политическом движении, охватывающем около половины населения земного шара,

представляет нечто небывалое в истории мировой литературы.

Жизнь помогает отличить подлинный гуманизм от ложного.

События последних лет помогли демократической литературной общественности произвести переоценку ценностей, пересмотреть некоторые установившиеся репутации, разоблачить литературных хамелеонов, которые, зарабатывая себе популярность «актуальной» тематикой, пытались обзавестись уютными квартирками по обе стороны баррикады. А некоторые из них — подобно Эптону Синклеру — сами разоблачили себя, открыто скатившись в реакционное болото.

Империалистические агрессоры подтягивают идеологические резервы, ведут борьбу за писателей. Им подчас удаётся сбить с толку одних, подкупить других.

Но в то же время рост демократических сил во всём мире, активность масс в борьбе против поджигателей войны, успехи стран народной демократии — всё это привлекает и вдохновляет лучших, честных, талантливых художников.

Сегодня прогрессивный писатель — это тот, кто активно выступает на борьбу за мир и демократию против империалистических агрессоров и прежде всего против оплота мировой реакции — империализма США.

Сегодня прогрессивный писатель — это тот, кто словом и делом содействует борьбе трудящихся против эксплуататоров, не отделяя своей творческой работы от этой борьбы.

Сегодня прогрессивный писатель — это тот, кто активно поддерживает Советский

¹ Г. М. Маленков. 32-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. М. 1949, стр. 17.

Союз и страны народной демократии в их борьбе за мир.

Литераторы, стоящие на реакционных, буржуазных позициях, неизбежно приходят к отказу от жизненной правды в искусстве, к человеконенавистничеству и аморализму, к творческому вырождению. Лишь те писатели, которые поддерживают трудящихся в их борьбе за мир, оказываются в состоянии создавать правдивые, содержательные, художественно-полноценные книги. Глубина и сила их реализма, как правило, определяются тем, насколько глубока и осознана их ненависть к миру эксплуататоров, насколько глубоко и искренно прониклись они передовыми идеями эпохи.

Успехи отдельных буржуазных литераторов в последние десятилетия определялись именно тем, что этим литераторам удавалось правдиво отразить существенные жизненные явления (примером могут служить «Гроздь гнева» Стейнбека или «Королевская кровь» Синклера Льюиса). Но когда эти же писатели сползают на буржуазно-охранительные позиции, они, как правило, творчески деградируют.

В последние годы советская критика уже не раз писала о маразме и вырождении современной буржуазной литературы: о человеконенавистнических измышлениях Сартра, о космополитических бреднях Жюлья Ромэна, о беспримерном цинизме американского фашиста Э. Паунда, об обезьяньей «философии» Хаксли.

С достаточной ясностью установлено, что современные буржуазно-эстетские мэтры, с барским зазнайством отворачивающиеся от народа и проповедующие отрешённость искусства от политики, верой и правдой служат империалистическим агрессорам, поддерживают их политику, выполняют и их волю. Элиоты, сартры и им подобные эстетствующие жрецы искусства, обращающиеся к узкому кругу «посвящённых», по идейной направленности своих писаний не отличаются от вульгарных ремесленников пера, развращающих обывательские массы своей авантюрно-криминальной продукцией. И те и другие делают одно и то же чёрное дело, отравляя сознание читателя своей грубой клеветой на человека, пропагандой аморализма, культом смерти. Не случайно журналчик английских эстетов и космополитов «Хорайз», недавно приказавший долго жить

за недостатком подписчиков, незадолго до своего закрытия рекламировал порнографические романы Г. Миллера. Не случайно современные американские эстеты расхваливают гнусные измышления троцкистского писаки Оруэлла.

Писания буржуазных декадентов различных мастей и калибров не только воинствующе реакционны по своему политическому содержанию, но и вопиюще антихудожественны.

Говард Фаст говорит в своей интересной критико-публицистической книжке «Литература и действительность»:

«Новые эстеты... отходят от действительности двумя путями. Один путь... отмечен грубейшим презрением к человеку, растущим равнодушием и моральной развращённостью, доходящими до того, что человек приравнивается к таракану. Другой путь, как мы можем видеть на примере многих новых поэтов, представляет поиски чего-то, что можно было бы противопоставить жизни, и неминуемо приводит к неврастеническому обожествлению смерти. В обоих случаях отход от действительности неминуемо влечёт за собой вырождение литературной продукции, даже если её оценивать (как привыкли делать её авторы) только с точки зрения формы. Ясность затемняется мутью и в конечном счёте исчезает; стиль сводится к низкопробной дешёвке; воцаряется банальность, прикрываемая эгоцентрическим самодовольством; непонятность возводится в добродетель, и действие неумолимо вытесняется из повествования».¹

В самом деле: литераторы современного декаданса, сочетающие формалистические фокусы с грязным натурализмом, неминуемо приходят к «вырождению литературной продукции» не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения формы. У них налицо, прежде всего, распад художественного образа, подмена живого человека — манекеном, карикатурой, стилизованной абстракцией. У них налицо распад литературного языка, нарочитое загрязнение языка нецензурными вульгаризмами, подмена живой народной речи заушными словесными вывертами. У них налицо, наконец, распад сюжета, подмена реальных жизненных конфликтов и законо-

¹ Howard Fast. Literature and reality. 1950, стр 21.

мерностей — иррационалистическим хаосом невероятных событий, в которых человеку отводится жалкая, унизительно-пассивная роль (все эти характерные черты современной реакционно-декадентской литературы очень полно выражены в нашумевшей книжке Хаксли «Обезьяна и сущность»). Само «мировоззрение» современных декадентствующих мракобесов — будь то модная знаменитость вроде Сартра или безымянный поставщик детективного чтива — неминуемо влечёт их к систематическому производству лжи, к систематическому надругательству над правдой искусства.

Но упадок буржуазной литературы проявляется не только в засилии подобных уродов. Он выражается и в другом. Те немногие настоящие художники, которые внутренне связаны ещё с капиталистическим миром, переживают глубочайший творческий и идейный кризис. Им трудно создавать произведения высокого художественного уровня, произведения, которые были бы достойны их дарования.

Даже самый большой талант, даже хорошие намерения не могут спасти писателя от творческих срывов, если он отравлен ядами современной реакционной буржуазной идеологии.

Подлинные художественные ценности создают ныне именно те писатели, которые находятся в демократическом, антиимпериалистическом лагере, в лагере защитников мира.

2

В ходе второй мировой войны неизмеримо вырос международный авторитет Советского Союза. Во всём мире неизмеримо вырос авторитет рабочего класса и его коммунистического авангарда.

Это изменившееся соотношение социальных и политических сил отразилось и в литературной жизни.

Передовые писатели, кровно связанные с революционным рабочим движением, за последние годы заняли видное место в литературе и общественной жизни многих стран. Именно они творчески возглавили литературу Сопротивления в Европе в дни войны: достаточно вспомнить имена Юлиуса Фучика, Луи Арагона, Мартина Андерсена Нексе. Писатели, примыкающие к коммунистическому лагерю, показали наиболее

высокие образцы идейности, смелости, последовательности в борьбе с германским фашизмом — поработителем народов. Сегодня именно они с наибольшей последовательностью и остротой обличают разбойничий американский империализм, как главного поджигателя войны. Пример тому — язвительные и пламенные строки Пабло Неруда.

Поэты и прозаики, вдохновляемые идеями коммунизма, играют ныне авангардную, ведущую роль в литературах многих народов. Есть ли в современной французской поэзии более значительные явления, чем стихи Арагона и Элюара? Пабло Неруда давно по праву зовут «совестью Латинской Америки»; вместе с тем, бесспорно его творческое первенство среди поэтов, пишущих на испанском языке. Ни один писатель Дании не сделал столь значительного вклада в мировую литературу, какой сделал Мартин Андерсен Нексе. Наиболее веское и смелое слово в литературе США — после Теодора Драйзера — было сказано Говардом Фастом. Этот перечень можно было бы продолжить.

В прогрессивной литературе происходят важные качественные сдвиги.

Передовые писатели, выступавшие полтора-два десятилетия назад, нередко ограничивались изображением отдельных моментов освободительной борьбы трудящихся, правдиво воспроизводили жизненные факты, не претендуя на широкие обобщения. Ныне передовые зарубежные писатели, обогащённые опытом классовых боёв последних лет, берутся за более ответственные задачи, ставят большие, сложные проблемы. Они чувствуют себя вправе говорить от имени своих наций. Они стремятся осмыслить исторические судьбы своих народов. Они раскрывают роль простых людей, роль рабочего класса в больших исторических событиях национального и международного масштаба. Они создают большие реалистические полотна, отображают крупные социальные и политические конфликты. Появившиеся в последние годы произведения Мартина Андерсена Нексе, А. Зегерс, М. Пуймановой — реалистические повествования незаурядного эпического размаха — наглядно свидетельствуют о том, какие широкие творческие воз-

возможности раскрывает перед художниками передовое мировоззрение.

Не случайно, что именно писатели антиимпериалистического демократического лагеря являются носителями патриотических идей, прогрессивных национальных традиций в литературах своих стран. Наперекор буржуазным космополитам, которым хотелось бы подстричь всю мировую культуру под американскую гребёнку, они развивают в своём творчестве патриотическую тематику, утверждают чувства национальной гордости и вместе с тем чувства интернационального братства и солидарности трудящихся.

Само собой разумеется, что передовая литература каждой из зарубежных стран отличается ярко выраженным национальным своеобразием. Но сколь бы ни были различны условия жизни разных народов, сколь бы ни были несхожи национальные традиции, индивидуальный облик передовых художников разных стран — в методе большинства этих художников есть общие черты. Каждый из них стремится к правдивому отображению жизни, проникнутому социалистической идейностью, связывает свою писательскую работу с политической борьбой.

«Не бойтесь обжечься!» — так называется опубликованная не так давно статья чешского прозаика Яна Дрда. Знакомство с советской действительностью и культурой убедило Дрда, насколько плодотворным для прогрессивных зарубежных литераторов может быть принцип идейно-страстного, активного вмешательства в жизнь. Из этого знакомства он вынес убеждение, что писатель, желающий завоевать лучшее будущее своему народу, должен быть как можно ближе к действительности, к жизненной практике, не боясь «обжечься» соприкосновением с этой практикой, правдиво передавая борьбу старого и нового, являясь не зрителем этой борьбы, а её горячо заинтересованным прямым участником. В этом широком смысле творческий опыт советской литературы поучителен для передового писателя любой страны.

Современные прогрессивные писатели нередко пишут о прошлом: за последние годы появилось немало книг, авторы которых в свете опыта сегодняшнего дня продумывают исторический путь, пройденный их народами. Исследуя историю борьбы классов

и партий, вскрывая исторические истоки характерных явлений современной политической жизни, такие писатели, как Г. Фаст, Мартин Андерсен Нексе, Ж. Амаду, выполняют актуальные обличительные задачи, дают бой идейному противнику. Книги писателей стран народной демократии о вчерашнем дне в жизни их народов: «Люди на перепутье» и «Игра с огнём» М. Пуймановой, «Ботострой» Т. Сватоплука, «Хроника» П. Илемницкого, «Действительность» Е. Путрамента, «Старое и новое» Л. Рудницкого — мобилизуют читателей на преодоление пережитков капиталистического рабства.

Вместе с тем в прогрессивной зарубежной литературе развивается и крепнет современная тематика. Известен ряд выступлений передовых поэтов разных стран на острые темы сегодняшней политической жизни. В «Кларктоне» Г. Фаста мы видим облик нынешней Америки. О становлении новых, социалистических общественных отношений рассказывают польские, чешские, болгарские, венгерские писатели; отображая героичность освобождённого труда, улавливая черты нового в быту и психологии своих народов, они активно помогают росту и укреплению этого нового.

Так разнообразно проявляется в произведениях передовых зарубежных писателей их вмешательство в жизнь, их творческое участие в борьбе сил демократии с силами реакции, в борьбе за мир.

Само собой разумеется, что на пути прогрессивных писателей, работающих в условиях капитализма, встаёт немало серьёзных препятствий. Они то и дело подвергаются преследованиям, грубой и гнусной травле. Но помимо этого существуют и трудности внутреннего, идейно-творческого порядка. Передовым писателям приходится работать во вражеском окружении, противостоять растленной, прогнившей литературе империализма. Им приходится порою бороться с влияниями чуждой идеологии на своё собственное творчество, преодолевать эти влияния в себе.

Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства в последние годы оказали большую помощь лучшим писателям зарубежных стран в преодолении формалистических и иных ошибок, в борьбе с лживыми, антинародными концепциями «искусства для искусства».

3

Стремление передовых художников к идейности художественного творчества непосредственно проявляется в том, как часто и с какой любовью разрабатывается ими тема партии, как напряжённо работают они над созданием образа коммуниста, положительного героя современности.

Пафосом служения партии, беззаветной преданностью делу коммунизма одушевлена от первой до последней страницы бессмертная книга Юлиуса Фучика «Репортаж с петлёй на шее». В автобиографическом герое книги с большой силой художественного обобщения запечатлены типические черты передового человека эпохи.

Жоржи Амаду говорит о своём герое Жоакине: «По-особому любит он свою партию. Партия — его дом, школа, смысл его существования...» Говард Фаст вкладывает в уста одного из героев своего романа «Кларктон» полные искренности слова: «Партия — это моя мать, и брат, и сестра, и вся моя жизнь...» Незабываемы созданные Анной Зегерс образы профессиональных революционеров Валлау и Гейслера из романа «Седьмой крест». Интересные образы американских коммунистов, правдивые картины будничной работы низовых организаций компартии США дал молодой писатель Александр Сакстон в романе «Большая Среднезападная». С любовью и знанием дела рассказал о жизни и борьбе французских коммунистов Жан Лаффит в двух своих книгах. Широко известно прекрасное стихотворение Арагона: «Поэт обращается к партии»; большой роман-эпопея, над которым ныне работает Арагон, называется «Коммунисты».

Можно много спорить по поводу оценок отдельных писателей, отдельных книг. Но бесспорно одно: всё лучшее, что создаётся ныне в литературе обоих полушарий, создаётся под прямым влиянием передовой идеологии нашей эпохи. Не только к советской, но и к зарубежным литературам применимы слова В. М. Молотова: «Нельзя считать случайностью, что ныне лучшие произведения литературы принадлежат перу писателей, которые чувствуют свою неразрывную идейную связь с коммунизмом»¹.

¹ В. М. Молотов. Вопросы внешней политики. М. 1948, стр. 504.

Реалистические романы Говарда Фаста ярко выделяются на сером и мрачном фоне упадочной буржуазной литературы США. В то время, как некоторые известные писатели, в прошлом игравшие крупную роль в американской литературе, переживают творческий кризис, скатываются к декадансу и реакции — именно демократический лагерь выдвигает молодых талантливых художников, смело ставящих коренные проблемы американской жизни.

Пропагандисты американского империализма создали легенду об особой якобы прогрессивности исторического пути США, об особом якобы демократизме государственного строя США. Романы Говарда Фаста разрушают эти лживые измышления. Они показывают, как самоотверженная борьба рабочих и фермеров, белых и «цветных» тружеников за торжество демократии в Америке неизменно наталкивалась на рьяное сопротивление со стороны имущих классов, проводивших своекорыстную, реакционную политику.

В своих книгах на тему об освободительной войне Северо-Американских штатов против английского владычества Говард Фаст раскрывает роль народных низов в становлении американского государства. Рисую мужество и стойкость простых людей, завоевавших свою кровью государственную независимость США, Фаст вместе с тем обнажает внутренние противоречия американской буржуазной революции, плоды которой достались не народу, а эксплуататорам. Он напоминает, что Америка XVIII века вовсе не была той идиллической «страной свободы», какой её любят живописать буржуазные историки. Он говорит в биографическом романе «Гражданин Том Пэйн»: «А ведь был там не только рынок для торговли рабами; были там и телесные наказания, и каторга, и вероятно гнилые тюрьмы, где должники и убийцы, мужчины, женщины и дети, сбитые в кучу, вместе заболели и умирали... Он рассказывает, как Том Пэйн — идеолог последовательно демократического, плебейского течения в войне за независимость США — вскоре после победы почувствовал себя ненужным и чужим в молодой заокеанской республике, в которой реальная

власть принадлежала финансистам и спекулянтам.

Роман «Дорога свободы» по своему идейному смыслу тесно связан с книгами Фаста о войне за независимость. Мы видим, как после гражданской войны Севера и Юга имущие классы снова отняли у народа плоды его победы. Террористическая деятельность Ку-Клукс-Клана, поджоги и убийства, массовое физическое истребление негров, осмелившихся стать самостоятельными фермерами, — всё это совершалось с благословения или с молчаливого попустительства властей из Вашингтона. «Дорога свободы» Фаста помогает понять, как издавна укоренились в жизни «демократической» Америки самые разнузданные, зверские формы реакционного террора. Об этом же свидетельствует и другая известная книга Фаста «Последняя граница», где автор с документальной точностью воссоздал историю истребления американцами индейского племени шайенов.

Произведения Фаста приводят читателя к выводу, что позорный «приоритет» в деле применения самых наглых, циничных методов национальной и расовой дискриминации, предвосхитивших практику фашизма, принадлежит именно правящему классу США.

В рецензиях советской печати на книги Фаста было отмечено прежде всего это их острое обличительное содержание, придающее им особую злободневность. Но значение книг Фаста не сводится к одним лишь обличениям. Внутренний смысл и пафос его творчества определяется его верой в простого человека, в боевые силы трудящихся. В противовес многочисленным «разгребателям грязи» из либерально-интеллигентских кругов, которые не раз пытались разоблачать гнусности американских «боссов» и гангстеров, но ничего не умели (или не хотели) этим гнусностям противопоставить, — Говард Фаст неизменно исходит из мысли об обречённости капитализма, о бессмертии революционного народа. Отсюда то оптимистическое звучание, которое присуще его книгам, отсюда его внимание к героике народной борьбы.

Глубокое знание народной жизни, тесные связи с массами — всё это помогло Г. Фасту проявить своё незаурядное писательское дарование. Он умеет немногословно, без

громких фраз, без особых сюжетных ухищрений, ясным и выразительным языком, с подкупающей простотой и искренностью передать думы и чувства трудящихся, которые борются за свободу. Правда, можно упрекнуть Фаста, что в «Последней границе» характеры слабо разработаны и повествование местами переходит в простую хронику событий. Зато в «Дороге свободы» Г. Фасту удалось и хорошо передать драматизм исторических конфликтов, и чётко обрисовать характеры главных действующих лиц.

Писатель-коммунист Говард Фаст в трактовке негритянской темы резко противостоит тем буржуазным литераторам, которые пытались (в давнем или недавнем прошлом) выступить в роли «заступников» угнетённых негров. Он подошёл к изображению негров без малейшего оттенка сентиментальной жалости или экзотики; он дал понять, сколько скрытых сил и дарований таится среди тех, кого шовинисты клеветнически объявили «низшей» расой. Главный герой романа — Гидеон Джексон — большая творческая удача автора. Романист конкретно, шаг за шагом, с большой художественной убедительностью воссоздал процесс внутреннего развития, выпрямления человека, сбросившего с себя цепи рабства, выросшего в подлинного государственного деятеля и вожака масс, сумевшего бороться до последней капли крови и мужественно встретить смерть.

Советский читатель знаком в отрывках с повестью Г. Фаста «Кларктон» (1947). В этом произведении художник перешёл от исторической тематики — к современной, от изображения общедемократических движений — к изображению классовой борьбы пролетариата. В «Кларктоне» есть довольно серьёзные идейно-художественные недостатки: писатель уделил слишком много места изображению частной жизни фабриканта Лоуэлла, его грязному поведению в быту. Но не эти натуралистические эпизоды определяют основное содержание «Кларктона». Автору удалось в небольшой по объёму книге, где действие развёртывается в течение четырёх дней в провинциальном промышленном городе, охватить важные, типические явления послевоенной американской жизни. В повести раскрывается реакционная, антидемо-

кратическая сущность нынешнего политического режима США, где против рабочего движения применяются и шпионаж, и провокация, и полицейский террор в самых варварских его формах. Но самое интересное в повести — правдивое изображение борьбы рабочих-стачечников, возглавляемых коммунистами, удачные (хотя очерченные несколько бегло) образы коммунистических деятелей Дэнни Райана и Джоя Рэя.

Современные прогрессивные писатели действуют вразрез с буржуазной литературной традицией, показывая рабочий класс не как жертву эксплуатации, а как силу, которой принадлежит будущее. Но они не могут делать это средствами старого критического реализма; опорой им служит эстетика реализма социалистического, опыт Горького и советской литературы. Г. Фаст — один из тех зарубежных писателей, которые осознанно тяготеют к социалистическому реализму. В лучших его произведениях проявляется стремление заглянуть в будущее, раскрыть потенциальные силы трудящихся. Это умение проявилось в образе Гидеона Джексона, оно проявилось и в повести «Кларктон». В прогрессивной литературе капиталистических стран до сих пор не было книги, где тема борьбы труда и капитала развёртывалась бы на столь живом современном материале. Коммунистическая партия США предстаёт здесь как организатор борьбы народа против наглежащей реакции.

Однако талантливому писателю, работающему в трудных условиях, в идеологически враждебном окружении, подчас не удаётся противостоять чуждым, буржуазным влияниям. И это приводит его к идейным срывам, а следовательно и к художественным неудачам.

В своих исторических романах Г. Фаст, борясь против фальсификаторов истории, идеализирующих буржуазный строй, сам кое в чём делал уступки буржуазно-либеральным концепциям: это сказывалось в его оценках отдельных явлений прошлого. Отсюда, например, в «Дороге свободы» — нетипичный, слащавый образ «добрého» банкира — аболициониста Исаака Уэнта.

Вовсе ошибочен, порочен по самому своему замыслу роман Фаста «Мои славные братья» (1948). Писатель дал фаль-

шивое, целиком вымышленное изображение древней Иудеи, которой он — в противоречии с исторической истиной — придал условные черты идиллической патриархальной демократии. Жизненная правда здесь подменена сентиментальной риторикой. Поддавшись вредным идейкам «надклассового» буржуазного национализма, писатель потерпел явное творческое поражение.

Неоднородна по своему составу книга Г. Фаста «Отъезд» и другие рассказы» (1949). В ней собраны очерки и новеллы, написанные в течение десяти с лишним лет. Некоторые из них представляют собой бесхитrostные бытовые зарисовки, иллюстрирующие те или иные неприглядные стороны «американского образа жизни»; они подчас неплохи по своим литературным качествам, но лишены той идейной остроты, целеустремлённости, которая присуща лучшим произведениям Фаста. Есть в сборнике и вещи явно ошибочные, как, например, рассказ «Где ваши ружья?».

Но в этом же сборнике помещён и прекрасный рассказ «Эпитафия Сиднея». Здесь Фаст создаёт привлекательный и запоминающийся образ рядового американского коммуниста, скромного, стойкого человека, сумевшего проявить высокий героизм в битвах с фашистами сначала на фронтах республиканской Испании, потом во второй мировой войне. Фаст показывает, как физически хрупкий человек, от природы не приспособленный к тяготам фронтовой жизни, черпал в своём революционном мировоззрении неистощимую бодрость, которой он умел заражать и своих товарищей.

В этом небольшом рассказе нашли выражение те передовые, новаторские свойства мировоззрения и художественного метода Фаста, на основе которых возникли в своё время лучшие страницы «Гражданина Тома Пэйна», «Дороги свободы», «Последней границы», «Кларктона». Нынешняя плодотворная общественная деятельность Говарда Фаста, как писателя-борца за мир и демократию, внушает уверенность, что он сумеет успешно противостоять чуждым идейным веяниям и создаст новые произведения, достойные его таланта.

Передовые литераторы США справедливо считают одной из самых насущных своих творческих задач — воплотить в художественных произведениях борьбу компартии, создать правдивые, жизненно убедительные образы коммунистов. «Создание героя-коммуниста — это центральная проблема современной литературы», — пишет Говард Фаст. Этот вопрос не раз поднимался и на страницах прогрессивного журнала «Массез энд Мейнстрим».

Одним из наиболее удачных новых произведений, где сделана попытка разрешить эту задачу, является роман Александра Сакстона «Большая Среднезападная» (1948).

Действие романа Сакстона происходит в Чикаго, в годы между двумя мировыми войнами. Главные герои романа — рабочие Среднезападной железной дороги. Роман богат жизненным материалом: автор живо, конкретно рисует своеобразные условия быта и борьбы железнодорожников США. Рядовые рабочие опутаны сетью расовых предрассудков, кастовых профсоюзных традиций; профсоюзы — замкнутые, консервативные, носящие архаическое название «братств» — находятся в руках бюрократов и предателей.

Логика повествования убеждает читателя, что единственной политической организацией, которая борется за права рабочих и защищает их, является коммунистическая партия. Герои романа — Дэйв Спаас, Пледжер Мак Адамс и их друзья — терпеливо высвобождают железнодорожников из-под власти мещанских, реакционных воззрений, внушают им идею рабочей солидарности, сплачивают силы трудящихся — белых и негров. Сакстон изображает своих героев в самые различные моменты их будничной работы: и на собрании низовой ячейки в тесной квартире одного из товарищей, и на массовом митинге перед разноязычной рабочей толпой, и в момент стычки забастовщиков с полицией, и на занятиях в партийной Народной школе. Читатель видит разные стороны кропотливой и упорной повседневной деятельности передовых людей Америки, которым на каждом шагу угрожает увольнение с работы, занесение в чёрный список, террор «демократической» юстиции.

Центральную роль в романе играет селарь депо и активист компартии Дэйв Спаас.

Сакстон смело поставил перед собой задачу: изобразить коммуниста всесторонне — и в общественной жизни, и в личной. Но ему оказалось нелегко справиться с этой задачей.

Большое место в повествовании занимает семейная драма Дэйва, его ссоры и примирения с его женой Стефани. Жена Дэйва — способная женщина-биолог — долгое время остаётся внутренне чужда ему и лишь постепенно, с большими колебаниями, отрешается от своей веры в «чистую» науку и втягивается в общественную жизнь. Сакстон даёт понять, что Стефани в конечном счёте убеждается в моральном и духовном превосходстве пролетария-коммуниста Дэйва над окружающими её образованными буржуазными снобами. Но писатель слишком пространно описывает душевные изломы своей героини, которой он отчасти придаёт черты декадентствующей «загадочной» натуры.

Дэйв хорошо показан в сфере практической работы. Но его интеллектуальный мир в известной мере обеднён. Читатель слишком мало чувствует, как повседневная экономическая борьба связывается в сознании Дэйва с великими конечными целями коммунистического движения.

Известный эмпиризм в подходе к материалу, свойственный Сакстону, сказался на всей художественной структуре романа. С этим связан и недостаток композиционной цельности, разбросанность, рыхлость повествования.

Но, невзирая на эти черты художественной незрелости, «Большая Среднезападная» — смелая, умная книга. Она свидетельствует, насколько жизнеспособно прогрессивное литературное движение в США.

Американская реакция травит коммунистов, обливает их грязной клеветой, выносит им каторжные приговоры; она стремится отравить сознание трудящихся ядом пессимизма и неверия в собственные силы. Понятно, насколько важно и нужно в такой момент появление в США новых, правдивых, высокохудожественных произведений, которые показывали бы во весь рост облик борцов за лучшее будущее американского народа.

4

Известность произведений Жоржи Амаду и в его стране и за её пределами нельзя объяснить одним только талантом романиста, одним только тематическим своеобразием его книг. Творчество Амаду значительно не только новизной тематики и материала, но и новизной подхода к этому материалу.

О странах Латинской Америки, об их природных богатствах, о тяжкой жизни их трудящегося населения, о давленном гнётом местных плантаторов и иноземных империалистов, — обо всём этом повествуют и другие писатели. Советский читатель знаком с книгой венецуэльского романиста Р. Д. Санчеса «Нефть». В ней ярко описаны несчастья, которые принесло народу Венецуэлы нашествие американских «мистеров», завладевших месторождениями нефти. Но в книге сказывается ограниченность идейного кругозора её автора. Интервенция доллара представлена в ней как некое стихийное бедствие; индустрия, техника рисуются как таинственная злая сила. Писатель не показывает путей борьбы с империализмом и скорбит об утраченной идиллии старого патриархального быта.

Амаду тоже изображает бедственную жизнь масс в стране, где ещё живы полуфеодалные традиции и куда проникает американский капитал. Но коммунистическое мировоззрение помогает ему осветить судьбы своего народа с гораздо большей глубиной и ясностью революционной перспективы, чем это могли сделать другие прозаики стран Латинской Америки.

Писателю дорог своеобразный облик его родины, дикая природа девственных лесов, жаркое бразильское солнце; в его романах есть прекрасные образцы лирического пейзажа, отличающиеся богатством оттенков, зорко подмеченных деталей. И вместе с тем с большой болью и скорбью повествует Амаду о судьбах своих соотечественников, которых не может накормить богатая бразильская земля. Трагедия семьи крестьянина Жеронимо, лишившейся земли и крова, изнурённой бесплодными скитаниями в поисках заработка («Красные восходы»), глубоко потрясает читателя. Сама страстность, взволнованность тона, присущая романам Амаду, придаёт им своеобразие и привлекательность. Так пи-

сать о красоте своей страны и страданиях своего народа может только художник, глубоко любящий свою страну и свой народ.

Жоржи Амаду реалистически трезво раскрывает гнусные тайны американских захватчиков — фактических хозяев Бразилии; он показывает (в «Земле золотых плодов») взаимосвязь преступных махинаций американского агента Карбанкса и бразильского экспортёра Карлоса Зуде. Правящие классы Бразилии и их политические деятели предстают в изображении Амаду как предатели родины, наёмники американского капитала.

Однако Амаду рассказывает о преступлениях империализма без фаталистического ужаса. В его изображении империализм — злое, но отнюдь не всесильное чудовище. Лагерю местных и иноземных эксплуататоров он противопоставляет освободительное движение трудящихся масс, руководимых коммунистической партией.

Амаду не переоценивает революционной зрелости населения своей страны. В романе «Красные восходы» Амаду повествует о том, какие причудливые формы принимал стихийный протест разорённых, изголодавшихся крестьян северо-восточной Бразилии в начале 30-х годов. Отчаяние приводило одних в бандитскую шайку Лукаса Арворедо, других — в религиозную секту «блаженного» Эстебана. Понадобились годы кропотливой нелегальной работы компартии, опыт восстания в городе Натале, окончившегося неудачей, но всколыхнувшего массы, чтобы крестьянин-коммунист Зе Таварес мог уверенно сказать: «Теперь конец бандитам и блаженным. Теперь будем действовать мы!»

Изображая в «Красных восходах» эти сложные процессы идейного брожения, ломки сознания масс, Амаду как художник не всегда оказывается на высоте. Местами он делает невольную уступку буржуазной литературной «моде», злоупотребляет грубыми и жестокими эффектами, демонстрируя изуверство «бандитов и блаженных». В последних главах книги подобные натуралистические эпизоды исчезают, и деятельность передовых людей выдвигается на первый план. Амаду показывает, как рядовые труженики бразильской земли, пробуждаясь к классовому сознанию, на-

чинают видеть в коммунистической партии ту силу, которая способна отстоять их настоящие жизненные интересы. Но всё-таки образы революционных деятелей в этом романе обрисованы несколько поверхностно.

Зато коммунист Жоакин, главный герой романа «Земля золотых плодов», — одна из наиболее интересных реалистических фигур, созданных Амаду. Жоакин, рабочий, сын крестьянина-арендатора, профессиональный революционер, тесно связанный с массами, рисуется как человек, который «знает, как действовать, умеет действовать и хочет действовать», как человек острого, самообытного ума, умеющий здраво судить и о политике и о поэзии. Художник оттеняет в Жоакине присущую ему большую принципиальность, рыцарскую щепетильность в вопросах морали. Жоакин умеет чутко подходить к людям, умеет терпеливо убеждать инакомыслящих; ему удаётся направить на пользу революционного дела и стихийное бунтарство голодных батраков, и смутные свободолюбивые порывы колеблющегося интеллигента, поэта Сержио Моура.

Жоржи Амаду раскрывает источник духовной силы своего героя: «Когда я читаю Ленина, читаю Сталина, — говорит Жоакин, — я понимаю всё, чему они учат»... Этот бразильский пролетарий-самоучка воспринимает идеи Ленина и Сталина, как нечто родное, близкое, как живое руководство к действию; он осознаёт свои практические дела в свете этих бессмертных идей.

Идя на партийное собрание, Жоакин размышляет о том, что «во многих городах мира в этот же час коммунисты так же идут под дождём или под звёздным небом в свои организации, чтобы помочь перестроить мир». Он живо ощущает связь своей борьбы с освободительной борьбой трудящихся других стран.

Эта черта в Жоакине особенно примечательна. Сам создатель этого образа, бразильский коммунист Жоржи Амаду, чувствует связь своей творческой и политической работы с освободительным движением народов всего мира. Именно поэтому он оказался в состоянии художественно отразить жизнь своей страны, своего народа в свете международной борьбы трудящихся против империализма.

5

Роман Анны Зегерс «Седьмой крест» был закончен автором ещё накануне второй мировой войны. Но он опубликован полностью сравнительно недавно. Он вполне может быть рассматриваем как явление сегодняшней литературы не только потому, что он получил широкую известность именно в последнее время, но и потому, что ему присущи характерные новаторские черты, отличающие лучшие книги прогрессивных писателей послевоенных лет. В этом романе с большой глубиной разработаны образы передовых людей нашей эпохи; в нём идёт речь об исторических судьбах Германии, о роли коммунистов в решении этих судеб.

В своё время Анна Зегерс раньше и лучше, чем кто-либо другой из германских прозаиков, сумела раскрыть процесс порабощения и развращения немецкого народа фашизмом. Ещё в романах 30-х годов («Оценённая голова», «Освобождение») она показала, как многочисленные крестьяне, рабочие, безработные, деморализованные экономическим кризисом, разочарованные в буржуазно-демократическом режиме Веймарской республики, покорно шли за фашистами или во всяком случае не пытались, не умели сопротивляться им. Из книг Анны Зегерс следовал вывод, что гитлеровский режим в Германии отнюдь не представлял собой случайное, скоропреходящее явление; эти книги предостерегали против иллюзий, что режим этот легко удастся свергнуть. Но в них говорилось и о том, как сама жизнь пробуждает в рядовых трудящихся Германии революционные, антифашистские настроения.

Анна Зегерс — выдающийся художник слова, большой мастер психологической характеристики. Она прекрасно знает жизнь народных масс Германии. Её книги густо населены разнообразными, чаще всего рядовыми, «маленькими» людьми, из которых каждый имеет свой индивидуальный, запоминающийся облик.

«Седьмой крест» — это история семи заключённых концлагеря Вестгофеи, которые бежали из лагеря и из которых только одному удалось спастись. Художественной логикой своего романа А. Зегерс доказывала, что освободительная борьба антифашистов бесконечно трудна, что она встре-

чает и встретит ещё громадное количество препятствий, но что вести эту борьбу, несмотря на все трудности, возможно и необходимо.

Роман «Седьмой крест» в высшей степени актуален для современной Германии. Он напоминает о том, насколько жизненно необходимо немецкому народу до конца изжить позорное наследие фашизма. И в то же время он выдвигает перед немецким читателем, как благородный и воспитывающий пример, образы подлинных патриотов Германии — Эрнста Валлау и Георга Гейслера.

Валлау, который «пережил и войну, и рурские бои, и бои в Средней Германии, и вообще всё, что только можно было пережить», — руководящий деятель компартии, носитель лучших традиций немецкого рабочего движения. Он обрисован в сущности довольно скупо и мало появляется на страницах романа, но он несёт очень важную функцию в повествовании. Для Георга Гейслера он — авторитет и учитель во всём: и в больших вопросах морали, и в деталях конспиративной техники. В то время как Валлау, пойманный гестаповцами, героически молчит, принимая смертные муки, Георг продолжает свой трудный путь, ускользая от преследователей. И в сознании Георга непрерывно живёт Валлау, его советы, его опыт, его пример. Успех побега Гейслера — в значительной мере дело рук его учителя. Так показана в романе непрерывность, преемственность традиций революционной борьбы.

Писательнице удаётся, вводя в повествование эпизоды прошлой жизни героя, дать образ Георга в развитии, в формировании. Читателю становится ясно, что шустрый рабочий подросток с озорными искорками в глазах, увлекавшийся больше всего спортом, неустойчивый в привязанностях, лишённый ясной цели в жизни, именно благодаря воспитывающему воздействию партии вырос в волевого, мужественного человека, для которого борьба стала «основой его существа». В своих скитаниях Георг многократно проявляет большое хладнокровие, выдержку, находчивость. И движет им не столько инстинкт самосохранения, сколько осознанная воля к революционному подвигу.

Примечательная деталь: в один из труд-

ных для Георга моментов, когда положение представляется ему почти безвыходным, он вспоминает, с помощью какого приёма спасся в подобном случае «сам ли Валлау в Руре, или кули в Шанхае, или шуцбуйдовец в Вене»... И мысль о том, как много раз до него борцы за свободу подвергались опасности, помогает ему и на этот раз избежать опасности.

В романе А. Зегерс раскрывается облагораживающее действие идеалов коммунизма на человеческую личность, моральная высота людей, сделавших содержанием своей жизни борьбу за эти идеалы. Именно в этом, прежде всего, непреходящая ценность книги.

Большим и значительным социальным содержанием насыщен и новый роман Анны Зегерс «Мёртвые остаются молодыми», вышедший в Германии в конце 1949 года. По широте эпического размаха этот новый роман намного превосходит и «Седьмой крест» и все другие прежние произведения писательницы: перед нами картина исторического развития германского народа от конца первой до конца второй мировой войны. Писательница смело и оригинально строит многоплановое повествование, в котором скрещиваются жизненные пути людей из самых разнообразных общественных прослоек — от рейнских промышленников до берлинской бедноты.

В немецкой литературе ещё не было произведений, в котором бы так глубоко вскрывались исторические, классовые корни германского фашизма, в котором бы так наглядно были представлены пагубные для германского народа последствия гитлеровщины. В противовес некоторым буржуазным литераторам, которые ныне пытаются задним числом затемнить классовое содержание фашистской диктатуры, болтают о якобы имевшем место «господстве черни», — Анна Зегерс разоблачает немецких промышленных магнатов, финансистов, прусских юнкеров, как подлинных хозяев фашистской Германии, тесно связанных с гитлеровской кликой и кровно заинтересованных во всех её чудовищных злодеяниях. Она делает главным объектом своей реалистической критики представителей именно тех слоёв, которые ныне пытаются возродить фашизм в марионеточном западногерманском «государстве». В последних

главах романа, где действие происходит накануне поражения Германии, уже намечается перспектива сговора немецкой капиталистической верхушки с англо-американским империализмом.

С большой теплотой, проникновенным знанием быта и психологии трудящихся рисует Зегерс среду германских рабочих. Особенно запоминается образ скромной труженицы Марии, женщины с чистой душой и стойким характером. Убедительно показано, как немолодая уже Мария, всю жизнь стоявшая в стороне от политики, под влиянием тяжёлых переживаний в годы войны сама приходит к мысли о саботаже, втягиваясь в антифашистское движение.

Писательница правдиво рассказывает о том, как немецкие трудящиеся, запуганные, деморализованные террористическим аппаратом Гитлера, проявили постыдную покорность и неспособность к борьбе. Однако ходом повествования подсказывается мысль о перспективах демократического обновления германского народа, о преемственности его освободительного движения. Память о погибших революционерах не умирает в народе, их дело живёт. Так расшифровывается заглавие книги «Мёртвые остаются молодыми».

Но некоторые особенности романа вызывают возражения. Анна Зегерс с обычным своим искусством «перевоплощается» в своих героях, говорит от их имени, показывает действительность через их восприятие. Разумеется, неотъемлемо право художника утверждать идеи повествования, избегая прямого авторского вмешательства в действие. Именно так был написан и «Седьмой крест». Но в «Седьмом кресте» носителями авторской тенденции выступали главные герои романа — активные антифашисты. Здесь же, в новом романе А. Зегерс, широко представлены эксплуататоры, реакционеры, обыватели, а голос передовых людей слышен значительно слабее. Идейная направленность романа, отношение автора к изображаемому в конечном счёте вполне ясно вытекает из самого художественного материала. Однако всё-таки неоправдана та бесстрастная интонация, с которой местами передаются переживания аморальных, опустошённых людей из правящего лаге-

ря, неоправдано чрезмерное внимание автора к малозначительным эпизодам их частной жизни. Неоправдано, с другой стороны, что активные борцы против фашизма очерчены в романе бледно и появляются лишь от случая к случаю.

Но недостатки и спорные моменты книги не должны заслонять от нас главного. «Мёртвые остаются молодыми» — произведение, исключительно богатое жизненным, реалистическим содержанием. В нём убедительно обобщены исторические уроки недавнего прошлого Германии. Эта книга звучит сегодня как суровое предостережение, обращённое не только к империалистическим авантюристам, но и к тем, кто покорно выполняет их волю. Новый роман Анны Зегерс — большой творческий вклад честного и вдумчивого художника в дело борьбы за мир.

6

Романист и критик Клод Морган, главный редактор прогрессивной литературной газеты «Леттр Франсез», свидетельствует: «Мы, писатели, не только храним образ Ленина в наших сердцах, мы руководствуемся его идеями в нашей сегодняшней борьбе. В частности, то, что Владимир Ильич написал о литературе «свободной» и литературе партийной, для нас чрезвычайно актуально»¹.

Французские писатели, критики, публицисты, вдохновляемые идеями коммунизма, развёртывают широкое наступление против реакционных течений. Большую работу в этом направлении ведёт журнал «Критик нувель».

Морис Торез сказал в своём докладе на XII съезде КПФ: «Вырождающемуся искусству французской буржуазии мы противопоставили искусство, которое будет вдохновляться социалистическим реализмом и будет понято рабочим классом, искусство, которое поможет рабочему классу в его освободительной борьбе. Мы с радостью и гордостью отмечаем, что нас поняла и одобрила лучшая часть писателей и деятелей искусства, которые ставят весь свой талант на службу народу»².

Темы второй мировой войны и национального Сопротивления занимают боль-

¹ «Литературная газета» от 22 апреля 1950 года.

² «Правда» от 5 апреля 1950 года.

шое место в передовой французской литературе послевоенного времени. Ныне, когда американский империализм угрожает самостоятельному существованию народов Западной Европы, когда французские буржуазные политики, поклоняясь Уолл-стриту, предают интересы Франции,— произведения передовых писателей о героях Сопротивления зовут французский народ на борьбу за сохранение национального суверенитета, за подлинную демократию, за мир.

Реакционные кривляки из школы Сартра пытаются оклеветать деятелей антифашистского подполья, приписать им свои низменные чувства; они с особой охотой смакуют эпизоды пыток, истязаний, любясь жестокостью фашистских палачей. Книги передовых писателей опровергают измышления клеветников. Эти книги проникнуты активной ненавистью и презрением к страданию; в центре их — образы мужественных людей, сумевших в самых трудных условиях сохранить чувство достоинства, преданность родине, способность сопротивляться врагу.

Когда Жан Лаффит писал свою первую книгу «Живые борются» — книгу о жизни и борьбе французских патриотов сначала в подполье, а потом в фашистском плену, — он вряд ли претендовал на нечто большее, чем правдивое, точное изложение событий. Однако его произведение имеет не только документальную, но и литературную ценность. Перед нами своеобразный художественно-политический репортаж, в котором отбор и группировка фактов естественно вытекают из главной идеи произведения. Писатель убедительно показал, что коммунисты были подлинной душой народного освободительного движения в дни войны; он с большой непосредственностью и живостью воссоздал благородный облик подлинных патриотов Франции, передал думы и чувства людей, для которых «жить — значит действовать».

В своей следующей книге «Мы вернёмся за подснежниками» (1948) Лаффит поставил перед собой более сложную творческую задачу. Полемизируя с подручными де Голля, пытавшимися извратить события недавнего прошлого и приписать себе несуществующие заслуги, Лаффит облёк свою книгу о борьбе коммунистов-подпольщи-

ков в форму повести. Однако большинство действующих лиц (за исключением разве только главного героя, Рэймона) очерчено едва ли не пунктиром. Тем не менее, повесть читается с напряжённым вниманием. Лаффит правдиво и любовно воспроизвёл героические будни передовых французов, боровшихся за независимость своей родины.

Тема национального Сопротивления, стремление показать судьбы французской нации и деятельность коммунистов в дни больших исторических испытаний, во многом определяет собою послевоенную прозу Луи Арагона.

Ещё во время войны Арагон работал над статьями и очерками, вошедшими впоследствии в книгу «Человек-коммунист». Он дал в этой книге талантливые публицистические характеристики героев и мучеников антифашистского подполья, основываясь на фактически, документальных данных.

Но Арагон поставил себе и несравненно более сложную, более ответственную задачу, потребовавшую длительной творческой подготовки. Он задумал большой роман-эпопею, в котором передовые люди Франции были бы показаны на широком фоне исторических событий.

В 1949 году вышли два первых выпуска романа Арагона «Коммунисты». Произведение в целом рассчитано на двенадцать таких выпусков. Оно должно охватывать период с 1939 по 1945 гг.; действие опубликованных глав происходит перед началом второй мировой войны и в первые её месяцы.

Арагон начал работу над «Коммунистами» в атмосфере острейшей идеологической борьбы с силами реакции. Роман дышит этой борьбой. Писатель клеймит предательство капиталистических правителей, ввергнувших Францию в войну; он вскрывает гнусную двойную игру буржуазных политиков-псевдопатриотов, профашистов. И по мере развёртывания действия на страницы эпопеи выходят всё новые лучшие люди Франции: руководящие работники компартии и рядовые её члены, рабочие, крестьяне, солдаты, интеллигенты — те, в ком читатель вправе угадывать будущих героев Сопротивления.

Пока перед нами лишь начало большого, сложного произведения, которое

должно включить в себя сотни человеческих судеб, дать картину жизни и борьбы целого народа в годы больших исторических потрясений. Основные сюжетные линии ещё не развиты, характеры действующих лиц ещё не раскрыты до конца, на многие поставленные автором вопросы ещё не дано ответа. Сейчас рано судить о повествовании в целом. Но сам смелый, новаторский замысел эпопеи Арагона — свидетельство большого идейно-творческого роста французской прогрессивной литературы, свидетельство её активности в борьбе с поджигателями войны.

7

На Конгрессе в защиту мира во Вроцлаве выступал один из делегатов колониальных стран. Он горячо и убедительно, с фактами в руках, обличал расовый шовинизм американских империалистов. Его слушали с большим вниманием. Неожиданно оратор заговорил стихами — он прочитал «Поезд свободы» Ленгстона Хьюза. И стихотворение поэта-негра, разоблачающее лицемерие заокеанской «демократии», глубоко взволновало аудиторию.

Поэзия — сильное, действенное оружие в борьбе народов за мир, демократию, социализм. За последние годы в советской печати появилось много переводов стихотворений лучших поэтов самых различных стран — от Аргентины до Кореи, от Венгрии до Западной Африки. Разумеется, всякое стихотворение в той или иной мере непереводаемо, всякий перевод в той или иной мере отклоняется от подлинника. Но и на основании тех текстов, которые известны советскому читателю, можно сделать некоторые общие выводы о судьбах современной поэзии за рубежом.

Когда-то Пабло Неруда с гордостью назвал себя «не чистым» поэтом: в этом был вызов эстетам и снобам — любителям художочной, бессодержательной «чистой» поэзии. Но не будет парадоксом, если мы скажем, что именно такой поэт, как Неруда, олицетворяет в глазах своих многочисленных читателей самые чистые, самые высокие чувства и побуждения человека. Именно те поэты, которые не отделяют своего творчества от освободительной борьбы народов, от борьбы за мир, — имен-

но они и есть люди с чистой совестью и чистыми руками, чьё творчество победоносно противостоит грязной эротике, грязной патологии, грязным реакционным бредням декадентствующих мещан.

Стихи лучших поэтов разных народов наглядно опровергают избитые вражеские басни о том, будто наличие политической, гражданской идеи предполагает «нивелировку» поэзии. При несомненном единстве идейных устремлений этих поэтов, каждый из них продолжает свою национальную традицию, имеет своё индивидуальное лицо. Сонеты Иоганнеса Бехера, классически строгие по языку и форме, никак не похожи на темпераментные, изобилующие смелыми метафорами, поэтические монологи Пабло Неруда, написанные свободным стихом. Нерифмующиеся строки Поля Элюара, с их неуловимым внутренним ритмом, никак не похожи на стихи Арагона, отмеченные разнообразием строфики и богатством неожиданных рифм. Даже сквозь несовершенный перевод можно почувствовать своеобразие взволнованной поэтической речи турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета. Неповторимо оригинален народный поэт Кубы Николас Гильен, придерживающийся форм своего национального фольклора. Поэты разных стран от имени своих народов обличают захватническую политику США, утверждают волю к миру, но каждый из них делает это по-своему. Поэты разных стран от имени своих народов выражают горячую любовь к советской стране, но каждый из них делает это по-своему.

Передовые зарубежные поэты хорошо знают и любят Маяковского, внимательно изучают его творческий опыт. В его лице они видят пример поэта нового типа, пример трибуна, мастера-новатора, стоящего на переднем крае политической борьбы. Именно в этом смысле опыт Маяковского помог творческому формированию и Пабло Неруда, и Иоганнеса Бехера, и Назыма Хикмета, и многих поэтов славянских стран. Но каждый из них осмыслил и освоил принципы поэзии Маяковского на свой лад.

По-разному складывались творческие биографии крупнейших зарубежных мастеров стиха. Но каждый из них добился наивысших творческих успехов именно то-

гда, когда сумел воплотить в своей поэзии гнев, надежду, борьбу народных масс. Иоганнес Бехер, Луи Арагон — каждый по-своему — достигли высот поэтического мастерства благодаря разрыву с декадентскими течениями, отказу от формалистических экспериментов, многолетнему деятельному участию в освободительной борьбе масс. Пабло Неруда впервые вошёл в литературу как автор «Двадцати стихотворений о любви и одной песни отчаяния», но своеобразие и мощь его поэтического дарования полностью раскрылись в те дни, когда источником его вдохновения стала справедливая война испанского народа. Крупнейший польский поэт Юлиан Тувим, чьё творчество долгие годы отличалось индивидуалистической замкнутостью, обрёл свой настоящий поэтический голос тогда, когда содержанием его творчества стала борьба за национальную независимость и свободное развитие демократической Польши. Большой врождённый талант, присущий каждому из этих поэтов, смог проявиться с полной силой именно тогда, когда приобщение к политической жизни дало их творчеству ту силу эмоций, ту значительность содержания, то ощущение ответственности за судьбы своего народа, ту крепость и ясность поэтического языка, которые недоступны убогим ревнителям «аполитичного» искусства.

В советской поэзии существует теснейшая связь между личной и политической темой, ибо для социалистического человека дело народа является кровным, родным делом. К такому единству личного и общественного приходят лучшие зарубежные поэты, и на этой основе возникают наиболее значительные их произведения.

Характерна в этом смысле замечательная поэма Пабло Неруда «Пусть проснётся лесоруб» (1948). Она охватывает важнейшие жизненные явления нашего времени. В ней идёт речь об опасности войны и угрозе американской агрессии, о труде, тревогах и нуждах простых людей, о непобедимой силе Советского Союза, о величии Сталина, о борьбе народов за мир. Это — произведение большого пафоса, большого эпического дыхания. И в то же время в нём есть проникновенная задушевность, тонкий лиризм. В нём звучит голос поэта — патрио-

та и интернационалиста, для которого собственное «я» неотделимо от «мы», от своего народа, от народов «всей земли».

Сборник стихов Арагона «Снова боль в сердце» (1948) разнообразен по своему составу: он включает в себя и стихи-раздумья на политические темы дня, и остроумную, злую «Песенку о муниципальных советниках», и нежный лирический цикл «Любовь Эльзы», и патетически приподнятые «Романсеро о Пабло Неруда». Но главное в книге — тема французского народа. В противовес «безнациональным» словесным фокусам леттристов и прочих космополитствующих кривляк из буржуазно-декадентского лагеря, Луи Арагон создаёт стихи, проникнутые глубокой любовью к родине. Стихи Арагона передают думы и чувства передового французского, преданного героической памяти Габриэля Пери, вдохновлённого «заразительной силой Марсельезы», бдительно обличающего происки «новых надувал», готовых снова предать Францию. В мировоззрении поэта — источник эмоциональной силы, духовного богатства его поэзии.

Когда мы присматриваемся ближе к творчеству передовых западных поэтов, мы видим, как трудны подчас их искания, нелегко им бывает иногда противостоять силе инерции, побороть буржуазно-эстетские влияния и навыки. Мы видим, что эти поэты добиваются своих лучших достижений именно тогда, когда правда жизни, сила передовых идей одерживают победу над формалистическими традициями.

Это можно проследить на примере Поля Элюара. Он любит облекать сложные понятия в лаконичные слова-образы. В его довоенном творчестве слово-образ нередко превращалось в слово-иероглиф, понятный лишь «посвящённым». Большой творческий перелом, пережитый Элюаром в дни войны и Сопrotивления, помог ему сбросить иго реакционной формалистической эстетики. В его сборниках послевоенных лет много строк, богатых мыслью и чувством, насыщенных большим общественным содержанием. Одно из недавних своих стихотворений Элюар посвятил великому Сталину. В стихотворении «Поэзия должна иметь целью практическую истину» Элюар polemизирует с аполитичными интеллигентами, «бродящими без цели».

Элюар упорно стремится к доходчивости, конкретности поэтической речи. Но нередко и в его новых стихах чувствуется отвлечённость, нарочитая недосказанность.

Побывав в Греции, Элюар опубликовал цикл стихотворений, посвящённых освободительной борьбе греческого народа. Здесь можно ясно проследить, как новое жизненное содержание, вторгшееся в творчество поэта, разрывает оковы аристократической, условной формы, подкашивает простые и сильные слова. Но рецидивы формалистической изошрённости проявляются кое-где, даже и в самом названии цикла («Grèce та rose de raison» — «Греция роза моего разума»: тут аллитерация явно подчиняет себе смысл).

Цикл открывается стихотворением «Вечер отступает»:¹

Нету потаённого порога
Между человеком и природой.

Слышу на деревьях шелест листьев,
Слышу сердца стук: оно весною

Обновляется для новой жизни.

День за днём мы в вечном обновленье,
Вслед за чёрной ночью — радость утра.

Сила матери растёт от горя
И становится хитрей препятствий.

День за днём — рассвет сменяет горе.

Эти строки привлекают своей жизнеутверждающей тенденцией, верой в победу человека над угрожающими ему тёмными силами. Но чувства автора выражены в абстрактной, подчёркнуто «вневременной» форме, и это придаёт им пассивный, созерцательный характер.

Гораздо больше жизни и пафоса в другом стихотворении того же цикла — «Говорят вдовы и матери»:

Когда-то мы вступали в брак,
У нас глаза светились счастьем.

Оружьём, боевым огнём
Освободимся от фашизма.

Качался в колыбелях свет,
И мы детей кормили грудью.

О, дайте в руки нам ружьё,
Чтобы расстреливать фашистов.

¹ Элюар исключительно трудно переводим, и существующие переводы неудовлетворительны. Цитируемые ниже строки передают смысл подлинника, но не дают достаточного представления о его поэтическом своеобразии.

Ручьём мы были и рекой,
Мы океаном быть мечтали.

Скорее научите нас
Быть беспощадными к фашистам.

Их меньше, чем у нас могил.
Они убили безоружных.

Вся наша жизнь была — любовь,
Жизнь — вот одно, что нам понятно.

О, дайте в руки нам ружьё,
Смерть победим мы — нашей смертью.

Сила воздействия этого стихотворения основана именно на том, что в нём идёт речь не о вражде света и тьмы «вообще», а о борьбе миролюбивого и гордого народа с фашистами-поработителями.

Процессы трудной внутренней ломки, стремление овладеть современной темой, поиски живого, ясного слова, борьба с живучими эстетско-формалистическими навыками — всё это ощутимо в ряде произведений передовых зарубежных поэтов. Характерны в этом смысле стихи Стефана Хермлина — выдающегося немецкого поэта, прошедшего через подполье и концлагери и ныне активно участвующего в создании демократической немецкой культуры. Даже в лучших из его «22 баллад» (1947) искренний пафос освободительной борьбы затемнялся искусственно усложнённым языком. Поэт сам сознавал это и восклицал в своей «Балладе о старых и новых словах»:

Не годятся слова-загадки,
Прилетавшие в чёрную тьму
В демонически-строгом порядке
Как пернатые маги, в дыму,
Не годятся слова-загадки.

...Нет, дайте мне слово другое!
Я своё вам отдам назад.
Пусть будет обетом, мезью, грозю
Слово — плуг, поток, снаряд.
Дайте мне слово другое!

Хермлин напряжённо работает над собой, стараясь высвободиться из-под власти «слов-загадок». Значительной удачей Хермлина является его недавно опубликованная поэма «Сталин». С большой искренностью и страстностью выражает поэт свою любовь к величайшему человеку нашей эпохи и к стране, породившей его. Сурово и чётко звучат строфы, передающие героизм советских людей в дни Отечественной войны:

Тот, кто заводы строил,
Пошёл ополченцем в строй,
Тот, кто писал поэмы,
Винтовку назвал сестрой,
Тот, кто за мир боролся,
В атаку повёл солдат, —
А тот, кто спас Царицын,
Спас теперь Сталинград...

Поэма не лишена недостатков: кое-где автору не удалось избежать абстрактной декларативности. Однако новое произведение Хермлина знаменует большой сдвиг в его творчестве: его поэтический язык стал несравненно более доходчивым, выразительным, действенным.

Примечательно творчество другого молодого немецкого поэта — Курта Бартеля, пишущего под псевдонимом Куба. Его «Поэма о человеке» (1948) в дни юбилея Гёте была удостоена Национальной премии. Это — своеобразная серия лирико-публицистических картин на темы недавнего прошлого и настоящего. Немецкий поэт во многом близок к творческой манере Маяковского; он тяготеет к боевой агитационной поэзии, рассчитанной на широкого читателя; он сочетает сатиру с патетикой, стремится к большим политическим обобщениям. «Поэма о человеке» богата мыслями, актуальным общественным содержанием; она проникнута ощущением великих исторических сдвигов, совершающихся в наши дни.

С чувством горячей любви и благодарности говорит Куба о советском народе, о Ленине, о Сталине. Он показывает значение Октябрьской революции в истории человечества; он раскрывает громадные всемирноисторические заслуги Советского Союза в деле разгрома фашизма. Значительная часть поэмы посвящена судьбам Германии, борьбе антифашистов, вине и ответственности немецкого народа и перспективам демократического преобразования страны.

Не все части поэмы Куба одинаково удачны: иные её страницы не свободны от наивной риторики, неровны в ритмическом отношении. Но в целом поэту удалось воплотить сложное идейное содержание своего произведения в динамичные стихи, в конкретные, зримые образы. С едкой иронией рисует поэт заокеанского «дядю Сама», желающего «слопать» весь мир, но бессильного остановить рост революционно-

го сознания масс. С гневным сарказмом обращается Куба к хозяевам капиталистического мира, перед которыми встаёт грозный призыв коммунизма:

Ведь всё равно — слабы ли вы
Или ещё сильны, как львы, —
Победа нашей будет!

Вам, дорогие господа,
Не отвергнется от суда:
Идут с оружием сюда
Разгневанные люди.

Глухую ночью, светлым днём
Мы вас в любой норе найдём,
Возьмём в любом окопе.

Ударит кулаком в окно
Тот призрак, что давным-давно
Шагает по Европе!¹

Опубликованная недавно «Кантата о Сталине» знаменует дальнейший успех в творческом развитии Куба. В этом произведении, написанном после поездки поэта в Советский Союз, картины советской действительности гораздо живее, убедительнее, чем они были в «Поэме о человеке».

Та бодрость, уверенность тона, которую отличаются обе поэмы Куба, не есть лишь свойство творческой личности поэта. В них отразились те большие социальные перемены, которые произошли в советской зоне Германии и подготовили возникновение Германской демократической республики. Поэт говорит от лица простых людей, которые начинают чувствовать себя хозяевами жизни, которые уверены в себе, в своём завтрашнем дне, в неминучести конечной победы социализма во всём мире. Стихи Куба по своему настроению перекликаются с новыми лучшими произведениями поэтов стран народной демократии.

Великие исторические сдвиги, происходящие ныне в Чехословакии, Венгрии, Румынии, Польше, Болгарии, Албании, порождают новые, очень важные явления в поэзии. Впервые в этих странах созданы условия для развития подлинной свободной литературы, участвующей вместе с массами в социалистическом преобразовании жизни.

Разумеется, и в литературах этих стран носители буржуазных взглядов и буржуаз-

¹ Стихи Хермлина и Куба цитируются в переводе Л. Гинзбурга.

ных нравов, формалисты и эстеты разных мастей, не сразу и весьма неохотно сдают свои позиции. В этих странах отнюдь не перевелись ещё поэты, которые ориентируются на западную, реакционную литературную «моду» и либо уклоняются от новой тематики, либо облачают новое содержание в негодную, обветшалую форму. Но сами народные массы, которые жадно, стремительно приобщаются к культуре, помогают скорейшему разгрому буржуазных упадочных течений в искусстве. Очень интересно в этой связи свидетельство чехословацкого политического деятеля П. Реймана: «Бывали случаи, когда рабочие типографий, где подготавливались к печати декадентские сочинения какого-нибудь сюрреалистического поэта, принесли гранки в культпроп Центрального Комитета компартии и спрашивали, следует ли им продолжать работу над этой книгой»¹.

Вопреки декадентским последышам, в поэзии стран народной демократии крепнут реалистические тенденции, стремление к активному вторжению в жизнь. Появляются произведения, отражающие возросшую самостоятельность масс, их хозяйское отношение к жизни, энтузиазм освобождённого труда.

Человек — труженик и созидатель, работа, как творчество, как осознанная переделка жизни — таковы темы, которые всё шире прокладывают себе дорогу в поэзии стран народной демократии.

Пафосом восстановления Польши одушевлены новые стихи крупного польского поэта Владислава Броневского, стихи С. Выгодского, А. Брауна. Образы свободных рабочих, героев труда возникают в стихах Станислава Неймана и ряда других чешских поэтов. О свободном труде венгерского крестьянина говорят в своих стихотворениях и писатель старшего поколения Дьюла Ийеш, и только что вошедшие в литературу Петер Куцка, Ференц Юхас. Молодая болгарская поэтесса Паулина Станчева написала цикл стихотворений о юных строителях Хайнбоазской дороги. Албанский поэт Лазарь Силчи воспевает «новые поезда», которые мчат его народ к счастливой жизни.

Разумеется, стихотворения на темы современности, появившиеся за последние го-

ды в странах народной демократии, очень неравноценны по своим художественным качествам. Поэтам этих стран предстоит ещё большая борьба за мастерство, за полноценное образное воплощение новой жизни и новых людей. Но сам совершающийся ныне поворот поэзии стран, где строится социализм, к современной тематике, к героике строительства и труда — явление важное и радостное.

8

Опираясь на идейные и творческие принципы советской литературы, борясь с декадентскими антиреалистическими течениями, писатели стран народной демократии стремятся своей творческой работой помогать социалистическому воспитанию масс. Происходит широкое идейное перевооружение старой писательской интеллигенции, быстрый рост молодых литературных кадров. На съезде писателей Польши в Щецине (январь 1949) и на съезде писателей Чехословакии в Праге (март 1949) широко обсуждался вопрос об овладении методом социалистического реализма, подвергались критике идейно-творческие ошибки отдельных писателей.

И в Польше и в Чехословакии — странах, литературы которых располагают богатой отечественной реалистической традицией, появляются новые крупные произведения, правдивые, актуальные по своей тематике, проникнутые социалистической идейностью.

Одним из таких произведений является роман польского писателя Ежи Путраменты «Действительность» (1947); автор повествует о революционной работе группы интеллигентов в условиях полуфашистской, «санационной» Польши 30-х годов. Писатель переносит нас то в кабинеты полицейских чиновников, где замышляются гнусные планы истребления революционных организаций, то на завод, где бастуют рабочие и где их предаёт профсоюзный чиновник из лагеря правых социалистов, то в аудиторию университета, где реакционные молодчики устраивают «скамеечное гетто» для студентов-евреев. Книга Путраменты показывает, как правящая клика, работая перед Гитлером, копируя его методы, пренебрегая национальными интересами страны, всё более открыто проводила политику фашизации Польши. Книга напоминает о тяжёлом, тёмном прошлом старой

¹ «Литературная газета» от 29 января 1949 года.

Польши и обостряет в читателе ненависть к тем реакционным силам, которые хотели бы вернуть это прошлое.

Правда, революционный лагерь довоенной Польши представлен в романе слабо: те коммунисты, которые эпизодически появляются в повествовании, обрисованы очень схематично. Это — существенный недостаток книги Путрамента. Но идейная зрелость автора проявляется в том, как показана им среда демократически настроенной мелкобуржуазной интеллигенции — та среда, в которой вырос он сам. Ироническая авторская интонация напоминает читателям, что писатель отнюдь не отождествляет себя со своими героями, что он критически пересматривает и своё собственное прошлое.

Всем ходом повествования доказывается, что интеллигент, человек творческого труда, может найти смысл своей жизни только тогда, когда он честно и последовательно служит народу. Путрамент мимоходом, но довольно зло высмеивает декадентских поэтов. Устами «Доктора» — представителя подпольного коммунистического центра — писатель доказывает, что судьбы искусства неразрывно связаны с освободительным движением народа: «Писатель, который честно относится к себе и своему творчеству, неизбежно придёт к нам... Его искусство приведёт к нам». В свете идейной борьбы, происходящей ныне в польской литературе, эти слова, убедительно подтверждаемые художественной логикой романа, имеют весьма актуальный смысл. «Действительность» Путрамента не только даёт правдивую картину недавнего прошлого Польши, но и ставит вопросы, имеющие насущное значение для интеллигенции стран народной демократии.

Крупнейшие писатели стран народной демократии ставят перед собой и более значительные задачи: они хотят поднимать и разрешать вопросы, важные для всего народа, чтобы вдохновлять массы на борьбу и труд. Клемент Готвальд писал в своём обращении к писателям Чехословакии: «Нам нужен могучий поток, бурный поток нового, идейно-боевого, вдохновляющего искусства... Станьте инженерами души нашего народа, выразителями его стремлений, его любви и ненависти, станьте его социалистическими «будителями»¹.

Выдающимся успехом новой чехословацкой литературы, развивающейся на пути к социалистическому реализму, является неоконченная трилогия Марии Пуймановой — романы «Люди на перепутье» и «Игра с огнём».

Перед нами широко задуманное эпическое произведение: летопись жизни десятилетий — от основания буржуазной республики до установления гитлеровского «протектората». Среди главных действующих лиц романа — люди разных классов, возрастов, мировоззрений. Писательница искусно, увлекательно строит повествование; в истории отдельных людей отражаются судьбы целой страны.

Произведение Пуймановой многосторонне по своей идейной проблематике. Взаимоотношения интеллигенции и народа, антагонизм труда и капитала, наступление фашизма и борьба демократических сил против него — все эти большие жизненные вопросы естественно входят в художественную ткань повествования.

В числе главных действующих лиц трилогии — адвокат-коммунист Гамза. Он выступает на судебных процессах в защиту интересов рабочих; он участвует в международном движении помощи невинно осуждённым юношам-неграм из Скоттсборо; он в качестве представителя чехословацкой демократической общественности едет на Лейпцигский процесс. Через посредство образа Гамзы в романы широко входит интернациональная антифашистская тема. Мария Пуйманова самым ходом повествования напоминает читателю, что борьба против капиталистической реакции, против национального и расового гнёта — общее дело трудящихся всего мира.

С большим психологическим мастерством обрисован сложный образ молодого рабочего Ондreja Урбана. Он дан в формировании, в развитии. Мы видим, как хорошие задатки, присущие юному труженику от природы, извращаются капиталистическим строем. Его чувство достоинства вырождается в карьеризм, его трудолюбие превращает его в придаток к машине, его плебейская гордость приводит его к отрыву от собственного класса. Но мы видим и то, как жизнь постепенно наталкивает Ондreja на мысли о классовых противоречиях и классовой солидарности.

¹ «Литературная газета» от 9 марта 1949 года.

В талантливом, реалистически полном повествовании Марии Пуймановой не все главы, не все страницы находятся на одинаково высоком идейном уровне. Местами писательница отдаёт дань объективизму, слишком сливается с изображаемыми ею людьми, излишне детализирует бытовые картины. Вовсе малоудачен образ сентиментально-гуманной барышни — дочери капиталистического хищника Казмара. И надо сказать, что писательнице не всегда удаётся именно изображение передовых людей. Гамза наделён некоторыми чертами прекраснородного интеллигента-одиночки. А рабочий-коммунист Францик Антенна обрисован выразительными штрихами, но появляется в романе лишь от случая к случаю.

Однако во второй части трилогии повествование приобретает всё большую идейную остроту. Вводя в роман «Игра с огнём» элементы исторической хроники, М. Пуйманова описывает Лейпцигский процесс, подлые методы фашистской «юстиции», героическое поведение Георгия Димитрова. Светлая фигура болгарского большевика как бы воплощает в себе неслышимую волю народов, не желающих покориться фашизму.

Изображая общественную жизнь Чехословакии накануне прихода гитлеровцев, писательница хорошо передаёт настроение масс, ощущение близости мировой войны, возмущение виновниками мюнхенского предательства. Она даёт картины народных демонстраций против отторжения Судет, против порабощения страны германским фашизмом. Она даёт почувствовать силу свободолюбивого чешского народа, который даже в те дни, когда в Праге начало свирепствовать гестапо, продолжал чувствовать себя непокорённым.

Мария Пуйманова показывает, как капиталистический строй привёл Чехословакию к национальной и государственной катастрофе. Её романы убеждают читателя в том, что перспективы свободного развития и расцвета Чехословакии неразрывно связаны с социалистическим строем. Через оба романа проходит тема любви к Советскому Союзу, к русскому народу. Чешские рабочие в самые тяжёлые для страны минуты твёрдо убеждены: «когда мы будем обороняться, мы не останемся одни — Сталин поможет»...

Сегодняшняя действительность, тема социалистической переделки жизни всё более непосредственно входит в литературы стран народной демократии. Чешский писатель Т. Сватоплук, который в своё время сатирически заклеил чудовищный режим предприятий Бати, ныне работает над повестью «Без шефа» — на тему о том, как рабочие этих предприятий учатся сами управлять производством.

Несомненным успехом демократической польской литературы является роман молодого писателя Ежи Пытляковского «Фундамент» (1948), посвящённый работе и борьбе рабочих Вроцлавского вагоностроительного завода. Большая заслуга Пытляковского в том, что он первый сумел запечатлеть в крупном художественном произведении жизненный процесс большой исторической важности: рождение нового отношения к труду у пролетариев демократической Польши.

Перед читателем проходят трудовые будни заводского коллектива, который восстанавливает цехи из развалин и добивается первых ощутимых производственных успехов. Роман насыщен драматизмом острой классовой борьбы. В звериной ненависти к молодой польской демократии объединились и притаившиеся немецкие фашисты, и последыши дворянско-офицерской касты старой Польши, и всевозможный тёмный сброд — спекулянты, торгаши, уголовники. Борьба передовых людей завода с вредителями, завершающаяся разоблачением и разгромом вражеской банды, лежит в основе сюжета романа.

Писателю удалось воссоздать — хотя бы отдельными штрихами — героичность освобождённого труда. Действие происходит непосредственно после окончания войны, когда народно-демократический строй только ещё начинает складываться, когда ещё не изжит хозяйственная разруха. Пытляковский хорошо передаёт атмосферу дружной, напряжённой работы, работы на себя, в ходе которой люди духовно растут, приучаются к новым взаимоотношениям, основанным на товарищеской солидарности. Романист находит живые детали заводского быта, в которых раскрываются эти новые взаимоотношения.

Стремление и умение писателя подметить, отобразить то новое, что рождается в общественной жизни Польши, опреде-

ляет не только содержание романа, но и его художественную структуру. Движущей силой сюжета является прежде всего судьба заводского коллектива, процессы труда и борьбы. Чувствуется плодотворное усвоение Е. Пытляковским опыта советских романистов.

Но в романе Е. Пытляковского есть весьма серьёзные недостатки (они частично устранены в сокращённом русском переводе). В растянутых, излишне грубых натуралистических эпизодах проявляются невольные уступки автора чуждым, буржуазным влияниям. В романе есть и черты идейной нечёткости. Автор правдиво показывает гнусность тех методов, какими действовали враги, но неожиданно пытается «очеловечить» одного из организаторов вредительской шайки, помещичьего сына Яницкого, приписывая его «деятельности» идейные мотивы. Е. Пытляковскому присущи ненужное и даже вредное пристрастие к изображению людей с душевными изломами, с червоточинной. Эта склонность автора проявилась не только в ряде второстепенных персонажей и эпизодов, но и в образе главного героя, Бочара. Передовой, сознательный польский пролетарий, один из лучших людей завода, изображён в романе каким-то аскетом, подвижником, неудачником в личной жизни. Если автору удалось обрисовать труд заводского коллектива и борьбу его с врагами, удалось построить на этой основе увлекательное повествование, то ему во многом не удалась психологическая разработка характеров, в особенности главных положительных характеров романа.

Однако «Фундамент» Е. Пытляковского — одно из первых крупных произведений на тему о становлении новой жизни, о свободном труде в условиях народной демократии. И это определяет его серьёзное, положительное значение.

Передовые писатели Польши, Чехословакии, Болгарии и других стран народной демократии учатся видеть и отображать первые ростки социализма в жизни своих стран.

Советская печать уже отмечала достоинства таких произведений, как «Перевал молодёжи» Георгия Караславова, как «Новые рассказы» Стояна Ц. Даскалова. Болгарские писатели сумели очень быстро, оперативно — в произведениях очеркового

жанра — запечатлеть черты нового быта и психологии народа, вступившего на путь социалистического строительства. В книжке Г. Караславова есть сильные, волнующие страницы, передающие трудовой энтузиазм болгарских юношей и девушек — строителей горного перевала. Интересны зарисовки новой болгарской деревни, сделанные Даскаловым (в особенности очерк «Первые радости», показывающий пробуждение болгарской крестьянки к сознательной общественной деятельности).

Но подобные произведения следует расценить лишь как первые наброски, эскизы будущих больших картин. В них ещё нет глубокого анализа сдвигов, происходящих в быту и психологии людей, нет всестороннего изображения классовых и политических сил, которые действуют в современной Болгарии.

В книге Г. Караславова хорошо воссоздана атмосфера дружного коллективного труда, одухотворённого идеалами коммунизма. Но писатель не сумел глубже проникнуть в судьбы изображаемых им людей. Говоря об отдельных героях строительства, Г. Караславов ограничивается краткими, почти газетного типа, биографиями-справками, не пытаясь создать конкретные, индивидуализированные образы передовых представителей болгарской молодёжи.

Недавно корреспондент «Комсомольской правды» побывал в рабочем клубе имени Ракоши в Будапеште, где шло обсуждение нового рассказа одного из венгерских писателей на тему о классовой борьбе в деревне. Одна из участниц собрания сказала: «Рассказ ваш хороший, товарищ писатель, но напишите нам такую же книгу, как «Поднятая целина» Шолохова».

Думается, что это требование показательно. В странах народной демократии, в бытии и сознании народов этих стран происходят великие перемены громадной исторической важности. Трудящиеся этих стран хотят, и вправе хотеть, чтобы процессы социализации новой жизни были отображены в значительных, реалистически конкретных, художественно полнокровных произведениях.

В ряду литератур стран народной демократии особого внимания заслуживает молодая, бурно развивающаяся литература демократического Китая. Талантливейшие писатели страны деятельно участвуют в

борьбе за новую жизнь и новую культуру, стремятся запечатлеть трудовой героизм многомиллионного древнего народа, впервые за тысячелетия ставшего хозяином собственной судьбы. Роман Дин Лин «Солнце над рекой Сангань», повесть Чжао Шу-ли «Перемены в Лизцячжуане», переведённые на русский язык, получили высокую оценку в советской печати. Новая китайская литература — это огромная, сложная тема, которая требует глубокого и полного освещения в отдельных работах.

9

Наиболее ценные новые произведения прогрессивных зарубежных писателей, сколь бы они ни были различны по тематике, подчас и по уровню мастерства, дают основание для общего вывода: прогрессивные писатели многих стран тяготеют к социалистическому реализму. Они и сами нередко говорят об этом.

Социалистический реализм — самый совершенный, новаторский метод художественного творчества, давно уже ставший господствующим методом советской литературы, — ныне становится важнейшим фактором художественного развития человечества, приобретая всё более очевидное международное значение.

Мы, советские критики, занимающиеся зарубежной литературой, до сих пор не сумели дать ясного ответа на вопрос: существует ли объективная возможность для развития социалистического реализма за пределами советской страны? Однако вопрос этот ставится самой жизнью, самой творческой практикой прогрессивных литераторов.

Было бы ошибкой считать, что социалистический реализм уже утвердился, полностью восторжествовал в творчестве тех или иных передовых писателей за пределами Советского Союза. Но было бы не менее грубой ошибкой отрицать возможность его существования в зарубежных литературах в то время, как лучшие новые произведения передовых писателей разных стран обнаруживают всё более явные тенденции социалистического реализма.

В странах народной демократии уже есть объективные предпосылки для развития социалистического реализма. В этих странах, где идёт победоносное наступле-

ние сил социализма, где широко развернулась творческая инициатива масс, где новая культура строится под направляющим воздействием коммунистических и рабочих партий, искусство поистине может стать (и отчасти уже становится) отражением «данных трудовой практикой фактов социалистического творчества»¹, как говорил в своё время Горький.

Но каковы объективные предпосылки становления социалистического реализма там, где пролетариат ещё не завоевал власть? Над этим вопросом задумываются передовые художники разных стран. На него попытались ответить и Луи Арагон, и Говард Фаст.

Л. Арагон в своей статье «Реализм социалистический и реализм французский»² вступает в принципиальный спор с идейными противниками из буржуазного лагеря, отрицающими возможность возникновения социалистического реализма во Франции. Он развивает следующую аргументацию. Социалистический реализм впервые вырос на русской почве, ибо именно исторические судьбы России впервые подтвердили истинность идей социализма. Но нельзя считать социалистический реализм исключительно русским явлением. Там, где идёт борьба во имя социалистических идей, там появляются и художники, у которых способ восприятия и отражения жизни определяется мировоззрением революционного пролетариата. Следовательно, утверждает Арагон, проявления социалистического реализма возможны и в современной французской литературе.

Г. Фаст в своей новой книжке «Литература и действительность» отстаивает те же положения гораздо более развёрнуто и обоснованно. Он говорит о громадном росте сил социализма и демократии, как об определяющем факторе всей современной общественной жизни. «Главное в нынешней действительности — могучий Союз Советских Социалистических Республик. Советский Союз существует, и никакая сила на земле не в состоянии изменить этот факт. Писатель прошлого поколения — Линкольн

¹ А. М. Горький. Литературно-критические статьи. М. 1937, стр. 592.

² Эта статья Арагона впервые появилась в 1937 году. Ныне автор перепечатал её (с добавлением) на страницах «La critique nouvelle» № 6, 1949.

Стеффенс, посетив СССР, сказал: «Я увидел будущее, и оно существует». Теперь уже можно сказать: «Я увидел будущее, и оно неизбежно»...»

Фаст пишет далее: «Вопрос о социалистическом реализме неотделим от существующего уже социализма. Отсюда не следует механического вывода, что социалистический реализм возможен только в пределах географических границ Советского Союза, — это не так! Но существование Советского Союза — решающий фактор тех качественных сдвигов, благодаря которым социалистический реализм стал возможным»¹. Передовые художники всех стран, по мысли Фаста, должны исходить в своём творчестве из факта победы социализма в СССР. Только с позиций социализма, говорит он, писатель может дать правильную оценку явлений, соответствующую объективной логике исторического развития. Именно с социалистическим реализмом, утверждает Фаст, связаны перспективы прогрессивного искусства во всех странах, в том числе и в США.

И статья Арагона, и книжка Фаста содержат отдельные формулировки, с которыми можно спорить. Но по своему общему смыслу их рассуждения верны. Они подтверждаются и опытом развития советской литературы.

Общеизвестно, что социалистический реализм стал основным, господствующим методом советской литературы уже тогда, когда социализм одержал решающие победы в общественной жизни СССР. Но основы социалистического реализма были заложены Горьким ещё в дооктябрьские годы, когда массовое рабочее движение, руководимое большевистской партией, стало внушительной общественной силой. Прав Арагон, что художник, вооружённый коммунистическим сознанием, связанный с революционным рабочим движением, может развиваться в направлении к социалистическому реализму и до победы пролетарской революции в его стране.

В то же время прав Фаст: именно в наши дни, когда так возросла мощь Советского Союза, когда социализм побеждает в странах народной демократии, когда в рядах коммунистических и рабочих партий объединено около двадцати пяти мил-

лионов человек, — появляются особенно благоприятные предпосылки для возникновения социалистического реализма за рубежом. В Советском Союзе трудящиеся всего мира видят воплощение своего будущего; это будущее становится для них всё более осязаемым и конкретным. Ныне передовые писатели капиталистических стран по своей идейно-творческой зрелости значительно превосходят пролетарских писателей Запада, выступавших в 20 или 30-е годы. Успехи Советского Союза и всего демократического лагеря помогают современным передовым писателям за рубежом видеть жизнь в её революционном развитии, в её движении от настоящего к будущему. А богатейший опыт, накопленный советской литературой, помогает им находить художественные средства для того, чтобы показать это движение к будущему.

Арагон пишет: «Социалистический реализм в каждой стране может обрести подлинную ценность лишь в том случае, если он будет уходить корнями в ту реальную национальную почву, на которой он вырос». Это верно. И отсюда следует, что перспективы развития социалистического реализма в каждой стране во многом зависят от конкретных обстоятельств: от революционной зрелости и сознательности пролетариата, от силы его коммунистического авангарда, от степени богатства и прочности прогрессивных реалистических традиций в национальной культуре данной страны. Они во многом зависят, конечно, и от субъективного фактора, от творческих усилий самих передовых писателей.

Понятна та страстность, с которой и Фаст, и Арагон, и некоторые другие прогрессивные зарубежные писатели отстаивают возможность становления социалистического реализма в их странах: они видят в этом творческом методе важное средство борьбы за лучшее будущее своих народов.

Но в некоторых статьях зарубежных литераторов порою проскальзывает одна ошибочная тенденция, которая яснее всего ощутима в книге Фаста «Литература и действительность». Фаст явно склонен переоценивать успехи, достигнутые писателями Запада на пути к социалистическому реализму (это, отражается, например, в его преувеличенной оценке достоинств книги Сакстона «Большая Среднезападная»). Однако формирование социалистического

¹ How and Fast. Literature and reality, стр. 50, 76.

реализма в условиях буржуазного строя, да ещё в условиях современной капиталистической Америки, где так силен напор вражеской, реакционной идеологии, дело исключительно трудное и сложное, и обольщаться здесь достигнутыми успехами ни в коем случае нельзя.

Полезно попытаться выяснить: в чём именно сказывается в лучших книгах последних лет приближение к социалистическому реализму? И какие черты этих книг чужды, враждебны ему?

Социалистический реализм — самый последовательный, самый трезвый реализм. Передовые писатели, вооружённые революционным мировоззрением, глубоко проникают в суть социальных отношений. И это помогает им беспощадно разоблачать эксплуататорские классы.

В отличие от буржуазного критического реализма, изображавшего капиталистический строй, как отвратительную неизбежность, реализм социалистический предсказывает неминуемую гибель этого строя.

«...то, что в жизни стареет и идёт к могиле, неизбежно должно потерпеть поражение, хотя бы оно сегодня представляло из себя богатырскую силу»¹.

Эта истина имеет важнейшее значение для передовых художников, отображающих действительность тех стран, где капитализм пока ещё силен. Те произведения, где авторам удалось передать обречённость буржуазного строя, раскрыв те силы, которые этому обществу противостоят, — близки социалистическому реализму. Именно этот метод, в силу присущей ему идейной остроты и страстности, способен к особенно резкой уничтожающей критике всего отжившего, реакционного. Именно наличие революционной перспективы помогает Г. Фасту вскрывать исторические истоки американского расизма, Анне Зегерс — обнажать социальную сущность германского фашизма, Мартину Андерсену Нексе — раскрывать пути реакционного перерождения правых социалистов, Л. Арагону — разоблачать антинациональную политику французской буржуазии.

Но социалистический реализм — это прежде всего метод утверждения нового, того, что рождается, растёт и яв-

ляется неодолимым. Художники, работающие этим методом, показывают, предсказывают, приближают своим творчеством победу нового над старым, исходя не из абстрактно-моральных добрых пожеланий, а из трезвого постижения законов реальной жизни. Изображая действительность в её революционном развитии, они показывают те общественные и политические силы, которые двигают историю вперёд.

«Реальность нашей программы — это живые люди»¹, — учит нас Сталин. Социалистический реализм утверждает новое, передовое — через живые человеческие образы. Понятно стремление лучших зарубежных художников создать яркие положительные фигуры, в которых воплотилась бы революционная энергия народных масс (пример тому — Гидеон Джексон у Г. Фаста). Понятно стремление этих художников показать роль коммунистических и рабочих партий в судьбах народов, дать образы героев, борцов, которые могли бы стать воспитывающим примером для трудящихся. Умение увидеть и отобразить революционный авангард народа по-разному проявляется в столь различных произведениях, как «Седьмой крест» и «Земля золотых плодов», как «Большая Среднезападная» и «Живые борются». Такие книги помогают простым людям поверить в собственные силы.

Вспомним замечательную книгу Юлиуса Фучика. Она представляет собой не только потрясающий человеческий документ, но и высококачественное художественное произведение. Книга создавалась в дни, когда почти вся Западная Европа была порабощена гитлеровцами. Но писатель-коммунист Фучик знал, что фашистская Германия придёт к разгрому. И в центре его внимания, в центре его книги — думы, чувства, поступки людей, активно противостоящих фашизму. Несмотря на вынужденную эскизность, отрывочность тюремного дневника Фучика — в нём проступают крупным планом контуры будущей победы. В «Репортаже» Фучика с особенной силой проявилась та революционная романтика, та способность к художественному предвидению будущего, которая является неотъемлемым свойством социалистического реализма и которая по-разному сказы-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 1, стр. 298—299.

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 349.

вается и в других лучших книгах передовых зарубежных писателей.

Известно, что социалистическому реализму неотъемлемо присуще революционно-действенное отношение к миру. И страстное отрицание капиталистического зверства, и страстное утверждение великой правды коммунизма — всё это служит для советских художников средством преобразования жизни. Мобилизующий, наступательный дух присущ и лучшим произведениям Арагона, Фаста, Пабло Неруда и других крупнейших зарубежных художников наших дней.

Развитие передовых зарубежных писателей в направлении к социалистическому реализму происходит в ожесточённой борьбе с чуждыми влияниями. Разнообразно сказываются в творчестве этих писателей те препятствия, те трудности, которые мешают им овладеть новым для них методом.

Уступки буржуазной идеологии приводят даже передового художника к творческим провалам; мы видели это на примере романа Г. Фаста «Мои славные братья», который далёк от какого бы то ни было реализма, а тем более — социалистического.

Уступки чуждым влияниям в области художественного метода сказываются у некоторых писателей в том, что они вводят в повествование грубо натуралистические эпизоды (как Ж. Амаду в «Красных восходах»), наделяют своих героев душевной ущербностью в декадентском вкусе (как Е. Пытляковский в «Фундаменте»), погружаются в мерзкие «тайны» извращённой психики капиталиста (как Г. Фаст в «Кларктоне»). Натурализм с его пристрастием к пассивному копированию грубых и низменных явлений глубоко враждебен подлинно передовому искусству.

Социалистический реализм отвергает формалистическую изощрённость, манерность,

искусственную усложнённость образов, композиции, языка; «не всё доступное гениально, но всё подлинно гениальное доступно...», как говорил А. А. Жданов.¹ Но социалистическому реализму чужда и грубая однолинейность, упрощенчество, схематизм. А ведь налёт схематизма очень заметен и в таких удачных, талантливых книгах, как «Мы вернёмся за подснежниками» Ж. Лаффита или «Немая баррикада» Я. Дрда. Есть немало книг, где подобного рода недостатки приводят к обеднению образов передовых людей.

В стихах прогрессивных поэтов разных стран — например, в тех стихотворениях, которые известны советскому читателю по сборнику «За мир!» — наряду с сильными, искренними строками подчас проскальзывают и общие места, голые декларации. А ведь сухая риторика столь же чужда подлинно революционному искусству, как и формалистические побрякушки.

Социалистический реализм раскрывает перед художниками слова многообразные творческие возможности. Но он несовместим с поверхностной, небрежной работой. Чем значительнее идея художественного произведения, тем большего мастерства она требует для своего воплощения в образы.

Передовые зарубежные художники, идейно близкие советской литературе, стремящиеся овладеть её основным методом, имеют право на пристальное, дружеское внимание со стороны советской критики. Нужны статьи и книги, в которых произведения этих писателей подвергались бы нелицеприятному, продуманному разбору. Советская критика может и должна помочь передовым зарубежным художникам в их идеологической борьбе и в их творческих исканиях.

¹ «Совещание деятелей музыки при ЦК ВКП(б)». М. 1948, стр. 143.



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

МАРК ТВЕН И АМЕРИКА

Доклад, прочитанный 26 апреля 1950 года на вечере, посвящённом сорокалетию со дня смерти Марка Твена, в Центральном Доме литераторов в Москве

Поговорим о Марке Твене, об одном из замечательнейших писателей Америки. Поговорим о его судьбе в современной Америке.

Марк Твен — блестящий реалист-сатирик. Его творчество, демократическое в самой своей основе, глубоко враждебно буржуазному миру. Это факт, не требующий доказательств.

Ведь мы же все читали Марка Твена! Марк Твен критикует капиталистическую Америку. Его критика часто принимает форму острой социальной сатиры. Тогда голос писателя достигает огромной силы обличения и протеста.

Ничего нет удивительного, что в сегодняшней Америке используются все средства, чтобы исказить и фальсифицировать подлинное лицо Марка Твена.

Буржуазная критика Соединённых Штатов всячески пытается превратить гневную, бичующую сатиру Твена в безобидную юмористику.

Один из литературных журналов трумэновской Америки приглашает своих оболваненных читателей «попросту наслаждаться величайшим из американских юмористов».

Дело дошло, действительно, до юмористики. Некоторые продажные буржуазные писаки пытаются представить великого американского писателя чем-то вроде певца «американского образа жизни», олицетворением «американского оптимизма».

В трумэновском полицейском государстве больше всего ненавидят сатиру, боятся её. Всё что угодно, но только не критика, только не сатира.

Всё чаще звучат со страниц реакционной американской печати призывы прекратить поиски новых, не известных ещё до сих пор страниц литературного наследия Марка Твена.

А то ещё, не дай бог, напорешься на сатиру!

Когда же, вопреки стараниям духовных гестаповцев американского империализма, в печати появляются новые, доселе не известные произведения Марка Твена, то начинается подлинная травля.

Недавно опубликовано два тома интимной переписки Марка Твена. И вот что позволил себе по этому поводу напечатать журнал «Сатердей ревью оф литерачюр» от 28 января 1950 года:

«Эти два тома, изданные в 1949 году, помогают нам восстановить облик той довольно наивной и примитивной личности, которой в действительности был Марк Твен».

Как видите — совершенно неслыханное, беспримёрное хамство. Впрочем, чего другого можно ожидать от литературных гангстеров современной, трумэновской Америки?

Хорошо ещё, что эти молодчики не выкопали из могилы труп великого американского писателя и не поволокли его в федеральное бюро расследования «для выяснения его антиамериканской деятельности».

Страшны, очень страшны нынешним претендентам на мировое господство остро современные негодующие слова Марка Твена об американском империализме и о лживости американской демократии.

Слова эти звучат сильно, беспощадно, страстно. Они по-новому раскрывают перед нами подлинный образ Марка Твена — не безобидного юмориста, не журналиста-весельчака, а большого писателя — художника-гуманиста и обличителя.

Впрочем, мы ещё к этому вернёмся.

Всё творчество Твена — это неотъемлемая часть демократической американской литературы, традиции которой питают и сейчас творчество прогрессивных писателей США.

Именно поэтому Говард Фаст назвал недавно Марка Твена «душой Америки».

Связь Твена с подлинно демократическими традициями Соединённых Штатов ещё в 1910 году подчеркнул современник Твена Хоуэлс, назвав его «Линкольном американской литературы».

Разумеется, неправильно думать, что в творчестве Марка Твена не было противоречий. Он был «душой Америки» и не мог не отражать противоречий Америки своей эпохи.

С одной стороны, Марк Твен — «пленник позолоченного века», как его назвал один американский исследователь. С другой стороны, Марк Твен — демократ, гуманист, сатирик, разоблачающий в своих произведениях этот самый «позолоченный век».

Не «золотой век», а именно позолоченный!

Нет нужды подробно пересказывать биографию Марка Твена. Она известна всем образованным людям мира. А в Советском Союзе, где так любят и так ценят Марка Твена, она известна и подавно.

Самуэль Ленгхорн Клеменс родился 30 ноября 1835 года в деревушке Флорида, штат Миссури; двенадцати лет остался без отца, принуждён был уйти из школы и искать заработка. Одним словом, довольно обычная в позолоченной Америке судьба человека из низов. Несколько лет работал бродячим наборщиком. Затем стал лоцманом на реке Миссисипи. Мерил шестом фарватер и выкрикивал «марк-твен!» «марк-твен!», что означает буквально «мерка-два!» «мерка-два!» Отсюда он и взял себе литературный псевдоним, когда сделался писателем. Двадцати семи лет Марк Твен начал регулярно печатать фельетоны в газетах тихоокеанского побережья. Фельетоны принесли ему известность, которая ещё больше возросла после выхода в свет

его путевых впечатлений от поездки в Европу — «Простаки за границей».

Через шесть лет вышла бессмертная неуязвимая повесть «Приключения Тома Сойера». Через восемь лет после «Тома Сойера» — «Жизнь на Миссисипи», через год — «Приключения Геккльбери Финна», через пять лет — «Янки при дворе короля Артура»... Блистательный список, сделавший Марка Твена всемирно знаменитым писателем, гордостью своей родной страны!

Высшей точкой творчества Марка Твена, да, пожалуй, и всей реалистической литературы Соединённых Штатов прошлого века являются «Приключения Геккльбери Финна». Гек Финн, при всех своих характеристических особенностях, при всей своей жизненной противоречивости, является положительным героем в полном смысле этого слова. Но этого мало. Гек Финн — герой мыслящий, анализирующий окружающую его среду. А это — драгоценное качество литературного героя. Гек не просто лучше, честнее, человечнее окружающих его людей. Именно с позиций Гека, его устами, критикует Марк Твен американскую действительность. Плот на реке с маленьким бродягой Геком и беглым негром Джимом встаёт перед читателем, как некий обобщающий символ. Уголок добра среди широкого, мутного разлива зла и несправедливости.

Образ негра Джима — это в полном смысле слова шедевр в галлее типов, созданных великолепной, точной и лёгкой кистью американского мастера. У него негр Джим полон противоречий. Но именно это и делает его таким убедительным, подлинным. С одной стороны, он невероятно, до комичного суеверен, умственно ограничен, но с другой стороны — полон врождённого внутреннего достоинства, подлинного благородства, здравого смысла. Это уже не «дядя Том» из «Хижины дяди Тома» Бичер Стоу, в характере которого преобладает слезливая сентиментальность, униженность, покорность перед судьбой. Негр Джим — раб, уже начинающий сбрасывать свои цепи, раб, почувствовавший себя свободным. В этом громадное значение образа негра Джима.

Марк Твен с неповторимым мастерством сумел вложить в образы своих любимых героев — Гека Финна и негра Джима — столь для него привлекательные черты че-

ловечности, демократизма, стремления к счастью и свободе для всех, черты, которые не смогло полностью вытравить из свободной человеческой души собственническое общество Америки.

И если бы Марк Твен написал только два этих характера и больше ничего, то и тогда он бы навсегда остался одним из любимых писателей мира.

Но Марк Твен написал многое другое.

Вот, например, «Янки при дворе короля Артура», роман, в котором Марк Твен в иносказательной форме обратился к глубоко волновавшей его теме превращения современной ему Америки в монархию доллара. Твен совершенно явно обличает капиталистическое рабство. Стрелы его разительной сатиры летят и метко попадают в цель. Эта цель — разоблачение рабовладельческой сущности современной ему Америки, надевшей демократическую маску. Он показывает партию закованных в кандалы невольников и рядом рисует оратора, который горячо воспекает «наши великие вольности».

Вот оно где типичное американское ханжество, дошедшее в наше время поистине до геркулесовых столбов.

Прославляя простого человека из народа, восставшего, сражающегося за свои права, Марк Твен смело и определённо утверждает право народа на революцию. Он пишет о «навекі памятной и благословенной революции, которая одной кровавой волной смыла тысячелетие подобных мерзостей, выскала долг в размере полукапли крови за каждую бочку её, выжатую медленными пытками из народа в течение тысячелетия неправды, позора и мук, каких не сыскать и в аду».

Хотя Марку Твену и пришлось прибегнуть к эзопову языку, но истинную сущность романа «Янки при дворе короля Артура» понял многие.

Друг Марка Твена писатель Хоуэлс писал в рецензии: «Одно из замечательных свойств этой книги заключается в том, что фантастическая сказка далёких артуровых дней слишком часто является грустной правдой о нашем времени».

Правда, критика американской действительности, содержащаяся в романе, была сильно ослаблена рядом отдельных оговорок и, наконец, самим фактом стилистической маскировки.

Талант Марка Твена был скован. Писатель слишком хорошо знал американскую действительность, слишком хорошо понимал сущность «золотого века», в который имел несчастье родиться.

Ему приходилось быть осторожным.

Впрочем, это не мешало потомкам рабовладельцев в прошлом году вычеркнуть роман «Янки при дворе короля Артура» из списка литературы, разрешённой для чтения в учебных заведениях города Нью-Йорка.

По этому поводу представитель Национального Совета деятелей науки, искусства и свободных профессий Кларк Форман заявил: «Мы можем ожидать, что в скором времени в нью-йоркских школах будет запрещена Декларация Независимости».

Бернард Шоу как-то сказал, что Марку Твену, так же как и ему, «приходится выражать свои мысли таким образом, чтобы люди, которые в ином случае повесили бы его, думали, что он шутит».

Правда, они не повесили Марка Твена. Просто не успели. Но зато они надругались над его могилой и выбросили его чудесные неповторимые книги из школы.

Впрочем, мы видели костры на улицах Берлина, на этих кострах Гитлер сжигал лучшие сокровища человеческого духа. Нас этим не удивили.

Марк Твен сочувствовал русской революции. В 1905 году в письме, оглашённом на массовом митинге, он писал: «Мои симпатии, разумеется, на стороне русской революции. Об этом и говорить нечего. Некоторые из нас, даже убеждённые сединами, ещё могут дожить до того благословенного дня, когда цари и великие князья будут такой же редкостью на земле, как и в раю».

Марк Твен, к сожалению, не дожил до этого дня. Если бы он до него дожил, он бы узнал, что в стране, где нет царей, князей, помещиков, капиталистов, где великий суверенный народ с партией коммунистов во главе строит новую счастливую жизнь, — в Советском Союзе его любят и ценят самые широкие читательские круги. Его книги не выбрасывают из школьных библиотек. Наоборот. Вряд ли у нас найдётся школьник, не читавший «Тома Сойера», «Гека Финна», «Янки при дворе короля Артура». За время советской власти Марк Твен издан тиражом свыше трёх с

половиной миллионов экземпляров на 24 языках свободных советских народов, в том числе на казахском, таджикском, туркменском, коми, чувашском, татарском и многих, многих других.

Это настоящая слава!

В последние годы XIX века Америка со всей решительностью стала в ряды крупнейших империалистических хищников мира. Именно в это время Марк Твен и создал ряд произведений, проникнутых духом активного демократического протеста против гнусной американской действительности. Вспомним написанный Твеном в 1898 году сатирический рассказ «Человек, который совратил Гедлиберга». Кичащиеся своими добродетелями «первые граждане» Гедлиберга на поверку оказываются собранием отвратительных ханжей, лгунов, стяжателей. По существу — это вся собственническая, ненавистная Твену-обличителю, капиталистическая Америка.

В ряде публицистических выступлений писателя обличение американского империализма звучит очень сильно. Тут уже нет эзопова языка, нет стилистического камуфляжа. Открыто разоблачает Твен американскую захватническую политику.

Эти публицистические высказывания относятся к XX веку, к эпохе неприкрытого империализма, о которой Владимир Ильич Ленин в своей гениальной работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» писал: «Итак, XX век — вот поворотный пункт от старого к новому капитализму, от господства капитала вообще к господству финансового капитала».

В канун XX века Марк Твен пишет речь, которая, по весьма понятным причинам, так и осталась произнесённой. Но она сохранилась. Вот что говорилось в этой произнесённой речи.

«Привет от девятнадцатого столетия — двадцатому. Я приношу тебе... христианство, которое возвращается замаранное, грязное, обесцещенное из пиратских налётов на Кьяо-чу, Манчжурию, Южную Африку и Филиппины. Его сердце полно злобы, карманы — наживы, а слова его исполнены святошеского лицемерия. Дайте ему мыло и полотенце, но спрячьте зеркало».

В 1901 году Твен опубликовал памфлет под названием «Человеку, ходящему во тьме». В нём Твен гневно бичует американских миссионеров, беспощадно осущест-

вляющих политику империалистических угнетателей по отношению к «людям, ходящим во тьме».

«Что же дальше? — пишет Твен. — Будем ли мы попрежнему одарять благами нашей цивилизации людей, ходящих во тьме, или дадим этим несчастным передохнуть? Будем ли мы попрежнему оглушать мир нашей привычной святошеской трескотнёй и бросим новый век во власть этой игры или, быть может, сядем и трезво подумаем?! Не благоразумнее ли собрать вместе все атрибуты нашей цивилизации и подсчитать, сколько товару осталось на руках, сколько стеклянных бус и теологии, пулемётов и молитвенников, виски и факелов Прогресса и Просвещения (патентованных, саморегулируемых, годных для поджога селений по мере надобности)?.. Трест «Дары цивилизации» — это первосортное предприятие, если управлять им разумно и осмотрительно».

Неправда ли, потрясающе? Эта формулировка не потеряла своей остроты и теперь, через полвека после того, как была опубликована впервые. Хотя сегодня, сию минуту можно преподнести её правителям маршаллизованных стран.

Правда, придётся стеклянные бусы дополнить нейлоновыми чулками и сигаретами «Честерфилд», а пулемёты — летающими крепостями и атомными бомбами, но в основном гениальная формула Марка Твена остаётся поразительно верной и точной.

А Твена ещё пытаются выдать за невинного юмориста. Вот так невинный юмор!

Давно, ещё в 1874 году, в письме к своей жене Марк Твен в шутку назвал Америку 1935 года монархической страной. Незадолго до смерти Марк Твен сказал об этом письме: «Сейчас мне кажется странным, что я лишь в воображении рисовал себе будущую монархию, нисколько не подозревая, что монархия уже существует, а республика является делом прошлого. Тем не менее, это было именно так. Мы продолжали называть нашу страну «республикой», на самом же деле республики уже не существовало».

В высказываниях Марка Твена можно найти много гневных строк, направленных против американской цивилизации. Вот, например: «Что я думаю о нашей цивилизации? Что она ничтожна и убога, полна жестокости, суежности, наглости, низости и лицемерия. Я ненавижу самый звук этого

слова. В нём — ложь». «Без нас, — написал он в 1906 году, — ...европейские пищевые тресты не овладели бы искусством продавать всему миру отраву за налицный расчёт, без нас страховые компании не научились бы наживаться на вдозах и сиротах, а возрождение жёлтой журналистики в Европе задержалось бы на целые поколения».

Таково было тлетворное влияние Америки на другие страны мира во времена Марка Твена.

«Должно быть, — говорит Марк Твен, — есть две Америки, и одна из них помогает пленнику освободиться, а другая Америка отнимает у бывшего пленника завоёванную свободу, ввязывается в спор с ним без всякого повода и затем убивает его, чтобы завладеть принадлежащей ему землёй».

Эти две Америки существуют и сейчас. Мы это хорошо знаем. На Филиппинах американцы недавно применили вариант той самой грабительской зверской политики, которую Марк Твен, как мы видели, заклеил ещё в начале века. Когда вторая мировая война закончилась, американцы повернули оружие против филиппинской народной армии, которая сыграла огромную роль в борьбе с японским империализмом.

Марк Твен как-то заметил: «Вернейший способ быстро разбогатеть... это изобрести такое оружие, с помощью которого можно убить за один раз больше христиан, чем когда-либо раньше».

Разве это целиком и полностью не относится к современной трумэновской Америке с её бредли, ачесонами, форрестолами и всеми видами атомного психоза? Поистине, Марк Твен был пророк!

«...Пусть останется у нас старый флаг, — сказал Твен однажды, — но только белые полосы на нём закрасим чёрным, а вместо звёзд изобразим череп и кости». Поистине, Марк Твен был пророк!

Понятно, что американская буржуазия тщательно скрывает от своего народа некоторые антиимпериалистические высказывания Твена, а опубликованным произведениям не позволяет найти путь к массовому читателю. Многие статьи знаменитого писателя до сих пор не опубликованы.

Когда этот факт года три тому назад был отмечен в нашей «Литературной газете», реакционный американский литерату-

ровед некий Бернард де Вотто, в руки которого переданы архивы неопубликованных произведений Твена, выступил с насквозь лицемерным опровержением. Его поддержал секретарь и казначей издательства Харперс некто Аллен, развязно заявивший:

«Твеновские материалы, которые не напечатаны до сих пор, вовсе не были под запретом. Лица, ведающие неопубликованными работами Твена, просто считали, что они не заслуживают напечатания».

Какой цинизм, какое забвение самых элементарных приличий!

Недаром покойный Теодор Драйзер с горечью писал: «Я горячо стараюсь доказать, что Марк Твен ни в какой мере не получил ещё настоящей оценки, и я сомневаюсь в том, что он вообще будет понастоящему оценён в Америке... Дело в том, что с сохранением «добраго имени» Твена связаны значительные финансовые интересы, которые были и будут приниматься в соображение».

Слова Драйзера полностью оправдываются фактами из жизни сегодняшней трумэновской Америки, где творчество Твена фальсифицируется всеми доступными лагерю реакции средствами. А в средствах они, как известно, не стесняются.

Мне хочется привести высказывание А. Фадеева о Марке Твене:

«Марк Твен... правдиво изображает и критикует ханжество, лицемерие, корыстолюбие, невежество американского общества, правдиво показывает противоречия богатства и нищеты... В XIX веке не было во Франции более крупного реалиста, чем Бальзак, в Англии более крупного реалиста, чем Диккенс, в Соединённых Штатах Америки — чем Марк Твен».

Я думаю, мы все разделяем эту оценку.

Сорок лет прошло со дня смерти знаменитого американского писателя Марка Твена. И мы смело можем сегодня сказать его же словами, только немного видоизменёнными, обращаясь к империалистической Америке, которую он так ненавидел: «Мы надеемся дожить до того благословенного дня, когда всяческие трумэны, ачесоны, дюпоны, морганы, цари биржи и великие князья Уолл-стрита будут такой же редкостью на земле, как и в раю».

Амины!



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

К. Буковский. Ясные характеры. — Кандидат исторических наук В. Дацюк. Роман, искажающий историю. — В. Александров. Стихотворения Во Цзюй-и. — Б. Закс. Плохие комментарии. — К. Лапин. Люди, которыми должно гордиться. — А. Лацис. Большая семья. — Н. Венгров. Увлекательная профессия.

ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В. Минаев. «Американское действие» в действии. — Доктор исторических наук К. Сивков. Вождь крестьянства — Иван Болотников. Ю. Корольков. Признания шпиона-двойника. — Профессор К. Базилевич. Древние повести о воинской славе. В. Кремичев. Правда о трагедии американского фермера.

ГЕОЛОГИЯ

Член-корреспондент Академии наук СССР Н. Шатский. Настольная книга советских геологов.

АСТРОНОМИЯ

Президент Академии наук Армянской ССР В. Амбарцумян. Новое в учении о Вселенной.

Литература и искусство

Ясные характеры

Ещё Н. Г. Чернышевский говорил, что характеры людей лепятся характером того общества, в котором они живут, складываются на основе его привычек, нравов, всей его общественной морали.

Мы живём в новом свободном обществе. В основе его лежат возвышенные коммунистические идеалы, и мы видим, как на наших глазах люди нашего же поколения всё более приближаются к этому высокому идеалу.

Главное, что привлекает нас в новой повести В. Пановой «Ясный берег» — это именно ясность жизни, ясность характеров представленных там героев. Это попрежнему любимые писательницей, простые советские люди, люди непрерывного трудового подвига и горячих душевных порывов, люди отнюдь не лишённые недостатков, но преодолевающие их с помощью коллекти-

ва и новой общественной морали. На этот раз они оказались работниками совхоза.

Светлый колорит «Ясного берега» обусловлен в значительной мере тем ясным и точным взглядом, который высказывает здесь писательница в отношении к своим новым героям, к их достоинствам и недостаткам, к их хорошему и дурному поведению. И высказывается этот взгляд не с абстрактно-гуманных позиций добра и зла, а с позиций советской государственности.

Эмоционально наиболее привлекателен в повести образ доярки Ньюши Власовой. Эта худенькая, смуглая девушка с неуёмным сердцем раньше всего покоряет читателя.

И дело здесь не в рекордных надоях. Дело в той душевной искренности, чело-вечности, с какими совершает доярка свой сознательно-патриотический подвиг в труде. Дело в облике Ньюши, таком трогательно чистом, в её характере — горячем и вольном, во всей её внутренней, нетро-

В. Панова. «Ясный берег». Повесть. Редактор А. Кучеров. «Советский писатель», Л. 1950.

нудой червячком эгонзма, душевной красоте.

Большие симпатии вызывает также образ Настасьи Петровны Коростелёвой — матери директора совхоза. Для старой труженицы, испытавшей радость труда на общем благо, подвиг является естественным состоянием. Застала телятницу война по дороге в совхоз с коровами — она отослала доярок, а сама погнала коров пешком, по жаре, вдоль путей. Кончилась война — отдохнуть бы от труда на старости, но об этом и думы нет: сердце — разве оно потухло, оно горит и радуется больше прежнего. Допустил сын ошибку — не жалеть его надо, нет, нужно дать почувствовать, что был он неправ, хоть и больно ей, матери, за него. Вот какой характер у старой телятницы!

Ну, а сам Коростелёв, главный герой повести? Его серьёзную ошибку — внеплановую продажу тёлки-элиты Аспазии — писательница меряет общественной государственной меркой. Не позволено директорам совхозов ни из каких побуждений — злых или добрых — самочинно продавать вверенный им скот. Колхозу Гречки, которому хотел вне общего плана помочь Коростелёв, государство поможет полней и эффективней, если не разбазаривать самовольно его добро. Поделом и восстают против Коростелёва все окружающие. Коростелёв объявлен выговор.

Поведение Коростелёва — молодого специалиста, фронтовика, партийца — действительно непоследовательно. Невзирая на его энергию, распорядительность, прямо-таки самоотверженную заботу о том, чтобы совхоз был во всём впереди, Коростелёва постоянно в чём-нибудь поправляют то секретарь райкома Горельченко, то Бекишев, совхозный парторг, то Данилов из треста, то мать, то Лукьяныч — бухгалтер. Очевидно, поведение Коростелёва показано автором именно таким, чтобы доказать «органичность» коростелёвской ошибки. Однако ни сама ошибка, ни другие минутные слабости этого энергичного и всей душой преданного своему делу директора совхоза не могут изменить у читателя хорошего к нему отношения.

В. Панова, строго осудив неправильные действия своего героя, не простив их ему, сумела показать, что не слабость и ошибки, а новые советские черты хорошего

человека и общественного деятеля определяют характер Коростелёва. Он ведь и тёлку незаконно продаёт не просто по доброте душевной, а имея в виду, правда неверно понятые, но всё же общественные интересы. И не будь этот поступок, при всех лучших намерениях героя, государственно вреден, автор, конечно, не остановился бы на нём, настолько он несуществен ни для характера Коростелёва, ни для всей его плодотворной хозяйственной деятельности.

Тут хочется сказать и другое: не слишком ли много места занимает в повести этот случай с породистой тёлкой; случай, который хотя и помогает автору прояснить характер главного своего героя, заставить его преодолеть свои недостатки, найдя выход в дружбе, в тесном слиянии с коллективом, но идёт в ущерб другому — разностороннему показу самой деятельности директора совхоза. Эта наиболее существенная для героя-руководителя сторона автором развёрнута слабее, чем того хотелось бы в целях полного раскрытия образа. Повидимому, здесь сказалась недостаточность авторских наблюдений, которая ощущается во всём произведении, лишая его надлежащей полноты обобщений.

Даже очеркист, ведущий рассказ о конкретном герое, не может рассмотреть его всесторонне и отобрать наиболее типически жизненные его черты, если знакомство своё с жизнью подобных ему людей ограничивает одним лишь знакомством с самим героем. Тем меньшая возможность проявить всю силу своего таланта у литератора, который, заглянув в один уголок жизни и не дав себе труда проверить свои наблюдения на других, более широких жизненных сферах, пишет роман или повесть. Талант поможет и тут схватить обаятельность черт советских людей, раскрыть характер встреченного человека, показать его сильные и слабые стороны, но глубина образа возможна только тогда, когда писатель создаёт именно образ, а не портрет, не облик одного, пусть похожего на многих, человека.

Глубина образа Коростелёва уступает глубине образа большевика Данилова из повести В. Пановой «Спутники». И Листопад в «Кружилых» обрисован полней, дан на более широком общественном фоне и как руководитель представляет из себя более значительную фигуру, нежели Коро-

стелёв, хотя последний в сравнении с Листопадом выглядит человечней.

Недостаёт, с этой точки зрения, полноты даже такому чистому вдохновенному облику, как облик Нюши. Недостаёт какой-то большей, чем есть в повести, широты мышления, большего простора мыслям; в Нюше слишком много подчёркнуто-девической наивности.

Панова намеренно сгущает краски, когда рисует отрицательных героев. Таких героев у неё немного. Иннокентий Владимирович Иконников, старший зоотехник совхоза, — второй после Супругова, из повести «Спутники», — резко-отрицательный персонаж, и он не вызывает ничего, кроме гадливости. О нём самом и разговору нет, он ясен всем, в том числе и автору. Иконникова хочется вспомнить лишь в той степени, в какой раскрытие его образа помогает увидеть характер учительницы Марьяны, за которой он ухаживает и которая едва не выходит за него замуж. Марьяна больше находится в ожидании счастья, чем в борьбе за него. И счастье в труде открывается ей полнее и раньше, нежели в любви, именно потому, что там она ищет, о чём просто ждёт. Это, как и всё до, о чём пишет В. Панова в «Ясном берегу», правдоподобно. И женщины такие есть, и судьбы такие бывали после войны. Другой вопрос — как к этому относиться: вычёркивать ли из характера Марьяны эти обедняющие его черты или сказать о них прямо, ничего не скрывая. В. Панова лепит Марьяну такой, как она есть, со всеми её достоинствами и недостатками, с её горячим стремлением добиться высокого удовлетворения в труде и её терпеливо-горестными мечтами о семейном уюте и покое. Горячность героини нравится читателю, её пассивность вызывает осуждение.

Далее встаёт перед нами семья строителя Алмазова: муж, нашедший нечаянно большую любовь и отступающий от неё ради семейного долга; жена — простая женщина, просто и преданно любящая мужа, и дочка их Фима. Тут автор грешит в одном пункте. Он сближает оторванного от семьи, выздоравливающего от ран солдата-фронтовика с живущей рядом с госпиталем и тоже истосковавшейся в одиночестве семейной женщиной. Это

случайное сближение по-человечески объяснимо, хотя и противоречит нашей морали. Однако автор возводит его в степень идеальной, жаль только поздно пришедшей, любви. Красота и святость её так велики, что автору не кажется странным образ сидящей на вокзале женщины с венцом вокруг головы, с младенцем на коленях. Разумеется, бывает святой и такая случайная и поздняя любовь. Но она должна быть оправдана в жизни и, тем более, в литературе. И оправдана не тем, что автору надо вступить в полемику с литературой прошлого, утверждавшей, что «любовь и голод правят миром». Ради одной такой полемики вряд ли следовало заставлять двух хороших и честных людей сначала испытать радость встречи, потом все муки вынужденного расставания, и наконец, понудить вовсе отказаться от счастья во имя заботы о других. Заставить поступать так героев повести можно только, если того требует жизнь, то есть если она постоянно сталкивается со случаями святой, но, увы, противоречащей долгу любви. А разве характерна для нас дилемма: либо святая любовь — либо семейный долг, либо высшее блаженство — либо разорванные в клочья сердца, либо запоздалое счастье — либо жертвенная доброта.

Многие характеры повести живы и убедительны. Таков, например, бухгалтер Лукьяныч — железный и вместе с тем душевный старик.

Этот страстный человек, которому «до всего есть дело», тоже не лишён недостатков. Он, например, не прочь поприжать в нужде соседний колхоз, ради интересов совхоза конечно, но с торгашеским духом. Тот же Коростелёв и «вышибает» этот душок из Лукьяныча, поступая так по воле автора повести, который и тут хорошо сделал, что не простил старику его ошибки.

Значительно меньшее удовлетворение вызывают, к сожалению, образы партийных руководителей: секретаря райкома Горельченко и особенно парторга совхоза Бекишева. Тут опять сказалось недостаточно глубокое проникновение писателя в жизнь. Интересно задумав фигуру секретаря райкома и найдя для неё немало отличных черт, Панова свела всю роль Горельченко к оказанию «скорой партийной помощи» Коростелёву в момент, когда тот на-

чинает вести себя непоследовательно. Ту же роль отводит автор и для Бекишева, с той лишь разницей, что появляется он в повести совсем уж редко.

Во многом помешала Пановой сама манера письма, применённая в разбираемой повести, — слишком эскизная для того, чтобы нарисовать широкое полотно жизни и вывести глубокие, обобщённые, типически наиболее верные, а потому и обладающие большей силой воздействия на людей художественные образы. Композиционная «комнатность» повести стеснила дыхание её героям, а вместе с ними и автору, иной раз обрывающему развитие характеров и

событий на полуслове. Преодолеть эти стеснительные рамки своей художественной формы писательнице необходимо.

Если бы В. Панова решила ограничить свои задачи изображением некоторых новых чувств и новых качеств советских людей, тогда мы назвали бы её «Ясный берег» повестью «ясных человеческих характеров» и на том поставили бы точку. Но у писателя не может быть таких ограниченных художественных задач. Он рисует жизнь с широких общественных идейных позиций. Об этом следует помнить талантливой писательнице.

К. БУКОВСКИЙ.

★

Роман, искажающий историю

Лучшие произведения советской художественной исторической литературы прочно завоевали любовь и признание самого широкого читателя. Писателя, работающего в области исторической беллетристики, в трудах Ленина и Сталина получили ключ к верному, глубоко научному пониманию прошлого народов нашей страны. Поэтому-то только советская, самая передовая в мире, литература и способна дать подлинно патристические, подлинно правдивые исторические произведения.

Вместе с тем всякое отступление от марксизма-ленинизма в подходе к явлениям исторического прошлого неминуемо приводит писателя к серьёзной творческой неудаче. В этом, в первую очередь, и следует искать объяснение ряда крупных идейных и художественных недостатков романа Григория Мирошниченко «Азов».

Сама борьба, происходившая в первой половине XVII века вокруг крепости Азов, даёт писателю возможность создать интересное истинно-патристическое произведение. В тот период русские земли на побережье Чёрного моря и в Приазовье были захвачены турецкими интервентами. В Крыму, как пережиток времён монголо-татарского ига, существовало татарское

хакство — опасное разбойничье гнездо, подпавшее, к тому же, под власть турок.

Паразитический, зверский турецкий феодализм являлся реакционной силой, мешавшей экономическому и политическому развитию не только Руси, но поработившей и многие народы Восточной и Юго-Восточной Европы. Этим обусловлен прогрессивный характер той тяжёлой, упорной борьбы, которую вёл русский народ за изгнание турецких захватчиков со своей земли. Русский народ оказывал этим также огромную помощь всему поработанному турками населению Европы. В XVII веке крупную роль в освободительной борьбе против турецко-татарских захватчиков играли донские и запорожские казаки. Они явились как бы зачинателями её героических традиций.

В романе «Азов», посвящённом этой борьбе, есть яркие и запоминающиеся героические образы русских патристов, казаков Алексея Старого, Михаила Татаринова и других. Г. Мирошниченко знает и любит южную природу, он находит впечатляющие краски для её описания. С большим интересом читаются главы романа, посвящённые походу казаков на Константинополь и их борьбе за крепость Азов. Батальные сцены, как и вообще вторая и третья части романа, наиболее удачны в книге.

Вместе с тем Г. Мирошниченко, к сожалению, явно поторопился с опубликованием своей книги, как поторопились с её

Григорий Мирошниченко. «Азов». Редакторы А. Амстердам и К. Сельцер. Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, Л. 1949.

переизданием и некоторые издательства (например, Ростиздат).

Читатель романа «Азов» как бы попадает в творческую лабораторию писателя. Наряду с тем, что внутренне уже решено, верно осмыслено автором, в книге присутствует многое ещё не решённое, не продуманное в идейном отношении, и поэтому ещё не претворившееся в исторически правдивую художественную форму.

Хороший замысел писателя во многом обесценивается его неверным пониманием как описываемых событий, так и содержания эпохи в целом. Речь идёт, понятно, не о фактологических расхождениях с источниками или учебниками и не об отступлениях от действительной хронологической канвы событий 30-х годов XVII века.

Право писателя на правдивый художественный вымысел не подлежит сомнению, оно неоспоримо. Поэтому хочется обратить внимание лишь на такие расхождения Г. Мирошниченко с историей, в которых он явно отступает от требований исторической правдивости, строго обязательной во всяком художественном вымысле.

Самой неудачной в этом отношении является первая часть романа («Москва»), где автор стремится дать общую картину жизни русского государства в начале XVII века.

Здесь Г. Мирошниченко фактически игнорирует указание товарища Сталина, одинаково обязательное как для историка, так и для писателя, создающего историческое произведение, о том, что историю общественного развития нельзя сводить «к действиям королей и полководцев, к действиям «завоевателей» и «покорителей» государств...», что историческая наука должна «прежде всего, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов»¹.

Вопреки этому Г. Мирошниченко в первой части романа сосредоточил слишком много внимания на личности и поступках царя Михаила Романова, его родни и их ближайшего окружения. Развитие сюжета при этом вращается вокруг ничтожно мелкого факта, не оставившего вообще никакого следа в истории. — разрыва Михаила Романова с его прежней невестой Марией Хлоповой.

С этим малозначительным эпизодом, даже в своё время волновавшим, в лучшем случае, только ближайшее окружение царя. Г. Мирошниченко искусственно и совершенно антиисторически связывает описываемые им события.

Автор романа усугубляет эту ошибку и тем, что впадает в явную идеализацию царизма. Известно, что марксизм-ленинизм решительно разбивает все измышления буржуазной науки о «народных» царях. Вопреки этим ясным положениям Г. Мирошниченко изо всех сил стремится приписать дворянскому ставленнику Михаилу Романову черты именно такого «всенародного» избранника. «Царём тебя вся Русь поставила», — говорит Михаилу донской атаман Старой. «Царь — то добро, и вон те, бояре, — то худо». «Царь наш родной батька», — рассуждают казаки, представляющие в романе народ. Даже царскую свадьбу Г. Мирошниченко изображает как радостное всенародное торжество: «В каждом дворе и в каждом доме готовились к торжеству: на чёрных дворах кололи дрова, рубили головы индейкам, курам, прирезывали поросят да яловиц; катили кадки с пивом, кадки с мёдом, с заморскими винами и с брагой русской — двадцативёдерные, сорокавёдерные».

Можно было бы предположить, что автор хотел выразить этим «царистскую» идеологию казачества (исторически это было бы всё равно не оправдано, так как в Михаиле Романове, царе-крепостнике, народ вообще никогда не видел «крестьянского» царя). Однако даже и это не так. Поступки самого царя, а также выведенной в романе царицы Марфы подчинены всё той же насквозь ложной идее «народности» царизма, которому якобы «мешают» бояре. Царь карает воеводу, несправедливо обидевшего казаков. Мирошниченко заставляет его искать совета у народа. Автор просто теряет лицо советского писателя, когда создаёт фальшивую до конца сцену объяснения царя с атаманом Старым.

«— Ну, говори, говори, — заявляет царь. — Мне так ещё не сказывал никто. Я сам тебе дозволил.

— Я не казнить пришёл к тебе в престольные палаты, царь-государь, а миловать, милостью народа — правдой!» — заявляет Старой.

¹ «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 118.

Царица Марфа изображена в романе чуть ли не последовательной поборницей интересов народа. Сам автор, любовно именую Марфу «сударыней-магушкой», заставляет её поучать сына: «Чернь кормит нас! Знай это»; «Боярам дай боярское, а черни — царское!». Трудно придумать что-либо ещё больше искажающее историческую правду, нежели сцена встречи царицей приехавших в Москву казаков: «Ах, молодые казаки?! Пожаловали! Пожалуйте, родные. Ах, молодцы вы наши удалые! Пожалуйте, пожалуйста в терем царский. Ждём дорогих гостей. Михайло ждёт с завтра вас. И я жду, — спасители земли!..»

Понятно, что при таком подходе к истории у автора не нашлось места для выражения в образах романа классов и классовых борьбы, достигшей именно в XVII веке крайней степени обострения. Если верить Г. Мирошниченко, русское общество того времени вообще состояло из двух социальных групп — бояр и казаков. Качество же, достигшее в XVII веке резкой имущественной дифференциации, изображается в романе как социально однородная масса.

После этого не удивительно, что русское феодально-крепостническое государство, находившееся накануне огромных восстаний доведённого до крайнего обнищания городского люда, накануне грандиозной крестьянской войны под руководством Степана Разина, в романе фальшиво изображено как царство изобилия и всеобщего благоденствия. Вот как, например, выглядит в восторженном изображении Г. Мирошниченко стол живущей на посаде «швей-мастерицы» XVII века: «На столе дымились в мисках гусятина, поросятина, молодые цыплята. Румяные да горячие пироги плетёнками, крест-накрест; сдобные хлеба лежали на медных подносах. В двух глиняных кувшинах был резкий холодный квас».

Неверное понимание эпохи порождает неспособность писателя передать в художественных образах подлинные условия жизни народа и толкает Г. Мирошниченко к описанию действующих лиц не в характерной для той эпохи обстановке тяжёлого и подневольного труда, а преимущественно в обстановке пышных пиров, весёлых кабацких пооек, повального пьянства, при котором якобы в Москве «из

доброто вина, резкого кваса и терпкой браги выросли на улицах у бочек ледяные горы». Отрицательные стороны русского быта XVII века, порождавшиеся тяжёлыми условиями крепостничества, Г. Мирошниченко силится выдать за проявление национальных черт русского народа, присущие его национальному характеру широту, оптимизм, радушие. Главе, описывающей дикое пьянство, якобы происходившее в столице по случаю женитьбы царя (?), Г. Мирошниченко предпосылает собственный возмутительный и по существу оскорбительный для национального достоинства русских людей вопрос: «Было ли ещё так в других землях, — не знаю, но на Руси у нас бывало».

Не пора ли некоторым нашим писателям (к сожалению, это относится не только к Г. Мирошниченко) отказаться от представлений о древней Руси, как сплошном питейном доме, и от изображения пьянства, как проявления национальных черт русского характера. Ведь этот взгляд культивировали в своё время буржуазно-дворянские писатели и историки, в свою очередь позаимствовав его у различных иностранных «очевидцев» (Олеария и других), злобно клеветавших на нашу страну и наш народ. В своей подлинной истории, в правдивых русских источниках наш народ выступает прежде всего народом-созидателем, народом-тружеником, народом-воином, а уж никак не народом кабацких гуляк!

Изобилуют страницы романа и другими мотивами, прямо заимствованными у дворянско-буржуазных беллетристов. В роли спасителей отечества, в период польско-литовской интервенции, Г. Мирошниченко называет на равных началах с подлинными патриотами Мининым и Пожарским и таких своекорыстных боярско-дворянских деятелей XVII века, как Ляпунов, Авраамий Палицын, Гермоген.

Возвеличение Гермогена, между прочим, тесно связано с немерно большим местом, которое Г. Мирошниченко вообще отводит религиозным, церковным делам. Связь всякой средневековой идеологии с религией, конечно, неоспорима. Писатель в интересах исторической правды вправе это отметить. Однако в рецензируемом романе редкая глава и даже страница обходится без «чудотворных икон», «смирненных ликом

святых угодников», описания церковной службы и т. д.

Как уже отмечалось, более удачно написаны главы романа, непосредственно посвященные походу казаков на Константинополь и взятие ими Азова. Однако и здесь отрицательно сказывается всё то же навязчивое желание Г. Мирошниченко «улучшить» историю, преуменьшить, а то и полностью замолчать действительные трудности борьбы русского народа с турецко-татарскими захватчиками и, в частности, борьбы за крепость Азов. Автор искусственно обрывает своё повествование на моменте взятия Азова в 1637 году. Этим прежде всего искажена вся историческая перспектива. Общеизвестно, что в 1643 году Азов пришлось временно оставить, так как русское государство не завершило борьбы на Западе за возвращение захваченных польскими панами русских земель, кроме того надвигалась новая тяжёлая война за освобождение братского украинского народа. Умалчивая об этом, Г. Мирошниченко невольно смазывает наиболее героический момент борьбы казаков за Азов, их так называемое «азовское сидение».

В романе сделана правильная попытка показать единство донских и запорожских казаков в борьбе против общего врага, татар и турок. Выведен Богдан Хмельницкий, которого Г. Мирошниченко называет Хмельниченко. Однако и здесь даже любой успевающий по истории СССР восьмиклассник сможет указать Г. Мирошниченко на такие отступления от общеизвестных исторических фактов, которые ничего общего не имеют с бесспорным правом писателя на художественный вымысел. Судя по всему, Г. Мирошниченко даже не известно, что Украина в первой половине XVII века вообще не входила в состав России, а была под ярмом польских панов. Поэтому совершенно нелепо звучит обещание царя заковать Хмельничкого в кандалы, так как он якобы ссорит Россию о султаном. Ещё нелепее, когда автор романа заставляет царя серьёзно обсуждать вопрос, отдавать или не отдавать туркам город Чигирин, хотя последний находился далеко в глубине тогдашних польских владений и был присоединён к России примерно через 150 лет после описываемых в романе событий.

Недостаткам идейного содержания романа соответствуют и слабые стороны его художественной формы. И здесь многое автором недоделано, хорошие, реалистически написанные страницы сочетаются с главами слабыми в художественном отношении. Поверхностное знакомство с событиями XVII века нередко сочетается в романе с формализмом, грубым натурализмом, а подчас и с некой полумистической символикой (нашествие змей на Бахчисарай). Нарочито исковерканный язык романа ничего общего не имеет как с характерными чертами языка описываемой эпохи, так и, тем более, с современным литературным языком. Образы некоторых действующих лиц (Ульяна, царь Михаил, его мать и другие) очерчены сусалью, примитивно и по единому шаблону. Иногда характеристики, даваемые автором, хочет он или не хочет того, создают карикатурный облик изображённых в романе людей. Одна из центральных фигур романа, Ульяна, характеризуется, например, на стр. 21, как «конь-баба». Представить, как женщина, даже в переносном смысле, может быть названа конём, доступно единственно творческому воображению самого автора. Через две страницы, однако, сказывается, что та же Ульяна «Была не баба — колокольня Ивана Великого! Румяна, бела, грудаста». Грудастая колокольня!! А ещё через две страницы эта же, так сказать, «грудастая конь-колокольня» уже порхает, как «жар-птица».

В раскрытии существенных недостатков романа «Азов» серьёзная роль должна была бы принадлежать литературной критике. К сожалению, большинство рецензентов — Вит. Василевский в «Литературной газете», Н. Челюков в «Известиях», кандидат исторических наук А. Фадеев в ростовском «Молоте» подошли крайне односторонне к оценке романа. Вместо глубокого и серьёзного разбора книги, её достоинств и недостатков, авторы этих рецензий дружным хором возносят восторженную хвалу Г. Мирошниченко. Особенно досадное впечатление производит рецензия А. Фадеева, поскольку она принадлежит перу специалиста-историка. Достаточно сказать, что А. Фадеев, посвятивший роману «Азов» большую газетную статью, умудрился отметить недостатки книги в одной, удивляющей к тому же своей бес-

предметностью, фразе. По мнению рецензента, единственный недостаток романа заключается в том, что автор слишком часто приводит выдержки из архивных документов.

Нет нужды доказывать, что подобный подход к любому литературному произведению способен лишь сбить с толку самого писателя и дезориентировать читателя его книги.

Незрелый в идейном отношении и худо-

жественно слабый роман «Азов» нуждается в большой дополнительной работе со стороны Г. Мирошниченко. Хорошему замыслу писателя — воспеть героические традиции борьбы с турецко-татарскими захватчиками — должно целиком соответствовать правдивое воспроизведение эпохи и яркая реалистическая форма произведения.

Кандидат исторических наук
Б. ДАЦЮК.

★

Стихотворения Бо Цзюй-и

Китайский поэт, родившийся в 772 и умерший в 846 году, — не предлагают ли нашему вниманию нечто хотя и очень почтенное, но такое, что может представлять для нас лишь какой-то ограниченный, академический интерес?

Нет. И читатель, вооружённый специальными знаниями, и «просто читатель», который до того, как взял в руки эту небольшую книжку, не имел никакого представления о «танской эпохе» или о «до-танской поэзии шести династий (IV—VI вв.)», найдут в стихах Бо Цзюй-и подлинно живое поэтическое слово.

Выступая на учредительном собрании Общества китайско-советской дружбы, А. Фадеев говорил об интересе советской интеллигенции к классической китайской литературе, и в частности, о нашем интересе к творчеству Бо Цзюй-и.

Крупнейший представитель современной китайской литературы Го Мо-жо вспоминал: «В Китае больше двух тысяч лет тому назад уже знали ценность народной поэзии. Древние мыслители считали, что должны быть правительственные чиновники, собирающие стихи; они должны идти в народ и собирать песни, и так узнавать страдания народа, его недовольство правлением, для того, чтобы исходя из требований народных устанавливать наилучшее правление. Но эта мысль не только не была осуществлена на протяжении всех прошлых веков государственного правления, но и в сознании китайских писателей и поэтов прошлого оставила лишь

неуловимый след. Для того, чтобы должным образом понять истинный характер стихов и песен, чтобы вновь осуществить связь поэзии с нуждами государственного управления, нужно было вырвать её из рук аристократии и вернуть народу... Из всего множества китайских поэтов к ясному осознанию этого в своё время пришёл лишь один — Бо Цзюй-и. Стихи Бо Цзюй-и, — это знает каждый китаец, — «умела понимать простая старуха». Он был поистине народным поэтом, и сознательно стремился к этому».

Прежние китайские историки литературы не очень жаловали Бо Цзюй-и именно за демократическую направленность его поэзии; его ставили во второй ряд поэтов его эпохи. Разумеется, такую оценку нужно категорически отвергнуть. Тот факт, что в СССР его стихи переведены в первую очередь, является, говорит Го Мо-жо, «самым конкретным подтверждением изменения старой оценки».

Внимание читателя, впервые знакомящегося с произведениями китайского классика, особенно привлекают стихи из «Циньских изгнанных» и из «Новых народных песен» — такие стихотворения, как «В тонких одеждах на сытых конях», «Старый угольщик», «Дракон чёрной лучины».

«Для описания государя, чиновников, народа, вещей и событий сделано это, — не для литературной забавы», — говорит сам поэт о своей работе.

Каждое стихотворение развёртывается в строго определённой, обязательной для китайской поэзии тех времён композиционной последовательности: «начало», «развитие», «поворот», «заключение». Но если бы нам не сказали о том, что в классической

Бо Цзюй-и. «Четверостишия». Перевод с китайского, вступительная статья и комментарии Л. Эйлина. Редактор И. Мирицкий. Гослитиздат, М. 1949.

китайской поэзии действовали такие правила, мы вряд ли подумали бы о каких-нибудь «правилах» — настолько эта последовательность каждый раз внутренне оправдана движением самого жизненного материала.

Вот за описанием пышной процессии вельмож, направляющихся на праздник («под сёдлами кони, — их блеск озаряет пыль»), за перечислением яств и напитков, готовящихся для этого праздника, следуют короткие строчки, из которых становится ясным, ценою чьих несчастий покупается эта роскошь:

Нынешним летом
В Цзяннани случилась засуха.

В сёлах Цюйчжоу
Люди едят людей.

Вот в другом стихотворении описание великолепного пира завершается подобной же концовкой — горьким обвинением:

Что им до того,
Что где-то в тюрьме в Вэньсяне

Лежат на земле
Замёрзших узников трупы!

Эти стихотворения Бо Цзюй-и — ключ к пониманию других его стихотворений. В его творчестве нет двух как бы противоположных друг другу начал: вот здесь — гражданская поэзия, а вот здесь — «чисто лирические» стихи о дружбе, любви и природе. Когда поэт говорит о ветвях цветущего абрикоса, об иве, о крике лебедя, о лодке, в лунную ночь плывущей по озеру, — мы понимаем, что и это делается «не для литературной забавы».

Это не изысканные переживания самодовольного эгоиста. Увидев что-нибудь хорошее, поэт хотел бы, чтобы не только он сам, но и все люди могли этому хорошему порадоваться.

Достойного мужа
Заботит счастье других.

Разве он может
Любить одного себя?

Как бы добыть мне
Халат в десять тысяч «ли»,

Такой, чтоб укутать
Люд всех четырёх сторон.

Поэт знает, что любоваться цветами могут лишь немногие богачи, и что дерелен-

ский старик, зайдя случайно на рынок, где продаются пионы, может только вздохнуть:

За один пучок
Темнокрасных свежих цветов

Десяти дворов
Деревенских семей налог!

Поэт, разумеется, знает, что нет у него такого халата, которым можно было бы всех укрыть и согреть. В бытность свою правителем Ханчжоу, Бо Цзюй-и стремился помочь народу. Так он построил плотину, чтобы вода озера орошала крестьянские поля. Но Бо Цзюй-и понимает, как слаба эта филантропия, как ничтожна такая помощь перед лицом окружающих несчастий и бедствий.

Отсюда — та грусть, которая окрашивает почти все его стихотворения — даже и те из них, в которых социальный мотив как будто вовсе отсутствует и говорится только о цветах, ветках ивы или о лунном свете. Поэтому так печальны стихотворения Бо Цзюй-и о старости.

Идёт весна. Я знаю её —
Такая весна стара.

Старость вовсе не обязательно должна быть печальной. Но здесь — это старость одинокого человека, который с горечью сознаёт, что он не может помочь своему народу.

Столетиями накоплялось то возмущение народных масс, о котором говорил Бо Цзюй-и:

С наших тел
Сдирают последний лоскут!

Из наших ртов
Вырывают последний кусок!

Терзают людей, отбирают добро
Шакалы и злые волки!

Ныне китайский народ торжествует победу над всеми шакалами и волками, над внутренними врагами, над иностранцами-поработителями. В этом великом торжестве революционного Китая новым светом светится классическое наследие древней китайской литературы.

Насколько может судить рецензент, незнакомый с языком подлинника и сверяющий (в выборочном, конечно, порядке) стихотворный перевод с дословным, стихотворения Бо Цзюй-и переведены Л. Эй-

длиннее с большой точностью и хорошим вкусом. Переводчик свободен от «любованья экзотикой» (последнее всегда дурно, а здесь было бы попросту оскорбительным); не впадает он и в филологическую сухость; не осовременивает поэта, — живость и непосредственность впечатления вырастают из самого переводимого текста.

Различие структур китайского и русского языка таково, что о переводе каким бы то ни было «размером подлинника» тут не могло быть и речи. Переводчик должен был самостоятельно выбирать стихотворную форму и, думается, выбрал её удачно, остановившись на нерифмованном стихе, то «правильном», то с некоторыми ритмическими вольностями, к которым, пожалуй, следовало бы обращаться почаще. Иногда дословный перевод сам по себе как будто подсказывает и неровную ритмику, и большую сжатость выражения.

Во Цзюй-и переводится на русский язык не впервые. Но в прежних переводах китайский классик «перерабатывался» порою до неузнаваемости:

Ночь... Один сижу у южного окна...
Вьётся ветер и, кружа, взмывает снег...
Там, в деревне, спят... И всюду тишина...
только здесь не спит печальный человек.
За спиной трещит оплывшая свеча,

я — один... и в сердце вновь закралась
грусть.

В хлопьях снега стонет, жалобно крича,
заблудившийся, отсталый дикий гусь.

А вот то же стихотворение в переводе
Л. Эйндлина:

Окно на юг —
Сижу спиной к лампе,

Под ветром хлопья
Кружатся во тьме.

В тоске, в безмолвье
Деревенской ночи

Отставший гусь
Мне слышится сквозь снег.

В прежнем переводе — вздохи, всхлипывания, многословие, многоточия, сплошное «нагнетенье переживаний» (и переживания эти — штампованные) — и нет того человека, который сдержанно и лаконично выражает своё одиночество простым описанием безмолвной деревенской ночи и даже не говорит: «я — один».

Качество нового перевода и большое количество включённых в сборник впервые переведённых стихотворений позволяют сказать, что только теперь мы по-настоящему знакомимся с одним из самых значительных явлений классической китайской литературы.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

★

Плохие комментарии

Произведения С. Т. Аксакова переиздавались не часто. Выпуск Государственным издательством художественной литературы одногомника избранных сочинений писателя несомненно заслуживает одобрения.

Аксакова высоко ставил ещё И. С. Тургенев. Он писал: «Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряжённого и ничего вялого — свобода и точность выражения одинаково замечательны».

Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов с похвалой отзывались о творчестве Аксакова.

Широкие круги советских читателей, ближе познакомившись с произведениями Ак-

сакова, полюбят их за богатство и чистоту языка, яркое и точное изображение родной природы, правдивые картины старинного быта.

Хороший замысел издательство, однако, выполнило недостаточно тщательно.

Вступительная статья к одномумнику, написанная К. Пигаревым, хотя и несвободна от некоторых недочётов и неточных положений, в целом достаточно полно знакомит читателя с жизнью и творчеством С. Т. Аксакова.

Хуже обстоит дело с отбором произведений и в особенности с примечаниями. Хотя у книги значатся даже два редактора (на обороте титульного листа читаем: редакция и примечания В. Абрамкина; в конце книги: редактор Г. Макогоненко).

Бесспорно правильно поступили составители, полностью включив в книгу всю

С. Т. Аксаков. «Избранные сочинения». Редактор Г. Макогоненко. Гослитиздат, М.-Л. 1948.

«автобиографическую» трилогию Аксакова: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Воспоминания». Не остались забытыми неоконченная повесть «Наташа» и другой отрывок, примыкающие к трилогии — самому ценному в творческом наследии писателя. Ведь именно «Детским годам Багрова-внука» посвятил Добролюбов статью «Деревенская жизнь помещика в старые годы»; именно их простоудушно-правдивый характер он отмечал.

Немалое место в книге отведено литературным и театральным воспоминаниям Аксакова. Трудно понять, зачем включены в число избранных произведений писателя эти воспоминания, если даже во вступительной статье к однотомнику говорится, что они «представляют гораздо более узкий интерес... и по содержанию и по литературным своим достоинствам», что они содержат «в значительной своей части сырой фактический материал», и что Добролюбов справедливо критиковал их. Кому в наше время (исключая, разумеется, специалистов — историков театра, а ведь однотомник рассчитан не на них) интересны детали биографий второстепенных актёров начала XIX века? Кого переубедит благодушно-преувеличенная оценка Аксаковым заслуг князя Шаховского, которого мы помним только по эпиграммам Пушкина? Кому нужны утомительные подробности из жизни реакционного волеволиста А. И. Писарева, с которым дружил молодой Аксаков?

Разумеется, и в этих мемуарах встречаются отдельные яркие эпизоды, любопытные штрихи, более или менее литературно отделанные страницы. И если бы включение «Литературных и театральных воспоминаний» служило большей полноте книги, а не пошло ей в ущерб, то против них можно было бы и не протестовать столь категорически. Но Аксаков вошёл в литературу не только как автор художественных мемуаров — он и писатель-натуралист, писатель-охотник. И эта сторона его творчества не менее значительна. Проликунутые горячей любовью к природе родного Заволжья, охотничьи и рыболовные книги Аксакова полны тонких наблюдений, своеобразных, уверенно написанных пейзажей. В ноябре 1845 года С. Т. Аксаков писал Гоголю: «...надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но

и всякому, чьё сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и пр.».

Составители включили в однотомник одни лишь «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах». Для «Записок об ужении рыбы» и «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» (хотя бы в отрывках) места не нашлось. Редакторы ещё раз вступили в разлад с автором вступительной статьи: статья порицает театральные воспоминания — редакторы их включают в однотомник; в статье целая страница отведена похвалам в адрес охотничьих книг — редакторы дают лишь небольшую часть их. Не помогли ни восторженные цитаты из Тургенева, ни приведённый К. Пигаревым чудесный образчик аксаковского пейзажа. «Портретная галерея» птиц и рыб, о которой пишет автор вступительной статьи, осталась в старых изданиях, малая доступность которых для широкого читателя, видимо, и вызвала к жизни издание однотомника.

Странная несогласованность в пределах одного переплёта!

Однако и это бы ещё не беда. Гораздо менее протестительно включение в избранные сочинения неоконченной Аксаковым «Истории моего знакомства с Гоголем», особенно с теми примечаниями, которые мы находим в книге.

Сначала о примечаниях. В этой связи уместно поставить общий вопрос: что и как следует комментировать в массовых изданиях писателей прошлого? Думается, примечания должны помогать читателю, снабжать его необходимыми справками об исторических фактах и социально-политических сведениях, разъяснять неясности, осведомлять о политической позиции писателя, а когда это необходимо, то и о неправомерности тех или иных его высказываний.

Совершенно иначе построены примечания В. Абрамкина к произведениям Аксакова. Они носят лижеакадемический, буквоедский характер, в них очень много лишнего, но ещё больше недостаёт. Внимание комментатора привлекают не факты, не события, не оценки, а только имена людей и названия литературных произведений.

Имена за именами, названия за названиями, унылое крохоборчество, почти без проблеска живой мысли...

Стоит только Аксакову упоминать о «двух-трёх глупейших романах, в роде Любовного Вертограда» — комментатор тут как тут. Казалось бы, всё ясно: сказано, что роман глупейший, и название дано. Однако В. Абрамкин считает нужным обогатить читателя следующей библиографической справкой: «Любовный Вертоград, или непреоборимое постоянство Камбера и Ариссны», перев. с португальского Фёдор Эмин, СПб, 1763 г.». Упомянет ли Аксаков рассказ из «Зеркала добродетели» «Сам себя одевающий мальчик», как уже комментатор «пёрышко подняв, полезет с перержавленным» — мол, не «сам себя одевающий», а «сам себе служащий мальчик»!..

В другом месте Аксаков пишет: «Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый, богатый холостяк, слышавший очень умным и даже учёным человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериной Второй для рассмотрения существующих законов». Было бы понятно, если комментатор сопроводил это место примечанием о самой комиссии, которую Пушкин называл «фарсой... столь непристойно разыгранной». Однако В. Абрамкина, как мы уже отметили, факты и оценки не интересуют — только фамилии. И вот мы читаем: «Аничков Сергей Иванович — депутат от уфимского дворянства в Комиссию о сочинении проекта нового уложения (избран в марте 1767 г.)». Что может дать пылливому уму советского читателя эта бездушная архивная выписка?

Особенно неудовлетворительны примечания к «Истории моего знакомства с Гоголем», настолько неудовлетворительны, что делают скорее вредным, чем полезным, самое помещенное «Истории знакомства» в книгу.

Ничего, кроме возмущения, не может вызвать тот факт, что редакторы сочли нужным без каких-либо возражений или оговорок воспроизвести в однотомнике отвратительный клеветнический выпад славянофила Аксакова против В. Г. Белинского, облыжное обвинение великого революционера-демократа в нелюбви к русскому человеку. Напрасно было бы искать тут примечание, его нет.

Историю не надо украшать. Исторически обусловленная классовая ограниченность Аксакова не мешает нам ценить лучшую часть его творческого наследия. Это не значит, однако, что из пиетета к литературным заслугам писателя следует замалчивать ошибочные, реакционные элементы его воззрений.

Посвягать на Белинского не дано никому, в том числе и Аксакову. Это, казалось бы, должны понимать В. Абрамкин и Г. Макогоненко. Между тем «История моего знакомства с Гоголем» содержит не только ту злобную клевету на Белинского, о которой упомянуто выше и наличие которой само по себе уже должно бы заставить редакторов придумать об уместности помещения этих воспоминаний в однотомник. «История знакомства» содержит и другие выпады против великого русского критика, которые также оставлены безо всякого внимания комментатором. Он не счёл нужным защитить Белинского от славянофильской клеветы, помочь читателю разобраться в смысле намёков и полемических стрел, помочь отделить чёрное от белого. Так на стр. 534—535 С. Т. Аксаков, не назвав Белинского, оспаривает правоту его критических высказываний по поводу брошюры о «Мёртвых душах», написанной сыном писателя К. С. Аксаковым — однако никакого примечания к этому нет; на стр. 542 сам К. С. Аксаков в письме к Гоголю защищает свою брошюру против Белинского — примечания опять нет. Наконец, на стр. 545 снова упоминается злополучная брошюра. На этот раз в примечании сказано: «Брошюра К. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя» вышла в 1842 г. и вызвала резкую критику В. Г. Белинского (см. В. Г. Белинский, Соч., т. VII, СПб., 1904 г., стр. 286—293, 326—339, 424—446)». И всё! Читателю дан адрес — дореволюционное (!) издание Белинского, хочешь дознаться, в чём дело — ищи сам! Что и говорить, плодотворный способ составления примечаний...

Полемику о брошюре К. С. Аксакова элементарно необходимо было сопроводить кратким изложением сути всей этой истории и позиции, занятой в ней Белинским.

Всобщее, судьба Гоголя слишком сложна, а его отношения с семейством Аксаковых слишком односторонне освещены в

«Истории знакомства», чтобы можно было обойтись без заботливо составленных разъяснений, которые сопровождали бы текст и помогали бы читателю в каждом затруднительном случае. Тем более, что «История знакомства с Гоголем» автором не была окончена, а письма, подготовленные им и отражающие продолжение отношений вплоть до самой смерти Гоголя, составителями сочтены «посторонними материалами» и опущены. Знакомство с Гоголем, таким образом, обрывается на полуслове, а заголовок «История моего знакомства с Гоголем со включением всей переписки с 1832 по 1852 год» остаётся неоправданным, ибо фактически переписка дана лишь по 1843 год.

Нельзя не упрекнуть и К. Пигарева, который во вступительной статье отделался ничем не говорящей фразой: «Нет нужды пересказывать здесь историю их отношений» и сноской: «О своих отношениях с Гоголем С. Т. Аксаков рассказал сам в «Истории моего знакомства с Гоголем». Нет, есть нужда рассказывать! Отсылая читателя к самому Аксакову, автор вступительной статьи как бы советует читателю полностью довериться воспоминаниям и отнестись к ним не критически.

В Гоголе, как отмечал Чернышевский по поводу воспоминаний Аксакова, уже с 1840—41 гг. начали проявляться те черты, которые позднее нашли своё выражение в издании «Выбранных мест из переписки с друзьями». Помочь читателю отсеять славянофильский мусор в воспоминаниях Аксакова, помочь понять внут-

реннюю борьбу, происходившую в Гоголе, борьбу, в которой не всегда реакционное начало брало верх, таков был долг издательства по отношению к читателю и по отношению к великому русскому писателю-реалисту, если уж оно решилось включить в однотомник «Историю моего знакомства с Гоголем».

Этот долг не выполнен. Да и как мог В. Абрамкин его выполнить, если его внимание отвлекали иные проблемы. Венцом его изысканий является следующее. На стр. 124 Аксаков вспоминает некую песню «Драматическая пустельга», в которой пшестушка гонит гусей и поёт куплеты с припевом:

Тига, тига домой,
Тига, тига за мной.

В. Абрамкин не упускает случая поправить забывчивого мемуариста. «Припев, упоминаемый С. Аксаковым, читается так (цитирую по «Российскому Феатру»):

Тига, тига, тига домой,
Тига, тига, тига за мной.

(Явление III, стр. 118).

Итак, не два, а три «тига»! Что и говорить, стоило перерывать пыльные тома «Российского Феатра», чтобы выудить из них столь ценное сведение.

Однако шутки в сторону — как ни смешны некоторые результаты усилий В. Абрамкина, они в то же время печальны. А вместе взятое, всё это называется равнодушием, объективизмом.

Б. ЗАКС.

★

Люди, которыми должно гордиться

Биография Ломоносова общеизвестна. Ещё в школьных хрестоматиях каждый читал историю девятнадцатилетнего «архангельского мужика», который ушёл с обозом рыбы в Москву, чтобы учиться, и стал впоследствии первым учёным России, во многих своих научных деяниях оставившим позади учёных Западной Европы, стал, по выражению Белинского, «оцом и пестуном» русской литературы.

К. Копичев. «Люди больших дел». Редактор А. Малышев. Архангельское издательство, Архангельск, 1949.

Гораздо меньше людей помнит, что на родине Ломоносова, в той же самой северной деревушке, в 1740 году родился первый русский скульптор-реалист Федот Иванович Шубин.

Отец будущего скульптора, крестьянин Иван Шубный, некогда обучал Михайлу Ломоносова грамоте и, видя незаурядные способности парня, помог побегу Ломоносова в Москву. Он дал тогда беглецу три рубля на дорогу и полукафтанье со своего плеча. А через двадцать девять лет его сын, девятнадцатилетний Федот

Шубин, прославившийся в округе как искусный резчик по кости, уходит в Петербург.

Ломоносов, твёрдо веривший, «что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать», не забывший также услугу старика-грамотея, принимает участие в судьбе его сына. Федот Шубин, устроившийся для начала во дворце царицы истопником, попадает в Петербургскую Академию художеств. Успехи молодого скульптора так велики, что его, крестьянского сына, которого разыскивала, как «беглого», Архангельская губернская канцелярия, посылают во Францию и в Италию для продолжения образования. Шубина избирают академиком в России и в Болонье.

Несмотря на славу и всеобщее признание, зависть недругов отравляет жизнь гениального русского художника. Одни не могут простить Шубину его «подлое» происхождение. Другим не по вкусу работы скульптора, выполненные в невиданной доселе реалистической манере: беспощадно правдив скульптурный портрет всеильного любимца Екатерины, развратника и плута графа Безбородко; похож на злую карикатуру бюст дегенерата на троне — Павла. И когда скульптор, состарившись, испортив зрение работой, не может больше ваять — он остаётся без пенсии, без денег. Горек, но обычен для того времени конец Федота Шубина, умершего в крайней бедности.

О Михаиле Ломоносове, о Федоте Шубине и многих других славных сынах севера — мореходах, кораблестроителях, воинах, художниках, жизнь и подвиги которых по праву принадлежат всей России, рассказывает архангельский писатель К. Коничев в своей книге «Люди больших дел». Идея эта — собрать в одну книгу биографические очерки о своих великих земляках — достойна всяческого поощрения. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно», — писал Пушкин. Автор по праву взял эти слова в качестве эпиграфа к своей книге.

Константин Коничев рассказывает о подвигах северодвинского посадского человека Семёна Ивановича Дежнева, который больше чем триста лет назад от верховьев Северной Двины дошёл до берегов Великого океана. На семи утлых судёнышках Дежнев с холмогорским уроженцем Алексеевым

и поморами вышел в Ледовитое море. Многие беды и лишения подстерегали смельчаков, четыре лодки с людьми пропала, из девяноста человек уцелело только двенадцать, но Чукотский мыс и огромный Камчатский полуостров были обойдены. Через сто лет этим проливом прошёл Беринг. Его имя носит пролив и море. О русском храбрце Дежневе напоминает самая восточная точка нашей родины — мыс Дежнев.

Из книги мы узнаём и о других исследователях земли русской. Уроженец Сольвычегодска Ерофей Павлович Хабаров, продолжатель дела великого Ермака, отдал свою жизнь для изучения отдалённых краёв России. Одним из первых он дошёл до края родины, «где она сошлась с Америкой». Хабаров со своими товарищами заложил зимовье при слиянии рек Амура и Усури — нынешний Хабаровск.

Автор рассказывает о Бажениных — первых строителях кораблей, чья верфь в деревне Вавчуга стала в Петровские времена колыбелью русского морского торгового флота; о русском кораблестроителе Загуляеве, построившем более шестидесяти кораблей; об Иване Рябове — этом северном Иване Сусанине, посадившем шведский фрегат и яхту на мель у русских берегов; о мезенских «робинзонах», четырёх архангельских зверобоях, прибитых к Шницбергену и проживших на необитаемом острове без оружия и припасов более шести лет; о мореходе Степане Глодове; об открывателе новых земель Баранове и многих других. Мы даже скажем: «о слишком многих». На ста двадцати девяти страничках книги — полтора десятка очерков, в каждом из них немало фамилий, дат, географических пунктов. Из очерков этих узнаешь много полезного — видно, что автор хорошо знает материал. Но желание сказать обязательно обо всех нередко приводит к тому, что один материал повторяет другой, вместо живых людей со своими физиономиями и характерами, читатель узнаёт только анкетные данные о герое (непонятно также, почему вместо портретов описываемых людей книжка иллюстрирована только бледными рисунками).

И если жизнь таких людей, как Ломоносов, повторяем, более известна читателю, если о Шубине мы могли прочитать хотя бы книгу того же К. Коничева («Повесть

о Федоте Шубине», Архангельское изд-во, 1941 год), то с другими «людьми больших дел» автор успевает лишь «шапочно» познакомиться читателя. Взять хотя бы интереснейшую фигуру Александра Андреевича Баранова, человека, ставшего «первым и главным правителем русских земель Северной Америки».

Известно, что Аляска, «уступленная» незадачливому Александру II американскому правительству за 14 320 000 рублей, была исследована русскими в XVIII—XIX веках. Полтора века смелые, предприимчивые русские люди обживали и защищали никому до них не принадлежавшие дикие богатые земли. Русский промышленник Шелехов, высадившийся со своими людьми на материке, назначил управляющим новыми русскими владениями Баранова, энергичного, смелого, волевого человека.

Баранов расширил новые владения, он основывал посёлки, строил суда, на которых вёл торговлю с Нью-Йорком, с Кантоном, с Калифорнией. Он завёл дружбу с коренным населением — алеутами, завоевал их любовь и уважение. Баранов построил музей и библиотеку. Для подростков из местного населения были открыты школы. Детей алеутов и эскимосов Баранов отправлял учиться в Петербург. В «русскую Америку» они возвращались кораблестроителями и учителями.

Личность столь незаурядного человека, как Баранов, его жизнь и деятельность, естественно, интересуют читателя. Однако, кроме перечня фактов, на трёх с половиною страничках, которые занимает очерк о нём, ничего больше не поместилось. Знаменательный факт освоения нашими людьми земель Северной Америки, многолетние труды и беспримерные подвиги простых русских людей во славу нашей родины достойны большего внимания, может быть — отдельной самостоятельной работы.

Больше всего «вне повестволо» в книге нашим современникам. А вместе с тем их судьба хотя и в корне отлична от судеб их земляков в прошлом, но отнюдь не менее героична. Полярные исследователи прошлых столетий часто действовали на свой страх и риск, они уходили в ответственные походы на плохо оборудованных судах, даже без достаточного запаса продовольствия. Погиб со своими людьми слонечский кормщик Савва Ложкин, первым

обогнувший Новую Землю с восточной стороны, неудачи преследовали Ивана Пактусова, оставившего потомству точные карты новоземельских побережий, трагически погибли капитан Седов и десятки других славных исследователей Севера.

Советское правительство с первых дней своего существования придёт исключительное значение Великому Северному морскому пути, о котором мечтал ещё Ломоносов, как о «североширотном варианте». И когда советский капитан-полярник Воронин впервые в истории мореплавания прошёл путь от Архангельска до Владивостока в одну навигацию — за два месяца и пять дней — великий Сталин и его соратники поздравляли сибиряковцев телеграммой:

«Успехи вашей экспедиции, преодолевшей неимоверные трудности, еще раз доказывают, что нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевикская смелость и организованность»¹.

Лучшие качества русского народа, умноженные на большевистскую смелость и организованность, помогают нашим людям освоить советский Север. Жаль, что очерк о Владимире Ивановиче Воронине, чьё имя известно всем советским людям по героическим походам «Седоза», «Сибирякова», «Челюскина», — по своим размерам и литературным достоинствам представляет собой газетную заметку, не больше.

Интереснее, ярче очерк «О знатном пенце Тыко Вылке и его друге Владимире Русавове». В нём говорится о вчера ещё остром «кикордце», «самоседе», как презрительно звали ненцев купцы и царские чиновники. Вот Тыко Вылка по приглашению своего друга и учителя — колярного исследователя Русанова, которому молодой ненец помогал во время экспедиции, приезжает в 1910 году для учёбы в Москву. Здесь он подвергается насмешкам со стороны «цивилизованных дикарей». Газеты сообщают вымышленную «сенсацію»: Тыко Вылка убил на Воробьёвых горах воробья и... съел его вместе с перьями.

А летом 1946 года общественность Архангельска торжественно отмечала шестидесятилетие Тыко Вылки — незаурядного человека, художника и сказителя, государственного деятеля, бессменного «президента» Новой Земли. Сын Тыко Вылки окончил при советской власти, как и мно-

¹ «Известия» от 14 октября 1932 года.

гие другие немцы, вуз. Немцы—инженеры, врачи, педагоги, агрономы, учёные преобразуют свой некогда отсталый край. Вместо рассеянных в глуши одиноких избушек на Севере создаются большие благоустроенные становища, люди работают в эсеробойных артелях, открыты десятки школ, больниц.

Приводя в очерке запись рассказа Тыко Вылки об его друге Русанове, автор пишет: «Здесь записан бегло и кратко рассказ Вылки о его друге. Он рассказывал долго, гораздо больше и красочней моей протокольной записи».

По нашему мнению, признание автора больше относится к другим очеркам его книги. Как раз история Тыко Вылки, в ко-

торую умело вмонтированы и отрывки из его дневника, написанного короткими, энергичными фразами, и рассказ немца, и воспоминания Русанова—один из лучших очерков книги. Скупое и точно написано северный пейзаж, просто показаны великие трудности полярных экспедиций, выразителен диалог.

Хочется пожелать автору, чтобы он ещё раз вернулся к некоторым героям своей книги «Люди больших дел», написал о них «больше и красочней». Тогда ему пригодятся эти «протокольные записи». Но и сейчас внимательный читатель найдёт много полезного и поучительного в книжке К. Коничева.

К. ЛАПИН.

★

Большая семья

Заново восстанавливается жизнь в колхозе «Зелёная Балка». Вместо сожжённой немцами деревни, на другом, более удобном месте строится новая. Нет жилья, нет семян, нет инвентаря, мало рабочих рук, плохо с питанием. Всё начинается заново.

Автор не преуменьшает трудностей, не лакирует действительность. Роман написан правдиво, бескомпромиссно, и эта бескомпромиссность—подчёркнута, принципиальна. Автор как бы говорит: я доверяю жизни! Вглядитесь пристально в нашу социалистическую действительность, почувствуйте необычность всего, что стало для нас повседневностью, гордитесь тем, что впервые в истории человечества—человек человеку друг. Любить наш народ—значит знать его жизнь. Ф. Наседкин стремится запечатлеть действительность в её революционном развитии. Он обладает чувством нового, ясностью писательского зренья.

...Когда я сказал—жизнь колхоза началась заново,—я сказал неточно. Сохранился основной капитал, главная сила—люди. За годы войны люди закалялись, выросли, многое поняли, многому научились. Вот что говорит один из героев романа, толковый, хозяйственный старик-колхозник Иван Иванович Недочёт: «Никогда у нас,

у русских людей, ещё не было такой счастливой поры, никогда!.. Прямо вижу, какой была Зелёная Балка после первой мировой войны. Немца тогда в нашей деревне и в помине не было. И хатки целы были, а долго-долго не могли мы из нужды выкарабкаться. Советская власть была молода, а о колхозах мы ещё и не слышали... Каждый сам по себе дрался с нуждой, и многих нужда одолевала. А теперь мы боремся не в одиночку. Теперь у нас коллектив... В колхозе мы и нужду, как самого немца, разобьём и поставим на колени. И опять зажиточной жизни добьёмся. Ещё лучше заживём!..»

Мысли эти—не просто справедливы, они примечательны. Они раскрывают величие и духовную красоту советского человека. Ведь о счастливой поре говорит Недочёт в самое трудное время. Что же дало советскому колхознику такую уверенность? Откуда это ощущение счастья, полноты жизни у одинокого старика, живущего пска что в шалаше? От хозяйского, государственного отношения к жизни, от высокой сознательности, от веры в колхозный строй, от доверия и любви к партии большевиков. Проникновенные слова Недочёта рождены ощущением того, что все люди колхоза—одна дружная, заботливая, трудолюбивая «большая семья».

В дореволюционной деревне семья была частью, узким мирком, крепостью, кото-

Ф. Наседкин. «Большая семья», роман. Редактор В. Вилкова. Изд. «Молодая гвардия», М. 1949.

рую строили для борьбы с другими семьями, с обществом. В советской деревне ликвидировано частнособственническое отношение к людям.

Вот история Веры Обуховой. У неё был туберкулёз лёгких. Комсомольцы решили помочь ей, достать в районе путёвку в туберкулёзный санаторий, а пока что — мёду, смальцу. Одно время Вера считала, что её болезнь неизлечима: «Больна... Сильно больна... И боюсь, безнадежно...»

— Что значит — безнадежно? — возразил Денис. — Ты сама сегодня рассказывала, как смерть отступает перед голей человека.

Вера покачала головой:

— То сказка, Денис. А это правда. А правда сильнее сказки.

— Это верно: правда сильнее сказки. Но мы сильнее той девушки».

И комсомольцы оказались сильнее смерти.

Что, собственно, спасло Веру? Что подняло её силы? Путёвка в Крым, которую достал для неё райком партии? Назначение заведывать колхозным домом культуры? Вероятно, и то, и другое, и третье, а главное то, что стоит за каждой из причин — товарищеская поддержка, забота о человеке.

Счастливый конец истории Веры Обуховой — не случайность. Ведь забота о человеке в нашей стране — это нечто большее, чем правило, чем обязанность. Это — черта характера советских людей. И проявляется забота о человеке прежде всего в том, чтобы вдохнуть в него веру в себя, в свои силы.

Секретарь райкома Потапов обещал помочь колхозу, выхлопотать наряд на два — три трактора. Потом обещал два. А когда колхозники нашли в лесу спрятанные от немцев тракторы и пустили их в ход, Потапов засчитал найденные тракторы в счёт обещанных, а обещанные передал другому колхозу. И любопытно, что колхозники сразу признали правоту Потапова. Государственный, не формальный подход, забота не только об одной деревне, а обо всей области, стране — одинаково понятны, одинаково присущи и секретарю райкома и рядовому колхознику.

Много места в романе уделено деревенским комсомольцам. В «Зелёной Балке» не было партийной организации. В таких колхозах на плечи комсомольцев ложится

двойная ответственность. Комсомольский коллектив «Зелёной Балки» подыскал и рекомендовал колхозу председателя, Арсея Быланина. Коллектив воспитал, подготовил к вступлению в партию тракториста Антона Рубябея. Комсомол возглавил социалистическое соревнование.

В романе рассказано не только о делах комсомольцев, но и о том, чем является для них комсомол. Чем дорог комсомол, например, Арсею Быланину? Почему он, человек взрослый, член партии, не хочет уходить из комсомола? Вот что говорит Арсей секретарю райкома комсомола Туманову: «Я в комсомоле уже десять лет. С ним связана вся моя сознательная жизнь. Я всегда черпал в нём силы и с его помощью преодолевал препятствия... Я шесть лет назад вступил в партию, а комсомол для меня остался всё таким же близким и родным. В моих отношениях к нему осталось ещё — как бы тебе сказать? — осталось моё собственное, моё личное... В жизни всё неповторимо, человеку обычно хочется подольше сберечь то, чем он дорожит, — хочется продлить хорошее. Комсомол всегда был дорог мне — это моя молодость... Комсомол — это начало участия в борьбе за коммунизм.

Хорошо говорит о коммунизме Потапов: «Иные думают, что коммунизм — это сплошной праздник, когда не будет ни забот, ни хлопот, ни тревог, ни волнений. За такой коммунизм я не отдал бы и одного дня своей жизни!.. Коммунизм, по-моему, — это такое время, такое общество, когда полностью сольются физические и духовные силы народа, когда творческий труд, труд созидательный превратится в первейшую и естественную необходимость и потребность человека... Исчезнут ложь и подлость — неизбежные спутники человека при капитализме, останется и окончательно возторжествует любовь к родине, труду».

Ф. Наседкин не только вдумчивый писатель, но и человек, знающий то, о чём он пишет, знающий деревенскую жизнь, колхозное производство.

Читателю «Большой семьи» есть о чём подумать, есть о чём и поспорить. К сожалению, язык романа недостаточно тщательно отделан. В авторской речи прорывается то декларативная скоропись («люди выступали горячо, взволнованно говорили о своих обязательствах, вызывали друг

друга на соревнование»), то надуманная «образность» («как огненный смерч пронёсся встречный поезд», — надо пояснить: речь идёт о встречном поезде не на железной дороге, а в метро).

Ф. Наседкин почувствовал, что словарь жителей города и жителей деревни сблизается, но не везде был последователен. Он допустил ошибку, свойственную, впрочем, многим произведениям, посвящённым колхозной теме. В нашей «городской» литературе давно уже не находит себе места «трамвайный фольклор», кухонные перебранки. Но почему-то — видимо для сельского колорита — доморошенная ругань ещё «оживляет» собой страницы колхозных повестей и романов. «Слюнтяй собачий», «овцы линючие», «куры мокрехвостые» и прочая живность бродит по страницам романа.

Есть в романе и более серьёзные промахи. Они связаны с трактовкой образа Арсея Быланина. На протяжении почти всего романа в душе Арсея происходит борьба между долгом и призванием. Его мечте — стать агрономом-опытником — якобы препятствует работа, должность председателя колхоза. Несколько раз рассуждает Арсей об этой трагической коллизии. Из-за неё на Арсея нападает тоска, он многократно требует своей отставки, самовольно бросает на несколько дней колхоз, получает выговор на бюро райкома, устраивает драку со стариком Недочётком. Под конец романа выясняется, что агрономические опыты Арсея, пусть пока неудачные, всё же представляют интерес для науки. Растянутый, нежизненный конфликт между долгом и призванием не прибавляет роману ни увлекательности, ни значительности. Так же искусственно усложнён, затянут и личный

конфликт Арсея, в течение долгого времени не решающегося соединить свою жизнь с жизнью любимой им Ульяны из-за боязни сплетен да из ложной жалости к её бывшему мужу, арестованному за сотрудничество с оккупантами.

Для того, чтобы Ульяна и Арсей всё же имели повод встречаться как бы «помимо своей воли», автору пришлось сделать бригадира полеводческой бригады Марью Акимовну фигурой бездействующей, эпизодической и заставить председателя колхоза вести своё деловое общение со звеньевой Ульяной через голову бригадира.

Ульяна «работала звеньевой, а председателю колхоза приходилось часто наблюдать за работой звеньев». То, что главное внимание и председателя колхоза и областных организаций уделено звеньям — сначала выглядит в романе в какой-то степени оправданным. Машин почти не было, «копали землю лопатами, руками выбирали сорные травы, на тачках вывозили в поле удобрения». Но вскоре окреп колхоз «Зелёная Балка», вслед за тракторами на поля вышел комбайн.

В таких условиях обособлять звенья, преуменьшать роль бригады — значит суживать поле применения сельскохозяйственных машин, значит поддерживать частнособственнические настроения. Герои романа не сумели понять ошибочность своей позиции.

Попытки искусственного усложнения сюжета неизбежно отвлекают писателя от правды действительности, противоречат жизненной, верной в своей основе идейно-образной природе романа.

А. ЛАЦИС.

★

Увлекательная профессия

С каждым годом увеличивается число художественных произведений, раскрывающих поэзию социалистического труда самых разнообразных профессий и специальностей. Всё полнее и глубже разрабатывается эта горьковская тема в советской

литературе. Увлекательна поэзия роста человека, «организуемого процессами труда», как говорил великий писатель, — труда освобождённого, творческого, на заводах и колхозных полях.

Труд советского педагога, которому доверено особенно ответственное дело — подготовить к жизни достойных граждан коммунистического общества, — занимает по-

Ф. Вигдорова. «Мой класс». Из дневника молодой учительницы. Отв. редактор Б. Камир. Детгиз, М.-Л. 1949.

чётное место в ряду других советских профессий. Необычайно вырос в последние годы наш педагог.

Ещё в начале 30-х годов «Педагогическая поэма» А. Макаренко волнующе показала советскую педагогику в действии. Эта вдохновенная поэма о человеке стала любимой книгой, потому что человек — самая большая наша ценность, а в росте педагога и его юных воспитанников, в вопросах коммунистического воспитания кровно заинтересованы все советские люди, каждая советская семья.

Этим важнейшим вопросам — педагогическому процессу в школе — посвящена своеобразная, написанная в форме дневника молодой учительницы, повесть Ф. Вигдоровой «Мой класс». В извлечениях она была опубликована в альманахе «Год XXII». Со страниц этой увлекательной книги встают жизненно правдивые образы советских детей и растущего вместе с ними пытливого, ищущего педагога. Когда кончаешь читать эту повесть, с грустью расстаёшься на пороге 6-го класса с её маленькими героями. И вместе с учительницей читателю хочется увидеть этих живых мальчуганов уже «настоящими советскими людьми, людьми прямыми и верными, стойкими в час испытания, неутомимыми в труде и горячо любящими свою работу. Чтоб думали прежде всего о своём деле, о долге перед родной страной и народом, а потом уже о себе».

* *
*

Молодая, только что с вузовской скамьи, учительница Марина Николаевна Ильинская пришла в четвёртый класс «В». Среди школьников сразу выделяются отдельные отстающие или недисциплинированные дети, в классе не чувствуется дружного коллектива, руководимого педагогом.

Два года провела Марина Николаевна с этим классом.

Умная педагогическая работа учителя совместно с пионервожатым, основанная на пристальном внимании к каждому ребёнку, приводит к тому, что постепенно, на глазах читателя, образуется хорошо слаженный школьный коллектив, успешно работающий, живущий своей увлекательной и интересной жизнью, построенной на уважении к человеку — сколько бы ему лет ни было.

Живая педагогическая практика выучила Марину Николаевну тому, чего не дал ей, к сожалению, педагогический институт, где ещё часто «педагогика как вузовская дисциплина — одно, педагогика как деятельность, как преподавательский труд — нечто совсем другое».

Страницы повести «Мой класс» — это живые настойчивые поиски молодого педагога дороги к уму и сердцу ребёнка, «кого чем можно увлечь, заинтересовать... пайти в каждом его «секрет» — ту самую пружину, на которую учитель должен нажать». В этом — внутренняя линия сюжета повести.

Этот «секрет» пытливый педагог ищет и у отстающих и недисциплинированных детей — у Коли Савенкова, с его оскорбительным при первых встречах с учительницей равнодушием, и у паясничающего Андрея Лукарёва, позволяющего себе недопустимые грубости в классе.

Тайную «пружину» нужно отыскать педагогу и у внешне благополучных школьников из числа пятёрочников, безукоризненно вежливых, примерных в поведении.

«У меня нет друзей», — пишет кратко, одной фразой сочинение на вольную тему «Мои товарищи» такой примерный ученик Дима Кирсанов. Заболев, он не может поверить, что товарищи будут приносить ему «уроки» в больницу, ведь «для этого нужно слишком много времени!».

Школьный коллектив, неприметно направляемый учительницей, освобождает отдельных ребят от дурного, наносного в их характере, излечивает Диму от неверия в коллектив, в скоростную дружбу и товарищескую помощь.

Жизненно и художественно убедительно показаны в повести разнообразные, глубоко человеческие методы и формы советской педагогики. Детей воспитывает и непосредственно школьная работа, и те формы «внеклассной» педагогики, которым уделено основное внимание в повести. Мальчуганов захватывают на уроке поиски корня различных слов, и это увлекательное занятие не только осмысливает для них орфографию, но и расширяет их кругозор, наталкивает на новые мысли и сопоставления. Интересно показано облагораживающее влияние художественных произведений, изучение «Детства» Горького. Поучителен сравнительный разбор на уроке двух

сочинений о детском доме, при котором выясняется, что равнодушно написанное сочинение, хотя оно и написано чисто, без ошибок, гладкими и правильными словами — не достигает цели.

* *
*

Путь молодой учительницы — это не только её успехи, но и ошибки. Осознавая их и исправляя, растёт Марина Николаевна. Такой осознанной ошибкой является, например, отношение Марины Николаевны к Коле Савенкову, когда молодой педагог допускает глухую вражду между собой и двенадцатилетним учеником. Ознакомившись с семейной обстановкой Савенкова, она узнаёт, что Коля глубоко переживает гибель отца на фронте. Только поняв, что «учительница — не враг, не зложелатель ему», а настоящий советский человек, мальчик начинает верить педагогу и становится таким же внимательным, трудолюбивым, отзывчивым в школе, каким его знают дома маленькая сестра и тяжело переносящая личную утрату мачеха.

Подлинный пролетарский гуманизм советской педагогики лежит в основе искавший Марины Николаевны.

Любимый писатель учительницы А. М. Горький учит её: «Никогда не подходи к человеку, думая, что в нём больше дурного, чем хорошего — думай, что хорошего больше в нём — так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них».

Страницы дневника учительницы напоминают нам мудрые горьковские слова о том, что в человеке — в каждом скрыт свой бубенчик, а если встряхнуть человека умело, он отвечает, хотя неуверенно, но приветно!

Наша педагогика не отказывается и от крайних мер воздействия на ученика, мешающего классу и самому себе нормально жить и работать, — от исключения ученика из школы. Такой крайней мерой в повести является условное исключение Мариной Николаевной из числа своих учеников Андрея Лукарёва, позволившего себе безобразную выходку по её адресу.

Но никак нельзя оправдать мотивировку этого «исключения» Лукарёва:

«Да, я педагог, но вместе с тем — человек же я. И, как всякий живой человек, я имею право на гнев и обиду».

То, что педагог — живой человек, никто, разумеется, оспаривать не будет, но нельзя одобрить педагогическую меру, исходящую от «гнева и обиды» учителя.

Повесть Ф. Вигдоровой показывает, как растёт маленький человек в социалистическом обществе. Его воспитывает не только семья и школа, но только педагог. Ребёнок в нашей стране растит весь советский строй, пафос советской жизни. Вместе с педагогом детей воспитывают и их родные, и совсем незнакомые советские люди.

Анатолий Нехода, подводник на далёком Севере, прочитал в газете очерк о «Четвёртом классе «В», и его кровно заинтересовала судьба этих незнакомых ребят. В возникшей переписке между офицером и детьми подводник даёт советы своим маленьким друзьям, и каждое его письмо играет воспитательную роль для юных патриотов, взволнованных этой хорошей, подлинно советской дружбой.

В работе Марины Николаевны принимает живое участие её друг, журналист Шура, которому школьники помогают найти ребёнка, потерявшего родных во время войны. Атмосфера любви, заботы и участия, которую дети почувствовали в Большесовском детском доме, научили школьников настоящему советскому отношению к людям, к детям.

Помогает Марине Николаевне и учительница Зои Космодемьянской. Она считает своим долгом прийти к ребятам другой школы, чтобы рассказать о своей героической ученице, хотя ей и мучительно больно вспоминать при этом о своём собственном сыне, погибшем вместе с братом Зои.

Этот рассказ Линды Николаевны Юрьевой о школьных годах Зои, о её прямоте и принципиальности с ранних детских лет, способен по-настоящему взволновать не только школьников четвёртого класса «В», но и каждого читателя повести.

* *
*

Страницы дневника учительницы рассказывают, что быть учителем не лёгкое дело, но работа его захватывающе интересна — это подлинно творческий труд.

Педагогическая работа требует от учителя постоянной внутренней мобилизации всех его сил и знаний, тщательной подготовки к каждой встрече с детьми, к каждому уроку, требует большой находчивости и ис-

куства вести живую беседу с классом, умения сосредоточить внимание этого непоседливого, подвижного коллектива на выбранной теме.

Мы не забываем, что «Мой класс» — это художественное произведение, а не сборник примеров для нашей педагогики. Но нельзя пройти мимо того, что в этом дневнике учительницы основное содержание школьной работы, показ того, как талантливый педагог воспитывает и растит детей в процессе и в результате усвоения знаний, не стал основным материалом повести. Этому основному содержанию педагогического процесса уделено несравненно меньше места, чем методам ознакомления учительницы с характером своих учеников и воспитанием его в отрыве от обучения.

Разумеется, без «ключика» к уму и сердцу ребёнка учитель не может решить главной своей задачи. Но самое основное ведь не в «скрете», не в «скрытой пружине»,

которой, конечно, должен овладеть учитель: это очень важное, но всё-таки только средство. Самое главное в педагогическом процессе, как известно, это непосредственная работа учителя над освоением детьми знаний: они идейно воспитывают школьника, развивают его сознание, закладывают в нём основы ленинско-сталинского мировоззрения.

Приходится пожалеть, что в отдельном издании повести далеко не всегда оправданно опущены раздумья и сомнения Марины Николаевны, с которыми мы знакомы по сокращённому варианту «Дневника учительницы», опубликованному в альманахе «Год XXXII». Это обедняет образ молодого педагога. Между тем педагогические раздумья несомненно были бы полезны и интересны и молодому читателю, которого хорошая в целом, патриотическая книга Ф. Вигдоровой зовёт на трудное и увлекательное дело.

Н. ВЕНГРОВ.

★

История. Международные отношения

«Американское действие» в действии

Ещё до второй мировой войны американский прогрессивный публицист Джон Л. Спивак приобрёл широкую известность в качестве автора ряда произведений, разоблачавших происки фашистской реакции внутри США и подрывную деятельность держав оси. Его перу принадлежат книги: «Америка перед баррикадами» — о забастовочном движении в США, «Негр из Джорджии» — о террористической деятельности Ку-Клукс-Клана, «Тайные армии» — о шпионаже и диверсиях японо-немецкой агентуры в странах американского континента и другие. В рецензируемой книге Спивак раскрывает тайную подоплёку возникновения и деятельности сравнительно малозвестной и в самих США фашистской организации, именуемой «Американское действие».

«Американское действие» создано монополистическим капиталом для борьбы с прогрессивными силами в Соединённых Штатах. Идея создания этой организации

возникла в кругах Уолл-стрита летом 1945 года. «К концу войны, — пишет Дж. Спивак, — финансисты и промышленники стали задумываться о тех проблемах, которые возникнут в США в послевоенный период. Предстояло возобновление борьбы между трудом и капиталом, которая во время войны несколько отодвинулась на задний план».

Процесс консолидации чёрных сил американской реакции возобновился ещё до окончания войны. Американская печать приводила тогда данные, говорящие о том, что фашистское «подполье» в стране начало восстановление своей организационной структуры и связей. Создание «Американского действия» явилось одним из первых мероприятий реакции в этом направлении.

Лицами, практически осуществившими веление Уолл-стрита по организации «Американского действия», явились известный фашист Мервин Харт — председатель так называемого Национального экономического совета (реакционная организация, специализирующаяся на борьбе с рабочим движением) и Эптон Клоуз — один из самых

Джон Л. Спивак. «Спасители» Америки». Перевод с английского. Под редакцией И. Овядиса. Издательство иностранной литературы, М. 1949.

архиреакционных комментаторов американского радио. Но ввиду того, что финансистов, стоявших за спиной учредителей организации, пишет Сливак, беспокоила дурная слава таких людей, как Харт и Клоуз, было решено, что запятанные откровенной профашистской деятельностью люди выйдут из состава руководства, как только удастся подыскать «подходящего лидера». Таковой был найден вскоре в лице Эдварда Хэйса — по профессии адвоката, компаньона фирмы «Хэйс, Даунинг энд Розенберг» в Чикаго. Хэйс был членом инициативной группы по созданию «Американского легиона» в 1919 году и с тех пор принимал самое активное участие в его деятельности: одно время он занимал пост национального командора легиона. Более подходящую фигуру вряд ли можно было найти.

Кто же были действительными создателями «Американского действия»? В США эти лица достаточно известны. Это — деятели большого бизнеса и отъявленные реакционеры и мракобесы. Среди них укажем прежде всего на Дюпонов, Маккормика, Кристенберри и других представителей так называемого делового мира, внёсших необходимые денежные средства. К «идеологам» «Американского действия» надо отнести Роберта Вуда, Макдермотта, Мура, зарекомендовавших себя перед Уолл-стритом своей деятельностью в таких фашистских организациях, как «Америка прежде всего» и «Комитет борьбы за конституционное правительство».

Магнаты Уолл-стрита позаботились о том, чтобы «Американское действие» не испытывало недостатка в денежных средствах. К услугам этой организации предоставлены финансовые ресурсы республиканской партии, а частично и демократической. В первый год своего существования «Американское действие» собрало сто тысяч долларов, но израсходовало значительно больше. О том, кто покрыл образовавшийся дефицит, в отчётах организации не сказано ни слова. Это обстоятельство играет большую роль, так как «если фамилии лиц, покрывающих дефицит, остаются неизвестными, — указывает автор, — то никто не мешает той или иной политической организации, собрав сто тысяч долларов, за которые она отчитывается, истратить в действительности миллион долларов». Полити-

ческой организации, подобной «Американскому действию», именно это и нужно, чтобы скрыть от гласности свои тёмные дела.

Вместе с тем учредители «Американского действия» позаботились о том, чтобы рядовая членская масса ни в коей мере не могла влиять на характер его деятельности. Устав делит членов организации на пять разрядов (четыре из них различаются между собой лишь по размеру ежегодных членских взносов), но только члены первого разряда, так называемые члены-основатели, имеют решающий голос.

Чтобы какой-нибудь простак, уплативший в качестве «действительного члена» взнос в пять долларов, не вообразил, что он может влиять на дела «Американского действия», в его уставе специально подчёркивается: «Никто из членов остальных четырёх разрядов не имеет права голоса при решении вопросов какого бы то ни было характера, касающихся организации, её работы и всех её дел».

«Песни заказывает тот, кто платит музыкантам. Это относится в равной мере и к деревенской танцулке и к организации «Американское действие», — пишет автор. Список лиц, создавших эту организацию, выступающую в качестве частного предприятия, красноречиво свидетельствует о её истинных целях, каким бы патриотическим флагом они ни маскировались.

Первоначально «Американское действие» было создано для борьбы с прогрессивными профсоюзами. Через несколько месяцев после своего возникновения эта организация меняет свою «стратегическую» линию. Её хозяева направляют основные усилия на проведение в конгресс желательных им кандидатов. Видимо, деятельность «Американского действия» на новом поприще была успешной, так как третьего апреля 1947 года один из руководителей организации, Дж. Макдональд, писал: «Совершенно очевидно, что на прошлогодних выборах «Американское действие» сослужило полезную службу, действуя без особого шума, но эффективно».

Деятельность фашистской организации «Американское действие» является ярким примером социальной демагогии. «Вопли о «спасении» родины — это старый испытанный приём, — пишет автор. — В последние годы эта пропаганда сосредоточивается на

«спасении родины от красной опасности»... К этому же приёму прибегали Гитлер и Муссолини. Они тоже зывали к патриотизму бывших фронтовиков и, заручившись их поддержкой, установили у себя фашистский режим и привели свои страны и народы к катастрофе.

Одной из важнейших задач «Американского действия» становится борьба за ветеранов второй мировой войны, за их идеологическую обработку. Именно по этим соображениям на роль лидера этой политической организации Уолл-стрит и выдвинул матёрого фашиста Эдварда Хэйса.

«Американское действие» стремится к строжайшей конспирации. Деятельность этой организации «с самого начала окружена такой таинственностью, какая была бы характерна для подпольной организации врагов государства». Его главари орудуют, как говорит автор, «тихой сапой, через тщательно подобранных людей». Об этом свидетельствует и гриф «секретно», сопровождающий всю переписку организации.

Американская печать почти не приводит материалов о её деятельности. Тем большего признания заслуживает книга Дж. Спивака.

«Американское действие», — заключает автор, — опасная организация. Народу, и особенно участникам войны, следует разъяснить, что она собой представляет, кто ею руководит и кто финансирует её деятельность. Только зная всё это, народ не попадёт на «патриотическую» удочку, которую закидывают эти люди, стремящиеся разгромить профсоюзы — а может быть и осуществить ещё более опасные замыслы.

Книга «Спасители» Америки» служит делу разоблачения закулисных махинаций правящих кругов США.

Некоторые из недостатков книги отмечены В. Бережковым, автором вступительной статьи. К ним надо отнести и то, что Дж. Спивак, опубликовавший свою книгу в 1949 году, ограничился данными, относящимися к периоду не позже 1947 года.

В. МИНАЕВ.

★

Вождь крестьянства — Иван Болотников

В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом товарищ Сталин отметил, что «Мы, большевики, всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и др. Мы видели в выступлениях этих людей отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнета. Для нас всегда представляло интерес изучение истории первых попыток подобных восстаний крестьянства»¹.

Удостоенное в нынешнем году Сталинской премии капитальное исследование И. Смирнова о восстании Болотникова восполняет большой пробел в советской исторической литературе.

Посвятив своё исследование интереснейшему и весьма значительному эпизоду

¹ И. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Госполитиздат, 1933, стр. 8.

И. И. Смирнов. «Восстание Болотникова. 1603—1607». Редактор А. В. Амстердам. Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, Л. 1949.

истории трудящихся масс России, автор руководствуется при этом сталинским положением о том, что «...историческая наука, если она хочет быть действительной наукой, не может больше сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев, к действиям завоевателей» и «покорителей» государств, а должна, прежде всего, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов»¹.

Усиление феодально-крепостнической эксплуатации к началу XVII века создало для крестьянства России невыносимые условия. Голод 1601—1603 гг. принял потрясающие размеры и ускорил развивавшиеся в государстве социальные процессы. Вмешательство польских панов во внутренние дела Русского государства в 1604—1606 гг. ещё больше осложнило положение. После одиннадцатимесячного царствования ставленника польских панов Лжедмитрия I в мае 1606 года к власти пришёл боярский царь Василий Шуйский. Вслед за его воцарением и началось восстание против фео-

¹ «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 116.

дально-крепостнической эксплоатации, возглавленное Иваном Болотниковым.

Автор изучил большое количество источников (летописи, акты, материалы, свидетельские показания современников) и подверг их глубокой критике и проверке. Руководствуясь марксистским учением о социальной природе крестьянских войн, И. Смирнов по-новому раскрыл восстание Болотникова, смысл и значение этого события.

Автор анализирует и подвергает критике произведения классово-ограниченных историков прошлого — Щербатова, Карамзина, Ключевского, Платонова и других, трактовку ими событий крестьянской войны с буржуазно-дворянских позиций. И. Смирнов резко критикует взгляды М. Покровского, подчёркивая, что его антимарксистская, антиленинская концепция восстания Болотникова была шагом назад даже по сравнению с дворянскими и буржуазными историками.

И. Смирнов стремится представить во всей полноте, что такое крестьянское восстание против феодального гнёта: его масштабы, формы борьбы, программу, идеологию и т. д. Достаточно полно показаны размеры и состав войска восставших, их тактика, территория, охваченная восстанием.

Автор ведёт своё исследование в широком плане. В книге говорится о предпосылках и предвестниках восстания, а затем подробно излагаются четыре основных этапа восстания: поход Болотникова на Москву (июнь—сентябрь 1606 года), осада Москвы (начало октября — 2 декабря 1606 года), оборона Калуги (декабрь 1606 года — май 1607 года) и оборона Тулы (май—октябрь 1607 года). Последняя глава книги раскрывает историческое значение восстания.

И. Смирнов хорошо показал роль холопов в крестьянской войне (что вовсе не противоречит характеристике восстания Болотникова, как восстания крестьянского), роль городских низов. Перед читателем проходит классовая борьба в Перми, Вятке, Пскове и Астрахани (этому городу посвящена особая глава). Автор справедливо замечает, что «восстание Болотникова является наиболее крупной как по масштабу, так и по значению крестьянской войной в России». Пугачёвское и разинское восстания не могут, по мнению автора, сравнить-

ся с восстанием Болотникова ни по размерам территории, охваченной восстанием, ни по числу его участников, ни по силе удара.

Тщательно выполнена характеристика самого Болотникова. Биография его чрезвычайно интересна. Иван Исаевич Болотников — холоп князя Телятевского — бежал от своего господина в степь к казакам, был захвачен татарами и продан в рабство в Турцию. Несколько лет он провёл в плену, перенеся невыносимые муки, работая на галерах. После одного морского сражения Болотников попал в Венецию. Там он узнал о событиях, происходивших в России, и отправился на родину через Польшу. Болотников обладал огромной энергией и мужеством, сильной волей и организаторским талантом. Вождь восставших народных масс, он был предан делу трудового люда.

Анализ положения в основных районах Русского государства хорошо показывает, в чём состоял источник силы Болотникова. «Этим источником, — пишет И. Смирнов, — был подъём борьбы угнетённых масс против феодального гнёта, борьбы, охватившей большую часть территории страны. Именно в дальнейшем развитии восстания как территориально, так и в смысле охвата более широких масс населения крылся источник успехов Болотникова в период осады Калуги воеводами В. Шуйского. Борьба и михайловских и рязанских мужиков, и русских крестьян, и бортников вместе с нерусскими народностями Поволжья, и донских и волжских казаков, и псковских и астраханских городских низов — всё это входило составными частями в общую равнодействующую, которой определялась мощь сил лагеря Болотникова».

Из недостатков книги отметим следующие. Противопоставление восстания Болотникова восстаниям Разина и Пугачёва сделано в общей форме, без приведения фактических данных о территории, о количестве участников, о их классовом и национальном составе.

Скучно дан анализ программы восстания Болотникова. Не раскрыт полностью характер действий временного «попутчика» Болотникова — Истомы Пашкова, «вождя служилой мелкоты», соотношение его сил с силами Болотникова. Противопоставляя историю крестьянских восстаний в России

истории средневековых крестьянских движений в Западной Европе, И. Смирнов пишет, что в России «религиозный момент в крестьянских восстаниях играл весьма значительную роль». Автор забывает при этом о большой роли религиозного момента в восстаниях Разина и Пугачёва, о самозванческом движении XVIII века, об удельном весе старообрядцев в этих движениях.

Но это никоим образом не умаляет большой ценности первого капитального исследования по истории крестьянской войны в России. И. Смирнову удалось создать ценный труд, рисующий восстание Болотникова, которое открыло цепь народных восстаний в России в XVII—XX веках.

Доктор исторических наук
К. СИВКОВ.

★

Признания шпиона-двойника

Весной 1946 года в Нюрнберге, на заседаниях Международного военного трибунала, в качестве свидетеля английского обвинения выступил некий доктор Гизевиус, бывший при Гитлере сотрудником германской разведки.

Демократически настроенные журналисты и сотрудники трибунала были тогда в недоумении — почему этот разведчик-гестаповец пользуется абсолютной свободой и так независимо ведёт себя на процессе? Это недоумение разъясняет книга, выпущенная Гизевиусом под названием «До горького конца». Оказывается, Гизевиус всю войну, будучи немецким шпионом, одновременно работал и на англо-американскую разведку, выполняя задания не только Гиммлера, но и Черчилля и Даллеса. Расхваставшись на страницах своей книги, Гизевиус выбалтывает некоторые сведения о закулисной, провокаторской деятельности своих патронов.

Своё двухтомное сочинение шпион начинает с событий, связанных с поджогом рейхстага, и кончает описанием неудавшегося покушения на Гитлера в июле 1944 года.

Уже в описании мюнхенского периода Гизевиус ещё раз подтверждает, какую гнусную роль играли английские реакционеры в развязывании второй мировой войны. Из его книги видно, что английское правительство через свою разведку отлично знало во всех деталях о разбойничьих планах гитлеровцев. Он пишет: «Западные державы не обращали внимания на донесения разведки... В то время мы посылали

английскому правительству сведения о действительных намерениях Гитлера».

Оказывается, германская военщина также хорошо знала о настроении правителей Англии. Гизевиус подробно рассказывает о своей беседе (ещё перед мюнхенским разговором) с генералом Гальдером — будущим начальником немецкого генерального штаба. В этой доверительной беседе Гальдер сказал ему, что Гитлер получил от западных держав свободу действий на Востоке. Гальдер сослался на секретный договор с Англией и Францией, по которому Германия обязалась «защищать Европу от большевизма». Однако этот разговор Гитлер считал не особенно надёжным. Заверения Чемберлена тогда котировались в Берлине не очень-то высоко, и непосредственно перед Мюнхеном Гитлер и его окружение находились в некоторой растерянности. В то время бандиты ещё опасались бросить вызов всему миру. «Тогда, а не годом позже, — пишет Гизевиус, — решался вопрос о второй мировой войне».

Через специального эмиссара, посланного в Лондон, Гизевиус подробно информировал английское правительство о неуверенности, царящей в гитлеровской клике. Тем не менее мюнхенский разговор состоялся, и Гитлер воспрянул духом. «Если говорить конкретно, — заключает Гизевиус, — то нужно сказать, что Чемберлен спас Гитлера».

Так западные реакционеры начали грандиозную в своей подлости двойную провокацию. С одной стороны, они заигрывали с Гитлером, поддерживали агрессию против СССР, а с другой — через разведку и, в частности, через Гизевиуса, начали организовывать внутри Германии так называемую «оппозицию», состоящую также из

Н. В. Gisevius. „Bis zum bittern Ende“. Hamburg, 1948. (Г. Б. Гизевиус. «До горького конца». Гамбург, 1948).

махрово-реакционных элементов. Гитлеровская банда никогда не была единым и монолитным целым. Её постоянно раздирали внутренние противоречия. Программа была одна — империалистическая агрессия, но по поводу деталей её осуществления атаманы шайки нередко расходились во мнениях. К тому же их взаимная зависть нередко переходила во вражду. Эти раздоры и внутренние противоречия фашистского лагеря и пытались использовать в своих целях западные реакционеры.

Вскоре после мюнхенскогоговора Гизевниус организовал (не без ведома иностранных разведок) совещание, на котором присутствовал Герделер — обербургомистр Лейпцига. Герделера сопровождал специальный связной, имевший непосредственное отношение к лондонским и парижским политическим кругам. На совещании обсуждалось создавшееся положение. Было отмечено, что агрессия на Востоке не ограничится только Прагой и Варшавой, что поход на СССР — главная цель Гитлера. Отчёт об этом совещании Гизевниус направил в Париж и Лондон. Там это сообщение прочли с удовлетворением: события пока что развивались в соответствии с планами антисоветских провокаторов. Как сообщает Гизевниус, Даладьё спрятал полученный отчёт в личном сейфе. Через год, когда пал Париж, гестаповцы захватили архивы Даладьё. Другому английскому шпиону, также работавшему в немецкой разведке, Гансу Остеру, удалось выкрасть и уничтожить документ, компрометировавший Гизевниуса.

Заклучив с Германией договор о ненападении и на время избавив СССР от угрозы войны, советская дипломатия спутала карты международных заговорщиков, натравливавших Гитлера на Россию. Парижские и лондонские политики встревожились. Немедленно оживилась в связи с этим и деятельность английской разведки.

Матёрый шпион Гизевниус, конечно, был отлично информирован о всех закулисных махинациях провокаторов. Но в его мемуарах нет ни слова о периоде нападения фашистской Германии на Советский Союз. Это молчание столь же наивно, сколь многозначительно: весь мир знает о полёте Гесса в Англию с предложением заключить мир на западе, с тем чтобы начать вторжение в Советскую Россию. Ведь

тогда уже ходили упорные слухи о провокационном предложении Черчилля заключить мир с Германией только после нападения Гитлера на Россию. Английский агент Гизевниус обо всём этом «забыл». Оно и понятно — события того времени хранятся английской разведкой в глубокой тайне.

Примерно в тот же период Гизевниус, под видом немецкого разведчика, уехал в Швейцарию. Он спешил на свидание к своему новому хозяину — Даллесу, который обосновался в Швейцарии и оттуда руководил деятельностью американской разведки в Европе. По заданию Даллеса Гизевниус продолжает сколачивать «оппозицию» против Гитлера. «Оппозиция» эта отнюдь не носила антифашистского характера. В неё было вовлечено немало германских реакционеров. Связанными с иностранной разведкой оказались адмирал Канарис — руководитель немецкой разведки и его заместитель генерал Лахузен. В 1942 году другой немецко-англо-американский агент Остер завербовал в «оппозицию» генерала Ольбрихта. По словам Гизевниуса, были здесь также фельдмаршалы Роммель, Клюге, генералы Витцлебен, Гепнер и другие.

Зачем же Даллесу и стоявшим за ним лидерам международной реакции понадобилось организовывать эту генеральскую «оппозицию»? Ларчик открывался просто. К тому времени некоторые немецкие генералы, сумевшие трезво оценить мощь Советской Армии, стали опасаться за исход войны на Востоке и тайно высказывать сомнения в стратегических способностях «фюрера». По словам Гизевниуса, Бек, уже через шесть недель после начала кампании, в частной беседе заявил, что война с Россией будет проиграна. В дальнейшем ходе войны такие настроения стали проявляться всё чаще. Англо-американская разведка решила использовать настроения генералов и вовлекла их через своих агентов в «оппозицию», которая при необходимости заменила бы Гитлера, но спасла бы фашистский строй. Однако время это ещё не пришло, и Черчилль и Даллес пока активно действовать «оппозиции» не давали. Гизевниус рассказывает о подготовке покушения на Гитлера весной 1943 года. Была изготовлена бомба, она десятки раз испытывалась, и механизм её работал безот-

казно, но в самолёте, на котором летел Гитлер, она не взорвалась. Гизевиус глухо говорит о том, что произошло это по каким-то «техническим причинам».

Эти «технические причины» были предусмотрены режиссёрами «оппозиции». Бомбе взрываться было ещё рано — Гитлер продолжал вести войну с Советским Союзом. Гизевиус цитирует выдержку из дневника некоего Эмиля Хенга, который пишет, что военный переворот намечалось провести лишь через несколько недель после открытия второго фронта. Но пока Черчилль оттягивал открытие второго фронта, Даллес не торопился форсировать действия «оппозиции»: они считали, что каждый лишний день борьбы один на один против фашистской Германии истощает силы ненавистной им Советской Армии.

У гитлеровских генералов появлялись всё большие и большие сомнения в исходе войны на Востоке. Назревал полный военный разгром гитлеровских войск, и это породило новую тактику международной реакции. В ноябре 1943 года в квартире Бека состоялась его встреча с Ольбрихтом, Герделером и другими. Там уже конкретно обсуждался вопрос о создавшемся военном положении. Все пришли к единому мнению, что успеха — то есть сохранения фашистской Германии — можно добиться только при двух условиях: если Советская Армия не будет допущена в Европу и если на Западе будет заключён сепаратный мир. В этом как раз и были заинтересованы лидеры реакции в США и Англии, уже давно ставшие на путь предательства и антисоветских интриг.

В марте 1944 года генерал-полковник Бек решил вступить в переговоры с западными державами. Он хотел знать — согласны ли они действовать заодно с «оппозицией»? Миссию связного принял на себя тот же Гизевиус. «Я сообщил Даллесу, — пишет он, — что мы решили идти по пути покушения на Гитлера, и сказал ему, какие генералы и другие люди готовы к действиям. Мы не знали ещё, когда откроется второй фронт, но мы потребовали, чтобы Германия была оккупирована победителями» (то есть англо-американскими войсками).

Так за спиной Советской Армии, которая вела гигантскую борьбу против фашизма,

наметился преступный сговор реакционных сил.

К 1944 году обстановка на Восточном фронте вызвала острое беспокойство и у Черчилля и у фашистских генералов. Блестящие успехи советских войск, мощь которых всё возрастала, приближали полный разгром фашистской Германии.

В июне был спешно открыт второй фронт. Англо-американская разведка теперь уже сама всячески торопила организацию покушения на Гитлера, чтобы успеть до вступления русских войск в Германию заключить сепаратный мир с новыми правителями. Гизевиус развил бурную деятельность. В начале июля он нелегально приехал в Берлин из Швейцарии. Несколько покушений на Гитлера не удаются. Гизевиус предлагает новый план, который он привёз от Даллеса. По этому плану Кюлоге и Роммель должны были выступить против Гитлера и заключить сепаратный мир с Эйзенхауэром. «Практически это означало, — пишет Гизевиус, — что англо-американские войска смогут без боя перейти линию Зигфрида и, по крайней мере, окажутся раньше русских в Берлине».

Но среди генералов, участников заговора, до самого конца не прекращались разногласия. А ждать было нельзя, и вот через день решили ещё раз попытаться совершить покушение.

Дальнейшие события известны: 20 июля 1944 года полковник Штауфенберг во время конференции в ставке Гитлера положил портфель с бомбой под стол, за которым Гитлер рассматривал стратегическую карту. За несколько минут до взрыва Штауфенберг покинул помещение. Он слышал взрыв, видел, как обвалилась стена виллы, где происходила конференция. Тотчас же вылетев в Берлин, он сообщил, что Гитлер убит. И хотя до вечера не было известно, что Гитлер случайно уцелел, генералы вели себя нерешительно, и военный переворот не состоялся. Почувствовав, что дело провалилось, Гизевиус под каким-то предлогом бежал. Вскоре участники заговора были арестованы. Они сдались без всякого сопротивления. Бек застрелился. Пять человек были расстреляны на месте. Позже были казнены или покончили самоубийством и остальные.

С помощью американской разведки Гизевиусу удалось бежать из Берлина в Швейцарию. В конце своих мемуаров он напишет в благодарности Даллесу за своё спасение.

Помимо желания Гизевиуса, его мемуары ещё и ещё раз показывают вероломство реакционных политиков западных держав во время второй мировой войны.

Ю. КОРОЛЬКОВ.

★

Древние повести о воинской славе

Среди литературно-исторических памятников далёкого прошлого нашей родины особое место занимают воинские повести. Темой их являются действительные события из многовековой героической борьбы русского народа с полчищами иноземных врагов. В великих испытаниях крепла мужественная сила русских людей, из поколения в поколение отстаивавших родную землю от порабощения и угнетения. Такие события, как борьба с половцами, битва на Калке, нашествие Батыя, подвиги Александра Невского в борьбе с ливонскими рыцарями, Куликовская битва, борьба с польско-литовскими захватчиками, взятие донскими казаками Азова и оборона его от турок, а также многие другие — оставляли глубокий след в народной памяти и воодушевляли древнего писателя. Наиболее ярким художественным произведением этого жанра, проникнутым горячим патриотическим чувством, является знаменитое «Слово о полку Игореве».

В рецензируемом сборнике помещены тексты воинских повестей: «Повести о разорении Рязани Батыем», «Слово о Куликовской битве Софония рязанца (Задощина)» и «Повести об азовском взятии и осадном сидении в 1637 и 1642 гг.». Тексты изданы с вариантами по различным спискам.

Повесть о разорении Рязани дошла до нас в составе исторического сборника, составленного в небольшом рязанском городке Заразске (Зарайске). Основным её содержанием является эпическое предание о гибели рязанских князей, мужественно отказавшихся покориться Батыю. Евпраксия, жена рязанского князя Фёдора Юрьевича, узнав о гибели мужа, выбросилась с малолетним сыном «с превысокого терема своего».

Самой интересной частью этого преда-

ния является рассказ о подвиге Евпатия Коловрата, который во время разорения монголо-татарами Рязани находился в Черниговской земле. Рассказ, несомненно, носит все черты народного происхождения. Узнав о нападении Батыя, Евпатий Коловрат поспешил возвратиться на родину и увидел страшную картину полного опустошения рязанской земли, гибели почти всего населения. Тогда «ненстойный» Евпатий собрал небольшую дружину из оставшихся в живых рязанцев и, нагнав полчища Батыя в Суздальской земле, стал нещадно избивать врагов. Неожиданное нападение рязанцев, которых монголо-татары считали уничтоженными, смутило воинов Батыя: им казалось, что восстали мёртвые. Лишь с большим трудом татары одолели горсть русских храбрецов. «Мы со многими цари во многих землях на многих бранех бывали, — говорили татары, — а таких удальцов и рязанцев не видали, ни отцы наши возвестили нам». Правильно отмечает автор предисловия к тексту этой повести Д. Лихачёв: «Надо было обладать чрезвычайной стойкостью патриотического чувства, чтобы, несмотря на страшную катастрофу, ужас и иссушающий душу гнёт злой татарщины, — так сильно верить в своих соотечественников, гордиться ими и любить их».

Автором повести о Куликовской битве является рязанец Софоний, написавший своё произведение в начале XV века, когда ещё жили участники и очевидцы знаменитой победы Дмитрия Донского над основными силами Золотой орды. Это произведение особенно интересно не столько фактическим материалом, сколько высоким моральным подъёмом, характеризующим отношение русских людей к великому подвигу народно-освободительной борьбы. Замечательно и то, что автором повести был рязанец, то есть житель той земли, которая вследствие предательства рязанского князя Олега Ивановича не при-

«Воинские повести древней Руси». Под редакцией В. П. Адриановой-Перетц. Издательство Академии наук СССР, М. 1949.

няла участия в общерусском выступлении под московским стягом против полчищ Мамая. Это показывает, что враждебная Москве политика рязанского князя Олега, имя которого в повести не упоминается, не встречала сочувствия у населения. Софонию хорошо было известно «Слово о полку Игореве», из которого он заимствовал отдельные образы, эпитеты и целые выражения.

Сопровождающая текст популярно написанная статья В. Адриановой-Перетц служит общим историческим и литературным комментарием к «Задонщине». К сожалению, автор статьи не избежал некоторых неточностей. Так, нельзя согласиться с его категорическим утверждением, будто новгородцы не принимали никакого участия в Куликовской битве. Сохранился синодик новгородской Борисоглебской церкви, в котором среди «убиенных» новгородцев упоминаются погибшие на Дону. Станным кажется точное исчисление русского и татарского войска (русских 150 тысяч, татар 300 тысяч); известно, что летописи сообщают самые различные цифры, но ни одна из них не может считаться достоверной.

«Повести об азовском взятии и осадном сидении в 1637 и 1642 гг.» рассказывают о замечательном эпизоде из истории борьбы донских казаков с крымскими татарами и турками. В 1637 году донские казаки овладели сильнейшей турецкой крепостью Азовом. В 1641 году казаки, сидящие в Азове, выдержали четырёхмесячную осаду крепости турецко-татарским войском, достигавшим даже по осторожным подсчётам не менее 50—70 тысяч человек, что, примерно, в пятнадцать раз превышало число защитников города. Несмотря на усиленный обстрел крепости из орудий и яростные приступы, турки, понеся огромные потери, принуждены были снять осаду. Однако и потери казаков были очень велики. Было ясно, что, несмотря на выдающийся успех, одно Донское войско не было в состоянии вести войну с Крымом и Турцией. Между тем многократные обращения казачества за помощью в Москву не принесли желанного результата: война с Турцией не входила в ближайшие планы московского правительства, считавшего первоочередной задачей возвращение русских земель, отторгнутых

панской Польшей. В 1643 году казакам пришлось оставить Азов.

Две повести, посвящённые борьбе за Азов («историческая» и «поэтическая»), были написаны в разгаре событий и отличаются значительной точностью. По весьма вероятному предположению, автором второй из них — «поэтической» — был казак Фёдор Иванов Порошин, в прошлом беглый холоп. Повесть была, повидимому, написана в Москве, во время переговоров с Московским правительством о предложении казаков принять Азов под власть государя. Обладая несомненными литературными дарованиями, Фёдор Порошин сумел придать своему произведению характер страстного призыва к общерусской защите крепости, отобранной у турок. Фёдор Порошин стремится к точному изложению событий, описание которых обнаруживает большую близость к отпискам-донесениям, выходившим из войсковой канцелярии. Но изложение истории борьбы за Азов не превращается в сухое повествование; различные средства художественной образности приходят на помощь автору, чтобы придать всему произведению эмоциональный характер. В нём одновременно слышится голос горячего патриота великой казачьей реки — «тихого Дона Ивановича» и всей русской земли.

Другой характер носит третья — «сказочная» повесть об Азове, написанная, повидимому, в семидесятых—восемидесятых годах XVII века. Для автора этой повести фактический материал послужил канвой для развития сказочных сюжетов путём широкого использования фольклора.

Хорошо изданный сборник «Воинские повести древней Руси», снабжённый интересно подобранными иллюстрациями, историческими очерками Д. Лихачёва, В. Адриановой-Перетц и А. Робинсона, географическими и историческими комментариями, объяснительным словарём, библиографией, именным и географическим указателями, несомненно привлечёт к себе интерес не только со стороны специалистов, но и широких кругов читателей, получивших ныне возможность ознакомиться с замечательными памятниками древнерусской литературы по подлинным текстам.

Профессор

К. БАЗИЛЕВИЧ.

Правда о трагедии американского фермера

Время от времени журнал «Америка» отводит свои страницы для побасенок о жизни американских фермеров. На роскошных фотографиях мы видим райское благополучие, в котором купается фермер Икс Игрек. Вот он с женой на собственном «бюнке» отправляется в церковь... Вот он перед пахотой осматривает свой новый трактор... Вот он сдаёт на хранение в банк нужную пачку долларов — выручку от продажи урожая... Можно сказать, что среди лжи, систематически печатаемой этим журналом, ложь о райской жизни фермеров — одна из самых оголтелых и чудовищных по своему цинизму.

Из некоторых произведений американской литературы мир уже давно узнал частицу трагической правды о жизни фермеров в США. Шила в мешке не утаишь, — и даже на страницах американских газет нет-нет, да и появляются скудные сведения о нищете и разорении фермеров. Не так давно сам американский президент среди пышных оптимистических предсказаний вынужден был обронить несколько слов о тяжёлой фермерской проблеме.

В конце февраля на съезде прогрессивной партии США выступил фермер из штата Айова Стовер. Он протестовал против правительственной политики, ведущей американских фермеров к разорению, и отметил, что, несмотря на все обещания правительства обеспечить процветание, «мы стоим перед угрозой голода».

Сановным и рядовым лжецам американской пропаганды не скрыть от мира истины, заключающейся в том, что в США происходит процесс массового разорения фермеров. Было бы удивительно, если бы этого не было. В. И. Ленин в работе «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии», используя данные переписей в США, показал всю несостоятельность буржуазной «теории» об «устойчивости» и «живучести» мелкого хозяйства в земледелии при капитализме. «Основная и главная тенденция капитализма, — писал В. И. Ленин, — состоит в вытеснении мелкого производ-

ства крупным, и в промышленности и в земледелии»¹.

Ленинский вывод о вытеснении мелкого производства в земледелии крупным, об усилении и обострении классовых противоречий получает в наши дни своё полное подтверждение всем ходом событий в Америке. В этом смысле значительный интерес представляет книга американской коммунистки Анны Рочестер «Почему бедны фермеры», посвящённая положению сельского хозяйства США в период между двумя мировыми войнами. Используя большой фактический материал, автор показывает усилившийся процесс дифференциации фермеров: мелкие и средние фермеры разоряются, их земли переходят в руки монополий и фермеров-капиталистов.

Перепись, проведённая в 1945 году в сельском хозяйстве США, показывает, что за минувшее десятилетие число ферм уменьшилось на 13 процентов (почти на один миллион). По сравнению с 1940 годом число крупных ферм увеличилось, а число мелких ферм сократилось. Крупные фермы (от 175 акров и выше), составляя по переписи 1945 года одну пятую всех ферм, концентрируют у себя три четверти всей фермерской земли. По данным той же переписи, крупные фермы производили свыше 94 процентов всей сельскохозяйственной продукции США.

Сельскохозяйственные машины находятся в руках крупных фермеров. Тесно связанные с монополистическими группами, контролирующими рынки и пищевую промышленность, крупные земельные собственники стремятся вытеснить мелких фермеров, согнать их с земли.

Громадные территории с богатой почвой становятся совершенно бесплодными в результате хищнического хозяйничанья капиталистов. Подсчитано, что около 70 процентов всей возделываемой в США земли подвержено эрозии. «Пустыня, созданная человеком», — так называют эти земли в США.

В. И. Ленин показал огромную роль финансового капитала в обезземеливании и разорении американского фермерства. «Кто держит в руках банки, тот непосредственно держит в руках треть всех ферм

Анна Рочестер. «Почему бедны фермеры». Перевод с английского. Редактор Г. Зырянов. Издательство иностранной литературы, М. 1949.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 22, стр. 58.

Америки, а посредственно господствует над всей массой их»¹.

В рецензируемой книге показано, как финансовый капитал закабляет американских фермеров, захватывает их землю. По данным 1935 года видно, что от 54 до 80 процентов всех фермеров вынуждены были заложить свои земли в банках. Это свидетельствует о том, что подавляющая масса фермеров фактически лишилась собственности на землю. Послевоенные данные свидетельствуют, что фермерский долг банкам растёт и к настоящему времени превышает 10 миллиардов долларов. Трудящийся земледелец находится в кабальной зависимости от богатеев. Американские буржуазные экономисты сами пишут о долговой кабале, опутывающей фермера, который не только платит громадные ростовщические проценты (до 30—40), но и вынужден продавать свой урожай в сроки, указанные кредитором, и по установленной им цене.

Многочисленны случаи принудительной продажи ферм за неуплату налогов и долгов, особенно за последнее время.

Трудящиеся фермеры США находятся в тисках между капиталистическими монополиями, скупающими продукцию фермеров по весьма низкой цене, и монополиями, продающими фермерам сельскохозяйственные орудия, удобрения и предметы первой необходимости по весьма высокой цене.

Во время и после второй мировой войны владельцы крупных ферм и монополий по переработке и продаже сельскохозяйственных продуктов наживались и на голоде в Западной Европе, и на росте цен на внутреннем рынке США.

Сейчас в связи с аграрным кризисом и «перепроизводством» сельскохозяйственных продуктов правящие круги США в интересах сохранения высоких прибылей монополий проводят политику сокращения сельскохозяйственного производства. Министерство земледелия США предложило сельскохозяйственным штатам сократить в 1950 году посевную площадь под пшеницей и хлопком. В США происходит массовое уничтожение продуктов, в то время как миллионы людей находятся на грани голодной смерти. Доходы фермеров США в 1949 году сократились по сравнению с 1948 годом на 17 процентов, а в 1950 году ожи-

дается падение этих доходов на 28 процентов.

Фермеры задавлены налогами, которые всё более растут в связи с осуществляемой правящими империалистическими кругами США гонимой вооружений.

Работа Анны Рочестер разоблачает легенду о «процестах» мелких и средних фермеров в США. Несмотря на отдельные недостатки и ошибки, отмеченные в предисловии, рецензируемая книга содержит ценный материал и убедительно показывает безвыходность положения мелкого фермера в условиях капитализма. Фермерские проблемы, указывает автор, непосредственно затрагивают почти четвертую часть всего населения США, так как на фермах находится около 32 миллионов мужчин, женщин и детей. Бедность и нищета растут среди фермеров во всех районах страны. Повсюду в сельской местности можно встретить разрушенные постройки, заброшенные поля, истощённый скот и другие признаки упадка и обнищания. Больше всего бедных фермеров на юге, а среди них самыми бедными являются негры.

Разорившиеся, согнанные с земли монополиями американские фермеры вынуждены в поисках пристанища и куска хлеба странствовать из штата в штат и превратились в «кочующих фермеров». Тысячи их, обнищавших, обездоленных, бродят по дорогам США. Нищета, изнурительный труд, беспросветное существование — удел трудящихся земледельцев в Соединённых Штатах Америки.

Автор приводит ряд данных о политическом пробуждении фермеров и их борьбе против монополистического капитала. «На организованных рабочих», — пишет Анна Рочестер, — лежит большая обязанность: быть плечом к плечу в одном ряду с трудящимися фермерами, с тем чтобы показать силу их общих интересов. Лишь неразрывный союз рабочего класса и трудящегося фермерства может освободить мощные производительные силы Соединённых Штатов от мёртвой хватки финансового капитала».

Эти строки звучат особенно убедительно сейчас, когда готовящая новую войну финансовая плутократия США ведёт усиленное наступление на элементарные демократические права и жизнь миллионов трудящихся масс.

В. КРЕМИЧЕВ.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 22, стр. 86.

Геология**Настольная книга советских геологов**

В 1949 году закончено издание монографии академика В. Обручева, посвящённой истории геологического исследования Азиатской части Советского Союза. Гигантский труд (свыше 2000 страниц текста) нашего старейшего геолога, называемого по справедливости отцом научной геологии Сибири, удостоен в нынешнем году Сталинской премии.

Интересна история составления этой монографии. В. Обручев с перерывами работал над ней больше пятидесяти лет. Начало этой работы по существу относится ещё к 90-м годам прошлого столетия, когда В. Обручев занял должность единственного в то время штатного геолога Сибири при Иркутском горном управлении и начал знакомиться с обширной и крайне разбросанной литературой об этой огромной части Азии. Тогда-то у него и возникла мысль составить библиографию работ по геологии Сибири.

В течение нескольких лет он собирал материалы и составлял подробные рефераты по той литературе, которую мог найти в Иркутске. Однако вскоре эта работа прекратилась: В. Обручев был занят геологическими экспедициями, а затем его отвлекла большая педагогическая деятельность в Томске.

Его труд над библиографией возобновился лишь в 1916—1918 годах, когда В. Обручев приступил к работе над историческими очерками о древнейших геологических образованиях Сибири и о её тектонике. Первый из этих очерков опубликован в 1925 году. Второй положен в основу труда «История геологического исследования Сибири», начатого В. Обручевым в 1930 году по предложению Академии наук СССР.

Описание истории геологических исследований Сибири В. Обручев разбил на пять периодов.

Первый период охватывает XVII и XVIII века, эпоху первоначального знакомства русских людей с природой Сибири, особенно работы экспедиций при Петре I и ис-

следования Академии наук во второй половине XVIII столетия.

Второй период посвящён первой половине XIX века, когда изучением природы Сибири были заняты, кроме Академии наук, гидрографические экспедиции, а также многочисленные поисковые партии Горного департамента, возглавляемые выдающимися русскими инженерами.

Третий период в основном является продолжением предшествующего. Большое значение приобрели в это время работы Русского географического общества и его отделений.

Четвёртый период исследования Сибири В. Обручев начинает с 1888 года, когда было предпринято изучение края государственными геологами и проводились систематические исследования вдоль Сибирской железной дороги, исследования золотоносных областей и, наконец, крупные съёмочные и поисковые работы Горного ведомства и Геологического комитета.

Наконец, пятый период — советский. В связи с индустриализацией страны в годы сталинских пятилеток этот период характеризуется небывалым расцветом геологических исследований Азиатской части Союза. Для характеристики бурного развития геологических и поисковых работ можно привести следующие цифры: за 1918—1940 годы, по данным В. Обручева, было опубликовано около шести с половиной тысяч научных работ по геологии Сибири, в то время как за предшествующее столетие — не более четырёх тысяч.

Излагая историю каждого периода, В. Обручев даёт общий обзор исследований с указанием зависимости геологических работ от состояния горного промысла и политико-экономических условий, описанные наиболее крупных экспедиций и исследований, а также краткие биографии наиболее выдающихся исследователей данного периода.

Основное место каждого выпуска занимает краткое описание в хронологическом порядке всех произведённых работ, с лаконичными, но достаточно ясными характеристиками полученных теоретических и практических результатов. Ввиду обширности территории Сибири эти описа-

В. А. Обручев. «История геологического исследования Сибири». Выпуски I—IX. Издательство Академии наук СССР, М., 1921—1949.

ния ведутся отдельно, по естественным географо-геологическим областям.

Описание периодов заканчивается обзором литературы, посвящённой Сибири, а также обзором общих геологических представлений о строении Сибири.

Особенно подробно В. Обручев останавливается на тех работах, которые оказали влияние на развитие геологии как науки. В изложении третьего и четвёртого периодов автор детально рассматривает работы П. Кропоткина и сыльно-переселенцев А. Чекановского и И. Черского, чьи полевые исследования, проведённые в труднейших условиях, положили основу расшифровки сложного геологического строения Северного полушария.

Ценность монографии В. Обручева заключается не только в выявлении основных направлений геологической науки в Сибири; ещё больше её значение практическое. В самом деле, «История» содержит в хронологическом порядке обзор всей литературы, касающейся геологии Азиатской части Советского Союза, начиная с XVII века и кончая современностью.

Работа В. Обручева станет настольной книгой каждого геолога, географа и разведчика недр, работающего на территории Сибири для интересующегося её геологией, горными породами, палеонтологией и полезными ископаемыми.

В некоторых частях монографии можно отметить условность исторической периодизации, принятой автором: так, например,

В. Обручев заканчивает второй период 1850 годом, а не шестидесятыми годами, как было бы правильнее сделать. Новый, третий период в геологических поисковых работах начался в Сибири с падением крепостного права: сам автор отмечает зависимость геологических работ от политических и экономических изменений в жизни страны.

Жаль, что В. Обручев приводит мало данных о влиянии трудов русских и советских исследователей на работы иностранных геологов. Жаль также, что автор не использовал богатейших архивных материалов. Между тем советские архивы содержат много исторических фактов, важных в теоретическом, а возможно, и в практическом отношении. Так, например, Г. Пресняков ещё в 1927 году нашёл в архиве царского кабинета рукописную карту Нерчинского округа конца XVIII века, показывающую исключительно высокий уровень геологических и разведочных работ, проводившихся русскими «горными людьми» того времени.

Работа В. Обручева по своему содержанию скорее не история, а историография геологического исследования Сибири. Это первый опыт, заложивший прочные основы для будущих исторических исследований.

Член-корреспондент Академии наук СССР
Н. ШАТСКИЙ.

★

Астрономия

Новое в учении о Вселенной

Современные телескопы дают возможность «приблизиться» небесным светилам в сотни и даже тысячи раз. С помощью специальных фотографических телескопов мы можем фотографировать их в довольно крупном масштабе. Благодаря этому на снимках Луны мы различаем горы и кратеры, на снимках Марса — белые полярные пятна и другие детали. Это позволяет в одних случаях изучать строение поверхностей планет, в других — наблюдать процессы, происходящие в их атмосферах.

Журналы «Известия Брестской астрофизической обсерватории» и «Доклады Академии наук СССР» за 1948 и 1949 гг.

Но когда мы переходим от наблюдения планет, входящих в состав нашей солнечной системы, к наблюдению звёзд, то положение совершенно меняется. Даже в самых больших телескопах звёзды представляются точками. Это происходит оттого, что и ближайшие звёзды всё же находятся от нас на расстояниях в сотни тысяч и миллионы раз больших, чем планеты. Казалось бы, исследование строения этих звёзд и их атмосфер является невыполнимым делом.

Но на помощь астрономам приходит могучее оружие современной физики — спектральный анализ. С помощью спектропогра-

фов, работающих в комбинации с большими телескопами, астрофизикам удаётся выяснить химический состав звёздных атмосфер, изучить состояние и ионизацию атомов в этих атмосферах, измерить сложнейшие движения газов в них.

Крупнейшим мастером применения спектрального анализа в астрофизике является академик Григорий Абрамович Шайн, удостоенный в нынешнем году Сталинской премии первой степени за открытие в звёздных атмосферах аномального содержания тяжёлого изотопа углерода.

В чём же заключается открытие Г. Шайна?

Ученик и последователь выдающегося русского астрофизика академика А. Белопольского — одного из основателей современной астроспектроскопии, Г. Шайн ещё в двадцатых годах сумел установить вращение ряда звёзд вокруг своей оси.

Если звезда вращается вокруг своей оси, то один край её диска к нам приближается, а другой край от нас удаляется. При этом спектральные линии, идущие от одного края диска, смещаются к фиолетовому концу спектра, а спектральные линии, излучаемые противоположным краем диска, к красному концу. Центр же диска смещения линий, вызываемого вращением, не даёт. Однако мы пока ещё не в состоянии производить снимки спектров отдельных частей диска звезды. Мы получаем смешанный спектр от всего диска в целом. Но если одна и та же линия в излучении, идущем от разных частей диска, смещена в разные стороны и на разную величину, то в смешанном излучении эта спектральная линия будет расширена, она будет, так сказать, «размазана».

Путём тонких расчётов и наблюдений Г. Шайну удалось доказать наличие этого расширения в спектре ряда звёзд, отделив его от расширения, вызываемого целым рядом других причин, и тем самым впервые измерить скорость вращения звёзд. Продолжая огромную наблюдательную работу в Симензской обсерватории, Г. Шайн начал углублённо изучать спектры холодных звёзд. Речь идёт о тех звёздах, температура поверхностных слоёв которых — порядка трёх тысяч градусов. Для сравнения укажем, что температура Солнца достигает шести тысяч градусов, а наиболее горячие звёзды имеют поверхностные тем-

пературы, достигающие ста тысяч градусов. Наблюдения Г. Шайна окончательно установили связь между распределением элементов и некоторых химических соединений в атмосферах холодных звёзд и наблюдаемыми закономерностями в интенсивностях ярких водородных линий в спектрах этих звёзд.

Особое внимание Г. Шайн обратил на изучение одного класса холодных звёзд, известного под названием углеродных звёзд. В их спектрах больше всего выделяются спектральные полосы, принадлежащие молекулярному (двухатомному) углероду. Изучение этих полос в сопоставлении с данными атомной физики обещало много интересного.

Работы Симензской обсерватории были прерваны войной. Вторгшиеся в Крым фашистские варвары разрушили обсерваторию и увезли в Германию рефлектор, на котором работал академик Г. Шайн. Но и в суровые годы Великой Отечественной войны научные исследования в СССР не прекращались. В Абастуманской обсерватории Академии наук Грузинской ССР Г. Шайн вместе со своими сотрудниками продолжал обработку полученных в Симензе фотографий звёздных спектров.

Наконец, сложный процесс отождествления полос в спектрах углеродных звёзд привёл к интересному результату. Оказалось, что в этих спектрах есть не только полосы, принадлежащие молекулам, состоящим из двух обычных атомов углерода, с атомным весом 12. Выяснилось, что есть и полосы, которые соответствуют молекуле, состоящей из одного «обычного» атома углерода и одного атома «тяжёлого» углерода, то есть изотопа углерода, имеющего атомный вес 13. Таким образом Г. Шайну удалось впервые обнаружить в звёздных спектрах полосы молекулы $C_{12}C_{13}$.

Открытие тяжёлого изотопа углерода в звёздах повлекло за собой возникновение ряда новых проблем. Известно, что на Земле тяжёлые изотопы составляют лишь около одного процента всех атомов углерода. Основная же масса атомов углерода — это лёгкие изотопы. Сохраняется ли и на звёздах такое соотношение между количеством лёгкого и тяжёлого изотопа? Ответ на этот вопрос должен был послужить богатейшим материалом для разрешения

проблемы атомных превращений, происходящих внутри звёзд.

Вернувшись после войны в Симеиз и возглавив огромную работу по восстановлению и значительному расширению Симеизской обсерватории, академик Г. Шайн сумел решить и эту сложнейшую задачу.

Он пришёл к выводу, что процентное содержание тяжёлого изотопа в различных звёздах различное. В некоторых звёздах оно доходит до 30 и более процентов.

Является ли это результатом какого-то процесса естественного обогащения или же следствием ядерных процессов, происходящих в недрах звёзд, покажут будущие исследования.

Советские астрономы при решении стоящих перед ними больших задач опираются на повседневную помощь партии и прави-

тельства, всемерно заботящихся о развитии науки в нашей стране. Восстановленная Симеизская обсерватория, прежде являвшаяся филиалом славной Пулковской обсерватории, в настоящее время реорганизована в самостоятельную Крымскую астрофизическую обсерваторию Академии наук СССР. Обсерватория успешно оснащается новейшим астрономическим оборудованием. Каждый год мы узнаём о совершаемых там новых крупных открытиях.

Исследования наших астрономов служат надёжным фундаментом для дальнейшего развития материалистического учения о Вселенной.

Президент Академии Наук Армянской ССР
В. АМБАРЦУМЯН.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Март — апрель 1950 года

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

К. Маркс. Заработная плата, цена и прибыль. 68 стр. Цена 75 к.

К. Маркс. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. 152 стр. Цена 1 р. 75 к.

Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 192 стр. Цена 3 р.

В. И. Ленин. О национальной гордости великороссов. 8 стр. Цена 20 к.

В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. 584 стр. Цена 9 р. 50 к.

В. И. Ленин. Удержат ли большевики государственную власть? 52 стр. Цена 60 к.

А. А. Андреев. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950 года. 14 стр. Цена 20 к.

Л. П. Берия. Речь на собрании избирателей Тбилисского—Сталинского избирательного округа 9 марта 1950 г. 24 стр. Цена 20 к.

Н. А. Булганин. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 8 марта 1950 г. 20 стр. Цена 20 к.

Великая сила идей ленинизма. Сборник статей. 332 стр. Цена 6 р. 50 к.

К. Е. Ворошилов. Речь на собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 г. 24 стр. Цена 20 к.

В Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б). О ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов к весеннему севу. 28 стр. Цена 30 к.

Г. Глезерман. Ликвидация эксплуататорских классов и преодоление классовых различий в СССР. 492 стр. Цена 10 р.

Л. М. Каганович. Речь на собрании избирателей Ташкентского—Ленинского избирательного округа 9 марта 1950 года. 32 стр. Цена 20 к.

А. Н. Косыгин. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 г. 20 стр. Цена 20 к.

Г. М. Маленков. Речь на собрании избирателей Ленинградского избирательного округа города Москвы 9 марта 1950 г. 30 стр. Цена 20 к.

И. Мамонтов. Сталинский блок коммунистов и беспартийных. 68 стр. Цена 70 к.

А. И. Микоян. Речь на собрании избирателей Ереванского—Сталинского избирательного округа 10 марта 1950 года. 64 стр. Цена 40 к.

В. М. Молотов. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 10 марта 1950 г. 30 стр. Цена 20 к.

О новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б). В Совете Министров СССР. О переводе курса рубля на золотую базу и о повышении курса рубля в отношении иностранных валют. 16 стр. Цена 20 к.

П. К. Пономаренко. Речь на собрании избирателей Минского сельского избирательного округа 7 марта 1950 года. 22 стр. Цена 20 к.

М. А. Суслов. Речь на собрании избирателей Саратовского—Ленинского избирательного округа 7 марта 1950 года. 24 стр. Цена 20 к.

Н. С. Хрущёв. Речь на собрании избирателей Калининского избирательного округа города Москвы 7 марта 1950 г. 24 стр. Цена 20 к.

Н. Г. Чернышевский. Избранные философские сочинения, т. II. 804 стр. Цена 14 р.

Н. М. Шверник. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 г. 16 стр. Цена 20 к.

М. М. Шейнман. Идеология и политика Ватикана на службе империализма. 224 стр. Цена 4 р.

Д. Шенилов. Великий советский народ. 83 стр. Цена 1 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Антонов. Первая очередь. Повесть. 206 стр. Цена 6 р. 50 к.

М. Ауэзов. Абай. Роман. Перевод с казахского. 836 стр. Цена 16 р.

Сергей Борзенко. Утоление жажды. Роман. 192 стр. Цена 6 р.

О. Гончар. Знаменосцы. Роман. Перевод с украинского Льва Шапира. 454 стр. Цена 9 р.

Б. Кежун. Дальние дороги. Стихи. 128 стр. Цена 2 р. 75 к.

М. Кочнев. Дело человеком славится. Сказы. 274 стр. Цена 7 р.

В. Лифшиц. Стихи и поэмы. 136 стр. Цена 3 р. 25 к.

В. Лебедев. Новый год. Повесть. 338 стр. Цена 7 р. 50 к.

Н. Ляшко. Сладкая каторга. Роман. 656 стр. Цена 17 р.

В. Маяковский. Собрание стихотворений в двух томах. Вступительная статья Н. Маслина. Том. I. 610 стр. Цена 16 р. Том. II. 542 стр. Цена 14 р.

В. Панова. Ясный берег. Повесть. 218 стр. Цена 7 р.

Сонеты Шекспира. В переводах С. Маршака. 196 стр. Цена 7 р.

Туркменские рассказы. Перевод с туркменского. 294 стр. Цена 9 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

С. А. Васильев. Избранное. 272 стр. Цена 9 р.

Виктор Гюго. Трудники моря. 488 стр. Цена 8 р. 50 к.

Чарльз Диккенс. Из американских заметок. 144 стр. Цена 2 р.

Теодор Драйзер. Очерки и рассказы. 216 стр. Цена 3 р. 25 к.

Вилис Ланис. Сын рыбака. Роман. Перевод с латышского. 480 стр. Цена 8 р. 50 к.

Джек Лондон. Рассказы и очерки. Перевод с английского. 176 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. Малышко. Стихи и поэмы. (1936—1949). Авторизованный перевод с украинского. 308 стр. Цена 10 р.

А. С. Новиков-Прибой. Сочинения в пяти томах. Подписное издание. Том I. Рассказы. 472 стр. Цена 9 р.

В. А. Сафонов. Земля в цвету. 425 стр. Цена 8 р. 50 к.

Т. Сватоплук. Ботострой. Авторизованный перевод с чешского. 255 стр. Цена 6 р.

В. А. Смирнов. Повести (Открытие мира, Сыновья). 563 стр. Цена 11 р.

Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15 томах. Т. VIII, 700 стр. Цена 18 р.

Вильям Шекспир. Избранные произведения. 648 стр. Цена 42 р.

И. Г. Эренбург. Буря. Роман. 824 стр. Цена 15 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Аржанов, В. Ярошев. Григорий Токуев. 133 стр. Цена 3 р.

Н. Бирюков. Чайка. Роман. 432 стр. Цена 9 р.

П. Бляхин. На рассвете. 112 стр. Цена 2 р. 75 к.

И. Вострышев. Как пользоваться художественной литературой в пропагандистской работе. 56 стр. Цена 1 р.

Книга водителя. Сборник. 544 стр. Цена 14 р.

А. Крисигауз. Александр Чекалин. Поэма. 64 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Лебедев. Мишурин. 328 стр. Цена 6 р. Пионерский лагерь. Сборник. 128 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ю. Прокушев. Использование наглядных пособий на занятиях начального политкружка. 48 стр. Цена 1 р.

А. Сазанов. За высокую идейность политического просвещения в комсомоле. 40 стр. Цена 65 к.

Н. Шпанов. Поджигатели. Роман. 932 стр. Цена 22 р.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Агротехника выращивания кукурузы в Московской области. 18 стр. Цена 30 к.

М. Гаркушенко. Как подготовить и провести занятие в политшколе. 60 стр. Цена 1 р.

А. Колосков. Жизнь Маяковского. 260 стр. Цена 11 р.

А. П. Майданик. Чумиза. 24 стр. Цена 50 к.

П. Поляков. Советский государственный бюджет. 50 стр. Цена 1 р. 10 к.

С. Праксин. Образцово провести весенний сев. 56 стр. Цена 1 р.

«Широка страна моя родная». Сборник песен. 84 стр. Цена 1 р. 50 к.

ПРОФИЗДАТ

Борис Агапоз. Подвиг новаторов. 88 стр. Цена 2 р. 75 к.

Борис Неводов. Недра. Повесть. 224 стр. Цена 6 р. 25 к.

Ф. Савченко, А. Ященко, И. Гура, Ф. Ковалевский. Производственные совещания. 100 стр. Цена 1 р. 60 к.

Е. Седова. Бесперебойная работа конвейера. 36 стр. Цена 75 к.

ДЕТГИЗ

А. Алексин. Тридцать один день. (Дневник пионера Саши Василькова). 240 стр. Цена 5 р.

В. Ананян. На берегу Севана. Перевод с армянского А. Гюль-Назарянц. Приключенческая повесть. 256 стр. Цена 9 р. 50 к.

М. Ильин. Покорение природы. 160 стр. Цена 5 р. 50 к.

И. А. Крылов. Басни. 48 стр. Цена 40 к.

Ф. Лангер. Дети и кинжал. Перевод с чешского А. Гурозича. 96 стр. Цена 3 р. 50 к.

Ю. Либединский. Сослан-богатырь, его друзья и враги. Повесть. 214 стр. Цена 6 р.

С. Михалков. Весёлые путешественники. Стихи. 10 стр. Цена 1 р. 75 к.

И. И. Михайлов. Над картой родины. 416 стр. Цена 9 р.

Б. Могилевский. И. И. Мечников. 288 стр. Цена 6 р.

Неделя детской книги. Сборник статей. 160 стр. Цена 3 р. 30 к.

Новинки детской литературы. Аннотированный список новых книг, изданных Детгизом в 1949 году. 40 стр. Бесплатно.

Г. Скребицкий. Друзья моего детства. Рассказы о животных. 64 стр. Цена 60 к.

Ю. Сотник. Невиданная птица. Рассказы. 256 стр. Цена 8 р.

И. С. Тургенев. Перепёлка. 24 стр. Цена 20 к.

В. Чаплина. Кинули. 48 стр. Цена 50 к.

Школьная эстрада. Составитель сборника С. Колосова. 368 стр. Цена 5 р. 40 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Великая победа советского народа. (К пятой годовщине разгрома гитлеровской Германии). Составили Н. И. Шатагин и З. С. Осипов. 56 стр. Цена 60 к.

Д. П. Жуков, Г. Н. Григорьянц, Г. М. Квяжицкий. Электротехника. Для сержантов войск связи. 288 стр. Цена 8 р. 60 к.

Б. Зубавин. Как на фронте. Рассказы. 64 стр. Цена 50 к.

А. С. Соколов. Автомобильные электрические лампы и осветительные приборы. 88 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Ф. Фёдоров. Подпольный обком действует. Книги 1 и 2. 480 стр. Цена 12 р.

Я. З. Черняк. Герой Советского Союза Ц. Л. Куников. 46 стр. Цена 65 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Р. Вудвортс. Экспериментальная психология. Сокращённый перевод с английского. 796 стр. Цена 36 р.

За мир и демократию в Греции. Вторая голубая книга. Издана Временным демократическим правительством Греции. Перевод с французского. 260 стр. Цена 6 р. 80 к.

С. Иелн. Из истории забастовочного движения в США. Перевод с английского. 308 стр. Цена 16 р. 50 к.

Е. Пытляковский. Фундамент. Сокращённый перевод с польского. 260 стр. Цена 9 р. 50 к.

Рассказы об Америке. Перевод с английского. 310 стр. Цена 10 р. 90 к.

Х. Русев. По кручам. Повесть. Перевод с болгарского. 238 стр. Цена 8 р. 90 к.

Дж. Уивер. Пиррова победа. Роман. Перевод с английского. 274 стр. Цена 9 р. 65 к.

Г. Хейвуд. Освобождение негров. Перевод с английского. 284 стр. Цена 11 р. 30 к.

М. Шеер. Поездка на Рейн. Сокращённый перевод с немецкого. 194 стр. Цена 7 р. 30 к.

Экономический кризис и «холодная война». Сборник материалов. 172 стр. Цена 3 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

А. Н. Бернштам. Архитектурные памятники Киргизии. 146 стр. Цена 8 р.

Л. Б. Валев. Из истории отечественного фронта Болгарии. 104 стр. Цена 6 р.

В. Р. Вильямс. Избранные сочинения, т. 1. 790 стр. Цена 30 р.

К. Ф. Вольф. Теория зарождения. 630 стр. Цена 30 р.

В. Л. Комаров. Избранные сочинения, т. IV, ч. 2. 766 стр. Цена 45 р.

Г. Мабли. Избранные произведения. Перевод с французского. 340 стр. Цена 13 р.

Н. И. Пирогов. Севастопольские письма и воспоминания. 652 стр. Цена 30 р.

О. Э. Полени. Ратификация международных договоров. 62 стр. Цена 3 р.

Против реакционного менделизма-морганизма. Сборник статей. 350 стр. Цена 17 р.

М. Ю. Рагинский и С. Я. Розенблит. Международный процесс главных японских военных преступников. 262 стр. Цена 13 р. 50 к.

Таможенные книги Московского государства XVIII века. 838 стр. Цена 55 р.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

М. Горький. Враги. С режиссёрскими примечаниями к пьесе Н. М. Горчакова. 88 стр. Цена 1 р. 50 к.

Клубная сцена. Сборник № 1—2. 184 стр. Цена 5 р.

А. Перель. Футбол. Издание второе, исправленное и дополненное. 228 стр. Цена 7 р.

Под баян. Выпуск 1. 96 стр. Цена 3 р.

Ю. Г. Промптов. В центре Азиатского материка. 128 стр. Цена 4 р. 50 к.

500 игр и развлечений. 346 стр. Цена 6 р.

Русские народные танцы. 86 стр. Цена 4 р.

«Художественная самодеятельность». № 2. 8 стр. Цена 50 к.

Мария и Михаил Чеховы. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Мемуарный каталог-путеводитель. 96 стр. Цена 2 р.

ГОСТЕХИЗДАТ

А. Д. Александров. Выпуклые многогранники. 428 стр. Цена 21 р. 80 к.

Г. Б. Жданов. Лучи из мировых глубин. Издание второе, переработанное и дополненное. 140 стр. Цена 2 р. 15 к.

Б. М. Левитан. Разложение по собственным функциям. (Серия «Современные проблемы математики»). 160 стр. Цена 5 р. 30 к.

В. С. Ленский. Упругость и пластичность. О трудах лауреата Сталинской премии А. А. Ильюшина. (Серия «Успехи современной науки»). 104 стр. Цена 1 р. 65 к.

А. И. Маркушевич. Теория аналитических функций. 704 стр. Цена 29 р.

И. В. Поройков. Рентгенометрия. 384 стр. Цена 18 р. 85 к.

А. М. Рубинштейн. Химия вокруг нас. (Научно-популярная библиотека). 64 стр. Цена 1 р. 05 к.

А. Г. Столетов. Избранные сочинения. (Серия «Классики естественных наук»). 660 стр. Цена 25 р. 30 к.

Я. С. Уфлянд. Биполярные координаты в теории упругости. (Серия «Современные проблемы механики»). 232 стр. Цена 8 р. 15 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

Л. Д. Аграновский. По старым русским слободам. 88 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. А. Алексеев. Зелёный конвейер. 144 стр. Цена 2 р. 30 к.

В. Н. Кожев. Основы культуртехники. 382 стр. Цена 6 р. 20 к.

О. Б. Лепешинская. Клетка, её жизнь и происхождение. 50 стр. Цена 75 к.

В. П. Мосолов. Многолетние травы. 182 стр. Цена 3 р. 10 к.

М. Н. Портнов. Самоходный комбайн. 224 стр. Цена 10 р. 40 к.

И. А. Прудников. Совхоз «Кубань». 56 стр. Цена 85 к.

ГЕОГРАФИЗ

Б. П. Алсов. Климатические области зарубежных стран. 352 стр. Цена 14 р. 50 к.

Филипп Ефремов. Десятилетнее странствование. (К 200-летию со дня рождения автора). 80 стр. Цена 2 р.

А. П. Лазарев. Плавание вокруг света военного шлюпа «Благонамеренный». 476 стр. Цена 12 р. 75 к.

Ю. А. Ливеровский и Б. П. Колесников. Природа южной половины советского Дальнего Востока. 384 стр. Цена 8 р. 25 к.

С. Г. Нагорный. Георгий Седов. 203 стр. Цена 5 р.

Х. Я. Тахаев. Башкирия. 328 стр. Цена 7 р. 50 к.

ГОСКИНОИЗДАТ

Братия Тур и Л. Шейнин. Встреча на Эльбе. («Библиотека кинодраматургии»). 95 стр. Цена 2 р. 40 к.

Евпрессы киноискусства. Сборник статей. 232 стр. Цена 16 р.

Е. М. Голдовский. Тридцать лет советской кинотехники. 156 стр. Цена 8 р. 50 к.

Избранные сценарии советского кино. Т. V. 624 стр. Цена 23 р.

В. Карсаннидзе. Счастливая встреча. («Библиотека кинодраматургии»). 76 стр. Цена 2 р.

Наука и кино. Сборник статей. 84 стр. Цена 4 р.

Ф. Рокпеллис и В. Крепс. Райнис. («Библиотека кинодраматургии»). 116 стр. Цена 3 р.

30 лет советской кинематографии. Сборник статей. 412 стр. Цена 23 р.

МЕДГИЗ

Я. Х. Берензон. Борьба с туберкулёзом на предприятии. 16 стр. Цена 30 к.

Л. А. Кукуев. В. А. Бец. (1834—1894). 96 стр. Цена 4 р. 60 к.

В. М. Лезитан. Медицинская служба МПВО. (Пособие для первичных медицинских формирований). 128 стр. Цена 3 р. 90 к.

С. И. Тальковский. Глазные болезни. 244 стр. Цена 4 р. 20 к.

МУЗГИЗ

И. Абезгауз. Русские музыканты о музыке Запада. 68 стр. Цена 2 р.

А. Глумов. Музыкальный мир Пушкина. 280 стр. Цена 11 р.

Е. Каин-Нозикова, М. И. Глинка. Новые материалы и документы. Выпуск 1. 120 стр. Цена 6 р.

Г. Ливанова. Критическая деятельность русских композиторов-классиков. 104 стр. Цена 3 р.

Вас. Яковлев. Пушкин и музыка. 184 стр. Цена 8 р.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, в. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Выход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 21/IV-50 г.
А. 01427. Объем 17 печ. л.

Подписано к печати 10/V-50 г.
Тираж 169.000. Заказ № 893.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 р.